Павел Басинский

Лев Толстой: бегство из рая

Ровно 100 лет назад
в Ясной Поляне произошло событие,
которое потрясло весь мир...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое потрясло весь мир.

Восьмидесятидвухлетний писатель граф Л.Н.Толстой ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти великого старца породили множество мифов и легенд…

Известный писатель и журналист Павел Басинский на основании строго документального материала, в том числе архивного, предлагает не свою версию этого события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом вы можете проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, разобраться в причинах его семейной драмы и тайнах подписания им духовного завещания.

- Павел Валерьевич Басинский
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Эпилог
  - Список источников
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29

Павел Валерьевич Басинский
Лев Толстой: Бегство из рая

Все мы храбримся друг перед другом и забываем, что все мы, если мы только не любим, — жалки, прежалки. Но мы так храбримся и прикидываемся злыми и самоувереннными, что сами попадаемся на это и принимаем больных цыплят за страшных львов…

Из письма Льва Толстого В.Г. Черткову

Глава первая
УХОД ИЛИ БЕГСТВО?

В ночь с 27 на 28 октября 1910 года[1] в Крапивенском уезде Тульской губернии произошло событие невероятное, из ряда вон выходящее, даже для такого необычного места, как Ясная Поляна, родовое имение знаменитого на весь мир писателя и мыслителя — графа Льва Николаевича Толстого. Восьмидесятидвухлетний граф ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении в сопровождении личного врача Маковицкого.

Глаза газет

Информационное пространство того времени не сильно отличалось от нынешнего. Весть о скандальном событии мгновенно распространилась по России и по всему миру. 29 октября из Тулы в Петербургское телеграфное агентство (ПТА) стали поступать срочные телеграммы, на следующий день перепечатанные газетами. «Получено было поразившее всех известие о том, что Л.Н.Толстой в сопровождении доктора Маковицкого неожиданно покинул Ясную Поляну и уехал. Уехав, Л.Н.Толстой оставил письмо, в котором сообщает, что он покидает Ясную Поляну навсегда».

Об этом письме, написанном Л.Н. для спавшей жены и переданном ей наутро их младшей дочерью Сашей, не знал даже спутник Толстого Маковицкий. Он сам прочитал об этом в газетах.

Оперативнее всех оказалась московская газета «Русское слово». 30 октября в ней был напечатан репортаж собственного тульского корреспондента с подробной информацией о том, что произошло в Ясной Поляне.

«Тула, 29, X (срочная). Возвратившись из Ясной Поляны, сообщаю подробности отъезда Льва Николаевича.

Лев Николаевич уехал вчера, в 5 часов утра, когда еще было темно.

Лев Николаевич пришел в кучерскую и приказал заложить лошадей.

Кучер Адриан исполнил приказание.

Когда лошади были готовы, Лев Николаевич вместе с доктором Маковицким, взяв необходимые вещи, уложенные еще ночью, отправился на станцию Щекино.

Впереди ехал почтарь Филька, освещая путь факелом.

На ст. Щекино Лев Николаевич взял билет до одной из станций Московско-Курской железной дороги и уехал с первым проходившим поездом.

Когда утром в Ясной Поляне стало известно о внезапном отъезде Льва Николаевича, там поднялось страшное смятение. Отчаяние супруги Льва Николаевича, Софьи Андреевны, не поддается описанию».

Это сообщение, о котором на следующий день говорил весь мир, было напечатано не на первой полосе, а на третьей. Первая полоса, как в то время было принято, была отдана рекламе всевозможных товаров.

«Лучший друг желудка вино Сен-Рафаэль».

«Некрупные осетры рыбами. 20 копеек фунт».

Получив ночную телеграмму из Тулы, «Русское слово» тут же отправило своего корреспондента в Хамовнический дом Толстых (сегодня — дом-музей Л.Н.Толстого между станциями метро «Парк Культуры» и «Фрунзенская»), В газете надеялись, что, быть может, граф бежал из Ясной Поляны в московскую усадьбу. Но, пишет газета, «в старом барском доме Толстых было тихо и спокойно. Ничто не говорило о том, что Лев Николаевич мог приехать на старое пепелище. Ворота на запоре. Все в доме спят».

Вдогонку по предполагаемому пути бегства Толстого был отправлен молодой журналист Константин Орлов, театральный рецензент, сын последователя Толстого, учителя и народовольца Владимира Федоровича Орлова, изображенного в рассказах «Сон» и «Нет в мире виноватых». Он настиг беглеца уже в Козельске и тайно сопровождал его до Астапова, откуда сообщил телеграммой Софье Андреевне и детям Толстого, что их муж и отец серьезно болен и находится на узловой железнодорожной станции в доме ее начальника И.И.Озолина.

Если бы не инициатива Орлова, родные узнали бы о местопребывании смертельно больного Л.Н. не раньше, чем об этом сообщили все газеты. Нужно ли говорить, насколько больно это было бы семье? Поэтому, в отличие от Маковицкого, который расценил деятельность «Русского слова» как «сыщицкую», старшая дочь Толстого Татьяна Львовна Сухотина, по ее

воспоминаниям, была «до смерти» благодарна журналисту Орлову.

«Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он. И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка, — впоследствии вспоминала Татьяна Львовна свое и всей семьи душевное состояние после „бегства“ (ее выражение) Толстого. Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: „Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°“».

Вообще, надо признать, что по отношению к семье и, прежде всего, к Софье Андреевне газеты вели себя более сдержанно и деликатно, чем в отношении яснополянского беглеца, каждый шаг которого беспощадно отслеживался, хотя все газетчики знали, что в прощальной записке Толстой просил: не искать его! «Пожалуйста… не езди за мной, если и узнаешь, где я», — писал он жене.

«В Белеве Лев Николаевич выходил в буфет и съел яичницу», — смаковали газетчики скоромный поступок вегетарианца Толстого. Они допрашивали его кучера и Фильку, лакеев и крестьян Ясной Поляны, кассиров и буфетчиков на станциях, извозчика, который вез Л.Н. из Козельска в Оптинский монастырь, гостиничных монахов и всех, кто мог что-нибудь сообщить о пути восьмидесятидвухлетнего старца, единственным желанием которого было убежать, скрыться, стать невидимым для мира.

«Не ищите его! — цинично восклицали „Одесские новости“, обращаясь к семье. — Он не ваш — он всех!»

«Разумеется, его новое местопребывание очень скоро будет открыто», — хладнокровно заявляла «Петербургская газета».

Л.Н. не любил газеты (хотя следил за ними) и не скрывал этого. Иное дело — С.А. Жена писателя прекрасно понимала, что реноме мужа и ее собственное реноме, волей-неволей, складываются из газетных публикаций. Поэтому она охотно общалась с газетчиками и давала интервью, разъясняя те или иные странности поведения Толстого или его высказываний и не забывая при этом (в этом была ее слабость) обозначить и свою роль при великом человеке.

Поэтому отношение газетчиков к С.А. было, скорее, теплым. Общий тон задало «Русское слово» фельетоном Власа Дорошевича «Софья Андреевна», помещенным в номере от 31 октября. «Старый лев ушел умирать в одиночестве, — писал Дорошевич. — Орел улетел от нас так высоко, что где нам следить за полетом

его?!»

(Следили, да еще как следили!)

С.А. он сравнивал с Ясодарой, молодой женой Будды. Это был несомненный комплимент, потому что Ясодара была ни в чем не повинной в уходе своего мужа. Между тем злые языки сравнивали жену Толстого не с Ясодарой, а с Ксантиппой, супругой греческого философа Сократа, которая будто бы изводила мужа сварливостью и непониманием его мировоззрения.

Дорошевич справедливо указывал на то, что без жены Толстой не прожил бы такой долгой жизни и не написал бы своих поздних произведений. (Хотя при чем тут Ясодара?)

Вывод фельетона был такой. Толстой — это «сверхчеловек», и его поступок нельзя судить по обычным нормам. С.А. - простая земная женщина, которая делала всё, что могла, для своего мужа, пока он был просто человеком. Но в «сверхчеловеческой» области он для нее недоступен, и в этом ее трагедия.

«Софья Андреевна одна. У нее нет ее ребенка, ее старца-ребенка, ее титана-ребенка, о котором надо думать, каждую минуту заботиться: тепло ли ему, сыт ли он, здоров ли он? Некому больше отдавать по капельке всю свою жизнь».

С.А. читала фельетон. Он ей понравился. Она была благодарна газете «Русское слово» и за статью Дорошевича, и за телеграмму Орлова. Из-за этого можно было не обращать внимания на мелочи, вроде неприятного описания внешнего вида жены Толстого, которое дал тот же Орлов: «Блуждающие глаза Софьи Андреевны выражали внутреннюю муку. Голова ее тряслась. Одета она была в небрежно накинутый капот». Можно было простить и ночную слежку за московским домом, и весьма неприличное указание на сумму, которую потратила семья, чтобы нанять отдельный поезд от Тулы до Астапова — 492 рубля 27 копеек, и прозрачный намек Василия Розанова на то, что Л.Н. убежал всё-таки от семьи: «Узник ушел из деликатной темницы».

Пробежав по заголовкам газет, освещавших уход Толстого, мы обнаружим, что слово «уход» в них встречалось редко. «ВНЕЗАПНЫЙ ОТЪЕЗД…», «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ…», «БЕГСТВО…», «TOLSTOY QUITS HOME» («ТОЛСТОЙ ПОКИДАЕТ ДОМ»),

И дело здесь отнюдь не в желании газетчиков «подогреть» читателей. Событие само по себе было скандальным. Дело в том, что обстоятельства исчезновения Толстого из Ясной, действительно, куда больше напоминали бегство, чем величественный уход.

Ночной кошмар

Во-первых, событие случилось ночью, когда графиня крепко спала.

Во-вторых, маршрут Толстого был столь тщательно засекречен, что впервые о его местонахождении она узнала только 2 ноября из телеграммы Орлова.

В-третьих (о чем не знали ни газетчики, ни С.А.), маршрут этот, во всяком случае, его конечная цель, были неведомы самому беглецу. Толстой ясно представлял себе, откуда и от чего он бежит, но куда направляется и где будет его последнее пристанище, он не только не знал, но старался об этом не думать.

В первые часы отъезда только дочь Толстого Саша и ее подруга Феокритова знали, что Л.Н. намеревался посетить свою сестру, монахиню Марию Николаевну Толстую в Шамординском монастыре. Но и это в ночь бегства стояло под вопросом.

«Ты останешься, Саша, — сказал он мне. — Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамордино», — вспоминала А.Л.Толстая.

Разбудив ночью первым доктора Маковицкого, Толстой не сообщил ему даже этой информации. Но главное — не сказал врачу, что уезжает из Ясной Поляны навсегда, о чем сказал Саше. Маковицкий в первые часы думал, что они едут в Кочеты, имение зятя Толстого М.С.Сухотина на границе Тульской и Орловской губерний. Толстой не раз выезжал туда последние два года, один и с женой, спасаясь от наплыва посетителей Ясной Поляны. Там он брал, как он выражался, «отпуск». В Кочетах жила его старшая дочь — Татьяна Львовна. Она, в отличие от Саши, не одобряла желания отца уйти от матери, хотя и стояла в их конфликте на стороне отца. В любом случае, в Кочетах от С.А. было не скрыться. Появление же в Шамордине было менее вычисляемо. Приезд в православный монастырь отлученного от церкви Толстого был поступком не менее скандальным, чем сам уход. И наконец, там Толстой вполне мог рассчитывать на поддержку и молчание сестры.

Бедный Маковицкий не сразу понял, что Толстой решил уехать из дома навсегда. Думая, что они отправляются на месяц в Кочеты, Маковицкий не взял с собой всех своих денег. Не знал он и о том, что состояние Толстого в момент бегства исчислялось пятидесятью рублями в записной книжке и мелочью в кошельке. Только во время прощания Толстого с Сашей Маковицкий услышал о Шамордине. И только когда они сидели в коляске, Толстой стал советоваться с ним: куда бы подальше уехать?

Он знал, кого брать с собой в спутники. Надо было обладать невозмутимой натурой и преданностью Маковицкого, чтобы не

растеряться в этой ситуации. Маковицкий немедленно предложил ехать в Бессарабию, к рабочему Гусарову, который жил с семьей на своей земле. «Л.Н. ничего не ответил».

Поехали на станцию Щекино. Через двадцать минут ожидался поезд на Тулу, через полтора часа — на Горбачево. Через Горбачево в Шамордино путь короче, но Толстой, желая запутать следы и опасаясь, что С.А. проснется и настигнет его, предложил ехать через Тулу. Маковицкий отговорил: уж в Туле-то их точно узнают! Поехали на Горбачево…

Согласитесь, это мало похоже на уход. Даже если понимать это не буквально (ушел пешком), а в переносном смысле. Но именно буквальное представление об уходе Толстого и по сей день греет души обывателей. Непременно — пешком, темной ночью, с котомкой за плечами и палкой в руке. И это — восьмидесятидвухлетний старик, хотя и крепкий, но очень больной, страдавший обмороками, провалами памяти, сердечными перебоями и расширением вен на ногах. Что было бы прекрасного в таком «уходе»? Но обывателю почему-то приятно воображать, что великий Толстой вот так просто взял и ушел.

В книге Ивана Бунина «Освобождение Толстого» с восхищением цитируются слова, написанные Толстым в прощальном письме: «Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни».

Обыкновенно делают старики?

С.А. тоже обратила внимание на эти слова. Едва оправившись от первого шока, вызванного ночным бегством мужа, она стала писать ему письма с мольбами вернуться, рассчитывая на посредничество в их передаче третьих лиц. И вот во втором письме, которое Толстой не успел прочитать, она возражала ему: «Ты пишешь, что старики уходят из мира. Да где ты это видал? Старики крестьяне доживают на печке, в кругу семьи и внуков свои последние дни, то же и в барском и всяком быту. Разве естественно слабому старику уходить от ухода, забот и любви окружающих его детей и внуков?»

Она была неправа. Уход стариков и даже старух был обыкновенным делом в крестьянских домах. Уходили на богомолье и просто — в отдельные избушки. Уходили доживать свой век, чтобы не мешать молодым, не быть попрекаемым лишним куском, когда участие старого человека в полевых и домашних работах было уже невозможным. Уходили, когда в доме «поселялся грех»: пьянство, раздоры, неестественные половые связи. Да, уходили. Но не бежали ночью от старой жены с согласия и при поддержке дочери.

Вернемся в роковую ночь с 27 на 28 октября и проследим шаг за шагом, как уходил Толстой.

Записки Маковицкого:

«Утром, в 3 ч., Л.Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой, разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное.

— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать — самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно».

«Решительное» лицо не означало хладнокровия. Это решительность перед прыжком с обрыва. Как врач, Маковицкий отмечает: «Нервен. Пощупал ему пульс — 100». Какие вещи «самые нужные» для ухода восьмидесятидвухлетнего старика? Толстой думал об этом меньше всего. Он был обеспокоен тем, чтобы Саша спрятала от С.А. рукописи его дневников. Он взял с собой самопишущее перо, записные книжки. Вещи и провизию укладывали Маковицкий, Саша и ее подруга Варвара Феокритова. Оказалось, что «самых нужных» вещей всё-таки набралось много, потребовался большой дорожный чемодан, который нельзя достать без шума, не разбудив С.А.

Между спальнями Толстого и его жены было три двери. С.А. держала их ночью открытыми, чтобы проснуться на любой тревожный сигнал из комнаты мужа. Она объясняла это тем, что если ночью ему потребуется помощь, через закрытые двери она не услышит. Но главная причина была в другом. Она боялась его ночного бегства. С некоторых пор эта угроза стала реальной. Можно даже точно назвать дату, когда она повисла в воздухе яснополянского дома. Это случилось 15 июля 1910 года. После бурного объяснения с мужем С.А. провела бессонную ночь и утром написала ему письмо:

«Левочка, милый, пишу, а не говорю, потому что после бессонной ночи мне говорить трудно, я слишком волнуюсь и могу опять всех расстроить, а я хочу, ужасно хочу быть тиха и благоразумна. Ночью я всё обдумывала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, в другой показал нож Я еще вчера смутно почувствовала, что этот нож уж поранил мое сердце. Нож этот — это угроза, и очень решительная, взять слово обещания назад и тихонько от меня уехать, если я буду такая, как теперь… Значит, всякую ночь, как прошлую, я буду прислушиваться, не уехал ли ты куда? Всякое твое отсутствие, хотя слегка более продолжительное, я буду мучиться, что ты уехал навсегда. Подумай, милый Левочка, ведь твой отъезд и твоя угроза равняются угрозе убийства».

Когда Саша, Варвара и Маковицкий собирали вещи (действовали, «как заговорщики», вспоминала Феокритова, тушили свечи, заслышав любой шум со стороны комнаты С.А.), Толстой плотно закрыл все три двери, ведущие в спальню жены, и всё-таки без шума достал чемодан. Но и его оказалось недостаточно, получился еще узел с пледом и пальто, корзина с провизией. Впрочем, окончания сборов Толстой не дождался. Он спешил в кучерскую разбудить кучера Андриана и помочь ему запрячь лошадей.

Уход? Или — бегство…

Из дневника Толстого:

«…иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя… Я дрожу, ожидая погони».

То, что спустя сутки, когда писались эти строки, представлялось ему «чащей», из которой он «насилу» выбрался, был его яблоневый сад, исхоженный Толстым вдоль и поперек.

Обыкновенно поступают старики?

«Укладывали вещи около получаса, — вспоминала Александра Львовна. — Отец уже стал волноваться, торопил, но руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались».

Александра Львовна тоже заметила решимость в лице отца. «Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал: „я уезжаю совсем“, меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечой и светлое, прекрасное, полное решимости лицо».

«Лицо решительное и светлое», — писала Феокритова. Но не будем обольщаться. Глубокая октябрьская ночь, когда в сельских домах, неважно, крестьянских или барских, не видно собственной руки, если поднести ее к глазам. Старик в светлой одежде, со свечой у лица, внезапно возникший на пороге. Это поразит кого угодно!

Конечно, сила духа Толстого была феноменальной. Но это больше говорит о его способности не теряться ни при каких обстоятельствах. Друг яснополянского дома музыкант Александр Гольденвейзер вспоминал один случай. Как-то зимой они поехали в санках в деревню в девяти верстах от Ясной передать помощь нуждавшейся крестьянской семье.

«Когда мы подъезжали к станции Засека, начиналась небольшая метель, которая становилась все сильнее, так что в конце концов мы сбились с пути и ехали без дороги. Поплутав немного, мы заметили невдалеке лесную сторожку и направились к ней, дабы расспросить у лесничего, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три-четыре огромные овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Мне, признаться сказать, стало жутко… Л.Н. решительным движением передал мне вожжи и сказал: „Подержите“, — а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками смело пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу затихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Л.Н. спокойно прошел между ними и вошел в сторожку. В эту минуту он со своей развевающейся седой бородой больше похож был на сказочного героя, чем на слабого восьмидесятилетнего старика…»

Вот и в ночь на 28 октября 1910 года самообладание не покинуло его. Шедших с вещами помощников он встретил на полдороге. «Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом продвигались в темноте, — вспоминала Александра Львовна. — Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.

— Ах, это вы, — сказал он, — ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые тяжелые вещи? — с упреком обратился он к Варваре Михайловне. Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию».

Этот фонарик уговорила взять его Саша после блуждания отца в саду.

Всё же когда Толстой помогал кучеру запрягать лошадь, «руки его дрожали, не слушались, и он никак не мог застегнуть пряжку». Потом «сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом».

Резкие перепады настроения будут сопровождать Толстого на всем пути следования от Ясной до Астапова, где он скончался в ночь на 7 ноября 1910 года. Решительность и сознание того, что поступил единственно правильным образом, будут сменяться безволием и острейшим чувством вины. Как бы он ни готовился к этому уходу, а он готовился к нему двадцать пять (!) лет, понятно, что ни душевно, ни физически он не был к нему готов. Можно было сколько угодно представлять этот уход в голове, но первые

же реальные шаги, вроде блуждания в собственном саду, преподносили неожиданности, к которым Толстой и его спутники не были готовы.

Но почему его решительное настроение в доме вдруг поменялось на упадок духа в каретном сарае? Казалось бы, вещи собраны (за два часа — просто поразительно!), лошади почти готовы, и до «освобождения» осталось несколько минут. А он падает духом.

Кроме физиологических причин (не выспался, волновался, заблудился, помогал нести вещи по скользкой дорожке в темноте) есть и еще одно обстоятельство, которое можно понять, только отчетливо представляя себе ситуацию в целом. Проснись С.А., когда они собирали вещи, это был бы оглушительный скандал. Но все-таки скандал внутри домашних стен. Сцена среди «посвященных». К таким сценам было не привыкать, в последнее время они постоянно происходили в яснополянском доме. Но по мере отдаления Толстого от домашнего очага в его уход вовлекались новые и новые лица. Происходило именно то, чего он больше всего не хотел. Толстой оказался комком снега, вокруг которого наворачивался грандиозный снежный ком, и это происходило с каждой минутой его перемещения в пространстве.

Невозможно уехать, не разбудив кучера Андриана Болхина. И еще нужен конюх, тридцатитрехлетний Филька (Филипп Борисов), чтобы, сидя верхом на лошади, освещать перед коляской дорогу факелом. Когда Л.Н. находился в каретном сарае, снежный ком уже начал расти, расти, и остановить его с каждой минутой было всё невозможнее. Еще безмятежно спали жандармы, газетчики, губернаторы, священники… Еще и сам Толстой не мог представить, сколько людей станут вольными и невольными соучастниками его бегства, вплоть до министров, главных архиереев, Столыпина и Николая II.

Разумеется, он не мог не понимать, что исчезнуть из Ясной Поляны незаметно у него не получится. Исчезнуть незаметно не смог даже Федя Протасов в «Живом трупе», который имитировал самоубийство, но, в конце концов, был разоблачен. Но не будем забывать, что кроме «Живого трупа» он написал «Отца Сергия» и «Посмертные записки старца Федора Кузмича». И если в момент ухода его грела какая-то мысль, то вот эта: знаменитый человек, исчезая, растворяется в людском пространстве, становится одним из малых сих, незаметным для всех. Легенда о нем существует отдельно, а он — отдельно. И неважно, кто ты был в прошлом: русский царь, знаменитый чудотворец или великий писатель. Важно, что здесь и теперь ты самый простой и обыкновенный человек.

Когда Толстой сидел на чемодане в каретном сарае, в старом армяке, надетом на ватную поддевку, в старой вязаной шапочке, он был, казалось, полностью снаряжен для осуществления своей заветной мечты. Но… Это время, 5 часов утра, «между волком и собакой». Этот промозглый конец октября — самое отвратительное русское межсезонье. Это невыносимое томление ожидания, когда начало ухода положено, родные стены покинуты и назад, в общем, пути уже нет, но… Лошади еще не готовы, Ясная Поляна еще не покинута… А жена, с которой он прожил сорок восемь лет, которая родила ему тринадцать детей, из которых семеро живы, от которых родилось двадцать три внука, на плечи которой он взвалил всё яснополянское хозяйство, все свои издательские дела по художественным сочинениям, которая по нескольку раз переписывала частями два его главных романа и множество других работ, которая не спала ночами в Крыму, где он умирал девять лет назад, ибо никто, кроме нее, не мог осуществлять за ним самый интимный уход, — этот родной человек может в любую секунду проснуться, обнаружить закрытые двери, беспорядок в его комнате и понять, что то, чего она больше всего на свете боялась, свершилось!

Но свершилось ли? Не надо обладать пылким воображением, чтобы представить появление С.А. в каретном сарае, когда ее муж дрожащими руками застегивал пряжку на лошади. Это уже не толстовская, а чисто гоголевская ситуация. Недаром Толстой и любил и не любил повесть Гоголя «Коляска», в которой уездный аристократ Пифагор Пифагорович Чертокуцкий спрятался от гостей в каретном сарае, но был конфузнейшим образом разоблачен. Он считал эту вещь превосходно написанной, но нелепой шуткой. Между тем «Коляска» — совсем не смешная вещь. Визит генерала в каретный сарай, где маленький Чертокуцкий сжался на сиденье под кожаным пологом, это ведь визит самой Судьбы, настигающей человека именно в тот момент, когда он менее всего к этому готов. Как он жалок и беспомощен перед ней!

Воспоминания Саши:

«Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом:

— Я чувствую, что вот-вот нас настигнут, и тогда всё пропало. Без скандала уже не уехать».

Слабость Толстого

Многое в настроении Толстого и в момент бегства, и до него,

и потом объясняется еще и такой простой вещью, как деликатность. Творец, философ, «матерый человечище», Толстой по природе своей оставался старинным русским барином, в самом прекрасном смысле слова. В этот многосложный и, увы, давно утраченный душевный комплекс входили такие понятия, как моральная и физическая чистоплотность, невозможность лгать в глаза, злословить о человеке в его отсутствие, боязнь задеть чьи-то чувства неосторожным словом и просто быть чем-то неприятным для людей. В молодости, из-за необузданности ума и характера, Толстой много погрешил против этих врожденных и воспитанных в семье душевных качеств и сам страдал от этого. Но к старости, кроме благоприобретенных принципов любви и сострадания к людям, в нем все больше проявлялось неприятие гадкого, грязного, скандального.

На протяжении всего конфликта с женой Толстой был почти безупречен. Он ее жалел, пресекал любые попытки злословить на ее счет, даже когда знал справедливость этих слов. Он подчинялся, насколько возможно и даже невозможно, ее требованиям, порой самым нелепым, терпеливо выносил все ее выходки, порой чудовищные, вроде шантажа самоубийством. Но в сердцевине этого поведения, которое удивляло и даже раздражало его сторонников, были не отвлеченные принципы, а натура старого барина, да просто прекрасного старика, который болезненно переживает любую ссору, раздор, скандал.

И вот этот старик тайно ночью совершает поступок, страшнее которого для его жены быть не может. Это даже не нож, о котором писала С.А. Это топор!

Поэтому самым сильным чувством, которое испытывал Толстой в каретном сарае, был страх. Страх, что жена проснется, выбежит из дома и застигнет его на чемодане, возле все еще не готового экипажа… И — не избежать скандала, мучительной, душераздирающей сцены, которая станет crescendo того, что происходило в Ясной Поляне последнее время.

Он никогда не бежал от трудностей… В последние годы, напротив, благодарил Бога, когда Он посылал ему испытания. Со смиренным сердцем принимал любые «неприятности». Радовался, когда его осуждали. Но сейчас он страстно хотел, чтобы его «миновала чаша сия».

Это было выше его сил.

Да, уход Толстого был проявлением не только силы, но и слабости. В этом он откровенно признался старенькой подруге и конфидентке Марии Александровне Шмидт, бывшей классной даме, уверовавшей в Толстого, как в нового Христа, самой искренней и последовательной «толстовке», жившей в избе в

Овсянниках, в шести верстах. Толстой часто навещал ее во время конных прогулок, зная, что эти посещения не просто доставляют ей радость, но являются для нее смыслом жизни. Он советовался с ней по духовным вопросам и 26 октября, за два дня до ухода, рассказал о еще неокончательном решении уйти. Мария Александровна всплеснула руками:

— Душенька, Лев Николаевич! — сказала она. — Это слабость, это пройдет.

— Да, — ответил он, — это слабость.

Этот разговор со слов Марии Александровны приводит в своих воспоминаниях Татьяна Львовна Сухотина. В дневнике Маковицкого, сопровождавшего Л.Н. на прогулке 26 октября, этого диалога нет. Да и сама Мария Александровна в беседе с корреспондентом «Русского слова» утверждала, что в тот день о своем уходе Л.Н. не говорил ей «ни слова». Это была очевидная неправда, объясняемая ее нежеланием выносить сор из избы (да еще и не своей избы) и открывать перед всем миром семейный конфликт Толстых. В тайном «Дневнике для одного себя» Толстого есть запись от 26 октября: «Всё больше и больше тягощусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не дает».

Маковицкий 26 октября тоже заметил, что «Л.Н. слаб» и рассеян. По дороге к Шмидт Толстой совершает «дурной», по его собственному выражению, поступок: проехал на лошади через «зеленя» (озимые), а этого нельзя делать в грязь, потому что лошадь оставляет глубокие следы и губит нежную зелень.

Хочется воскликнуть: «зеленя» пожалел, а старую жену — нет?! К сожалению, это типичный путь осуждения Толстого. Так рассуждают люди, которые видят в бегстве Толстого поступок «матерого человечища» и соотносят его со своими «человеческими, слишком человеческими» представлениями о семье. Сильный Толстой ушел от слабой, не совпадавшей с ним в духовном развитии жены. Дело понятное, на то он и гений, но С.А., конечно, жаль! Как опасно выходить замуж за гениев.

Эта распространенная точка зрения, как ни странно, почти совпадает с той, которая культивируется в интеллектуальной среде и, с легкой руки Ивана Бунина, стала модной.

Толстой ушел, чтобы умереть. Это был акт освобождения духовного титана из мучившего его материального плена. «Освобождение Толстого». Как красиво! Сниженный вариант: как сильное животное, ощущая приближение смерти, уходит из стаи, так Толстой, чувствуя приближение неотвратимого конца, бросился из Ясной Поляны. Тоже красивая языческая версия, которую в первые дни ухода озвучил в газетах Александр Куприн.

Но поступок Толстого не был действиями титана, решившегося на грандиозный символический жест. И тем более это не было рывком старого, но сильного зверя. Это был поступок слабого больного старика, который мечтал об уходе 25 лет, но, пока были силы, не позволял себе этого, потому что считал это жестоким по отношению к жене. А вот когда сил уже не оставалось, а семейные противоречия достигли высшей точки кипения, он не увидел другого выхода ни для себя, ни для окружающих. Он ушел в тот момент, когда физически совсем не был готов к этому. Когда на дворе стоял глухой конец октября. Когда ничего не было приготовлено и даже самые горячие сторонники ухода, вроде Саши, не представляли себе, что такое оказаться в «чистом поле» старику. Именно тогда, когда его уход почти неминуемо означал верную смерть, у Толстого больше не осталось сил находиться в Ясной Поляне.

Ушел, чтобы умереть? Это объяснение выдвинул профессор В.Ф.Снегирев, знаменитый акушер, лечивший С.А. и сделавший ей срочную операцию прямо в яснополянском доме. Он был не только прекрасным медиком, но необыкновенно умным и деликатным человеком. Желая ободрить и утешить свою пациентку, на которую после смерти мужа посыпались обвинения, что это она довела его до бегства и могилы, он 10 апреля 1911 года, в Светлое Воскресенье, написал ей пространное письмо, где пытался назвать объективные и внесемейные причины ухода Толстого. Этих причин он видел две.

Первая. Уход Толстого был сложной формой самоубийства. Во всяком случае, подсознательным ускорением процесса смерти.

«В продолжение почти всей своей жизни он одинаково обрабатывал, воспитывал дух и тело свое и при своей неутолимой энергии и дарованиях воспитал их одинаково сильно, крепко связал их и слил: где кончалось тело и где начинался дух, — сказать невозможно. Тот, кто вглядывался в его походку, поворот головы, посадку, тот ясно видел *всегда* сознательность движений: т. е. каждое движение было выработано, разработано, осмыслено и выражало идею… При смерти такого слитного сочетания духа и тела, отрыв, отхождение духа от тела не могло и не может совершиться тихо, спокойно, как это бывает у людей, у которых разрыв души и тела совершился давно… Чтобы совершить такое разъединение, надо сделать *непомерное* усилие над телом…»

Другое объяснение Снегирева было сугубо медицинское. Толстой умер от воспаления легких. «Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками, — писал Снегирев. — Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков, ибо инфекция иногда проявляется только за

несколько дней до болезни, т. е. организм ранее местного процесса уже отравлен. Поспешность и блуждание во время путешествий вполне согласуются с этим…»

Иными словами, Толстой был уже болен в ночь ухода, и инфекционное отравление воздействовало на его мозг.

Не будем гадать, насколько Снегирев писал как врач и насколько хотел просто утешить бедную С.А. Очевидно одно: накануне и в ночь бегства Толстой был душевно и физически слаб. Это подтверждается и записками Маковицкого, и дневником Л.Н. Ему снились «дурные», путаные сны… В одном из них происходила какая-то «борьба с женой», в другом — переплетались герои романа Достоевского «Братья Карамазовы», который он в это время читал, и реальные, но уже покойные люди, вроде Н.Н.Страхова.

Менее чем за месяц до ухода он едва не умер. То, что случилось 3 октября, было очень похоже на настоящий конец, вплоть до смертных судорог и *обирания* (характерные движения руками перед смертью). Вот как описывает этот эпизод последний секретарь Толстого Валентин Булгаков:

«Лев Николаевич заспался, и, прождав его до семи часов, сели обедать без него. Разлив суп, Софья Андреевна встала и еще раз пошла послушать, не встает ли Лев Николаевич. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она услышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Вошла к Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Льва Николаевича показались ей странными:

— Глаза бессмысленные… Это — перед припадком. Он впадает в забытье… Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают».

Скоро в комнате Толстого собрались сын Сергей Львович, слуга Илья Васильевич, Маковицкий, Булгаков и первый биограф Толстого П.И.Бирюков.

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуплены, губы шевелились, точно он что-то переживал… Потом… потом начались один за другим странные припадки судорог, от которых всё тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их. Душан (Маковицкий. — *П.Б.*) обнимал Льва Николаевича за плечи, я и Бирюков растирали ноги. Всех припадков было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Льва Николаевича перекинулось почти совсем поперек

кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону.

Софья Андреевна кинулась на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго оставалась в таком положении, пока мы не уложили вновь Льва Николаевича как следует на кровати.

Вообще Софья Андреевна производила страшно жалкое впечатление. Она поднимала кверху глаза, торопливо крестилась мелкими крестами и шептала: „Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!..“ И она делала это не перед другими: случайно войдя в „ремингтонную“, я застал ее за этой молитвой».

После судорог Л.Н. начал бредить, точно также, как он будет бредить в Астапове перед смертью, произнося бессмысленный набор чисел:

— Четыре, шестьдесят, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять…

«Поведение С.А. во время этого припадка было трогательно, — вспоминал Бирюков. — Она была жалка в своем страхе и унижении. В то время, как мы, мужчины, держали Л. Н-ча, чтобы судороги не сбросили его с кровати, она бросалась на колени у кровати и молилась страстной молитвой, приблизительно такого содержания: „Господи, спаси меня, прости меня, Господи, не дай ему умереть, это я довела его до этого, только бы не в этот раз, не отнимай его, Господи, у меня“».

В том, что С.А. чувствовала себя виноватой во время припадка Л.Н., призналась и она сама в дневнике:

«Когда, обняв дергающиеся ноги моего мужа, я почувствовала то крайнее отчаяние при мысли потерять его, — раскаяние, угрызение совести, безумная любовь и молитва со страшной силой охватили всё мое существо. Всё, всё для него — лишь бы остался хоть на этот раз жив и поправился бы, чтоб в душе моей не осталось угрызения совести за все те беспокойства и волнения, которые я ему доставила своей нервностью и своими болезненными тревогами».

Незадолго до этого она страшно поругалась с Сашей и Феокритовой и фактически выгнала дочь из дома. Саша переехала в Телятники, близ Ясной Поляны, в собственный дом. Толстой тяжело переживал разлуку с Сашей, которую он любил и которой доверял больше всех родных. Она была его бесценной помощницей и секретарем наравне с Булгаковым. Разрыв матери с дочерью стал одной из причин припадка. Они поняли это и помирились на следующий день.

Воспоминания Саши:

«Спустившись в переднюю, я узнала, что меня ищет мать.

— Где она?

— На крыльце.

Выхожу, стоит мать в одном платье.

— Ты хотела говорить со мной?

— Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня!

И она стала целовать меня, повторяя: прости, прости! Я тоже поцеловала ее и просила успокоиться…

Мы говорили, стоя на дворе. Какой-то прохожий с удивлением смотрел на нас. Я попросила мать войти в дом».

Задумаемся: не является ли версия, что Толстой ушел, чтобы умереть, не только неосновательным, но и очень жестоким мифом? Почему бы не повернуть зрачок, не поставить в нормальное положение и не взглянуть на этот вопрос так, как на него смотрел Л.Н. Ушел, чтобы *не* умереть. А если умереть, то не в результате очередного припадка.

Страх, что С.А. настигнет его, был не только нравственным переживанием, но и просто страхом. Этот страх проходил по мере того, как Толстой удалялся от Ясной, хотя при этом голос совести не умолкал в нем.

Когда они с Маковицким, наконец, выехали из усадьбы и деревни на шоссе, Л.Н., как пишет врач, «до сих пор молчавший, грустный, взволнованным, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны». И тут же задал вопрос:

— Куда бы подальше уехать?

Когда они сели в отдельное купе вагона 2 класса «и поезд тронулся, он почувствовал себя, вероятно, уверенным, что Софья Андреевна не настигнет его; радостно сказал, что ему хорошо». Но согревшись и выпив кофе, вдруг сказал:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Этот вопрос будет мучить его до последних сознательных мгновений жизни. И те, кто представляют себе нравственный облик позднего Толстого, хорошо понимают, что нравственного оправдания ухода для него не было, никакого, с его точки зрения, было нести свой крест до конца, а уход был освобождением от креста. Все разговоры о том, что Толстой ушел, чтобы умереть, чтобы слиться с народом, чтобы освободить бессмертную душу, справедливы для его двадцатипятилетней мечты, но не для конкретной нравственной практики. Эта практика исключала эгоистическое следование мечте в ущерб живым людям.

Это терзало его на всем пути от Ясной до Шамордина, когда еще можно было переменить решение и вернуться. Но он не

только не переменил решения и не вернулся, а бежал всё дальше и дальше, подгоняя своих спутников. И это его поведение — главная загадка.

Какой-то ответ на нее мы найдем в трех письмах Толстого к жене, написанных во время ухода. В первом, «прощальном», письме он делает акцент на моральных и духовных причинах: «… я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают (в подлиннике описка: „делает“. — *П.Б.*) старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни».

Это щадящее по отношению к жене объяснение. В этом же письме он пишет: «Благодарю тебя за твою честную сорокавосьмилетнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, в чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, в чем ты могла быть виновата передо мной».

Кроме того, что это письмо трогательно в личном плане, в нем еще каждое слово взвешено на случай его возможного обнародования. Неслучайно, прежде чем оставить письмо, Толстой накануне написал два его черновых варианта. Это письмо являлось как бы «охранной грамотой» для жены. Его она смело могла показывать корреспондентам (и показывала). Смысл его, грубо говоря, был такой: Толстой уходит не от жены, а от Ясной Поляны. Он не может больше жить в барских условиях, которые не совпадают с его мировоззрением.

Возможно, Толстой верил, что С.А. будет удовлетворена этим объяснением, не станет его преследовать и совершать безумных поступков. Но узнав, что она пыталась утопиться в пруду яснополянского парка, и получив ее ответное письмо со словами: «Левочка, голубчик, вернись домой, спаси меня от вторичного самоубийства», — он понял, что угрозы с ее стороны продолжаются. И тогда он решил объясниться с ней прямо и высказать то, о чем умолчал в прощальном письме.

Первый вариант второго письма, написанного в Шамордине, он не отправил. Оно было слишком резким. «Свидание наше может только, как я и писал тебе, только ухудшить наше положение: твое — как говорят все и как думаю и я, что же до меня касается, то для меня такое свидание, не говорю уж, возвращение в Ясную, прямо невозможно и равнялось бы самоубийству».

В отправленном письме более смягченный тон: «Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих

желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении о к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя в праве сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо».

Ушел, чтобы умереть? Да, если под этим понимать страх нелепой, бессознательной смерти, согласиться с которой, в его понимании, было всё равно что пойти на самоубийство.

Толстой бежал от такой смерти. Он хотел умереть в ясном сознании. И это было для него важнее отказа от барских условий жизни и слияния с народом.

Когда Саша в Шамордине спросила его, не жалеет ли он, что так поступил с мама, он ответил ей вопросом на вопрос: «Разве может человек жалеть, если он не мог поступить иначе?»

Более точное объяснение своего поступка он дал в разговоре с сестрой, монахиней Шамординской пустыни, который слышала ее дочь, племянница и, как ни странно, сватья Толстого Елизавета Валерьяновна Оболенская (дочь Л.Н. Маша была замужем за сыном Е.В.Оболенской Николаем Леонидовичем Оболенским). Е.В.Оболенская оставила интереснейшие воспоминания о матери, и одно из самых важных мест в них занимает встреча Л.Н. с Марией Николаевной в ее монастырской келье 29 октября 1910 года.

«Достаточно было взглянуть на него, чтобы видеть, до чего этот человек был измучен и телесно и душевно… Говоря нам о своем последнем припадке, он сказал:

— Еще один такой — и конец; смерть приятная, потому что полное бессознательное состояние. Но я хотел бы умереть в памяти.

И заплакал… Мать высказала мысль, что Софья Андреевна больна; подумав немного, он сказал:

— Да, да, разумеется, но что же мне было делать? Надо было употребить насилие, а я этого не мог, вот я и ушел; и я хочу теперь этим воспользоваться, чтобы начать новую жизнь».

К словам Толстого, переданным в воспоминаниях и дневниках других лиц, надо относиться очень осторожно и критически. И даже особенно критически, когда это близкие, заинтересованные лица. Только сопоставляя разные документы, можно найти «точку пересечения» и допустить, что здесь находится истина. Но при этом надо помнить, что этой истины не

знал и сам Толстой. Вот запись в его дневнике от 29 октября, сделанная после беседы с Марией Николаевной:

«…всё думал о выходе из моего и ее (Софьи Андреевны. — *П.Б.*) положения и не мог придумать никакого, а ведь он, хочешь не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь».

Слияние с народом

С первых же дней ухода Толстого газеты стали выдвигать свои версии этого события, среди которых была и такая: Толстой ушел, чтобы слиться с народом. Одним словом это звучало так *опрощение.*

Эта версия преобладала в советское время. Ее внушали школьникам. Толстой взбунтовался против социальных условий, в которых жил он и всё дворянское сословие. Однако, не обладая марксистским мировоззрением, поступил как анархист-народник в буквальном смысле ушел в народ.

То, что эта версия была узаконена коммунистической идеологией, которая кланялась герою статьи В.И.Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», еще не означает, что она неверная. Во всяком случае, в ней гораздо больше правды, чем в любых романтических мифах, вроде того, что Толстой бежал навстречу смерти. Желание слиться с народом, быть неразличимым в его среде, действительно, являлось сокровенной мечтой Толстого. Как он был счастлив, когда шел во время своих прогулок на киевский тракт, проходивший рядом с Ясной Поляной, и переставал быть графом, растворялся в толпе богомольцев, принимавших его за крестьянского «дедушку». Сколько драгоценных минут и часов провел в разговорах с крестьянами Ясной, Кочетов, Пирогова, Никольского и любых мест, где ему доводилось находиться и где он первым долгом считал поговорить с местными стариками.

В XX веке в среде интеллигенции, к сожалению, стало нормой посмеиваться над «опрощением» Толстого. Набивший оскомину анекдот: «Ваше сиятельство, плут подан к парадному! Изволите пахать?» На самом деле, участие в крестьянских работах (пахота, сенокос, уборочная), к которым он старался, и небезуспешно, приучить и своих детей (особенно отзывчивы оказались дочери), имело для Толстого глубокий смысл. Это было частью сложнейшего комплекса самовоспитания, без которого не было бы феномена позднего Толстого. В этом образе великого мудреца и гениального художника, смиренно идущего в крестьянской одежде за плугом, есть что-то необыкновенно важное для

понимания сущности человеческого бытия, не менее важное, чем образ египетских пирамид или вид простого деревенского кладбища. Неслучайно этот образ не нуждается в «переводе», он понятен любой национальной культуре, ибо выражает собой не какой-то каприз русского барина, но сопричастность человека земле и буквальное воплощение библейской истины: «в поте лица добывать хлеб свой насущный».

«…писатель великой чистоты и святости — живет среди нас… — писал Александр Блок в статье „Солнце над Россией“ к восьмидесятилетию Толстого. — Часто приходит в голову: всё ничего, всё еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердыни, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает свою страну и свой народ… Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и слава Богу. Толстой идет — ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений, что тогда?»

Эти слова написаны за два года до ухода и смерти Толстого, но в них уже есть их предчувствие. Закат — уход — смерть — таким виделся Блоку конец жизни Толстого. Он еще не мог знать, что и уход, и смерть произойдут ночью, когда «упыри не дремлют». Но характерно, что, размышляя о смерти Толстого, Блок не мог представить его иначе как на картине Репина «Толстой за плугом».

Тем более Блок не мог знать, что Толстой изначально соберется уходить вовсе не в неизвестном направлении. В первом варианте уход имел вполне конкретный пункт назначения. Это была крестьянская изба…

С 20 по 21 октября 1910 года в Ясной Поляне гостил знакомый Л.Н., крестьянин Тульской губернии Михаил Петрович Новиков. Они познакомились в 1895 году в Москве, когда двадцатишестилетний Новиков служил писарем в военном штабе. Его путь от революционных увлечений к толстовским идеям был, в общем, неоригинальным для того времени. Но Толстой заметил и отметил в дневнике этот визит молодого человека, горячего, искреннего и бесшабашного. Он принес Толстому секретное дело из военного штаба о расстреле рабочих на фабрике Корзинкина в Ярославле. Толстой убедительно просил его вернуть дело на место. Тем не менее через месяц Новикова арестовали, но не за кражу секретных документов, а за то же, за что ровно полвека спустя арестуют Солженицына: слишком вольное обсуждение в частной переписке личности «первого лица» государства, которым

тогда был император Николай II. Впоследствии Новиков крестьянствовал на скудном клочке земли, писал прозу и статьи и несколько раз встречался с Толстым. После революции он посылал смелые письма Сталину и Горькому о тяжелом положении крестьянства, вновь подвергался арестам и в 1937 году был расстрелян. При всей отчаянной смелости, это был удивительно здравомыслящий крестьянин, трезвый и необыкновенно трудолюбивый, один из тех, кто сумел извлечь пользу из столыпинской земельной реформы, увеличить свой надел и кормить семью своим трудом.

Именно на этого человека решил положиться Толстой.

Посетив Толстого 20 октября и поговорив с ним (в разговоре Новиков высказал сожаление, что Толстой сам не приезжает к нему в гости), крестьянин попросил разрешения ночевать, потому что опасался встретиться по пути с пьяными бродягами. Ему постелили в комнате Маковицкого. Он ложился спать, как вдруг пришел Л.Н. Сначала Новиков принял Толстого за привидение, «так легки и беззвучны были его движения». В этот визит в Ясную Поляну его вообще поразил вид Толстого: «…он был такой плохой, что я дивился в себе, как это может человек жить, мыслить и двигаться, будучи таким изможденным и высохшим?» Толстой присел на краешек кровати и начал с Новиковым разговор, который Михаил Петрович приводит в недавно переизданных воспоминаниях. Непосвященному читателю он может показаться странным, но не будем забывать, что Л.Н. старался говорить с крестьянином на его языке, как он всегда делал во время бесед с мужиками и как разговаривал даже с Горьким во время первой встречи в Хамовниках, думая, что это «настоящий человек из народа».

— Конечно, — говорил Л.Н., - если бы я еще в молодости хоть раз накричал на свою жену, затопал бы на нее ногами, она, наверное, покорилась бы так же, как покоряются ваши жены, но я по своей слабости не выносил семейных скандалов, и, когда они начинались, я всегда думал, что виноват я тут один, что я не вправе заставлять страдать человека, который меня любит, и всегда уступал.

«Всякий раз он говорил мне, — вспоминал Новиков, имея в виду неоднократные посещения Ясной Поляны, — о том, как ему тягостно жить в условиях господского дома, где его считают приживальщиком, тунеядцем из-за того, что он своей работой не дает доход своему семейству».

Нужно ли говорить, что ни «тунеядцем», ни «приживальщиком» никто в семье его не считал? Это было бы смешно; не говоря о том, что хотя он и отказался от прав на свои

произведения, но доверенность на издание сочинений до 1881 года («Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина» и, по сути, всё лучшее, что написал Толстой как художник) он оставил Софье Андреевне, и это приносило семье реальный доход. Но едва ли Новиков мог придумать эти слова. Скорее всего, Л.Н. подыгрывал крестьянскому сознанию, чтобы грубо и просто объяснить причину своего ухода из имения мужику, который работал, выбиваясь из сил, на бросовом клочке земли.

— Я как в аду киплю в этом доме, — жаловался он, — а мне завидуют, говорят, что я живу по-барски, а как я здесь мучаюсь, никто не видит и не понимает.

В ту ночь Толстой изложил Новикову свой замысел.

— Я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может, я и впрямь приду умирать в вашу хату. Только я наперед знаю, вы меня станете бранить, ведь странников нигде не любят. Я это видал в ваших крестьянских семьях, а я ведь такой же стал беспомощный и бесполезный… Я вам буду только мешать и брюзжать по-стариковски.

«Мне стоило большого усилия, чтобы не расплакаться при этих словах… — вспоминал Новиков. — Мне было стыдно, что я как бы заставил его исповедоваться перед собою, и в то же время радостно, что он, как человек, забывая наши различия, не скрывал от меня своих слабостей и горестей души, за что я и всегда любил его и привязался к нему душой… Милый и дорогой дедушка, разве я мог думать в эту минуту, что ты живешь последние дни и в этом доме, и в этой жизни?…»

Если допустить, что Новиков относительно точно приводит слова Л.Н., то нельзя не заподозрить в них подспудной иронии (бедный странник, которого будут бранить крестьяне) и опять-таки невинной игры в простого «мужичка». Показательно, что когда Л.Н. передавал свой разговор с Новиковым дочери Саше, он чуть-чуть посмеивался.

«Когда я пришла к нему за письмами в залу, он, весело и немного лукаво улыбаясь, повел меня в кабинет, а оттуда в спальню.

— Идем, идем, я тебе большой секрет скажу! Большой секрет!

Я шла за ним и, глядя на него, мне делалось легче.

— Так вот что я придумал. Я немножко рассказал Новикову о нашем положении и о том, как мне тяжело здесь. Я уеду к нему. Там меня уже не найдут. А знаешь, Новиков мне рассказал, как у его брата жена была алкоголичка, так вот если она уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает. — И отец добродушно засмеялся… Я тоже

расхохоталась и рассказала отцу, как один раз кучер Иван вез Ольгу (невестка Л.Н., первая жена сына Андрея. — *П.Б.*), а она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо, а потом обернулся к ней и сказал:

— А что, ваше сиятельство, извините, если я вам скажу. У нас по-деревенски, если баба задурит, муж ее вожжами! Шелковая сделается!»

Конечно, нельзя относиться к этому всерьез. Но атмосфера в яснополянском доме была такова, что такие «шутки» стали возможны.

О встрече с Новиковым Л.Н. пишет в дневнике сухо: «Приехал Михаил Новиков. Много говорил с ним. Серьезно умный мужик».

С некоторых пор Толстой боялся писать в дневнике всю правду, зная, что С.А., подобрав ключи от его стола, прочитывает его ежедневные записи. Он даже завел специальную записную книжечку, где начал «Дневник для одного себя», который прятал в голенище сапога. 24 сентября он пишет: «Потерял маленький дневник». Не потерял. Жена нашла его в сапоге и унесла к себе. По ее поздней версии, она случайно уронила на сапог постельное белье и… Но в данном случае это неважно. Важно, что атмосфера в доме Толстых была такой, что ей дивились слуги и яснополянские крестьяне, и Л.Н. в разговорах приходилось как-то выбираться из неловкого положения, в том числе с помощью таких «шуток».

Но его решение уехать к Новикову оказалось совсем не шуткой. 24 октября он посылает письмо:

«Михаил Петрович,

В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т.Николаева.

Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку.

Лев Толстой.

Имейте в виду, что всё это должно быть известно только вам одним».

Какие уж тут шутки! В этом письме впервые называется секретный шифр, который Толстой с Сашей и Чертковым будут использовать во время бегства Л.Н. из Ясной Поляны, чтобы обмануть С.А. и газетчиков. Великий Толстой, презиравший псевдонимы, не боявшийся подписывать своим именем дерзкие

письма царям, Столыпину и Победоносцеву, скроется за тенью Т.Николаева.

Получив письмо, Новиков растерялся. Одно дело «по-мужицки» исповедоваться друг перед другом в уютном яснополянском доме, и совсем другое — брать на себя ответственность перед всем миром, что спрятал Толстого как беглеца.

«Я не прощаю себе той медлительности, — писал в своих воспоминаниях Новиков, — которую я допустил с ответом ему на это письмо, которого, как оказалось после, Лев Николаевич ждал двое суток и только после этого, решивши, что ехать ко мне нельзя, я не отвечаю, взял направление на юг, к жившим там знакомым, а мой ответ он получил уже больным на станции Астапово. Кто знает, может быть, от этого его жизнь протянулась бы еще несколько лет, так как двухчасовой переезд до нашей станции от Ясной Поляны не повредил бы ему, тем более что и просимая изба, теплая и чистая, стояла пустой и точно ждала к себе жильцов. Да и в моей хате была маленькая удобная комната, где он мог бы приютиться на время никем не замеченный.

Я никогда не прошу себе этой оплошности!»

Напрасно Новиков винил себя. Толстой не иголка, и тульская деревня не стог сена. Со всемирно известной внешностью, при существовавшей тогда сети корреспондентов, государственного и частного сыска, Л.Н. был обречен на то, что его очень быстро найдут.

Любопытно другое. Сама эта изба, «теплая и чистая», появилась в воспоминаниях Новикова позднее, после смерти Толстого. В его ответном письме не только не было никакой избы, но само это письмо было, по сути, вежливой формой отказа. Поэтому если бы письмо это не опоздало, и Толстой получил его не смертельно больным в Астапове, а в Ясной Поляне, это ничего бы не изменило. Бежать Толстому было некуда, и Новиков постарался ему это объяснить.

«Дорогой Лев Николаевич, я получил ваше о письмо и очень тронут вашей ко мне близостью и искренностью. Тотчас же не мог ответить, чтобы не поступить опрометчиво. Я всегда с вами ад был откровенен и говорил то, что было на сердце, и теперь решил сказать вам только то, что есть у меня на душе по поводу высказанной в письме просьбы, без мысли: угодить или не угодить вам. о То время, когда вы должны были и для пользы дела, и в силу пробудившегося в вас сознания переменить внешние условия жизни — прошло для вас, и теперь изменять их надолго нет никакого g смысла… Как бы ни желал бы видеть вас разгороженным на свободе со всеми простыми людьми, но ради

сохранения вашей жизни в таком старом теле для дорогого для всех общения с вами — не могу желать этого серьезно. Желаю только, чтобы остаток вашей здешней жизни не стеснялся бы внешними условиями для общения с любящими вас, а для такого временного посещения вами ваших друзей на день, неделю, две, месяц моя хата очень неудобна. В ней есть светлая комнатка, которую все мои семейные с удовольствием уступят вам, и с любовью будут служить вам, тем более что очень маленьких детей у меня и нет, которые могли бы шуметь не вовремя. Меньшему 5 лет. Так думаю я, но если вы думаете по-другому, то пусть будет не по-моему, а по-вашему, и моя комнатка может в таком случае быть за вами сколько угодно. А в особенности с апреля по октябрь у меня можно жить без всякого стеснения друг друга. Мы боимся не того, что вы нас стесните, а обратного…

Любящий вас крестьянин Михаил Новиков».

Post scriptum шло разъяснение по поводу отдельной избы.

«В отдельной же хате считаю для вас жить невозможным по причине вашей слабости. Да совершенно отдельных хат у крестьян и не бывает. Обыкновенно есть вторые избы холодные, которые хоть и легко приспособить для жилья, сделавши в них некоторый ремонт, но они не будут отдельными, а будут через сени. Такая 6-аршинная изба есть у моего соседа, который не откажется отдать ее вам под квартиру. Или вот моя престарелая тетка будущей весной строит себе такую же 6-аршинную избу, она одинока и, как старуха умная, тоже будет рада и приютить вас, и служить вам».

Понятно, что Толстой с его крайней независимостью и в тоже время деликатностью не согласился бы на эти условия. Понимал это и Новиков… Как и то, что менять местожительство больному старику поздней осенью — это чистой воды безумие! Надо подождать до весны.

Но ждать Толстой не мог.

Письмо Новикова только 3 октября в Астапове прочел вслух приехавший туда Чертков. Л.Н. внимательно выслушал и попросил написать на конверте: «Поблагодарить. Уехал совсем в другую сторону».

«Тоска дорожная, железная…»

Из Щекина в Горбачево они ехали в купе вагона 2 класса. Позади остались усадьба и деревня Ясная Поляна, через которую два часа назад проехал удивительный кортеж. В коляске, запряженной парой, сидел старенький граф в ватнике и армяке, в

двух шапках (очень зябла голова); рядом врач, невозмутимый, с неизменяющимся выражением лица Душан Петрович в коричневом потертом тулупе и желтой валяной шапочке; впереди на третьей лошади — конюх Филя с горящим факелом (по словам Саши) или фонарем (по словам Маковицкого). Деревенские жители встают рано, и в некоторых избах уже светились окна, топились печи. На верхнем конце деревни развязались поводья. Маковицкий сошел с пролетки, чтобы отыскать конец повода, и заодно посмотрел, накрыты ли у Л.Н. ноги. Толстой так торопился, что закричал на Маковицкого. На этот крик вышли мужики из ближайших домов. Немая сцена.

Когда Маковицкий в Щекине брал билеты, он сперва хотел назвать не Горбачево, а другую станцию, чтобы запутать следы. Однако понял, что лгать не только нехорошо, но и бесцельно.

В Астапове С.А. будет допрашивать Маковицкого:

— Куда же вы ехали?

— Далеко.

— Ну, куда же?

— Сначала в Ростов-на-Дону, там паспорты заграничные хотели взять.

— Ну, а дальше?

— В Одессу.

— Дальше?

— В Константинополь.

— А потом куда?

— В Болгарию.

— Есть ли у вас деньги?

— Денег достаточно.

— Ну, сколько?

— …

Этот разговор приводит старший врач земской больницы А.П.Семеновский, которого 1 ноября телеграммой вызвали в Астапово из ближнего уездного города Данкова. Он же в своих воспоминаниях пишет об удивительном личном разговоре с Маковицким, в котором врач признался, что когда на станциях он брал билеты, то вместо денег будто бы заявлял в кассе, что берет билеты для Толстого. «Потом сочтемся». Билеты давали.

Конспиратором Толстой оказался никудышным. В Щекине, войдя первым в здание станции, он сразу спросил буфетчика: есть ли сообщение в Горбачеве на Козельск? Затем то же самое уточнил у дежурного по станции. (На следующий день С.А. от кассира уже знала, куда примерно отправился муж) Пока Маковицкий перекладывал вещи, отправляя назад ненужное, он в 400 шагах гулял с мальчиком, который ехал в школу. Подошел

поезд.

— Мы с мальчиком поедем, — сказал Толстой.

В поезде Л.Н. успокоился, поспал полтора часа, потом попросил Маковицкого достать «Круг чтения» или «На каждый день», сборники мудрых мыслей, которые он составлял. Их не оказалось.

Один из самых горьких моментов в последнем путешествии Толстого заключался в том, что многолетние привычки постоянно вступали в противоречие с новыми, непривычными для старика условиями. Казалось, ему нужно было так мало, до такой степени он опростил свой яснополянский быт… Но вот поди ж ты, именно этих-то мелочей всё время и недоставало…

В этой связи совсем не смешным представляется восклицание Софьи Андреевны по поводу бегства мужа:

— Бедный Левочка! Кто ж ему маслица-то там подаст!

И совсем трогательным видится то, что, отправляясь к мужу в Астапово, С.А. не забыла взять с собой подушечку, сшитую собственной рукой, на которой Л.Н. привык спать. Эту подушечку он узнал. Но это позже.

Начиная с потери шапки в саду, мелкие, досадные неприятности то и дело терзают яснополянского беглеца, и всё это на первых порах ложится тяжелым грузом на Маковицкого.

Из Горбачева в Козельск Л.Н. непременно желал ехать в вагоне 3 класса, с простым народом. Сев в вагоне на деревянную скамью, он сказал:

— Как хорошо, свободно!

Но Маковицкий впервые забил тревогу. Поезд «Сухиничи-Козельск» был товарный, смешанный, с одним вагоном 3 класса, переполненным и прокуренным. Пассажиры из-за тесноты перебирались в товарные вагоны-теплушки. Не дожидаясь отхода поезда и ничего не говоря Л.Н., Маковицкий поспешил к начальнику вокзала с требованием прицепить дополнительный вагон. Тот отправил его к другому чиновнику, второй чиновник указал на дежурного. Дежурный в это время был в вагоне, глазел на Толстого, которого пассажиры уже узнали. Он бы и рад был помочь, но это оказался не тот дежурный, который отвечает за вагоны. «Тот» дежурный тоже стоял здесь и разглядывал Толстого. Маковицкий повторил свою просьбу.

«Он как-то неохотно и нерешительно (процедив сквозь зубы) сказал железнодорожному рабочему, чтобы тот передал обер-кондуктору распоряжение прицепить другой вагон третьего класса, — пишет Маковицкий. — Через шесть минут паровоз провез вагон мимо нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедший контролировать билеты, объявил публике, что будет прицеплен

другой вагон и все разместятся, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок и через полминуты третий, а вагона не прицепили. Я побежал к дежурному. Тот ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся. От кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, оказался нужным для перевозки станционных школьников».

«Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России, — вспоминает Маковицкий. — Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить себе лицо об угол приподнятой спинки, которая как раз против середины двери; его надо было обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота».

Маковицкий предложил Л.Н. подостлать под него плед. Толстой отказался. «Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался».

Скоро он стал задыхаться от духоты и дыма, потому что половина пассажиров курили. Надев меховые пальто и шапку, глубокие зимние калоши, он вышел на заднюю площадку. Но и там стояли курильщики. Тогда он перешел на переднюю площадку, где дул встречный ветер, но зато никто не курил, а стояли только баба с ребенком и какой-то крестьянин…

Проведенные Л.Н. на площадке три четверти часа Маковицкий позже назовет «роковыми». Их было достаточно, чтобы простудиться.

Вернувшись в вагон, Толстой по своей привычке быстро сходиться с людьми разговорился с пятидесятилетним мужиком — о семье, хозяйстве, извозе, битье кирпича. Л.Н. интересовали все подробности. «Ein typischer Bauer» («Настоящий крестьянин»), — сказал он Маковицкому по-немецки.

Мужик оказался разговорчивым. Он смело рассуждал о торговле водкой, жаловался на помещика Б., с которым община не поделила лес, за что власти провели в деревне «экзекуцию». Сидевший рядом землемер вступился за Б. и стал обвинять во всем крестьян. Мужик стоял на своем.

— Мы больше вас, мужиков, работаем, — сказал землемер.

— Это нельзя сравнить, — возразил Толстой.

Крестьянин поддакивал, землемер спорил. Его нисколько не смущало, что он спорит с самим Толстым. «Я знал вашего братца, Сергея Николаевича», — сказал землемер. По мнению Маковицкого, «он готов был спорить бесконечно, и не для того, чтобы дознаться правды в разговоре», а чтобы любой ценой доказать свою правоту. Спор перекинулся на более широкие

вопросы: на систему единого налога по Генри Джорджу, на Дарвина, на науку и образование. Толстой стал возбужден, он привстал и говорил более часа. С обоих концов вагона стеснилась публика: крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты. «Два еврея», — замечает Маковицкий, испытывавший болезненную нелюбовь к евреям еще со времен австро-венгерской молодости. Одна гимназистка записывала за Л.Н., потом бросила и тоже стала с ним спорить…

— Люди уже летать умеют! — сказала она.

— Предоставьте птицам летать, — ответил Толстой, — а людям надо передвигаться по земле.

Выпускница Белевской гимназии Т.Таманская оказалась единственной свидетельницей путешествия Толстого в Козельск, которая оставила об этом письменное воспоминание, опубликованное в газете «Голос Москвы». Она пишет, что Толстой был «…в черной рубашке, доходившей почти до колен, и в высоких сапогах. На голову вместо круглой суконной шляпы надел черную шелковую ермолку».

Маковицкий, боготворивший Толстого и уже всерьез опасавшийся за его состояние, был недоволен этим запанибратским отношением к Л.Н. Когда Толстой уронил рукавицу и посветил фонариком, ища ее на полу, гимназистка не преминула заметить:

— Вот, Лев Николаевич, наука и пригодилась!

Когда Толстой, измученный спором и табачным дымом, еще раз отправился на площадку продышаться, землемер и девушка последовали за ним «с новыми возражениями». Сходя в Белеве, гимназистка попросила автограф. Он написал ей: *«Лев Толстой».*

Крестьянин услышал от Л.Н., что тот собирается в Шамординский монастырь, до него желает посетить Оптину пустынь.

— А ты, отец, в монастырь определись, — посоветовал крестьянин. — Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

«Л.Н. ответил ему доброй улыбкой».

В конце вагона заиграли на гармошке и запели. Толстой с удовольствием слушал и похваливал.

Поезд ехал медленно, сто с небольшим верст за почти 6 с половиной часов. В конце концов Л.Н. «устал сидеть». «Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л.Н.», — пишет Маковицкий.

Около 5-ти часов вечера они сошли в Козельске.

Впереди были Оптина Пустынь и Шамордино. В это время Толстой еще не знал, что произошло в имении после его ночного

бегства. С.А. дважды покушалась на самоубийство. Первый раз ее вытащили из пруда, второй — поймали на дороге к нему. После этого она била себя в грудь тяжелым пресс-папье, молотком, кричала: «Разбейся, сердце!» Колола себя ножами, ножницами, булавками. Когда их отнимали, грозила выброситься в окно, утопиться в колодце. Одновременно с этим послала на станцию узнать: куда были взяты билеты. Узнав, что Л.Н. и Маковицкий поехали в Горбачево, велела лакею отправить туда телеграмму, но не за своей подписью: «Вернись немедленно. Саша». Лакей сообщил об этом Саше, и она отправила нейтрализующую телеграмму: «Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой».

Мать пыталась перехитрить дочь, дочь — мать.

— Я его найду! — кричала С.А. — Как вы меня устережете? Выпрыгну в окно, пойду на станцию. Что вы со мной сделаете? Только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпушу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери!

Вечером 28 октября на имя Черткова была получена телеграмма: «Ночуем Оптиной. Завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров. Т.Николаев».

Глава вторая
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

28 октября в 4.50 вечера они сошли в Козельске. Л.Н. вышел из вагона первым. Пока Маковицкий с носильщиком переносили вещи в зал ожидания, Толстой исчез, но вскоре вернулся и сказал, что уже нанял двух извозчиков до Оптиной пустыни. Взял корзинку с провизией и повел Маковицкого с носильщиком к бричкам. Извозчиком на коляске, где поехали Толстой с доктором, оказался Федор Новиков, по случайному совпадению однофамилец крестьянина, к которому Л.Н. хотел отправиться изначально. Вскоре Новиков впервые в жизни будет давать интервью газетам. Он так скажет о своем пассажире:

— Явственных знаний у меня о нем нет, но чувствую, что сердце у него не как у всех. Хочу отстегнуть фартук экипажа, а он не дает, сам, говорит, Федор, сделаю, у меня руки есть. В церковь не ходит, а по монастырям ездит.

На второй бричке ехали вещи. По дороге Новиков попросил у барина разрешения закурить. (Кстати, барином поначалу он признал Маковицкого, Толстого он принял за старого мужика.) Толстой разрешил, но поинтересовался: сколько уходит денег на табак и на водку? Получилось, что за годовую норму табака можно купить пол-лошади, за водочную — целых две. «Вот как нехорошо!» — вздохнул Толстой. «Да, нехорошо», — согласился мужик

На пароме через Жиздру, на которой стоит Оптина, он разговорился с паромщиком-монахом и заметил Маковицкому, что паромщик этот из крестьян. У служившего в монастырской гостинице монаха Михаила, с рыжими, почти красными волосами и бородой, Л.Н. спросил: «может ли принять на постой отлученного от церкви графа Толстого?» Монах Михаил сильно изумился и отвел приезжим лучшую комнату — просторную, с двумя кроватями и широким диваном.

— Как здесь хорошо! — воскликнул Толстой.

— Я как в аду киплю в этом доме, — жаловался Толстой крестьянину Михаилу Новикову перед тем, как уйти из Ясной Поляны.

И это говорилось о доме, где он провел большую и, несомненно, лучшую часть своей жизни. Который находился в имении, где родился он сам, все его братья и сестра, большинство его детей и некоторые из внуков. Где написаны «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Власть тьмы» и большинство его классических вещей, а всего более 200 произведений. Откуда даже патриархальная Москва, не говоря о Петербурге, представлялась ему шумным и суетным адом.

Ведь уход из Ясной Поляны был, по сути, бегством из России! «Без своей Ясной Поляны, — писал Лев Толстой, — я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».

Насколько же должна была измениться жизнь в Ясной Поляне или сам Толстой, чтобы пребывание в родовой усадьбе стало казаться ему «адом»?

Посетив Оптину пустынь и приехав в Шамордино, он сказал сестре, что рад бы поселиться в Оптиной и нести самое тяжелое послушание при одном условии: не ходить в храм.

Монастырская жизнь казалась ему более привлекательной, чем домашний быт. Жизнь в крестьянской избе, или монастыре, или скромной гостинице восьмидесятидвухлетний старец находил душевно комфортнее, чем уют родных стен.

По крайней мере, с лета 1909 года он лучше чувствовал себя в гостях, чем дома. Уезжая в Кочеты к старшей дочери Татьяне и зятю М.С.Сухотину, он отдыхал душой и не только не торопился обратно в Ясную, но и по возможности оттягивал это возвращение. Приехав в гости к В.Г.Черткову в подмосковное село Мещерское летом 1910 года, Толстой с неохотой покидал его и вернулся только после второй тревожной телеграммы о ненормальном состоянии С.А.

«Лев Николаевич, по-видимому, чувствует себя очень хорошо, — пишет в дневнике 16 июня 1910 года в Мещерском секретарь Валентин Булгаков. — Всегда такой оживленный, разговорчивый. Думаю, что он отдыхает здесь после всегдашней суеты у себя дома. Да и самая сравнительная простота чертковского обихода, как мне кажется, гораздо больше гармонирует со всем душевным строем Льва Николаевича, чем опостылевшая ему „роскошь“, а главное, хоть и не полная, но несомненная аристократическая замкнутость яснополянского дома».

Валентин Булгаков в то время был слишком молод и слишком «толстовец», чтобы объективно оценивать ситуацию. Однако неслучайно он берет слово «роскошь» в кавычки, намекая, что «роскошь» эта была, скорее, в голове Толстого, а не в реальности. Никакой «роскоши» в Ясной Поляне не было и в помине. Но миф о якобы «роскошных» условиях, в которых жил до ухода Толстой, до сих пор прочно бытует в российском сознании. Между тем посещавший Ясную Поляну в 1899 и 1910 гг. канадский политэконом Джеймс Мейвор, родившийся и учившийся в Великобритании, писал: «Уровень жизни в Ясной Поляне, помимо характерной для России краткости промежутков между приемами пищи, был скорее ниже, нежели выше уровня семьи среднего достатка в Англии».

Не было речи и об «аристократической замкнутости» усадьбы, представлявшей собой, скорее, проходной двор. Любой нищий, пьяный и сумасшедший мог заявиться к Толстому со своими проблемами. Удивительно, что за всё время столпотворения в Ясной никто из этих людей не догадался совершить на Л.Н. покушения или как-то оскорбить его физическим действием. И это при том, что Толстой получал немало писем и телеграмм с угрозами, посылки с веревками (намек на то, чтобы повеситься) и т. п. Но открытость и обаяние личности Л.Н. обезоруживали потенциальных хулиганов и террористов гораздо надежнее полиции.

Только во время крестьянских грабежей и поджогов 1905–1908 годов С.А. обратилась к тульскому губернатору с просьбой выделить для Ясной Поляны полицию для охраны. Но даже этот ее поступок вызвал сильное сопротивление мужа и младшей дочери.

В Кочетах и Мещерском Л.Н. отдыхал не от «аристократизма», а, напротив, от чрезмерного демократизма позднего яснополянского быта, виновником которого был сам Толстой с его учением, перевернувшим сознание тысяч людей, многие из которых мечтали непосредственно поговорить с самим учителем. Но еще больше людей, не прочитавших ни одной книги Толстого, стремились к нему просто из любопытства, чтобы поглазеть на знаменитого и доступного человека. Другие хотели похвастаться перед ним собственным умом. Кто-то приходил пожаловаться на жизнь. Кто-то — поклянчить денег.

При личной встрече с Александром III тетушка Толстого Александра Андреевна Толстая сказала государю: «У нас в России только два человека истинно популярны: граф Лев Толстой и отец Иоанн Кронштадтский». Император, посмеявшись над этим сравнением, согласился с ней. Но знаменитый проповедник

Иоанн Кронштадтский, ныне причисленный к лику святых, проповедовал в огромном Андреевском соборе, а для личных встреч имел странноприимный дом в Кронштадте. Ничего этого Толстой не имел и не мог иметь по своим убеждениям. Не мог он и закрыться в келье, подобно старцам Оптиной пустыни, предоставив келейнику заниматься очередью среди посетителей.

«Уезжает сегодня мой милый тесть, — отмечает 3 июля 1909 года в имении Кочеты зять Толстого М.С.Сухотин. — Я подчеркнуто говорю „милый“, так как действительно его пребывание здесь оставило впечатление мягкости, деликатности и большой легкости совместной с ним жизни. Если бы не ревнивая при всяком удобном и неудобном случае моя теща, постоянно подпускавшая в письмах к своему мужу шпильки за то, что он нашел в Кочетах место, где ему живется лучше, чем в Ясной Поляне, то, конечно, Л.Н. отсюда еще долго бы не уехал».

«Уехал папа из Кочетов 3-го июля, — записывает в дневнике дочь Толстого Татьяна Сухотина. — Мне кажется, ему было хорошо у нас: было мало посетителей, никто не вмешивался в его умственную работу, не понукал его и не распоряжался им. Он был совершенно свободен, а кругом себя чувствовал любовь и ласку и желание каждого ему угодить».

Но вот запись Маковицкого о нахождении Толстого уже в Ясной Поляне 26 июля 1909 года: «Посетители. Молодой босяк рассказал Л.Н., как пустил красного петуха попу еще ударил кинжалом кого-то. Грозит каторга. Скрывается, скитается. Сегодня много любопытных гуляющих…»

«Считать одну свою жизнь жизнью — безумие, сумасшествие», — пишет Толстой в дневнике примерно в это же время. А в Астапове произносит фразу, которая стала своего рода предсмертным духовным посланием Толстого: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, а вы смотрите на одного Льва».

Тем не менее необходимо признать, что именно «пропасть людей», приезжавших и приходивших в Ясную в 1900-х годах, весьма серьезно осложняла жизнь его и близких.

Конечно, среди «пропасти людей» встречались и духовно близкие лица, и просто люди неслучайные, вроде молодого Алексея Пешкова, в будущем Максима Горького, пришедшего в 1889 году пешком со станции Крутая Грязе-Царицынской железной дороги, чтобы от лица единомышленников просить у Толстого земли и денег для земледельческой коммуны. Среди паломников Ясной Поляны были и одинокие духовные искатели; и серьезные религиозные сектанты, преследовавшиеся властями; и отчаявшиеся в поисках смысла жизни гимназисты, студенты,

рабочие, служащие; и непьющие, основательные мужики, уважавшие Толстого за его любовь к крестьянам.

Но были и другие визиты.

7 апреля 1910 года. Девица-учительница, не закончившая курсы, но желающая открыть «свою» школу. Дело за малым: надо закончить образование. И еще нужны деньги, чтобы «быть полезной народу». Л.Н. говорит с ней о чем-то, «но ей ничего этого не нужно». Просит денег хотя бы на дорогу. Отказал.

18 апреля. Старичок-полковник, весь в орденах, православный, монархист. Ездит по частям войск, обучает солдат грамоте. Л.Н. долго с ним беседует. Вышедши от Л.Н., полковник говорит Татьяне Львовне, что у него есть секрет, и долго мнется. Наконец, рассказывает, что написал стихи против Толстого за его отступничество от православной веры и русской государственности. «Что мне теперь с ними делать? Придется их сжечь, а я только что напечатал две тысячи…»

19 апреля. Приезжали два японца.

30 апреля. Явился Иванов, отставной артиллерийский поручик, ставший бродягой и иногда помогавший переписывать сочинения Толстого, с одним пропагандистом революции, ткачом (около 55 лет), сошедшим с ума. Ткач полтора часа произносит иностранные слова, перемешанные с русским языком. Л.Н. дает ему высказаться в фонограф.

1 мая. Л.Н. рассказал о слепом мужике из Свинок, приходящем иногда просить помощи. Он пашет с мальчиком, у него шестеро детей, бедность.

22 мая. Студент Московского университета Жилинский. Идет пешком на Кавказ. Зашел за книжками. Л.Н. с ним поговорил. Вечером одобрял его: «Оригинал». И рассказал, что есть такой купец в Ельце, который на лошадях ездит в Москву, презирая железные дороги: «Я не кобель, чтобы по свистку бегать».

28 мая. После обеда пришел молодой крестьянин за 110 верст со стихами: безграмотно, без размера. Л.Н. сказал ему обыкновенное о стихах, что писать их не нужно. «Я могу и в прозе изобрести, — ответил он. — А Кольцов мог? У меня есть гений, вдохновение».

29 мая. Два осетина из деревни Христианской Владикавказского округа. Восторженные, энтузиасты… Мало читали Толстого, но доверяют ему, как богу.

12 июня. Две барышни. Одна — с просьбой найти работу, вторая привезла рукопись рассказа о калеке. Сама несчастная и слабосильная, но хочет жить полезной, в христианском смысле, работой. Другая девушка — хромая, из Оренбургской губернии, с вопросами о жизни. Обе девицы сочиняют…

Вот случайная, выбранная из дневников Маковицкого хроника яснополянских встреч весны-лета 1910 года. Но при этом надо учесть, что Маковицкий не находился при Толстом неотлучно. Значительная часть времени уходила у него на лечение крестьян Ясной Поляны и окрестных деревень.

Если бы Толстой был Чеховым, вся эта бесконечно-пестрая вереница характеров была бы полезной ему как художнику. Но в конце жизни Толстой практически отказывается от художественного творчества. Он целиком сосредоточен на мыслях о Боге и смерти. Он страшно одинокий мыслитель, который прежде всего нуждается в покое, уединении. Вся эта протекающая через его душу людская река с неизбежным «мусором» уже не вращает колеса его творчества, но «мусор» остается, ложится тяжелым осадком в душе. Помочь этим людям он не может. Его выстраданная и очень личная правда невнятна им. Да они и не шли к Толстому за правдой. Они шли к Толстому. Но он не был исповедником. Он был частным человеком, со сложными домашними проблемами, обострявшимся нездоровьем и ожиданием смерти.

Дневник от 9 июля 1908 года: «Бесчисленное количество народа, и всё это было бы радостно, если бы всё не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости роскоши, прислуги и бедности и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая, мучительно страдаю от этого, и один. Не могу не желать смерти…»

Эти слова написаны за полтора месяца до восьмидесятилетнего юбилея. Юбилей он встретил в кресле-каталке по причине обострившейся болезни ног, что избавило от излишнего общения с посетителями.

С некоторых пор он стал любить или, по крайней мере, ценить болезнь и, наоборот, отрицательно относиться к здоровью. И дело не только в том, что болезнь приближала к смерти, а смерть для него стала главным событием жизни. Будучи слабым, больным или даже прикованным к постели, он имел формальное право не встречаться с людьми, не отвечать на письма (их приходило тридцать-тридцать пять ежедневно), передоверяя это Саше и секретарю. Но проходила слабость, возвращалось бодрое состояние тела и души, и тогда, точно мухи на мед, слетались эти загадочные, праздношатающиеся личности, которые считали себя в праве «грузить» Толстого своими грешками, страстишками, сомненьицами и разным душевным мусором, который человек оседлый, трудовой, семейный стесняется выносить «на люди».

Дневник от 19 апреля 1910 года: «Вчера посетитель: шпион, служивший в полиции и стрелявший в революционеров, пришел,

ожидая моего сочувствия. И еще такой, что очевидно, желал подделаться тем, что попов бранит. Очень тяжело это, что нельзя, то есть не умею по-человечески, то есть по Божьи, любовно и разумно обойтись со всяким».

Юпитер и бык

Когда Булгаков говорит о «демократизме» дачи Черткова в Мещерском, противопоставляя его «аристократической замкнутости» яснополянского дома, он не упоминает любопытнейший факт. Толстой выехал к Черткову 12 июня 1910 года. А уже 13 июня Чертков отправил в московские газеты «Письмо в редакцию», где писал, что «Льву Николаевичу нежелательно посещение здесь посторонних лиц, не имеющих до него определенного дела» и чтобы «лица, раньше чем предпринимать поездку, списывались со мною относительно наиболее удобного для Льва Николаевича дня их посещения».

Письмо было напечатано и вызвало гнев С.А. «Прочла сегодня заявление Черткова о том, чтобы спрашивали его позволения люди, желающие тебя видеть. Зачем? Ведь ты 24-го хочешь вернуться; а это скорее вызовет посетителей», — пишет она Л.Н. из Ясной Поляны.

Это «Письмо в редакцию» «духовного душеприказчика» Толстого, как называл себя Чертков, вдвойне любопытно. Во-первых, если Чертков действительно хотел избавить Л.Н. от навязчивых посетителей на своей даче в Мещерском, нельзя было поступить хуже, чем печатать письмо. По сути, оно перенаправляло поток паломников из Поляны в Мещерское.

Во-вторых, письмо больно задевало С.А. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Быком в данном случае оказывалась жена Толстого, которая ни при каких обстоятельствах не могла бы позволить себе подобное заявление, хотя имела на него куда большее право. Ясная Поляна формально принадлежала ей. Она отвечала за порядок в усадьбе, не говоря о спокойствии своего мужа. В отличие от Черткова, она не была сторонницей учения Толстого и не любила «темных», как она называла последователей Толстого. Но она никогда не посмела бы публично заявить, чтобы посетители Ясной предварительно списывались с ней, чтобы получить билет на встречу с Толстым.

Жена Толстого должна была знать свое место. Вот ее запись в дневнике от 13 сентября 1908 года:

«Приходил ко Льву Николаевичу какой-то рыжий босой крестьянин, и долго они беседовали о религии. Привел его

Чертков и всё хвалил его за то, что он имеет хорошее влияние на окружающих, хотя очень беден. Я хотела было прислушаться к разговорам, но когда я остаюсь в комнате, где Л.Н. с посетителями, он молча, вопросительно так на меня посмотрит, что я, поняв его желание, чтоб я не мешала, принуждена уйти».

Конечно, это обижало ее. Через три дня она жалуется в дневнике: «…и мудр, и счастлив Л.Н. Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. Хотел — писал, хотел — пахал. Вздумал шить сапоги — упорно их шил. Задумал учить детей — учил. Надоело — бросил. Попробовала бы я так жить? Что было бы с детьми и с самим Л.Н.?»

Революция 1905–1908 годов вызвала волну не только вооруженных восстаний в обеих столицах, но и крестьянских беспорядков, которые В.Г.Короленко называл «грабижками». Эти «грабижки» происходили и в Ясной Поляне, хотя и не в таком масштабе, как в других имениях, в том числе и в Тульской губернии, где крестьяне просто жгли помещичьи дома. В этой революции пострадала семья Берсов, из которой происходила С.А.: 19 мая 1907 года эсерами-террористами был убит ее младший брат, инженер путей сообщения Вячеслав Берс. Она переживала из-за смерти брата, но еще больше ее волновала судьба своей семьи, семьи Толстых. Она была женщиной не из пугливых, сама недавно перенесла тяжелейшую операцию прямо в яснополянском доме и вела себя во время нее очень мужественно. Но она обязана была озаботиться внешней защитой Ясной Поляны, в которой проживал ее известный на всю Россию муж, вызывавший не только любовь и преклонение, но и ненависть. Так, на юбилей Толстого в 1908 году ему приходили не одни поздравительные, но и «злобные подарки, письма и телеграммы, — пишет в дневнике С.А. — Например, с письмом, в котором подпись „Мать“, прислана в ящике веревка и написано, что „нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой“. Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, которые она приписывает Толстому».

Начались волнения и внутри Ясной Поляны, о которых пишет Маковицкий 5 сентября 1907 года: «Яснополянские крестьяне несколько дней как забастовали; пять-шесть настраивают, другие подчиняются. Ушли с работы и с тех пор не приходили; не платят аренды, пускают в сад лошадей, ночью с телегами приезжают за овощами, две ночи обстреливали (правда ли?) сторожей, полная распущенность… Софья Андреевна вызвала стражников, чтобы отнять револьверы и ружья и напутать… Л.Н. покоряется…»

Покоряется, но не скрывает своего раздражения тем, что его

жена через тульского губернатора Д.Д.Кобеко организовала в Ясной Поляне полицейскую охрану в виде двух стражников, в обязанность которых, среди прочего, входило проверять паспорта у посетителей Поляны.

«Был тяжелый разговор с Соней», — пишет Толстой в дневнике 15 сентября, и этот разговор был уже не первым. Толстой был очень недоволен тем, что стражники грубо обходятся с крестьянами и посетителями Ясной. Да что там с посетителями, они и самому Толстому на его просьбу не проверять паспорта грубо ответили, что «графиня желает быть огражденной от подозрительных людей». Но полицейских тоже можно понять: ведь их вызвал не граф, а графиня.

Толстой недоволен, а его двадцатитрехлетняя дочь Саша просто-таки возмущена.

— Разве папа надо охранять стражниками? Как ему это тяжело! Если бы не папа, я бы сейчас уехала!

Можно понять и Сашу… Она молода, принципиальна и всем сердцем разделяет «непротивленческие» убеждения отца, которые он в эти же самые дни излагает в своем дневнике:

«Убийства и жесткость всё усиливаются и усиливаются. Как же быть? Как остановить? Запирают, ссылают на каторгу, казнят. Злодейства не уменьшаются, напротив. Что же делать? Одно и одно: самому каждому все силы положить на то, чтоб жить по-божьи. Они будут бить, грабить. А я, с поднятыми по их приказанию кверху руками, буду умолять их перестать жить дурно. „Они не послушают, будут делать всё то же“. Что же делать? Мне-то больше нечего делать».

Ему больше нечего было делать. Ему, с его выстраданными идеями, оставалось только, не принимая насилия, не сопротивляться ему. Кстати, толстовскую идею «непротивления» часто понимают как согласие с насилием. Это ошибка, против которой всегда протестовал Толстой. Не принимать, но и не сопротивляться. Всякое сопротивление — насилие, а насилие порождает новое насилие.

Но С.А. - не Лев Толстой. Она хозяйка имения. Может, и не самая лучшая, но она чувствует ответственность, которую переложил на ее плечи муж, и твердо знает одно: позволят крестьянам своевольничать нельзя. Сама она ничего против этого сделать не может. Нужны стражники. Жене Толстого принадлежит афоризм, в котором беспомощность слабой женщины соединена с опытом личного хозяйствования в предреволюционное лихое времечко: «Хозяйство — это борьба за существование с народом».

И еще она знает, что человек без паспорта — это либо

бродяга, либо беглый преступник, от которых можно ждать всё что угодно. И случись что-нибудь с ее мужем, ей первой этого не простят. Почему она не уберегла великого Толстого? Ведь это ей была доверена его жизнь! И не только его, но и жизнь Саши, и Тани Сухотиной, приезжавшей в Ясную Поляну с дочкой Танечкой, внучкой Л.Н. и С.А., от которой старики были без ума.

Щепетильность проблемы заключалась еще и в том, что паспортов не имели и наиболее последовательные «толстовцы», потому что иметь паспорт значило признавать законы государства, построенного на насилии.

Все эти проблемы снимались сами собой, когда Л.Н. находился не дома, а в гостях. Здесь забота о его спокойствии, о том, чтобы ему не докучали назойливые посетители, была нормальным делом. Но в Ясной Поляне было не так. Ни посетителям усадьбы, ни даже крестьянам не было дела до того, что хозяйкой имения является жена Толстого, а не граф. К нему шли с жалобами обиженные стражниками беспаспортные «толстовцы», к нему обращались родные крестьян, арестованных за рубку леса и кражи на огородах. Положение это было мучительно и для него, и для С.А. Это был гордиев узел, который приходилось, волей-неволей, разрубать жене Толстого. Это портило ее характер, обостряло и без того не любовные отношения с младшей дочерью, раскалывало семью на сторонников матери и сторонников отца.

«…моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше. Она была не только женой, она была матерью, а матерям особенно свойственно мечтать о земных благах для своего потомства», — писал в «Очерках былого» старший из сыновей Толстого Сергей Львович.

Но было и еще одно тонкое обстоятельство, которое отравляло последние годы жизни Толстого в Поляне.

Почему бежал отец Сергий?

Повесть «Отец Сергий» — одно из самых глубоко личных произведений Толстого. Он писал «Сергия» не торопясь, с большими перерывами, на протяжении почти десять лет, как и «Хаджи-Мурата». Обе повести опубликованы после смерти писателя и уже на этом, хотя и формальном, основании могут рассматриваться как своего рода художественные «завещания» Толстого.

«Отец Сергий» — повесть об уходе. Это является ее главной темой, и тем любопытнее, что смысл ее складывался не сразу, по мере накопления некоего собственного духовного переживания, которое он не спешил изложить на бумаге, а тем более — обнародовать.

Впервые сюжет «Отца Сергия» был пересказан в письме к Черткову в феврале 1890 года — до места, где светская красавица Маковкина приезжает к отцу Сергию с намерением провести ночь в его келье, поскольку она заключила на это пари. Это — примерно одна треть содержания «Сергия».

Тем, что повесть была написана, мы во многом обязаны Черткову. Опасаясь, что сюжет останется невоплощенным, и желая втянуть Толстого в работу над ним, он переписал полученное письмо, оставляя между строками большие пространства для дальнейшей работы, и возвратил копию письма вместе с подлинником. Он не раз поступал таким образом, стимулируя Толстого для писания художественных произведений. Это опровергает распространенное мнение, будто Чертков был заинтересован исключительно в учительской стороне деятельности Толстого в ущерб его художественному гению.

Однако, как это часто бывало с Толстым, смысл повести перерос ее сюжет. Смысловой центр сместился с сюжета об искушении отца Сергия, бывшего князя Касатского, двумя женщинами, красавицей Маковкиной и купеческой дочкой Марьей, в сторону третьей героини — Пашеньки, к которой отправился Сергий после ухода из кельи. Несомненно, главным для Толстого, в конце концов, стала не остросюжетная история, а история с Пашенькой, которая занимает в повести всего несколько последних страниц.

Итак, справившись с дьяволом в лице Маковкиной ценой указательного пальца левой руки, Сергий не выдерживает, казалось, меньшего искушения: «падает», соблазненный слабоумной девицей с развитыми женскими формами.

Этот контраст между двумя искушениями: тонким, изощренным и грубым, наглым («Что ты? — сказал он. — Марья. Ты дьявол. — Ну, авось ничего») — составляет интригу, но не душу повести.

Душа повести, ее главный смысл не в том, почему бежал отец Сергий, а в том, почему и от кого он *ушел*.

После того, что случилось с Марьей, у Сергия не оставалось другого выхода, как бежать. Но уход он замыслил гораздо раньше, а то, что было с Марьей, стало только поводом для бегства. Можно предположить, что если бы не было Марьи, Сергию потребовался бы другой повод, чтобы уйти, оставив какое-то

объяснение своего поступка. Чтобы его уход воспринимался не как новая ступень его святости, а как свидетельство того, что он обыкновенный грешный человек.

«Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже всё обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства».

Этот дьявол возникает раньше Марьи, и его бегство из кельи было бегством от него. Бежать от него без помощи Марьи он бы не смог. Этот дьявол — людская слава. Просто уйти означало бы усилить свою славу, подыграть дьяволу и окончательно покориться ему. Вот почему отец Сергий медлил с уходом и словно ждал появления этой дурочки, соблазнившей его легко, потому что он давно был готов к этому.

«С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что стал подобен месту, где прежде был ключ. „Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня… Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли всё, осталась одна грязь…“»

Мучение отца Сергия в том, что «он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. „Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?“ — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его».

Этого дьявола невозможно воплотить в кинематографе. Он не

имеет конкретного лица, у него множество лиц. В конце концов, это толпа, «чернь». То, что этот дьявол будет истязать Толстого в конце жизни, он предсказал в «Отце Сергии», как и то, что единственным спасением от этого дьявола является бегство в никуда, в безвестность. Убежать от толпы можно только растворившись в толпе. Иначе она рано или поздно тебя настигнет и потребует ответов на свои вопросы. И никакое «Подите прочь!» тут не спасет. В случае же Толстого ситуация была вдвойне безвыходной, ибо ясного пушкинского понятия о «черни» в его мировоззрении не существовало.

«Суди о других, как о себе же, — пишет Толстой в дневнике 13 февраля 1907 года. — Ведь это — ты же. И потому будь в их дурных делах так же снисходителен, как ты бывал и бываешь к себе. И так же, как в своих грехах, надейся на их раскаяние и исправление».

Это глубоко христианская мысль, но в реальной яснополянской жизни было невозможно ежедневно отождествлять себя с множеством людей, которые писали и шли к Л.Н. в полной уверенности, что они единственные, для кого он существует на этой земле. Подавляющее большинство писем и словесных просьб были просьбами о деньгах. Напрасно он несколько раз напечатал в газетах письма с напоминанием, что отказался от собственности и прав на сочинения. Это только раздражало просителей, заставляло их думать, что граф лукавит.

Вторая по величине категория писем и обращений была «обратительная»: эти люди пытались либо вернуть Толстого в лоно православия и государственности, либо, указав на его ошибки и противоречия, наставить на истинно «толстовский» путь, как они его понимали.

И только третья, самая маленькая категория людей писали и шли к Толстому с серьезными, искренними вопросами о жизни и Боге. Эти письма и обращения он называл просто «хорошими». Он относил к ним даже такие, где не было серьезных мыслей, а было только искреннее желание поговорить, высказать душу или хотя бы без всякой задней мысли напомнить о себе, как Бобчинский и Добчинский в гоголевском «Ревизоре» просили Хлестакова напомнить о себе Государю. К «хорошим» письмам он относил, например, такие:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Осмелюсь прибегнуть к милосердию Господню, чтобы Господь послал мне грешному разумение написать сию письмо к многим уважаемыми народами русской земли, даже слышно и заграницами, Ваше громкое имя, — то и я, грешный человек и самый маленький, как букашка, хочу доползти хоть письмом до вашего имени, Лев

Николаевич г-н Толстов».

На такие бесхитростные письма Толстой обязательно отвечал. Мучили его другие люди. Они писали и шли к Толстому с раз и навсегда принятыми убеждениями, неважно, толстовскими или антитолстовскими. Это были духовные насильники, и вот здесь Толстому с его «непротивлением» приходилось туго.

Валентин Булгаков рассказывает об одном сне Толстого в феврале 1910 года. «Ему снилось, что он взял где-то железный кол и куда-то с ним отправился. И вот, видит, за ним крадется человек и наговаривает окружающим: „Смотрите, Толстой идет! Сколько он вреда всем принес, еретик!“ Тогда Лев Николаевич обернулся и железным колом убил этого человека. Но он через минуту же, по-видимому, воскрес, потому что шевелил губами и говорил что-то».

Нет, не из-за одних семейных противоречий и стремления к опрощению ушел Толстой из Ясной. Одним из мотивов ухода или бегства был дьявол земной славы, слишком обостренной любви-ненависти к нему людей, от чего он страдал, мечтал избавиться, превратившись в обыкновенного старика. В «Отце Сергии», законченном в 1898 году, более чем за десять лет до исчезновения из Ясной Поляны, он продумал, на первый взгляд, крайне оригинальный, на самом же деле проверенный веками юродства вариант этого исчезновения. Чтобы исчезнуть не умножая земную славу, нужно совершить какой-то донельзя неприличный поступок, который перечеркнул бы твое былое величие, твою ложную святость.

Увы или к счастью, эта модель была также невозможна для Толстого, как имитация самоубийства («Живой труп») и подмена своего тела в гробу («Посмертные записки старца Федора Кузмича»), Для ухода Толстого не было готовых моделей.

А как было бы хорошо! «Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными».

Грешник поневоле

А ведь было время, когда Толстой не только не думал об

уходе из Ясной Поляны, но любой отъезд из нее воспринимал как неприятную обязанность, как досадный перерыв в естественном течении своей жизни. Было время, когда он, напротив, пешком уходил из Москвы в Ясную, совершая как бы паломничество в свое имение, как совершал паломничество в Троице-Сергиев монастырь, Оптину пустынь и Киевско-Печерскую лавру.

Когда в 1847 году рано осиротевшие братья Толстые произвели раздел родительского наследства, Льву, как младшему брату, досталась Ясная Поляна. Он был несказанно счастлив… Невозможно представить, что происходило в душе восемнадцатилетнего юноши, когда он стал хозяином родового поместья, с которым были связаны самые чистые, священные воспоминания.

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений…

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие — но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любви и надежд на чистое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастным, и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья; дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями к жизни?

Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели

остались одни воспоминания?»

Поразительные строки из первого завершенного произведения Толстого — повести «Детство»! Они дают представление не только о том, с чего он начинал жизненный путь, но и как мечтал его завершить. Здесь, по сути, отражен весь духовный вектор жизни Толстого.

Жизнь есть счастье. Наивысшее счастье достигается через веру в Бога и любовь ко всем людям. Вера и любовь — это даже не добродетели. Это самая насущная и, если угодно, эгоистическая потребность души. В детстве, если оно прекрасно, эта потребность утоляется сама собой. По мере взросления эгоистические потребности тела заглушают и подменяют главные потребности души — жажду веры и любви. Но чем больше человек удовлетворяет потребности тела, тем он более несчастен. И чем дальше он заходит в удовлетворении эгоистических потребностей тела, тем дальше от источников счастья.

Возвращение к источникам требует уже колоссального духовного напряжения, трудной, педантичной работы над собой, и всё ради того, чтобы обрести то, что в детстве дается даром.

Вот в сжатом виде вся духовная философия Толстого, которая определяла его духовную практику. Парадокс состоял в том, что насколько прост был желаемый духовный результат, настолько невероятно сложной была духовная практика. «Дело жизни, назначение ее — радость, — писал Толстой. — Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь, ищи эту ошибку и исправляй». «Всё в табе и всё сейчас», — любил повторять Л.Н. стихийного крестьянского философа Василия Кирилловича Сютаева. Но какой же громадной работы над собой требовало достижение этого состояния! Весь дневник Толстого, начиная с 1847 года до самой смерти, посвящен, по сути, непрерывной хронике этой тяжелой работы.

Это похоже на попытку возвращения в рай. Вернее, в то райское состояние души, которое описано в «Детстве». Первое упоминание о работе над «Детством» — январь 1851 года; закончена повесть летом 1852-го. Дневник Толстой начинает вести в марте 1847 года в казанской университетской клинике, где лечится от *гаонарви* (гонореи), которую получил «от того, от чего она обыкновенно получается». Таким образом, первая запись в дневнике свидетельствует о том, насколько далек он от детского, «райского» состояния души. Постыдная физическая нечистота — всего лишь внешнее проявление ужасного омертвения души, но и сигнал к тому, что нужно, пока не поздно,

начинать работу над собой. И этой-то главной работе он и посвятит всю жизнь, цель и назначение которой укажет в «Детстве».

Потребность любви жила в Толстом всегда. Но сила веры и невинность были утрачены очень скоро после того, как он покинул детский рай, свою Ясную Поляну. «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере, — пишет он в „Исповеди“ в конце 70-х годов. — Меня учили ей и с детства, и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили…

Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».

Эти строки писались Толстым в то время, когда его сознание меняло полюса: всё, что он ранее считал белым, становилось черным и наоборот. На самом деле, не так уж он был одинок в своей молодости. Три прекрасных старших брата, Николай, Сергей и Дмитрий Толстые, закончили тот же Казанский университет, в котором учился он. Нежно любимая младшая сестра Мария. Две тетушки: Пелагея Ильинична Юшкова и Татьяна Александровна Ергольская. Последняя заменила младшим детям, Дмитрию, Маше и Льву, их мать в Ясной Поляне. Пелагея Ильинична приняла братьев Толстых в Казани.

Одиночество молодого Л.Н. заключалось, скорее, в том, что, в полной мере «отдаваясь страстям», он, тем не менее, отчаянно не желал становиться «похож на большого». Принимая внешние правила игры взрослых, оставался «внутренним ребенком». И конечно, неслучайно первое, прославившее его, произведение называлось «Детство».

Дневник Толстого периода начала работы над «Детством» рисует поистине удручающее состояние души. Это полный контраст с тем детским, «райским» настроением, которое показано в «Детстве». У непосвященного читателя может создаться впечатление, что это писал не здоровый цветущий молодой человек, который скоро отправится добровольцем на Кавказ и будет участвовать в боевых операциях против чеченцев,

но изнеженный хлюпик, «декадент».

7 марта 1851 года: «…недостаток Энергии».

9 марта: «…недостаток Энергии».

13–14 марта: «Мало гордости… обжорство… лень… обман себя… ложь…»

16 марта: «Лень… трусость… рассеянность… мало твердости…»

3 апреля: «Тщеславие… обман себя… слаб… вял… неопрятен…»

Но это обманчивое впечатление. Беспощадная пристальность, пунктуальность, с которыми Толстой заносил в дневник малейшие проявления слабоволия, слабодушия, говорят об обратном. С самого начала ведения дневника он начинает ту самую последовательную работу над собой, результатом которой стал феномен позднего Толстого. Феномен, о котором профессор В.Ф.Снегирев, напомним, писал: «Тот, кто вглядывался в его движения, посадку, поворот головы, походку, тот ясно видел *всегда* сознательность движений, т. е. каждое движение было выработано, разработано, осмыслено и выражало идею…»

Толстой сравнивал эту работу над собой с занятиями физкультурника: «Да, как атлет радуется каждый день, поднимая большую и большую тяжесть и оглядывая свои всё разрастающиеся и крепнущие белые (бисепсы) мускулы, так точно можно, если только положишь в этом жизнь и начнешь работу над своей душой, радоваться на то, что каждый день, нынче, поднял большую, чем вчера, тяжесть, лучше перенес соблазн» (Дневник. 9 ноября 1906 года).

Душевных и физических сил Л.Н. было не занимать. Но настоящей веры, любви, невинного чувства непрерывного счастья в общении с Богом, миром и людьми уже не было. Остались лишь воспоминания, которые он так поэтически воспроизвел в «Детстве». На деле же было совсем другое.

«Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином, когда виновата…» — пишет в дневнике на Кавказе.

В промежутке между вступлением в права хозяина Ясной и бегством (да, да, бегством!) на Кавказ Толстой ведет обычный для молодого, небедного и неженатого дворянина того времени образ жизни. Это вино, карты, цыгане и проститутки (будем называть вещи своими именами).

«Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. — Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам», — пишет в дневнике 18

апреля 1851 года.

Что за правила такие? А вот: «Сообразно закону религии, женщин не иметь» (запись 24 декабря 1850 года).

Те, кто с чрезмерным любопытством выискивает в дневниках Толстого свидетельства о его якобы ужасно порочном образе жизни, не вполне представляет себе образ жизни дворянства того времени. Во многом это происходит благодаря Толстому с его «Войной и миром» и «Анной Карениной», да еще и в отфильтрованном кинематографическом исполнении. Поместный дворянин представляется нам в образе Константина Левина, а городской развратник — в образе милейшего Стивы Облонского. Но Толстой знал и другие образы, описать которые просто не поднималась его рука. Например, он хорошо знал о жизни своего троюродного брата и мужа родной сестры Валериана Петровича Толстого. Свояченица Л.Н. Татьяна Кузминская в 1924 году писала литературоведу МАДявловскому о Валериане Толстом: «Ее (Марии Николаевны. — *П.Б.*) муж был невозможен. Он изменял ей даже с домашними кормилицами, горничными и пр. На чердаке в Покровском найдены были скелетца, один-два новорожденных».

Ранние дневники Толстого действительно оставляют впечатление какой-то неприятной душевной и даже физической нечистоты. Но это происходит от того, что человек, писавший этот дневник, имел как раз очень ясное представление о чистоте, которое он отразил в повести «Детство». Молодой Толстой, каким он предстает со страниц своего дневника, являл крайне невыгодный с эстетической точки зрения тип непрерывно кающегося грешника. Отсюда этот образ собаки, виноватой перед хозяином, причем под хозяином нужно понимать, конечно же, Бога.

7 марта 1851 года: «Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же напиться кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофей».

3 июля 1851 года: «…завлекся и проиграл своих 200, николинькиных 150 и в долг 500, итого 850. Теперь удерживаюсь и живу сознательно. Ездил в Червленную, напился, спал с женщиной; всё это очень дурно и сильно меня мучает… Вчера тоже хотел. Хорошо, что она не дала. Мерзость».

26 августа 1851 года: «С утра писать роман, джигитовать, по Татарски учиться и девки».

Лишь временами «райское» чувство возвращается к нему, как это происходит на Кавказе, в селении Старый Юрт:

«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал

молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю, — и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё: и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера — это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное…»

«Утро я провел довольно хорошо, — вяло отмечает дальше Толстой, — немного ленился, солгал, но безгрешно». Но уже через несколько дней он признается: «Ездил в Червленную, напился, спал с женщиной… Мерзость…»

«Вечное блаженство *здесь* невозможно, — делает он неутешительный для себя вывод. — Страдания необходимы. Зачем? Не знаю».

Граф уходящий

Раздел наследства между братьями состоялся 11 апреля 1847 года, а уже на следующий день Толстой подает прошение об отчислении из Казанского университета и 1 мая приезжает в принадлежавшую ему теперь Ясную Поляну. Отныне она становится для него не просто родовой усадьбой, где он родился и провел детство, не просто собственностью, но землей обетованной, куда он будет возвращаться всякий раз, пройдя очередной этап сомнений и искушений. И всякий раз он будет бежать в Ясную, нетерпеливо, по-детски бросая всё на свете: университет, армию, светскую жизнь, литературные круги и даже многодетную семью, когда она поселится в Москве.

Его Превосходительству
г. ректору Императорского Казанского университета
действительному статскому советнику и

кавалеру Ивану Михайловичу Симонову
своекоштного студента 2-го курса
юридического факультета,
от графа Льва Николаевича Толстого

ПРОШЕНИЕ

По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов.

К сему прошению руку приложил
студент граф Лев Толстой.
Апреля 12-го дня 1847 года.

Перед тем, как Толстой уволился из университета, его постигло административное наказание — карцер за прогулы лекций по истории. С этого момента Толстой начинает третировать историю как науку, считая ее собранием нелепых анекдотов о безнравственных людях, которых зачем-то признают великими деятелями и даже святыми. Сидя в карцере со студентом Назарьевым, он вслух издевается над исторической наукой:

— История — это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, — что это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, — в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу.

Показательно, что эта обличительная речь, приведенная в воспоминаниях Назарьева и подтвержденная Толстым биографу Бирюкову, произносилась именно в карцере. Начиная с этого эпизода, Толстой будет всякий раз выходить из себя, буквально впадать в бешенство, когда его коснется малейший призрак административного наказания, стеснения личной воли.

Здесь же, в карцере, он ругает и всю университетскую науку:

— Что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны?

Весна 1847 года — поворотный этап в жизни Толстого. Он

начинает дневник, он становится хозяином Ясной и бросает университет. Но главное — это первый опыт его бегства. С бегства он начинает свой сознательный путь в жизнь, бегством его и завершит.

«Лев Николаевич спешил с выездом из Казани, — пишет в воспоминаниях историк русского права Н.П.Загоскин, — и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь… Как водится, за отъезжающего выпили, насказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование».

Что-то это всё ужасно напоминает…

Да это же начало повести «Казаки»!

«В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома…

— Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет, — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал…»

Дмитрий Оленин бежит на Кавказ, запутавшись в долгах и связях с женщинами. Толстой бежал на Кавказ по тем же причинам. Но в идеальной основе лежала, конечно, жажда «жизни трудов, лишений, деятельности», которая гнала Л.Н. сначала из Казани в Ясную. И совсем в сокровенной основе был поиск земли обетованной, «рая», которым представлялись ему Ясная Поляна и

неиспорченный цивилизацией Кавказ. До того как бежать на Кавказ, он чуть не сбежал в Сибирь, куда затем последовательно отправлял своих героев: отца Сергия, старца Федора Кузмича, Степана Пелагеюшкина из «Фальшивого купона».

Обозначим пунктиром начало молодости Толстого. Клиника, где он находится с постыдной болезнью и… начинает вести дневник, который станет мировым образцом неустанной работы по нравственному самоусовершенствованию… Карцер, где он сидит за банальные прогулы лекций и… ведет смелые речи об истории человечества… Отказ от учебы в университете и… счастливое принятие на себя ярма помещичьего хозяйства…

Наконец, бегство как путь решения всех проблем.

Совершенно очевидно, что Толстой принадлежал к породе людей, для которых важна не столько свобода, сколько личная *воля.*

Эти люди готовы брать на себя любые, самые тяжелые обязательства, но только не под давлением извне. Как только давление извне превышает силы и возможности их личной воли, они обращаются в бегство.

Среди самых первых дневниковых записей Толстого 1847 года есть одна очень важная: «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения».

Когда первый биограф Толстого П.И.Бирюков спросил о самых ранних впечатлениях его жизни, он вспомнил что:

«Вот первые мои воспоминания… Вот они: я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не вспомню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. — Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой».

А вот второе впечатление раннего детства: «посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими,

держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

И еще одно воспоминание: гувернер-француз St.-Thomas запирает маленького Льва в комнате, а потом угрожает розгами. «И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».

В отсутствие родителей (мать скончалась, когда Льву не исполнилось и двух лет, а отец внезапно умер, когда ему не былодевяти) тетушки вообще играли в его жизни огромную роль. После смерти отца опекуншей над детьми стала его сестра Александра Ильинична.

Вспоминая об этой тетушке, Л.Н. рассказал о ее муже, остзейском графе Остен-Сакен, страдавшем беспричинной ревностью. Дойдя до полного сумасшествия, граф однажды решил, что «враги его, желающие отнять у него жену (она была к тому же беременной. — *П.Б.*), окружили его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга… На беду, по проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж; он вскрикнул, что всё погибло, и велел ей стрелять в себя, а сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетушки, скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором».

В этой почти невероятной истории привлекает внимание даже не сам сюжет, но то, с какой пристрастной подробностью передает его в своих воспоминаниях Л.Н. Точно он сам в качестве третьего лица сидел в этой коляске рядом с безумным графом и его несчастной беременной женой.

Любопытно, что сестра Л.Н. Мария Николаевна, тоже слышавшая эту историю от тетушки, передавала ее совсем иначе. Никакого бегства «от врагов» не было и в помине. Ревнивый граф просто заманил свою жену ночью в парк и выстрелил в нее в упор. Испугавшись собственного поступка, граф отнюдь не бежал, а сам отвез раненую к пастору.

Если предположить, что невероятный сюжет с бегством был фантазией маленького Льва, которая дополнила рассказ тетушки, несложно понять, в каком направлении работало его воображение.

Фантазии Левочки были самыми неожиданными. Например, он входил в залу и кланялся задом, откидывая голову назад и шаркая. Однажды остриг себе брови, чем сильно обезобразил свое лицо.

«Другой раз, — рассказывала П.И.Бирюкову Мария Николаевна, — ехали мы на тройке из Пирогова в Ясную. Во время одной из остановок экипажа Левочка слез и пошел пешком. Когда экипаж тронулся, его хватились, но его нигде не было. Кучер с козел увидал впереди на дороге его удаляющуюся фигуру; поехали, полагая, что он пошел вперед, чтобы сесть, когда тройка его догонит, но не тут-то было. С приближением тройки он ускорил шаг, и когда тройка пошла рысью, он пустился бегом, видимо, не желая садиться. Тройка поехала очень быстро, и он побежал во всю мочь, пробежав так около трех верст, пока, наконец, не обессилел и не сдался. Его посадили в карету; он задыхался, был весь в поту и изнемогал от усталости».

Если бы этот эпизод из детства Толстого не был рассказан Марией Николаевной за несколько лет до бегства Л.Н. из Ясной Поляны и даже опубликован в первом томе бирюковской биографии, вышедшей в 1906 году, можно было бы заподозрить ее в том, что она вспомнила о нем под впечатлением этого бегства. Как и о другом эпизоде, тоже рассказанном Бирюкову:

«Мы собрались раз к обеду, это было в Москве, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикет, и все должны были являться вовремя, еще до прихода бабушки, и дожидаться ее. И потому все были удивлены, что Левочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернера St.-Thomas, что это значит, не наказан ли Leon; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Leon сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготовляясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошел наш дядька, шепнул что-то St.-Thomas, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола…

Вскоре дело разъяснилось, и мы узнали следующее: Левочка,

неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтоб сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен… В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и всё ограничилось только легким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым…»

Слушая рассказ сестры, Л.Н. добавил от себя, что, прыгая из окна, он прыгал не вниз, а вверх. Еще он рассказал, что в семь-восемь лет «имел страшное желание полетать в воздухе. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять колени, причем чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь».

Можно привести немало примеров странностей Толстого, связанных с его стремлением к личной свободе и независимости, с болезненным переживанием всякого внешнего насилия. Но посмотрим лучше, какие из этих странностей он сохранил до конца своих дней? Во-первых, привычку, не дожидаясь экипажа, уходить вперед. Этой привычке он не изменил и после бегства из Ясной. Когда они с Маковицким отъезжали из Оптиной пустыни, Толстой тоже ушел вперед.

Во-вторых, можно предположить, что ежедневные прогулки Л.Н., пешим и на лошади, запутанными лесными тропами, с блужданиями, были своего рода репетициями или, если угодно, симуляциями ухода. Непредсказуемость маршрутов Толстого удивляла всех, кто сопровождал его в последний год жизни, когда оставлять старика одного стало просто небезопасно. Об этом пишут и секретарь Булгаков, и музыкант Гольденвейзер, и врач Маковицкий. Можно даже предположить, что *уход и блуждания* были страстью Толстого, могучей и неодолимой, какими для других людей являются женщины, алкоголь или карточная игра.

Что означала эта страсть? Да, мы знаем, что это время он проводил в одинокой молитве, обращаясь к Богу какими-то одному ему известными словами. Да, в последние годы жизни это время, проведенное вне домашних стен, было для него еще и отдыхом от посетителей и от семейных сцен. Но и когда его уже не оставляли одного, когда в прогулках его сопровождали Булгаков, Маковицкий, Гольденвейзер или кто-то из приятных ему гостей, он всё равно выбирал неизведанные тропы, крутые овраги, словно нарочно вынуждая себя и своего спутника

заблудиться и искать выхода из трудного положения.

— А я нынче так хорошо с милым Булгаковым ездил по дорожкам в лесу; мы с ним плутали, — радостно говорил он за обедом.

Вот и в последний перед уходом день, 27 октября, он отправился на конную прогулку и загнал себя и Маковицкого в глухой овраг.

Доктор испугался, что он попытается форсировать овраг на лошади, как делал обыкновенно, и попросил его слезть.

«…он послушался, что так редко бывало. Овраг был очень крутой, и я хотел провести каждую лошадь отдельно, но боясь, что пока я буду проводить первую, Л.Н. возьмется за другую (Л.Н. не любил, когда ему служили), я взял поводья обеих лошадей сразу… Так спустился и так перепрыгнул ручей. Тут Л.Н. тревожно вскрикнул, боясь, что какая-нибудь лошадь наскочит мне на ноги. Потом я со взмахом поднялся на другую сторону оврага. Тут долго ждал. Л.Н., засучив за пояс полы свитки, держась осторожно за стволы деревьев и ветки кустов, спускался. Сошел к ручейку и, сидя, спустился, переполз по льду, на четвереньках выполз на берег, потом, подойдя к крутому подъему, хватаясь за ветки, поднимался, отдыхая подолгу, очень задыхался. Я отвернулся, чтобы Л.Н. не торопился. Желал ему помочь, но боялся его беспокоить…»

Даже врач понимал, что вмешиваться в этот процесс нельзя! Это только рассердит великого старца. Это такое же святотатство, как если войти в его кабинет утром и пытаться помочь ему в его работе. И как знать, может быть, глядя на ползущего на четвереньках по краю оврага величайшего из писателей мира, Маковицкий вспоминал его слова, сказанные два месяца назад, за обедом:

— Я наблюдал муравьев. Они ползли по дереву — вверх и вниз. Я не знаю, что они могли там брать? Но только у тех, которые ползут вверх, брюшко маленькое, обыкновенное, а у тех, которые спускаются, толстое, тяжелое. Видимо, они набирали что-то внутрь себя. И так он ползет, только свою дорожку знает. По дереву — неровности, наросты, он их обходит и ползет дальше… На старости мне как-то особенно удивительно, когда я так смотрю на муравьев, на деревья. И что перед этим значат эти аэропланы! Так это всё грубо, аляповато!

На множестве фотографий старого Толстого мы не видим этой динамики. Фотографии того времени не могли передавать движения, требовалось несколько секунд выдержки, чтобы сделать фотоснимок. К счастью, кинохроника донесла до нас Толстого в движении. Особенно впечатляют кадры, когда он

один-одинешенек идет по «прешпекту», березовой аллее, ведущей из усадьбы на дорогу. Это движение опытнейшего ходока. Ноги расслаблены, полусогнуты в коленях, отчего походка кажется мешковатой. Ступни резко выбрасываются в стороны. Создается впечатление, что ноги болтаются отдельно от тела, как у тряпичной куклы.

Но именно так идут настоящие ходоки. Смешно, расслабленно, выписывая дурацкие кренделя, словно кривляясь. На самом деле — максимально используют инерцию маха ноги.

Неумение ходить, рассчитывая свои силы, погубило героя рассказа Толстого «Много ли человеку земли надо» крестьянина Пахома. Башкирцы предложили ему взять себе столько земли, сколько он обойдет до захода солнца. И вот, одержимый жадностью, Пахом покрывает версту за верстой, стараясь обойти побольше даровой землицы, а когда приходит к финишу, падает замертво. Конечно, мораль рассказа в том, что Пахома погубила жадность, а человеку, в конце концов, нужно ровно столько земли, сколько занимает его могила. Но есть в этом рассказе и лукавый взгляд на мужичка, который решил, что пешком обойти свою землю — плевое дело, совсем не то, что трудиться на ней. Толстой, на протяжении десятков лет чуть не ежедневно обходивший владения в Ясной и тем не менее, постоянно блуждавший в них, знал эту коварность вроде бы открытого взору, незащищенного пространства; как оно легко может сбить с толку и даже погубить неопытного ходока.

Знал он и то, что бегство (а Пахом, прежде чем оказаться в Башкирии, бежит от одной земли к другой в поисках лучшей доли) не решает проблем. И тем не менее очень многие его герои всё время куда-то уходят и бегут, бегут и уходят.

Перекати-поле

Оленин бежит на Кавказ, а молодой Нехлюдов в «Утре помещика» убегает из университета в деревню. Граф Турбин в «Двух гусарах» внезапно появляется в губернском городе К. и так же внезапно исчезает. Блуждает в степи герой рассказа «Метель». Болконский бежит в действующую армию. Наташа Ростова сбегает с Анатолем Курагиным. Пьер Безухов бродит по полям сражений и разоренной Москве. Анна Каренина уходит от мужа, а Вронский после ее гибели не находит другого выхода, как бежать на сербскую войну. Уходит по этапу за Катей Масловой другой Нехлюдов в романе «Воскресение». Отец Сергий бежит от земной славы, а император Александр в образе старца скрывается в

Сибири. Странствует герой-злодей «Фальшивого купона» и тоже оказывается в Сибири. В рассказе «Два старика» крестьяне пешком идут в Иерусалим. Потерялись в степи купец Василий и работник Никита в повести «Хозяин и работник». Заблудился на охоте и испытал смертельный ужас герой «Записок сумасшедшего». Пробиваясь из окружения, погибает Хаджи-Мурат. И это далеко не полный список бегущих и уходящих персонажей Толстого.

Но есть и последняя форма бегства — самоубийство. Этот путь выбирают третий Нехлюдов в «Записках маркёра», Федя Протасов в «Живом трупе» и Евгений в повести «Дьявол». Падает под поезд Анна Каренина, а Константин Левин в самое счастливое время думает о самоубийстве.

Кажется, только в одном произведении Толстого бегство имеет счастливый и ясный финал. Это написанный для детей рассказ «Кавказский пленник». В остальных произведениях уход и бегство не решают проблем, но открывают их новый список с чистого листа. Даже смерть не избавляет героев от этого. В «Записках маркёра» Нехлюдов, перед тем как покончить с собой, вдруг с удивлением понимает, что смерть ровно ничего не решает.

«Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму».

В «Поликушке» самоубийство главного героя, потерявшего деньги барыни, оказывается проходным эпизодом, после которого события с потерянными деньгами продолжают развиваться. Смерть Протасова не решает проблем его жены и ее нового мужа. Ведь факт двоемужества уже доказан, а добровольная смерть Протасова не является аргументом для следствия, что это двоемужество не было сознательным. Собственно, непонятно, в чем состоит «благодеяние» Протасова жене и каким образом его смерть спасет ее от позора, а, быть может, и ссылки в Сибирь?

Но если и окончательное бегство из жизни не решает проблем этой самой жизни, что говорить о бегстве в пространстве? Лишенный «райского» отношения к миру, человек обречен на «непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях» и, как результат, на блуждание по жизни. Он становится

«перекати-полем». Его несет ветром в непредсказуемых направлениях, пока не найдется тихое, защищенное от ветра место, где бедное растение могло бы зацепиться за почву.

Таким местом для Толстого, определенно, могла стать только Ясная Поляна, и недаром именно туда он бросился в начале своего бегства. Но первый опыт хозяйствования в деревне оказался неудачным. Причины этой неудачи он прекрасно показал в рассказе «Утро помещика». По своей свободолюбивой натуре Толстой не мог быть хорошим рабовладельцем, и до освобождения крестьян в 1861 году нечего было и думать об устроении отдельно взятого крестьянского рая в крепостной России.

Но и почти все будущие попытки Л.Н. вести рациональное хозяйство, как правило, заканчивались неудачей. За исключением садов и лесных насаждений. Он был слишком азартным хозяином, и если брался за какое-то дело (пчеловодство, свиноводство, винокуренный завод, разведение лошадей), то отдавался ему с поэтической страстью; хозяйство же требует холодного расчета и распределения сил.

В мае 1847 года он приезжает из Казани в Ясную, а осенью 1848 года уже бежит в Москву, где живет «очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели». А в феврале 1849 года уезжает в Петербург, влекомый «неопределенной жаждой знаний». Перед ним два пути: стать военным или чиновником. «Жажда знаний» победила честолюбие, и в начале 1849 года он выдержал два экзамена по уголовному праву и процессам в Петербургском университете. Но «наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула меня в имение».

Так проходит трехлетний период непрерывного разброда и шатаний. То он мечтает о службе в Министерстве иностранных дел, то собирается поступить юнкером в конногвардейский полк, чтобы принять участие в венгерском походе, то с наступлением весны бежит к «прелестям деревенской жизни», то намерен снять в аренду почтовую станцию…

В это время он бросает начатый в Казани дневник, но его письма к старшему брату Сергею донесли до нас его тогдашние настроения.

13 февраля 1849 года: «Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки… Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: „это уж в 20-й раз, и все из тебя пути нет“, „самый пустяшный малый“, — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: „дай-ка я переменюсь“, а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: „я переменился“».

1 мая: «Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я „самый пустяшный малый“, и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо!»

11 мая: «В последнем письме моем я писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен вступить в конногвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьезная».

Той же весной «без гроша денег и крутом должен» Толстой возвращается в Ясную Поляну с пьющим немцем-музыкантом по имени Рудольф и страстно предается музыке. Он даже начинает, но не заканчивает статью «Основные начала музыки и правила к изучению оной». Оцените эти опорные слова: *основные* и *правила.*

До отъезда в апреле 1851 года с братом Николаем на Кавказ Л.Н. ведет мучительную для себя двойную жизнь, разрываясь между Москвой и Ясной Поляной. В Ясной — прогулки, гимнастика, музыка, английский язык, Гёте, замысел «Детства». В Москве — карты, кутежи, цыгане, девки и долги, долги… В Ясной — добрый ангел-хранитель, тетенька Татьяна Александровна Ергольская, набожная старая дева, в которую когда-то был влюблен отец Л.Н., но которая отказалась выйти за него замуж, тем не менее посвятив себя воспитанию его детей. С ней по вечерам — беседы за чаем о предках, о старинной жизни. В Москве — «совершенно скотская» жизнь, которую он пытается упорядочить с помощью каких-то «правил».

Дневник от *24 декабря 1850 года: «Правила.* В карты играть только в крайних случаях. — Как можно меньше про себя рассказывать. Говорить громко и отчетливо. — *Правила.* Каждый день делать моцион. — Сообразно закону религии, женщин не иметь».

17 января 1851 года: «Правило… 1) Попасть в крут игроков и, при деньгах, играть. 2) Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться. 3) Найти место выгодное для службы».

Мечты Толстого о карьере закончились зачислением в Тульское губернское правление канцелярским служителем с получением чина коллежского регистратора. Это низший гражданский чин 14 класса петровской «Табели о рангах». Его иронически называли «не бей меня в морду», поскольку лицам недворянского происхождения он давал потомственное почетное гражданство, что освобождало от телесных наказаний. «И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди…» — писал в «Мертвых душах» Гоголь.

Между тем молодой Толстой страшно честолюбив! Недаром в «Исповеди» он поставит честолюбие на первое место среди пороков своей молодости. Но в чем реально выразилось это честолюбие, кроме неясных карьерных притязаний и неотчетливого стремления отправиться на войну? Уж конечно, не в бегстве на Кавказ.

В письме к Т.А.Ергольской из Тифлиса он называет эту поездку «внезапно пришедшей в голову фантазией». Насколько внезапно могли ему приходить в голову подобные фантазии, можно судить по тому, что осенью 1848 года он едва не уехал в Сибирь со своим будущим зятем Валерианом Толстым: вскочил к нему в тарантас в одной блузе, без шапки и не уехал, кажется, только потому, что забыл шапку. (Ох, эти шапки! Полвека спустя, уходя из яснополянского дома навсегда, он тоже потеряет шапку и должен будет вернуться за новой. Это была дурная примета, а Л.Н., не признавая религиозные обряды, верил в приметы.)

Интересно, что бегство на Кавказ тоже косвенным образом было связано с беспутным Валерианом Толстым, который к тому времени уже был женат на сестре Л.Н. Марии Николаевне. В его имении Покровском под Чернью на Новый (1851-й) год произошла после четырехлетней разлуки встреча двух братьев, Николая и Льва. Николенька служил на Кавказе. Терзаемый раздвоением внешней и внутренней жизни, запутавшийся в долгах, разочарованный в хозяйстве и карьере, младший брат решает последовать за ним, без всякого плана, едва ли не для того, чтобы просто прокатиться, развеяться. Тем более что вечный выдумщик Николенька разработал необычный маршрут: ехать до Саратова, а до Астрахани сплавляться на лодке. Путешествие получилось великолепным. По дороге Толстой успел влюбиться в Казани в Зинаиду Молоствову, о чем написал в Сызрани совершенно легкомысленные стихи: «Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану…» Но, оказавшись 30 мая в станице Старогладковской, он с некоторым изумлением пишет в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Из Старогладковской он едет с братом в село Старый Юрт, любуясь видом гор и горячих источников, где яйца за три минуты варятся вкрутую и где живописные татарки ногами стирают белье. Бегство на Кавказ было таким спешным, что он оказался там без необходимых бумаг, которых дожидался из Тулы еще четыре месяца, после чего предстал в Тифлисе пред очами генерал-майора Эдуарда Владимировича Бриммера, начальника артиллерии Отдельного кавказского корпуса. Но и тульских бумаг было недостаточно, пришлось дожидаться документов из Петербурга. Официально на военную службу Толстой был

зачислен в феврале 1852 года. Карьера так не делается. Да и не ехали на Кавказ за карьерой.

Тем не менее именно честолюбие спасло Толстого от сползания в пропасть, от «скотской» московской жизни. Нет, не то чтобы жизнь на Кавказе, где он провел почти три года, была менее «скотской» по его завышенным нравственным критериям. Карты, долги, доступные девки — всего этого он хлебнул с избытком, с добавкой в виде гарнизонной пошлости: «Какой-то офицер говорил, что он знает, какие я штуки хочу показать дамам, и предполагал только, принимая в соображение свой малый рост, что, несмотря на то, что у него в меньших размерах, он такие же может показать» (дневник от 4 июля 1851 года).

Но природа Кавказа, самый воздух, прозрачный, как прозрачны отношения здесь между людьми, вместе с честолюбивым желанием громко заявить о себе миру и семье, доказать, что он не «пустяшный малый», явились прекрасным стимулом к творчеству. На Кавказе Толстой родился как писатель. Причем сразу — как великий писатель, автор «Детства» и «Отрочества».

Строго обозревая свою молодость, Толстой признавал, что «стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости» («Исповедь»), Любой серьезный писатель, положа руку на сердце, знает, что это так, что первые произведения не пишутся из духовных соображений или, во всяком случае, высокие соображения сильно подогреваются желанием славы и денег. Но подобно тому как Кавказ оказался выше ребячества и молодечества Л.Н., атмосфера творчества была выше и глубже его честолюбия. Но главное — это и было то место, где могло остановиться «перекати-поле» и пустить первые корни…

Глава третья
СОНЕЧКА И ДЬЯВОЛ

— Как здесь хорошо! — воскликнул Толстой, когда увидел комнату, предоставленную в Оптиной пустыни гостинником братом Михаилом. Просторная, в три окна, с кисейными занавесками, с горшками фикусов, с большим образом Спасителя в углу, со старинным диваном и круглым столом перед ним, со вторым мягким диваном и желтыми деревянными, вделанными в пол ширмами, скрывающими удобную постель, — это была лучшая комната в гостинице. Когда Толстой ложился, он попросил еще один столик и свечку. Перед сном выпил чая. Брат Михаил принес ему антоновских яблок Л.Н. похвалил яблоки И спросил:

— Нет ли у вас медку, брат Михаил? Ведь вы мантии не принимали еще, вот я вас и буду звать «братом».

Михаил принес ему и меда.

Но радость его была преждевременной… Ночь, проведенная в Оптиной, оказалась очень беспокойной. Хотя Маковицкий, не желая нарушать привычки Толстого спать в комнате одному, отправился ночевать в другой номер напротив, в коридоре.

По коридору всю ночь бегали кошки, прыгали на мебель, расположенную у стены, за которой спал Толстой. Потом выходила в коридор выть какая-то женщина. У нее днем умер брат, монах-лавочник Рано утром она пришла к графу и умоляла его пристроить ее малюток Упала перед ним на колени. Толстой тяжело переносил, когда перед ним стояли на коленях. Когда это делали посетители Ясной Поляны, Л.Н. сам становился перед ними на колени, чтобы прекратить это.

В 7 часов утра он вышел из комнаты и в коридоре встретился с Алешей Сергеенко, секретарем Черткова, двадцатичетырехлетним сыном знакомого писателя Петра Алексеевича Сергеенко. Алеша принадлежал к избранному кругу посвященных в последние секреты жизни Толстого в Ясной Поляне, в том числе в историю его конфликтов с женой. Поэтому Алексею выпала одновременно почетная и неприятная миссия известить Толстого о том, что случилось в Ясной после его исчезновения.

Но откуда Алеша Сергеенко знал, что Толстой находится в Оптиной? Очень просто. Еще из Щекина Л.Н. отправил телеграмму Саше со словами «Поедем, вероятно, в Оптину… Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, — извести меня обо всем: как принято известие о моем отъезде, и всё чем подробнее, тем лучше».

Вот и вся конспирация. Но если бы и не было этой телеграммы… О том, что Л.Н. с Маковицким отправились в Козельск, знали на станции Щекино близ Ясной все, от начальника до кассира. Догадаться, что из Козельска он поедет к сестре в Шамордино, а по дороге не минует Оптину, где он бывал в зрелом возрасте три раза и где похоронены его тетки Александра Ильинична Остен-Сакен и Елизавета Александровна Толстая, было несложно. Вряд ли об этом не догадалась и С.А., посылавшая своего человека на станцию узнать, куда взял билет Л.Н.

Отправлять в качестве визитера к бежавшему Толстому Сергеенко было недобрым решением по отношению к С.А. со стороны ее дочери Саши и Черткова. С самого начала Толстой окружался людьми, настроенными недоброжелательно к ней, из их уст узнавая, что происходит без него в Ясной Поляне.

Отец Алеши Сергеенко был автором «драматической хроники в 4-х частях» «Ксантиппа» о сварливой жене Сократа, отравившей ему жизнь не хуже чаши с цикутой. В этой пьесе, впервые напечатанной в приложении к «Ниве» в 1899 году, отчетливо просматривались Л.Н. и его жена, о чем писал в своем дневнике зять Толстого М.С.Сухотин. Если этого не понимала широкая публика, то хорошо понимали в семье Толстого.

Мы не знаем, в каких словах и выражениях, с какими комментариями рассказывал Сергеенко о попытке С.А. утопиться в пруду. Мы знаем только, что рассказ этот произвел очень тяжелое впечатление на Толстого и вызвал по отношению к жене не только жалость, но и недоброе чувство.

«Спал тревожно, — записывает Толстой в дневнике 29 октября, — утром Алеша Сергеенко… Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея (сын Толстого. — *П.Б.*) во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29, ожидаю приезда

Андрея… Мне очень тяжело было весь день, да и физически я слаб».

«Дневник для одного себя»: «Приехал Сергеенко. Всё то же, еще хуже. Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету». Тяжелое чувство, с которым он боролся и которое, как думал, победил, было злостью к жене.

«…если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне», — жалуется в письме к Саше Толстой.

«…я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё ее существо… Видишь, милая, какой я плохой. Не скрываюсь от тебя».

Когда в Шамордине он вошел в келью сестры Марии Николаевны, то впервые после бегства из Ясной заплакал. Сестра была ему рада, но удивилась, что приехал в плохую погоду.

— Боюсь, что у вас дома нехорошо.

— Дома ужасно!

Разговор его несколько раз прерывался его рыданиями: «Подумай, какой ужас: в воду…» Бывшая здесь племянница Е.В.Оболенская предложила выпить воды… Толстой отказался…

Утопленница

После отъезда отца Саша долго сидела в кресле, закутавшись в одеяло. Ее трясло, как в лихорадке. Она отсчитывала минуты и часы. Поезд из Щекина отправлялся в восемь. В восемь часов утра она стала бродить по комнатам. Ей встретился старый слуга Илья Васильевич. Он уже понял, что случилось.

— Лев Николаевич мне говорил, что собирается уехать, а нынче я догадался по платью, что его нет…

Уже шушукались остальные слуги, строя предположения, а С.А. еще спала. Она встала поздно, в 11 часов, и, почувствовав по поведению слуг нехорошее, побежала к Саше.

— Где папа?

— Уехал.

— Куда?

— Не знаю.

Саша подала прощальное письмо отца. С.А. быстро пробежала его глазами… Голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.

Она не дочитала письмо, бросила его на пол и с криком:

«Ушел, ушел совсем, прощай, Саша, я утоплюсь!» — побежала к пруду.

Так это выглядит в воспоминаниях Александры Львовны. В дневнике Валентина Булгакова это описано более подробно.

«Когда я утром, часов в одиннадцать, пришел в Ясную Поляну, Софья Андреевна только что проснулась и оделась. Заглянула в комнату Льва Николаевича и не нашла его. Выбежала в „ремингтонную“, потом в библиотеку. Тут ей сказали об уходе Льва Николаевича, подали его письмо.

— Боже мой! — прошептала Софья Андреевна.

Разорвала конверт письма и прочла первую строчку: „Отъезд мой огорчит тебя…“ Не могла продолжать, бросила письмо на стол в библиотеке и побежала к себе, шепча:

— Боже мой!.. Что он со мной делает!..

— Да вы прочтите письмо, может быть, там что-нибудь есть! — кричали ей вдогонку Александра Львовна и Варвара Михайловна, но она их не слушала.

Тотчас кто-то из прислуги бежит и кричит, что Софья Андреевна побежала в парк к пруду.

— Выследите ее, вы в сапогах! — обратилась ко мне Александра Львовна и побежала надевать калоши.

Я выбежал во двор, в парк. Серое платье Софьи Андреевны мелькало вдали между деревьями: она быстро шла по липовой аллее вниз, к пруду. Прячась за деревьями, я пошел за ней. Потом побежал.

— Не бегите бегом! — крикнула мне сзади Александра Львовна.

Я оглянулся. Позади шло уже несколько человек повар Семен Николаевич, лакей Ваня и другие.

Вот Софья Андреевна свернула вбок, всё к пруду. Скрылась за кустами. Александра Львовна стремительно летит мимо меня, шумя юбками. Я бросился тоже бегом за ней. Медлить было нельзя: Софья Андреевна была у самого пруда.

Мы подбежали к спуску. Софья Андреевна оглянулась и заметила нас. Она уже миновала спуск. По доске идет на мостки (около купальни), с которых полощут белье. Видимо, торопится. Вдруг поскользнулась — и с грохотом падает на мостки прямо на спину… Цепляясь руками за доски, она ползет к ближайшему краю мостков и перекатывается в воду.

Александра Львовна уже на мостках. Тоже падает, на скользком месте, при входе на них… На мостках и я. Александра Львовна прыгает в воду. Я делаю то же. С мостков еще вижу фигуру Софьи Андреевны: лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно быть, вода, беспомощно разводя

руками, она погружается в воду… Вот вода покрыла ее всю.

К счастью, мы с Александрой Львовной чувствуем под ногами дно. Софья Андреевна счастливо упала, поскользнувшись. Если бы она бросилась с мостков прямо, там дна бы не достать. Средний пруд очень глубок, в нем тонули люди… Около берега нам — по грудь.

С Александрой Львовной мы тащим Софью Андреевну кверху, подсаживаем на бревно козел, потом — на самые мостки.

Подоспевает лакей Ваня Шураев. С ним вдвоем мы с трудом подымаем тяжелую, всю мокрую Софью Андреевну и ведем ее на берег.

Александра Львовна бежит переодеться, поощряемая вышедшей за ней из дома Варварой Михайловной.

Ваня, я, повар увлекаем потихоньку Софью Андреевну к дому. Она жалеет, что вынули ее из воды. Идти ей трудно. В одном месте она бессильно опускается на землю:

— Я только немного посижу!.. Дайте мне посидеть!..

Но об этом нельзя и думать: Софье Андреевне необходимо скорее переодеться…

Мы с Ваней складываем руки в виде сиденья, с помощью повара и других усаживаем Софью Андреевну и несем. Но скоро она просит спустить ее».

После первой попытки самоубийства за С.А. стали следить. Отобрали у нее опиум, перочинный нож, тяжелое пресс-папье. Но она повторяла, что найдет способ покончить с собой. Через час ей удалось выбежать из дома. Булгаков нагнал ее по дороге к тому же пруду и силой привел домой.

— Как сын, как родной сын!.. — говорила она ему.

Эта история с двойной попыткой самоубийства не может не вызывать сострадания. Нужно обладать слишком черствой душой, чтобы увидеть в этом только стремление произвести эффект и напугать близких, а через них — мужа, заставить его вернуться.

Ну что ей теперь были его слова, пусть даже самые хорошие, добрые и правильные? Что ей теперь были его слова в сравнении с его поступком, который заметит весь мир и который (она прекрасно это понимала!) войдет в историю. Но войдет в эту историю и она, от которой так или иначе ушел ее великий муж.

Даже для простых женщин с простыми мужьями уход мужа болезнен не только по причине, что их оставили, но и по тому, как они выглядят в глазах окружающих. Значит, она была плохой женой? Все годы? Или, может, она стала плохой, когда состарилась? А пока была молода, она его устраивала? Пока была сильной, здоровой, привлекательной?

Конфликт мужа и жены — это еще и соперничество за свою

правоту в мнении окружающих. Как ни велик был Толстой, он тоже зависел от этого мнения. Что же говорить о его жене?

После ухода Л.Н. она оказалась в одиночестве и «кругом не права». Весь дом, включая родную дочь, был на стороне несчастного беглеца. Как женщина она была обижена, как человек — оскорблена. Как мужчина, ее муж поступил сильно и по-своему красиво (никто ведь, кроме двух-трех людей, не видел его дрожащим в каретном сарае). Как человек, он совершил последний в своей жизни выбор в пользу независимости и духовной свободы (Толстой ведь еще не сошел в Астапове, поддерживаемый под руки, в поисках обычной кровати, где бы он мог просто лечь).

Прежде чем осуждать ее за слишком эффектную попытку самоубийства (да, можно было сделать это как-то иначе, но кто смеет об этом судить!), нужно оценить всю степень ее одиночества. На стороне мужа был весь дом и весь образованный мир. На ее стороне была только часть ее сыновей, но как раз их-то в тот момент и не было. Они приехали на следующий день, вызванные телеграммами Саши. А ведь это прежде всего ради них, запутавшихся в долгах, она пошла на конфликт с мужем из-за наследства. И некому было взять ее под руку, кроме Булгакова, в общем-то чужого ей, как и все секретари Толстого, засылаемые в их дом ненавистным ей Чертковым.

Не нам судить о том, что происходило в душе С.А. и как истерическое состояние уживалось в ней с хитростью. Конечно, сцена с бегством на пруд и падением в воду была ею отчасти разыграна (неслучайно, пишет Булгаков, она оглядывалась на своих преследователей). Но вовсе не с целью симулировать самоубийство, как она неоднократно делала раньше, стреляя в своей комнате из пугача, или говоря, что выпила всю склянку опиума, или ложась в платье на холодную землю в саду. Теперь ей было не до симуляции. Она должна была довершить то, чем пугала весь дом во время конфликтов с мужем, чего она не совершила и сейчас, возможно, очень об этом жалела. Ах, если бы она утопилась до его ухода, как не раз грозила! Крайним в этой истории оказался бы он. Это он погубил бы жену, которая беззаветно служила ему сорок восемь лет, воспитывала его детей, переписывала его рукописи и кормила его больного с ложечки. Это он был бы *злодеем,* а *ова*.мученицей.

Одна из глав обширных мемуаров С.А. под названием «Моя жизнь» называется «Мученик и мученица». Здесь было бы правильней вместо «и» поставить «или». В самом деле, кто был жертвой? Она, обычная женщина, назначенная служить гению, или он, гений, обреченный жить с обычной женщиной?

Словесного ответа на этот вопрос быть не может. Ответом, который бы всех убедил, мог быть только поступок. И вот его-то Л.Н. совершил первым. Что ей оставалось? Смириться с поражением и войти в историю «кругом виноватой»? Для этого она была слишком гордой. Жаловаться, оправдываться? В конце концов, именно это ей и придется делать в Астапове в окружении корреспондентов. Но в первый момент, в состоянии шока, она попыталась тоже совершить красивый (как ей казалось) поступок, внести в роман жизни с Толстым свой независимый сюжет. Утонуть если не на глазах мужа, то на глазах тех, кто его поддерживал, а ее осуждал.

Не забудем, что она была женой величайшего романиста мира, автора «Анны Карениной». И если бы Курская железная дорога проходила не в нескольких верстах, но рядом с яснополянским домом, можно не сомневаться, что сюжет с попыткой самоубийства оказался бы другим. Она ведь однажды уже отправилась к железной дороге, как Анна Каренина, с мыслью, что «всё ложь, всё обман, всё зло», но случайно встретившийся по пути муж сестры, Кузминский, вернул ее домой.

В стиле ее поведения после ухода мужа было много неприятного, режущего слух и зрение. В стиле семейных конфликтов вообще мало приятного. И есть ли в них какой-нибудь стиль?

(Не)возможность рая

Но вернемся в прошлое.

В этой книге нет смысла подробно останавливаться на армейском периоде жизни Толстого с 1851 по 1855 годы на Кавказе, в Румынии и Крыму. Толстой был хорошим солдатом и офицером, однако невыдающимся и несколько странным. Он был храбр, силен физически, был прекрасным товарищем, картежником и немного поэтом, написавшим сатирическую «Песню про сражение на реке Черной», которую охотно распевали солдаты и офицеры на привалах и которая в разных вариантах вошла в военный фольклор. Странности его заключались в том, что он часто был задумчив, был оригинален в суждениях и не желал пользоваться деньгами из казенного кармана, даже когда это позволялось негласным офицерским кодексом. Но главное — он был каким-то *нелюбимым,* по выражению Ерошки в «Казаках». Это народное выражение нельзя без потери смысла перевести на литературный язык. Кем *нелюбимым*? Женщинами, судьбой? Да

всеми сразу! Толстой был неловок с женщинами, неудачлив в карьере, в карточной игре. Но конечно, этим не исчерпывается сложное слово *«нелюбимый»,* которое, тем не менее, прекрасно понимали простой казак Ерошка и князь Оленин.

Но благодаря этому молодой Толстой и состоялся как писатель, реализуя в литературе то, чего недоставало в жизни. Ранний сирота написал самое поэтичное в русской литературе произведение о детстве. Отнюдь не поклонник войны воспел героизм русских солдат и офицеров в осажденном Севастополе, да так, что над «Севастополем в декабре» плакали императрица, строгий литературный ценитель Иван Тургенев и юный цесаревич (будущий Александр III), а молодой царь Александр II распорядился перевести рассказ на французский язык и даже, по слухам, направил в Крым фельдъегеря, чтобы талантливого офицера-писателя откомандировали в безопасное место.

Толстой был, как выражались, порядочным офицером, но не более того. Ни сомнительная героика войны, ни еще более сомнительная офицерская карьера во время покорения Кавказа и провала русско-турецкой кампании не привлекали его. Во всяком случае, не захватывали его целиком. А Толстой был очень цельным человеком, h уж если он чего-то желал, то желал исключительно.

Чего же хотел молодой Толстой? Любви и счастья. Определенно он хотел поселиться в Ясной Поляне и жениться. Писательство не привлекало его до такой степени, как вполне заурядная перспектива помещичьей жизни в усадьбе с преданной женой и портретами предков на стенах уютного дома. Литературный успех утолял его тщеславие, но не подчинял себе душевные силы. Литературная карьера требовала компромисса — с редакторами, издателями, цензурой, — а это не отвечало его представлению об идеале, совершенстве, «рае», в конце концов.

Ясная Поляна + женитьба наиболее близко стояли возле идеала. Это был предметный и олицетворенный «рай», который он нарисовал в письме из Моздока Т.А.Ергольской в январе 1852 года:

«Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в *Ясном* — дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы всё еще живете *в Ясном.* Вы немного постарели, но всё еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы — ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; вы рассказываете *страшные истории,* которые мы, бывало, слушали с

испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем о тех, кто нам были дороги и которых уже нет; вы плачете, и я тоже, но мирными слезами… Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут „бабушкой“; вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; всё в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папа, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли; вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее, я — роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена — мама…»

В этой картине, на первый взгляд, идиллической, Толстой деспотически расписывает все роли, которые должны взять на себя будущие обитатели Ясной, или *Ясного,* как тогда было принято называть имение в мужском роде с патриархальным звучанием. Он — папа, т. е. Николай Ильич Толстой, завершивший дело своего тестя, Николая Сергеевича Волконского по строительству яснополянского усадебного комплекса. Дальней родственнице Т.А.Ергольской отводится почетное место «бабушки», т. е. матери отца, Пелагеи Николаевны, урожденной княжны Горчаковой, властной, капризной, третировавшей своих слуг, но обожавшей сына Николая и не пережившей его смерти. Жене отводится роль мама, Марии Николаевны Толстой, урожденной Волконской.

Это место в письме особенно важно. Если бы Соня Берс, перед тем как стать графиней Толстой, прочитала это письмо, она догадалась бы, какую роль готовит ей будущий супруг. Быть одновременно его женой и матерью.

Отца Толстой помнил, любил, гордился им и хотел ему подражать, а мать почти не знал, но боготворил, изобразив ее в образе княжны Марьи в «Войне и мире». Культ матери Толстой пронес через всю жизнь, к старости этот культ даже проявлялся в нем с куда большей силой. То, что он не помнил ее лица, а портретных изображений не было, только усиливало этот культ, превращая мать из земной женщины в образ Мадонны. Неслучайно репродукция полюбившейся ему в Дрездене «Сикстинской Мадонны» Рафаэля с 1862 по 1885 годы висела в его спальне, а затем перекочевала в кабинет, где и находится в яснополянском музее до сих пор.

В матери был воплощен его женский идеал, и вот его-то он бессознательно требовал от будущей жены. Вместе с тем она должна была стать и матерью в обычном смысле. Причем детям тоже отводилась своя роль в домашнем «рае». Они должны были повторить детство детей Марии Николаевны и Николая Ильича, «…наши дети — наши роли», — пишет он Ергольской. И еще она

должна быть прекрасной хозяйкой. «Я воображаю… как жена моя будет хлопотать…» И еще… Чего еще он ждал от будущей жены, мы узнаем из рассказа «Утро помещика»:

«Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает… Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я всё знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».

Впоследствии С.А. многое из этой картины воплотила в жизнь. В молодости носила простые короткие платья, лечила деревенских женщин. Она была прекрасной матерью и хозяйкой. В мечтах Нехлюдова из «Утра помещика» легко обнаружить и эротический подтекст. Жена должна быть ангелом, но со «стройной ножкой», «хорошенькой головкой», «румяными губами». С.А. не была красавицей, но ее привлекательность в молодости и моложавость в пожилые годы отмечали все.

В письме к Ергольской Толстой распределяет роли и для своих братьев. «Три новых лица будут являться время от времени на сцену — это братья, и, главное, один из них — Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный. Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сильные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть…»

И наконец — сестра Мария Николаевна, Машенька. Он отводит ей роль обеих сестер отца, Александры Ильиничны и Пелагеи Ильиничны. Только она не будет «несчастна, как они».

Но возникает вопрос: насколько всё это было серьезно? Может быть, бежавший на Кавказ Толстой размечтался, остановившись в Моздоке? Хотел потешить старую тетушку и самого себя?

Спустя пять лет он напишет брату Сергею: «Ты напрасно

думаешь, что эта любовь к семейной жизни — мечта, которая мне опротивеет. Я семьянин по натуре, у меня все вкусы такие были и в юности, а теперь подавно. В этом я убежден так, как в том, что я живу».

Из четырех братьев Толстых (Николая, Сергея, Дмитрия и Льва) только последний обрел семейное счастье. Это счастье завершилось катастрофой, но катастрофа имела прелюдию в сорок восемь лет, из которых, по крайней мере, первые пятнадцать были всё-таки счастливыми. Николай и Дмитрий умерли холостяками. Сергей всю жизнь прожил с выкупленной из табора цыганкой Машей и хотя по-своему любил ее, но жил с ней, скорее, по долгу чести, а не по любви. Несчастной в браке оказалась единственная сестра Толстых, Мария, ушедшая от мужа с детьми и родившая в Европе незаконного ребенка, а на склоне лет обратившаяся в монахини. Все дети Льва Толстого, кроме тех, кто умер в младенчестве, стали заметными людьми, талантливыми и самобытными. Сегодня одних прямых потомков Толстого в разных странах проживает более трехсот пятидесяти человек, и все они поддерживают связь друг с другом. Это ли не свидетельство, что семейный проект Л.Н. и С.А. состоялся.

Но могли состояться семейный рай?

Внимательно вчитываясь в письмо к Ергольской, нельзя не поразиться, как он мастерски нарисовал этот рай в реальной и в мистической проекциях. Бог-отец. В реальной перспективе — это три поколения мужчин Волконских-Толстых: дед Николай Сергеевич (образ старика Болконского в «Войне и мире»), отец Николай Ильич (Николай Ростов) и сын Лев Николаевич. Пусть в глазах старших братьев он пока еще «пустяшный малый». Но Ясная принадлежит ему, и одно это дает ему законное право на продолжение перспективы Бога-отца. Святая Дева. В мистической проекции — мать, а в реальной — еще неизвестная, но идеальная жена. Святой Дух. Конечно, это тетенька Ергольская, душа дома, хранительница семейных преданий. Ангелы — дети. И архангелы — старшие братья.

В этой картине не хватает одного лица. Иисуса Христа. Отношение его к Христу в 1852 году было еще неопределенным. В «Исповеди» он уверяет, что в то время был вовсе атеистом, но это неправда. Кавказский дневник говорит о том, как порой горячо и страстно обращался он к Богу-отцу, Создателю мира. Но что касается христианства, здесь всё было очень неопределенно.

7 июля 1854 года, находясь в Румынии, Толстой пишет в дневнике: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни

светского, ни ученого образования и вышедший на волю семнадцати лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов. — *П.Б.*), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но — с огромным самолюбием!»

Эта картина через шесть дней дополняется важным признанием: «Моя молитва. Верую во единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю веровать в религию отцов моих и уважаю ее».

В Бога-отца верит, а христианином и православным желает быть. Прежде всего потому, что это религия отцов. Это правила, но не искренняя вера. Через тридцать лет, в 1881 году, он будет вести дневник, который назовет «Записками христианина». Его отношение к Христу станет вполне определенным. Но как раз это и будет означать разрыв с «религией отцов».

Синдром Подколесина

Всматриваясь в историю сватовства и женитьбы Толстого на Сонечке Берс, невозможно отделаться от сравнения ее героя с персонажем гоголевской комедии «Женитьба», надворным советником Подколесиным. Та поспешность, с которой готовилась свадьба, а с другой стороны — нерешительность жениха и готовность сбежать перед венчанием напоминают сюжет «Женитьбы», где Подколесин бежит от невесты через окошко перед тем, как ехать в церковь.

Но разве можно сравнивать великого Толстого с ничтожным Подколесиным?! Заглянем в письмо сестры Толстого Марии Николаевны, написанное из французского курорта Гиера.

Находясь в Гиере, Мария Николаевна вздумала женить брата Льва на племяннице вице-президента Академии наук М.А.Дондукова-Корсакова, известного по эпиграмме Пушкина:

В Академии наук

Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ж… есть.

Толстой в это время был в Брюсселе и посещал семью князя, где познакомился с его племянницей Екатериной Александровной Дондуковой-Корсаковой. Княжна ему понравилась. В это время он целенаправленно искал невесту, и Мария Николаевна решила, что лучшей невесты не найти.

Получив от брата из Брюсселя письмо (оно не сохранилось), где он, видимо, просил выяснить через княгиню, тетушку Катеньки, в каком состоянии находится сердце девушки, не занято ли неким Гарданом, о чем он имел сведения, она писала ему:

«Ради Бога, не беги от своего счастья; лучше девушки по себе ты не встретишь; и семейная жизнь окончательно привяжет тебя к Ясной Поляне и к твоему делу.

Приезжай, Левочка, в делах сердца, право, мы (т. е. женщины) лучше знаем, — если ты начнешь рассуждать, то всё пропало… Хоть бы кто-нибудь из нашего семейства был счастлив! Не думай, а приезжай… Я со страхом пишу тебе это письмо, боюсь, не уехал ли ты в Россию».

Но чего так боялась М.Н., что писала это письмо «со страхом»? Почему она умоляет брата не бежать от своего счастья?

«Но я именно боюсь в тебе *подколесинскую закваску*. Если это устроится, вдруг тебе покажется, зачем я это всё делаю. К.А., если не влюблена в тебя, чего я не думаю, то, вероятно, полюбит, сделавшись твоей женой, и в ее лета, конечно, можно наверное сказать, не разлюбит и имеет все данные, чтоб быть хорошей, понимающей женой и помощницей и хорошей матерью. Стало быть, с этой стороны ладно. Но чувствуешь ли ты, что серьезно хочешь жениться и заботиться о жене, желать то же, что и другая будет желать, т. е. не делать только исключительно, что тебе хочется, быть менее эгоистом; не придет ли тебе в одно прекрасное утро *тихая ненависть* к жене и мысль, что вот если бы я не был женат, то… вот что страшно! Впрочем, ради Бога, — не анализируй слишком, потому что ты, если начнешь анализировать, непременно во всяком обыкновенном вопросе найдешь камень преткновения и, не зная, как сам отвечать на *что* и *почему*, обратишься в *бегство*».

Синдром Подколесина — это не болезнь легкомыслия. Это

болезнь умственности. Для Толстого, как и для Подколесина, женитьба — слишком серьезный «проект». Настолько серьезный, что когда доходит до дела и начинаешь взвешивать все «за» и «против», возникает столько вопросов, что хочется сбежать.

«П о д к о л е с и н. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего, — всё кончено, всё сделано… Эй, извозчик!»

«После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее, безвозвратнее брака, — пишет Толстой в дневнике 20 декабря 1896 года. — И так же, как смерть только тогда хороша, когда она неизбежна, а всякая нарочная смерть — дурна, также и брак. Только тогда брак не зло, когда он непреодолим…»

Это мысль позднего Толстого, которую он любил повторять, как и слова апостола Павла, что лучше жить в браке, чем «разжигаться».

Но в этой мысли есть и другая составляющая — *безвозвратность* брака. Женитьба — это на всю жизнь. Жена может быть только одна. Это полностью совпадает с настроением Подколесина и с самочувствием молодого Толстого.

Разборчивый жених

После совсем еще детской влюбленности в Сонечку Колошину первая попытка объяснения в любви возникла в Казани. В 1851 году по пути на Кавказ на балу Толстой встретился со своей знакомой, подругой и соученицей сестры Маши по казанскому Родионовскому институту Зиночкой Молоствовой. Зиночка не была красавицей, но была девушкой грациозной и мечтательной. Когда Толстой с братом Николаем приехали в Казань, Зинаида была почти невестой Н.В.Тиле, чиновника особых поручений при казанском губернаторе. Тем не менее, на балу в доме предводителя дворянства она все мазурки танцевала (*танцовала,* как писали тогда) с Толстым. Едва ли она была влюблена в него, как и он в нее. Потом она признавалась, что с ним было «интересно, но тяжело». Но в их жизни было одно невинное событие — скорее всего, еще во время студенчества Толстого.

«Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сделал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастие».

Это не письмо девушке, как можно подумать. Это записано в

дневнике Толстого, уже на Кавказе, в Старом Юрте. Здесь же Толстой спрашивает себя: «Неужели никогда я не увижу ее?… Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастья. Смешно…»

Это переживания юноши, впервые почувствовавшего себя «большим», способным самостоятельно решать свою судьбу. Их вряд ли можно воспринимать серьезно. Серьезно нужно отнестись к другой записи, сделанной уже через год и тоже на Кавказе, когда Толстой узнал о свадьбе Молоствовой и Н.В.Тиле: «Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».

Здесь уже проявился особенный духовный эгоцентризм Толстого, оценивавшего всех людей и события не по степени их собственной важности, но по тому, как они отразились в его душе, какие чувства в ней подняли. Ему досадно не то, что Зинаида вышла замуж не за него, но что это оставляет его равнодушным. Значит, в нем нет полноты чувства? И он холодная личность? Значит, он не способен любить?

Сравните это место из раннего дневника с одной поздней записью, сделанной в 1909 году: «После обеда пошел к Саше (дочь. — *П.Б.*), она больна. Кабы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького. Читал. Очень плохо. Но, главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна».

Следующей «жертвой» (в этот раз действительно жертвой) семейного «проекта» Толстого стала провинциальная барышня Валерия Арсеньева. Ее имение Судаково находилось в восьми верстах от Ясной Поляны. После смерти соседа Толстых В.М.Арсеньева Л.Н. был назначен опекуном его детей. Когда в конце мая 1856 года Толстой ехал из Москвы в Ясную и посетил Судаково, старшей из детей Валерии было двадцать лет. «Очень мила», — пишет он в дневнике. «Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».

«Свахой» выступил товарищ Толстого, тульский помещик Д.А.Дьяков. Он был старше Л.Н. на пять лет. Женатый, рассудительный человек, прекрасный хозяин. Но и Толстой к тому времени сильно изменился. Это был не юноша, а муж, прошедший две войны, ставший знаменитым писателем и успевший разочароваться и в войне, и в писателях.

Приехав в качестве курьера из Крыма в Петербург в ноябре 1855 года, Толстой больше не возвращался в армию и через год вышел в отставку. С осени 1855-го до лета 1856 года он перезнакомился с лучшими писателями России и вошел в самый престижный литературный кружок того времени, кружок журнала «Современник», возглавляемого Некрасовым. В Петербурге он

жил в квартире Тургенева, общался с Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Островским, Майковым и другими знаменитостями, но подружился только с Островским и Фетом, почувствовав в них туже независимость от модных веяний времени и строптивость характера, которые были в нем самом. С Тургеневым отношения с самого начала складывались неважные и скандальные. Двум китам было тесно в одном литературном аквариуме. Через несколько лет дело чуть не кончилось дуэлью на ружьях…

Говоря одним словом, Толстой, в конце концов, *сбежал* из кружка «Современника», из этого, как он выразился, собрания «чернокнижников». «Казаки» и два романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», были напечатаны в «Русском вестнике» М.Н.Каткова, сначала либерала, а затем реакционного публициста и издателя, о котором Тургенев написал «стихотворение в прозе» под названием «Гад». Но и с Катковым Толстой сошелся не по убеждениям, а из практических соображений. Например, «Казаков» он запродал Каткову потому, что проиграл тысячу рублей в китайский бильярд.

Мысль жениться на Арсеньевой овладела Толстым настолько серьезно, что их «роман» длился более полугода и отразился в повести «Семейное счастье», где Толстой задним числом смоделировал перспективу семейной жизни с Валерией.

В замечательной книге В.А.Жданова «Любовь в жизни Толстого» (1928), которую высоко ценил такой строгий судья, как Иван Бунин, показано развитие отношений Толстого и Валерии, где Толстой, надо признать, выглядит не лучшим образом. Это человек недобрый, рассудочный и не стесняющийся испытывать предмет своей любви на прочность. Именно — предмет любви, а не свою любовь, что было бы понятно и простительно. Валерия была обычной провинциальной барышней, воспитанной в деревне. Л.Н. был для нее, разумеется, завидным женихом — граф, военный, знаменитый писатель, «Детством» которого зачитывались все барышни…

В конце лета Валерия отправилась к своей тетке в Москву и видела коронацию Александра II. Пышность торжества поразила ее, о чем она и написала в Ясную Поляну тетушке Ергольской, наверное зная, что это письмо прочтет племянник. Реакция Толстого поражает жестоким тоном. Толстой сразу же дает почувствовать карамзинской Лизе, с каким Эрастом она имеет дело.

«Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это продерет против шерсти. Для тетеньки? Поверьте, что самый дурной способ дать почувствовать другому: „вот я какова“, это прийти и сказать

ему: „вот я какова!“… Вы должны были быть ужасны, в смородине de toute beaute и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье.

Любить haute volee[2], а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой volee, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не haute volee, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны… Насчет флигель-адъютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. — Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью… Поэтому, хотя мне и очень хотелось приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга *Тр. Л. Толстой».*

Казалось, «роман» должен был закончиться не начавшись. Но Толстой поставил перед собой задачу: жениться! Он пишет в дневнике: «Шлялся с Дьяковым. Много советовал мне дельного об устройстве флигеля, а, главное, советовал жениться на В. Слушая его, мне кажется, тоже, что это лучшее, что я могу сделать…»

Синдром Подколесина, которого товарищ может убедить жениться, накладывается на желание Толстого строить жизнь по правилам. В течение нескольких месяцев он изучает Валерию, занося в дневник свои впечатления, в которых холодный печоринский ум сочетается с нерешительностью Подколесина.

16 июня. «В. мила».

18 июня. «В. болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».

21 июня. «Я с ней мало говорил, тем более, она на меня подействовала».

26 июня. «В. в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни…»

28 июня. «В. ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».

30 июня. «В. славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься».

2 июля. «Опять в гадком, франтовском капоте… Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, всё прошло… Очень мила».

25 июля. «В первый раз застал ее *без гшатьев,* как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественна… Кажется,

она деятельно-любящая натура. Провел вечер *счастливо».*

30 июля. «В. совсем в неглиже. Не понравилась очень».

31 июля. «В., кажется, просто глупа».

1 августа. «В. была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».

10 августа. «Мы с В. говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».

12 августа. «Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».

16 августа. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке».

24 сентября. «В. мне противна».

Чтобы проверить свои отношения с Валерией, Толстой уезжает в Петербург и в ноябре-декабре 1856 года пишет ей длинные письма, в которых нет страсти, одни наставления, перемежаемые неуверенными объяснениями в любви.

«Вечера, пожалуйста, не теряйте… Не столько для того, что вам полезны будут вечерние занятия, сколько для того, чтобы приучить себя преодолевать дурные наклонности и лень… Ваш главный недостаток — это слабость характера, и от него происходят все другие мелкие недостатки. Вырабатывайте силу воли. Возьмите на себя и воюйте упорно с своими дурными привычками… Ради Бога, гуляйте и не сидите вечером долго, берегите здоровье».

«Вы говорите, что за письмо от меня готовы пожертвовать *всем.* Избави Бог, чтобы вы так думали, да и говорить не надо. В числе этого *всего* есть *добродетель,* которой нельзя жертвовать не только для такой дряни, как *я,* — но ни для чего на свете. Подумайте об этом. Без уважения, выше всего, к *добру* нельзя прожить хорошо на свете… Работайте над собой, крепитесь, мужайтесь».

Но есть в этих письмах два очень жестоких момента. Первый — Толстой всё-таки признавался ей в любви: «…я просто люблю вас, *влюблен в вас…»* И второй, куда более важный… Он придумывает пару: Храповицкий и Дембицкая. Они «будто бы любят друг друга» и собираются жениться, но при этом являются людьми «с противуположными наклонностями». Он описывает их будущий образ жизни, с подробностями, с цифрами доходов и расходов, с количеством комнат в воображаемом доме и т. д. По сути, он приглашает Валерию поиграть в свой семейный «проект». При этом тщательно разбирает не только ее недостатки, но и недостатки ее прежней пассии — француза-пианиста Мортье де Фонтена, которым она была увлечена в Москве. Он пишет: «Не отчаивайтесь сделаться совершенством». Советует надевать чулки

и корсет без помощи прислуги. И многое в этом роде, о чем можно писать только невесте.

В начале 1857 года Толстой уезжает за границу и пишет Арсеньевой прощальное письмо, ставя точку в конце «романа»: «Что я виноват перед собою и перед вами ужасно виноват — это несомненно. Но что же делать?… Прощайте, милая Валерия Владимировна, Христос с вами; перед вами так же, как и передо мной, своя большая, прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней прийти к счастию, которого вы 1000 раз заслуживаете. Ваш *гр. Л. Толстой».*

Через год Валерия вышла замуж за ротмистра Талызина, родила ему четверых детей, но затем развелась и вышла замуж вторично. В 1909 году она скончалась в Базеле, где и была похоронена.

«Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер — я во всех был влюблен», — пишет Толстой через год после разрыва с Арсеньевой, но в эту любовь не очень верится. И еще: сестры Львовы, баронесса Менгден, княжна Дондукова-Корсакова, княжна Трубецкая…

Дольше всех после Арсеньевой занимала его мысли Екатерина Федоровна Тютчева, дочь его любимого поэта.

29–31 декабря 1857 года. «Тютчева начинает спокойно нравиться мне».

1 января 1858 года. «К. очень мила».

7 января. «Тютчева, вздор!»

8 января. «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего».

19 января. «Т. занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».

20 января. «М. Сухотину с язвительностью говорил про К.Т. И не перестаю думать о ней. Что за дрянь! Всё-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет».

21 января. «К.Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не всё равно, а досадно».

26 января. «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!»

1 февраля. «С Тютчевой уже есть невольность привычки».

8 февраля — 10 марта. «Был у Тютчевой. Ни то ни се, она дичится».

28 марта. «Увы, холоден к Т. Всё другое даже вовсе противно».

31 марта. «Тютчева положительно не нравится».

В сентябре 1858 года он предпринимает последнюю душевную попытку жениться на Тютчевой. «Я почти бы готов без

любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня».

В конце этого же года с Толстым произошел случай, который, разумеется, не имел отношения к его жениховству, но который точно иллюстрирует его попытки обрести семейное счастье против всех принятых в нормальном обществе правил. В декабре он отправился в Вышний Волочек на медвежью охоту. Поставленный в определенном месте, он не стал отаптывать вокруг себя снег, как это положено, и чуть не поплатился за это жизнью. Выбежавшая на поляну медведица бросилась прямо на Л.Н. Первым выстрелом он промахнулся, вторым — попал ей в пасть, так что пуля застряла в зубах. Медведица сначала перелетела через него, а потом вернулась и стала грызть ему голову, содрав кусок кожи с лица. Подоспевший егерь застрелил ее. Шкура этой не убитой им медведицы потом лежала в его доме в Ясной, а затем в Хамовниках.

Чувство оленя

На пути к семейному счастью, к земному раю, ему, как и следовало ожидать, предстоял целый ряд искушений.

С одним из главных искушений, о котором он пишет в «Исповеди», тщеславием, он справился не то что легко, но сам по себе этот грех до поры до времени не вступал в противоречие с рисуемой его воображению семейной идиллией. Выдающегося военного из него не получилось; первое разочарование в опыте помещичьего хозяйствования было позади, но обещало удачную вторую попытку, вместе с яснополянской хозяйкой. А вот литературный успех был несомненный и, кроме реальных денег, давал гарантию весьма привлекательной деревенской жизни, лишенной неизбежной сезонной скуки. Сочетание сельского хозяйства с литературным трудом, да еще и практически выгодным, — чего ж еще желать!

Главным камнем преткновения на пути к «раю» был другой грех — похоть. В этом грехе, как ему казалось, он погряз до такой степени, что это сводило его с ума, сделавшись постоянной темой дневника.

По-видимому, чувство похоти было в нем очень развито, но едва ли превышало чувство всякого молодого, здорового и неженатого мужчины. Крестьянки-солдатки, горничные в европейских гостиницах и, наконец, проститутки были к его услугам, но связь с ними не доставляла ничего, кроме досады и нравственных мук. Служение похоти не только не могло быть для

него целью жизни, но и буквально мешало жить. «Девки сбили меня с толку», «девки мешают», «из-за девок… убиваю лучшие годы своей жизни», — рефрен дневника его молодости. По нравственной натуре Толстой был несомненным «монахом», не видевшим в половой страсти ни единого светлого момента. Но главное — от этой страсти некуда было бежать, она настигала везде: в Ясной, Москве, Петербурге, на Кавказе, за границей, и даже есть подозрение, что его почти счастливое состояние в осажденном Севастополе во многом объясняется тем, что ядра и картечь лучше всего разгоняли мысли о девках. Страх смерти был острее «чувства оленя».

«Чувство оленя» — выражение Толстого в дневнике. Это очень сильное определение похоти! Но именно то, что Толстой так точно ее определил, доказывает, что в нем это чувство не занимало всего внутреннего объема, что Л.Н. был способен и видеть, и осуждать в себе «оленя». Олень ни во время, ни после гона не способен рассуждать по этому поводу, а рефлексия Толстого о похоти была куда более изнурительной, чем сам «гон».

Его заграничный дневник 1857 года может вызвать впечатление, что Толстой был эротоманом. Сначала он едет в Париж, затем — в Швейцарию. Женева, Кларан, Берн… О красотах и достопримечательностях пишет скупо. Самое сильное впечатление от Парижа — демонстрация смертной казни на гильотине. Но вот на что он постоянно обращает внимание — это «хорошенькие».

«Бойкая госпожа, замер от конфуза», «…кокетничал с англичанкой». «Прелестная, голубоглазая швейцарка». «Служанка тревожит меня». «Красавицы везде с белой грудью». «Еще красавицы…» «Красавица с веснушками. Женщину хочу ужасно. Хорошую». «Красавица на гулянье — толстенькая». *«Девочки. Две девочки* из Штанца заигрывали, и у одной чудные глаза. Я дурно подумал и тотчас был наказан застенчивостью. Славная церковь с органом, полная *хорошеньких.* Пропасть *общительных* и *полухорошеньких*… Встреча с молодым красивым немцем у старого дома на перекрестке, где две *хорошеньких».* «Встретил *маленькую,* но убежал от нее».

Но посмотрим на вещи здраво. Париж, Швейцария, Женевское озеро… И наконец — весна, ведь первый заграничный дневник велся в марте, апреле и мае. Бегство Толстого за границу чем-то напоминает его бегство на Кавказ шестилетней давности и тоже весной. В России остались долги и «роман» с Арсеньевой, за который ему стыдно. Но мечты о женитьбе не покидают его, и в Дрездене он готов влюбиться в княжну Екатерину Львову («красивая, умная, честная и милая натура»), но чего-то и в ней

ему недостает. «Что я за урод такой?» В Женеве он опасно близок к любви даже к своей двоюродной тетке Alexandrine, Александре Андреевне Толстой, фрейлине, которая больше всех женщин отвечала его духовному идеалу. И если бы она не была старше его на 10 лет…

Это еще не Лев Толстой, яснополянский старец, каждый жест и слово которого будут притягивать к себе внимание всего мира. Но это уже очень сложный человек, о котором встречавшийся с ним в Париже Тургенев напишет П.В.Анненкову: «…странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатическое существо».

«Хорошенькие», «маленькие», «чудные» — это лишь дополнительная краска в том сложном, многокрасочном восприятии мира, которым всегда отличался Толстой. Это еще не «гон». Но сам-то Толстой уже видит в этом заманки дьявола и оттого так дотошно фиксирует это в дневнике. Уже в старости, перечитывая дневник и думая, как издавать его после его смерти, он сначала предложит выбросить эти места, но потом всё-таки посоветует их сохранить, как свидетельство, что даже такого грешного и ничтожного человека, как он, не оставил Бог.

А Бог напомнил о своем существовании очень скоро. В июле 1857 года он проигрался в Бадене в рулетку «в пух и до копейки», так что вынужден писать Тургеневу и просить выслать немедленно пятьсот франков. А вскоре пришло известие из России, что сестра Маша бежала с детьми от мужа, узнав о его развратной жизни. «Эта новость задушила меня», — пишет Толстой в дневнике.

В этом же дневнике конца июля — начала августа он подозрительно жалуется на «нездоровье». Это было то самое «нездоровье», с которым он начал вести дневник в Казани весной 1847 года. Это была венерическая болезнь.

Срочно приехавший в Баден-Баден Тургенев нашел его в ужасном состоянии. Больной, проигравший все деньги, оскорбленный за сестру. К тому же ее муж Валериан был фактическим управляющим Ясной Поляны в отсутствие Толстого, потому что брат Сергей от этого отказался. Смятый, раздавленный Толстой уезжает в Россию.

И здесь дьявол окончательно настигает его.

Дьявол

Повесть с одноименным названием Толстой написал в ноябре 1889 года, залпом, за десять дней. Однако не только не пытался ее напечатать, но прятал в обшивке кресла от жены. Это самое интимное произведение Л.Н. о самом себе. Даже более интимное, чем «Детство».

Этот «скелет в шкафу» (вернее, в кресле) находился в неподвижности в течение 20 лет, пока не был обнаружен женой.

«Софья Андреевна сегодня охвачена злом, — пишет Маковицкий 13 мая 1909 года, — гневно, злобно упрекала Л.Н. за повесть… которую он и не помнил, что и когда написал».

Не помнил? 19 февраля того же года Толстой пишет в дневнике: «Просмотрел, „Дьявола“. Тяжело, неприятно».

Повесть «Дьявол» касалась одной из самых интимных и болезненных страниц их семейной жизни. Речь шла о связи Толстого с замужней крестьянкой Ясной Поляны Аксиньей Базыкиной, самой продолжительной и мучительной связи с женщиной до женитьбы. Результатом ее стал внебрачный сын, о чем С.А. знала.

26 апреля 1909 года зять Толстого Сухотин пишет в дневнике:

«Ездил со Л.Н. к Чертковым. По дороге заехали к одной бабе, у которой умер ночью неизвестный странник. Покойный лежал на полу, на соломе, лицо было прикрыто какой-то тряпкой. Л.Н. приказал открыть лицо и долго вглядывался в него. Лицо было благообразное, покойное. Тут же сидели несколько мужиков. Л.Н. обратился к одному из них:

— Ты кто такой?

— Староста, ваше сиятельство.

— Как же тебя зовут?

Тимофей Аниканов[3].

— Ах, да, да, — произнес Л.Н. и вышел в сени. За ним последовала хозяйка.

— Какой же это Аниканов? — спросил Л.Н.

— Да Тимофей, сын Аксиньи, ваше сиятельство.

— Ах, да, да, — задумчиво произнес Л.Н.

Мы сели в пролетку.

— Да ведь у вас был другой староста, Шукаев, — произнес Л.Н., обращаясь к кучеру Ивану.

— Отставили, ваше сиятельство.

— За что же отставили?

— Очень слабо стал себя вести, ваше сиятельство. Пил уж очень.

— А этот не пьет?

— Тоже пьет, ваше сиятельство.

Я всё время наблюдал за Л.Н. и никакого смущения в нем не заметил. Дело в том, что этот Тимофей — незаконный сын Л.Н., поразительно на него похожий, только более рослый и красивый. Тимофей — прекрасный кучер, живший по очереди у своих трех законных братьев, но нигде не уживавшийся из-за пристрастия к водке. Забыл ли Л.Н. свою страстную любовь к бабе Аксинье, о которой он так откровенно упоминает в своих старых дневниках, или же он счел нужным показать свое полное равнодушие к своему прошлому, решить не берусь».

Тимофей Базыкин родился в 1860 году, за два года до свадьбы Л.Н. и С.А. Когда молодожены поселились в Ясной, он был младенцем. Именно об этом младенце пишет С.А. в дневнике, пересказывая свой сон через четыре месяца после свадьбы:

«Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, — это кукла».

Это был всего лишь «неприятный» сон. Но какой выразительный! С.А. была очень ревнива. Но здесь не только ревность. Запись в дневнике сделана в январе 1862 года, когда она была уже беременна. Уже придумано и имя для их первенца: если будет мальчик, то Сергей, если девочка — Татьяна. Нужно ли говорить, что сама мысль, что это будет первенец ее, но отнюдь не его, не могла не терзать сердце молодой жены и будущей матери?

Слухи, что в Ясной Поляне живет внебрачный сын графа, ходили среди крестьян и доносились до С.А. Когда выросли их с Л.Н. собственные дети и стали по примеру отца участвовать в полевых работах, они тоже слышали это.

Яснополянский «рай» с самого начала был осквернен. Дьявол оставил в нем следы, стереть которые было нельзя.

С крестьянкой Аксиньей Толстой вступил в связь через год после возвращения из-за границы. Это случилось на Троицу, в мае 1858 года. «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак Скотина. Красный загар шеи… Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. *Завтра все силы».*

Лето 1858 года стало одним из самых тяжелых в жизни Толстого. «Я страшно постарел, устал жить в это лето», — пишет он в дневнике. Его связь с Аксиньей продолжалась два года и разрушала его морально гораздо сильнее всех прежних связей. Эта связь стала «исключительной» и привела к тому, что в замужней крестьянке он впервые почувствовал то, чего не находил в провинциальных и столичных барышнях, — не просто женщину, но *жену*. И не чужую жену, а *свою*.

Если через год после начала связи он «вспоминает» об Аксинье «с отвращением, о плечах», то в октябре встречается с ней уже «исключительно». Еще через полгода понимает, что запутался окончательно. «Ее нигде нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».

Это было серьезным открытием для Толстого и первым серьезным ударом по его семейному «проекту».

Но что такого произошло? Молодой барин согрешил с крестьянкой, муж которой находился в городе, зарабатывая на семью и барину же на оброк. Дело, разумеется, нехорошее, но обыкновенное.

Это была не первая его любовь к простолюдинке. Скорее всего, знаменитая казачка Марьяна из повести «Казаки» имела реального прототипа по имени Соломонида. О ней он пишет в своем кавказском дневнике: «Пьяный Епишка (в повести — дядя Ерошка. — *П.Б.*) вчера сказал, что с Соломонидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять».

Вернувшись из Севастополя и живя то в Ясной, то в Москве, он отмечает в себе «уже не темперамент», а «привычку разврата». «Похоть ужасная, доходящая до физической боли». «Шлялся в саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать. Поэтому решился, где бы то и как бы то ни было, завести на эти два месяца любовницу». «Очень хорошенькая крестьянка, весьма приятной красоты. Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок».

Ну, вот он и получил и «самый порок», и постоянную любовницу, и не на два месяца, а на два года.

Почему вожделение к казачке Соломониде породило поэтичнейших «Казаков», а связь с яснополянской крестьянкой — страшного, безысходного «Дьявола»?

Причиной был семейный «проект» Толстого. В письме к Ергольской и в «Утре помещика» он выработал целую программу своей будущей семейной жизни и в конце 50-х годов уже сознательно искал кандидатуру на место хозяйки яснополянского

рая. И если бы он только всё продумал как нормальный, расчетливый человек… Но он был гениальным художником. Он нарисовал этот рай в своем воображении до такой степени прозрачной ясности и в то же время конкретности, что, по сути, уже жил в нем. На связь с Аксиньей он поначалу смотрел как на временное состояние.

И вдруг оказалось, что она и есть жена. Похоть и ее удовлетворение — не временное явление, не «прилив» и «отлив», не вопрос физиологии, но основа и самое «сердце» семейной жизни.

В «Дьяволе» помещик Евгений Иртенев (почти однофамилец Николеньки Иртеньева из «Детства») — это, несомненно, сам Толстой, с некоторыми оговорками. Толстой даже не утруждает себя скрывать это. Евгений закончил юридический факультет. Толстой пытался получить диплом юриста в Петербурге экстерном. Евгений получил наследство после раздела с братьями, точно так же было в жизни Толстого. Евгений начинал служить в министерстве (скорее всего, внутренних дел), и там же хотел одно время служить молодой Толстой. Евгений поселяется в деревне, мечтая «воскресить ту форму жизни, которая была не при отце — отец был дурной хозяин, но при деде». Отец Толстого не был дурным хозяином, но в том, что отец делал в Ясной, он продолжал линию тестя, князя Волконского, которую, как следует из письма к Ергольской, хотел продолжить сын и внук Лев. Евгений очень силен физически, «среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами». Толстой был заядлым гимнастом. С юности до старости поднимал гири, крутился на турнике.

Но это мелочи в сравнении с главным. Главное, что мучает Евгения и мешает заниматься хозяйством, — это похоть. «Он не был развратником, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил…»

Кому же он это говорил? Это сам Л.Н. писал в дневнике: «Ничто мне так не мешает работать» (как похоть).

Евгений, как и молодой Толстой, — человек программы, «проекта». Он поставил себе цель превратить имение в образцовое хозяйство и жениться на добродетельной девушке. Не по денежному расчету, но и не по случайному чувству, а сообразно внутренним убеждениям и представлениям о семейном рае.

Но беда! «Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда?»

И тогда в жизни Евгения появляется Степанида. Само ее имя является соединением Соломониды и Аксиньи, средним арифметическим из двух имен. Оно простонародное, но не распространенное. И в нем есть отчетливый «мужской» элемент.

В конце повести, когда Евгений прозревает, он говорит о Степаниде: «Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною». В другом варианте это звучит так «Господи! Да нет никакого Бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол». В первом варианте повести Евгений застрелился. Во втором — убил Степаниду. В обоих случаях его сочли временно умалишенным. В обоих вариантах последние фразы почти идентичны. «И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят».

Таким образом, в истории Евгения, как и в истории с Аксиньей, Толстой видел универсальную ситуацию. Это судьба всех мужчин. И те из них, кто этого не понимают, куда больше являются душевнобольными, чем Иртенев.

Повесть «Дьявол» писалась позже, чем «Крейцерова соната» (1888), но зато одновременно с «Послесловием к „Крейцеровой сонате“», где Толстой вынес нравственный приговор не только половой любви, но и браку: «Христианского брака быть не может и никогда не было…»

«Крейцерова соната» написана раньше, но по сюжету является продолжением «Дьявола». После того, как Евгений убил Степаниду, его признали душевнобольным и приговорили к церковному покаянию. Из следственной тюрьмы и монастыря он вернулся безнадежным алкоголиком. Убивший жену герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев тоже выходит на свободу благо даря суду присяжных. Во время разговора с попутчиком Позднышев постоянно пьет крепчайший чай, который «как пиво». Это человек с разрушенной психикой, но убежденный в том, что он душевно гораздо здоровее окружающих. Позднышев познал (но слишком *поздно*), что нет принципиальной разницы между соитием с женой и любой другой женщиной. Брак — это сокрытое преступление.

Отношение позднего Толстого к браку было не то чтобы полностью отрицательным. Но, по его убеждению, первая женщина, с который мужчина «пал», и должна стать его женой. Эту мысль он высказывал неоднократно, не стесняясь присутствия С.А. Этой мысли он не изменил до конца дней.

Вот в чем было открытие Толстого-Иртенева-Позднышева. И

если бы Толстой в конце 50-х годов довел эту мысль до конца, не было бы пятидесятилетнего брака с Софьей Андреевной, как не было бы «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Но пока, возможно, испугавшись этой мысли, он лихорадочно напишет в дневнике 1 января 1859 года: «Надо жениться в нынешнем году — или никогда».

Берсы

В конце мая 1860 года Толстой признается в дневнике: «Ее (Аксиньи. — *П.Б.*) не видал. Но вчера… мне даже страшно становится, как она мне близка». В это же время он испытывает новое разочарование в сельском хозяйстве: «Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня» (письмо к Фету).

В июле с сестрой Марией Толстой уезжает за границу, в Соден. По дороге, в Москве, делает в дневнике короткую запись: «Москва. Берсы». В Содене умирает от чахотки их брат Николенька. Он скончался во Франции, в Гиере, 20 сентября. Это событие произвело страшное впечатление на Толстого.

«Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н.Н.Толстой… ничего не осталось», — пишет он Фету.

Безвозвратность смерти и невозможность ее разумно объяснить ошеломляет его настолько, что он решает отказаться от литературного творчества. Зачем оно? Ведь «завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя». Единственное, что остается, это «глупое желание знать и говорить правду», «только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь».

Одновременно он убеждает себя, что сам болен чахоткой. Мечется по Европе, словно стараясь убежать от нее. Гиер — Париж — Ницца — Флоренция — Ливорно — Неаполь — Рим — Лондон — Брюссель — Франкфурт-на-Майне — Эйзенах — Веймар — Дрезден — Берлин — вот карта бегства Толстого, во время которого он, тем не менее, не теряет времени даром, изучая европейскую практику преподавания в школах. В мае он возвращается в Ясную Поляну и отдается новой страсти — педагогике, которую называл своей «последней любовницей».

Что же представляет из себя Толстой накануне женитьбы на Софье Берс в сентябре 1862 года?

1) Он считает себя больным, будучи в целом

физически крепким и здоровым.

2) Он панически боится смерти.

3) Он боится физической связи с женщинами, но при этом одержим повышенной чувственностью.

4) Он является вторым после Тургенева признанным лидером русской литературы, но готов бросить писательство ради нового увлечения — педагогики.

5) Прекрасный помещик из него не получился.

6) Он человек страстный, но не спонтанный, человек «проекта».

7) Он несомненный эгоцентрик, взгляд которого постоянно обращен внутрь своей души, но при этом он обладает повышенной восприимчивостью внешнего мира, жадным взглядом на людей.

8) Он верит в Бога, не будучи христианином.

9) Он очень хочет жениться.

Вот какой невообразимый «букет» должен был достаться его избраннице. Неудивительно, что он не спешил отдать его в первые слабые руки. Наконец его взгляд остановился на семье Берсов…

Всё здесь было прекрасно и в то же время практично. Мать будущей жены Толстого являлась его детской подругой, в которую он был почти влюблен ребенком и, по слухам, правда, опровергаемым будущей тещей, как-то в порыве ревности даже столкнул Любочку с балкона яснополянского дома.

Отец Любови Александровны Берс, в девичестве Ислявиной, Александр Михайлович Исленьев, был соседом Николая Ильича Толстого. Это был настоящий русский барин, в большей степени послуживший прототипом папа в «Детстве», чем отец Толстого.

Имение Исленьевых Красное находилось в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны. Николай Ильич и Александр Михайлович постоянно вместе охотились и гостили друг у друга семьями целыми неделями, привозя своих поваров, лакеев, горничных. Весь этот люд ютился в комнатах и коридорах и спал прямо на полу на войлоках и рогожах.

Любовь Александровна была незаконной дочерью от третьего, незарегистрированного брака Исленьева с княгиней Козловской, бежавшей от первого мужа и тайно обвенчавшейся с Исленьевым в селе Красном. История наделала много шума в свете, потому что княгиня Козловская в девушках была фрейлиной при дворе. По жалобе князя Козловского брак был признан незаконным, и дети Исленьева от третьей жены вынуждены были носить «исправленную» фамилию Ислявины.

В истории рода жены Толстого со стороны матери было много поэтического, по-настоящему русского, старинного, что не могло не согревать душу автора повести «Детство», в которой семья Берсов-Ислявиных безошибочно узнавала своих родственников и обожала эту повесть до какого-то почти религиозного восторга. Сонечка Берс выучила ее наизусть целыми кусками.

Таким образом Толстой роднился с семьей, в которой уже существовал его культ как писателя. С другой стороны, с матерью своей будущей жены он был на «ты» и называл ее «Любочкой», а она его «Левочкой». Это заранее снимало возможность натянутых отношений между зятем и тещей. Для главного после него человека яснополянского дома, тетеньки Ергольской, Любовь Александровна Берс тоже была своим человеком, она знала ее с раннего детства. Это вселяло уверенность, что и дочь поладит с Татьяной Александровной.

В семье Берсов было приятно находиться. Толстой был угловат в общении и считал себя некрасивым, «ужасным» (большой нос, большие уши, кустистые брови, небольшие, голубоватые, глубоко посаженные глаза).

Но у Берсов всё было просто.

На правах друга детства хозяйки дома Толстой приходил к ним обедать, когда бывал в Москве, приезжал и приходил пешком на их дачу в Покровекое, оставался там ночевать, а наутро добрейший муж Любочки Андрей Евстафьевич Берс отвозил его в Москву в своей коляске по пути в Кремль.

Андрей Евстафьевич работал кремлевским врачом. Он тоже был древних кровей, но германских. По матери он принадлежал к многочисленной в России семье вестфальских дворян. Отец его был богатым московским аптекарем, разорившимся во время пожара Москвы 1812 года, но затем вернувшим относительное благосостояние. Два его сына, Александр и Андрей, закончили лучший в Москве немецкий частный пансион Шлецера, а затем медицинский факультет Московского университета. По окончании курса Андрей Евстафьевич Берс в качестве домашнего врача поехал в Париж с семьей Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых и их сыном Ванечкой, будущим классиком русской литературы. Вернувшись из Парижа, он поступил на службу в Сенат. В здании Кремлевского дворца ему отвели казенную квартиру. В царствование императора Николая Павловича он получил звание гоф-медика. Затем хлопотал о восстановлении дворянского достоинства и герба (все документы сгорели в 1812 году), что и было возвращено обоим братьям, но уже без медведя на гербе («берс» в немецком склонении означает «медведь»),

Андрей Евстафьевич в молодости был сердцеедом. Варвара Петровна Тургенева даже родила от него незаконную дочь, которая таким образом была сводной сестрой Тургенева и жены Толстого. Варвара Житкова оставила после себя интереснейшие воспоминания. По слухам, вождь русского анархизма, князь Петр Алексеевич Кропоткин, на самом деле тоже был сыном домашнего врача Кропоткиных — Берса.

Андрей Евстафьевич был человеком практическим и сентиментальным. Эта глубокая немецкая черта передалась его средней дочери Сонечке, в которой практицизм уживался с повышенной чувствительностью, нередко переходящей в истеричность. Это был человек упрямый, порой тяжелый для домашних, но беспредельно любящий, заботливый отец своих «папиных дочек» и, как потом оказалось, превосходный тесть, чьи письма в Ясную к С.А. и Л.Н. после их свадьбы невозможно читать без доброй улыбки.

24 сентября 1862 года; «Как-то вы доехали, мои милые и дорогие друзья? Воображаю себе, какая встреча вам была. Прошу засвидетельствовать мое почтение Татьяне Александровне и дружески кланяться Сергею Николаевичу (старший брат Толстого. — *П.Б.*). Тебя, милая Соня, обнимаю, а ты расцелуй от меня своего мужа. Мать целует вас и благословляет. Весь день говорили об вас. Прощайте, ваш искренно любящий батька».

27 сентября: «Целуешь ли ты крепко своего доброго и милого мужа? — расцелуй и за меня да потрепли его хорошенько за бороду».

Сразу после отъезда молодых в Ясную он настойчиво, но ненавязчиво зовет их в Москву, обещая предоставить в их распоряжение кремлевскую квартиру или подыскать им недорогие, но удобные апартаменты рядом с Кремлем. Он готов ходить в Охотные ряды закупать для них провизию, что ему совершенно нетрудно, ведь он и так это делает для своей семьи. Первым, как врач, догадавшись по описаниям недомогания Сони, что она беременна, он успокаивает не ее, а Л.Н. Сонечке же настоятельно советует не кататься на саночках, не есть тяжелой пищи, которая давит на матку, а от тошноты использовать безотказное французское лекарство под названием «tranche de citrone», что означает по-русски просто «ломтик лимона». Но — Боже упаси! — не глотать его с коркой.

Увозя их среднюю дочь из Кремля в Ясную Поляну почти сразу после венчания, Толстой оставлял Берсам тяжелое наследство в виде их старшей дочери Лизы, которая до последнего считалась невестой Л.Н. и убедила себя, что влюблена в него.

В семье Берсов было три сестры: Лиза, Соня и Таня. И разумеется, все трое были в него влюблены! Это он думал, что он такой некрасивый, «ужасный», со своим носом, ушами и бровями. Но для девочек из скромной семьи гоф-медика, сына аптекаря, за которого даже незаконнорожденную Любочку Ислявину отдавали скрепя сердце («Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать», — по-старинному выговаривая слово «музыканты», сердито говорила ее отцу бабушка Дарья Михайловна Исленьева, помня о своем родстве с самими Шереметевыми), для этих «милых девочек», как вскользь выразился о них в дневнике Толстой, он был самым интересным мужчиной, какого они только могли себе представить.

Он тогда еще не носил знаменитых «толстовок», которые потом будет шить С.А. вместе с просторными панталонами. Он обшивался у лучших и самых дорогих портных Москвы и Петербурга. Знаменитый писатель, боевой офицер, которого готова была обласкать императорская семья, если бы не его характер. Культ императорской фамилии в семье дворцового лекаря был безусловный. С.А. не избавилась от него даже будучи женой Толстого, когда он стал злейшим врагом самодержавия. Но, конечно, не в отблеске высшего света, лежавшем на поручике Толстом, заключался его шарм для «милых девочек». Но в чем же? Может быть, в том, что он прилично пел и музицировал? В том, что, равный по возрасту с их матерью, он «танцовал» с ее дочерьми как с большими? В том, что самая младшая из них, Танечка, просто использовала его как верховую лошадь, с победоносным криком разъезжая на его спине по комнате?

«То-то пойдет у нас верховая езда по зале, — писал Андрей Евстафьевич Берс Толстым в Ясную, уговаривая приехать в Москву. — Танька того и ждет только, чтобы взобраться на спину твоего мужа».

Разумеется, Толстой стал кумиром всех трех сестер, этих непохожих друг на друга девичьих сердечек, объединенных восторгом перед великолепным Л.Н., каждое посещение которого в Кремле или в Покровском перед отъездом в действующую армию или за границу было событием невероятного счастья, о котором потом вспоминали всё время до его нового прихода.

И сам Толстой это понимал и чувствовал и дышал этим воздухом всеобщей в него влюбленности, воздухом, без которого задыхается любая артистическая натура.

Ну разве не приятно получить в день рождения такое «пригласительное письмо»:

«Во главе всех пишущих приношу вам, любезный Граф Лев Николаевич, мое задушевное поздравление со днем вашего

рождения и прошу вас приехать к нам сегодня обедать и ночевать. В среду утром я обязуюсь доставить вас в Москву, если вам угодно будет со мной ехать. Надеюсь, что добрый Лев Николаевич не откажется всех нас утешить, — подавно в такой день, который многих утешил появлением и теперешним вашим пребыванием на белом свете. — И так надеюсь, что до свидания. Ваш искренно любящий Берс».

Впрочем, на обороте листа была приписка другим почерком, которая едва ли могла понравиться перспективному жениху:

«В старину, Левочка и Любочка танцовали в этот день, теперь же на старости лет, не худо нам вместе попокойнее отобедать, в Покровском, в кругу моей семьи вспомнить молодость и детство. Л.Берс».

Напоминание о его возрасте от будущей тещи не могло понравиться Л.Н. Тем более в августе 1862 года, когда *участь его была решена.* И решена в пользу не старшей, Лизы, а средней — Софии.

В семью Берсов Толстой вошел на законных правах старинного знакомого, но в девичьей ее части произвел разрушения как беззаконная комета.

В истории сватовства Толстого, на первый взгляд такой запутанной, даже какой-то «водевильной», можно выделить несколько этапов. В мае 1856 года по дороге из Севастополя в Ясную он останавливается в Москве, навещает в Покровском свою детскую подругу Любовь Александровну Берс и впервые обращает внимание на то, что у нее подрастают три прелестные дочки. По причине временного отсутствия прислуги девочкам (Лизе — двенадцать лет, Сонечке — одиннадцать, Танечке — девять) доверили сервировать стол для дорогих гостей (Толстого и их дяди Константина Александровича Ислявина) и ухаживать за ними. Как же они были счастливы!

Больше других хлопотала средняя сестра. По негласному семейному раскладу средней из сестер доставалось больше всего забот. Старшая — умная, начитанная, «правильная», но, как водится, не самая любимая. Младшая — кокетка, «чудо в перьях», избалованная и всеми обожаемая. Средняя должна соединять в себе живость младшей с основательностью старшей, не рассчитывая при этом ни на особое уважение, ни на обожание. Больше всего дел, естественно, падает на ее плечи, потому что старшая вечно сидит со своими книжками, а младшая вечно стоит на голове.

Семья Берсов была во всех отношениях классической семьей. Баловал дочек, разумеется, папа, а воспитывала из них настоящих женщин и будущих жен, конечно, мама. Танечку баловали больше

всех, а Лизу и Соню с раннего детства приучали к хозяйству. «Кроме уроков, — вспоминала С.А., - мы, две сестры, должны были сами шить и чинить белье, вышивать… Хозяйство о тоже было отчасти в наших с сестрой Лизой руках. Уже с 11-ти летнего возраста мы должны были рано встать и варить отцу кофе. Потом мы выдавали кухарке из кладовой провизию, после чего к 9-ти часам готовили всё к классу… Отец вообще баловал нас и любил доставлять нам не только нужное, но даже роскошное. У матери были свои, довольно своеобразные взгляды. Она боялась доставлять нам роскошь, приучать к ней, заставляла нас шить на себя белье, вышивать, чинить, хозяйничать, убирать всё… А между тем она не могла представить, чтобы мы, девочки, гуляли без ливрейного лакея или ездили бы на извозчике».

«Обедали у Любочки Берс, — записывает Толстой 26 мая в дневнике. — Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки».

Десятью днями раньше в дневнике есть запись: «Никогда не упускай случаев наслаждения и никогда не ищи их. — Даю себе правило на веки никогда не входить ни в один кабак и ни в один бардель…» Однако в феврале того же года, находясь в Петербурге и решая служебные и литературные дела, он пишет: «Поссорился с Тургеневым, и у меня девка».

Надо почувствовать, какая огромная психологическая дистанция была между опытным мужчиной и «милыми, веселыми девочками», которые прислуживали ему за столом. Через шесть лет одна из этих девочек станет его женой. Чтобы представить себе ее внутренний облик, обратимся к одному эпизоду из ее мемуаров:

«Когда мне было 15 лет, приехала к нам гостить двоюродная сестра Люба Берс, у которой только что вышла замуж сестра Наташа. Эта Люба под большим секретом сообщила мне и сестре Лизе все тайны брачных отношений. Это открытие мне, все идеализирующей девочке, было просто ужасно. Со мной сделалась истерика, и я бросилась на постель и начала так рыдать, что прибежала мать, и на вопросы, что со мной, я только одно могла ответить: „Мама, сделайте так, чтоб я забыла…“»

«…и вот я решила тогда, — продолжает С.А., - что если я когда-нибудь выйду замуж, то не иначе как за человека, который будет так же чист, как я…»

В изложении этого сюжета есть одна сомнительная нота. Свои мемуары она начала писать в 1904 году, когда уже знала о муже решительно всё, в том числе и его дневник 1856 года, где «милые девочки» простодушно соседствовали с «девками». К тому времени уже было написано «Воскресение», где главной героиней,

воспетой ее мужем, была, как бы то ни было, проститутка. Этот роман не нравился С.А. не из-за его художественных недостатков, но именно по этой причине, «…мне неприятно читать подробности жизни проституток, этих тварей, которых посещали наши мужья, сыновья, отцы и вообще мужчины. А мы, чистые, невинные девушки оказывались наследницами этих падших тварей; и описанье их Л.Н. болезненно напоминало мне и его неоднократные посещения домов терпимости, о чем он мне сам говорил и о чем писал в своих молодых дневниках. А я в то время (когда писалось „Воскресение“. — *П.Б.*) как раз усердно переписывала дневники Л.Н., чтоб один экземпляр хранить в музее, другой в Ясной Поляне. Это было для моей души большим терзанием».

Но тогда, в Покровском, весной 1856 года, перед восторженной Сонечкой сидел не автор «молодых дневников» и «Воскресенья», но автор «Детства». И еще это был автор патриотических «статей» в «Современнике» о защитниках Севастополя, которые так понравились Государю.

Это было начало первого этапа. Через два года, в сентябре 1858 года он приезжает к Любови Берс на именины и затем в дневнике почти буквально дублирует свою дневниковую запись 56-го года: «Милые девочки!» Но опять — всё еще очень неопределенно. Просто «милые девочки», три сестры. Но уже появился восклицательный знак, кстати, не частый в дневниках Толстого. Соне в то время 14 лет, по тем временам она вполне девушка, но Толстой еще не видит ее в отдельности от «милой» троицы. Между тем он уже влюблен. Но не в Соню, а в Берсов.

Пробежим взглядом дневник 1858 года, чтобы представить себе самочувствие этого человека.

«Тютчева… холодна, мелка, аристократична. *Вздор!»* «Александрии Толстая постарела и перестала быть для меня женщина». «Был у Тютчевой, ни то ни се…» «Чудный день. Бабы в саду и на копани. Я угорелый…» «Надежда Николаевна была одна. Она сердита на меня, а улыбка милая. Ежели бы не павлиньи руки». «Живем с тетенькой по-старому славно». «Видел мельком Аксинью. Очень хороша… Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли». «Имел Аксинью…; но она мне постыла». «Тургенев скверно поступает с Машенькой». «Видел Валерию — даже не жалко своего чувства».

В этих записях можно проследить три важных момента. Настоящая любовь, даже нежность вспыхивают в Толстом только по отношению к близким людям — к тетеньке Ергольской, к сестре Маше, которая в это время влюблена в Тургенева и безнадежно надеется на развитие романа с ним. Но эта нежность

быстро переходит в злость по отношению к тем, кто обижает его родных. «Дрянь», — пишет о Тургеневе, единственной виной которого была его вечная нерешительность во всех решительно «романах» с женщинами. Еще один вектор — яркое, сильное, но животное чувство к крестьянкам вообще и Аксинье Базыкиной в частности. И третий — холодное, лишенное жизни отношение к потенциальным невестам — Екатерине Тютчевой и Валерии Арсеньевой.

Но любил ли Толстой вообще женщин? Очень сложный вопрос.

С одной стороны, известна «женофобия» позднего Толстого, над которой посмеивались в его семье и которая очень сердила С.А. Известны резкие высказывания Л.Н. об эмансипации, о повальной моде среди девиц идти в учительницы и акушерки. Почти крылатой стала его фраза, что правду о женщинах он скажет только на краю могилы: прыгнет в гроб, скажет правду и захлопнет крышку. С другой стороны, Толстой сентиментально любил своих дочерей, Таню, Машу и Сашу, что, кроме счастья общения с отцом, создавало им жизненные проблемы: обожая дочерей, он ревновал дочек к их женихам.

Просто словом «женофобия» его отношение к женщинам не определишь. Да и странно было бы говорить о «женофобии» творца Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Кити Левиной, Катюши Масловой…

И всё-таки отношение Толстого к женщинам любовью тоже не назовешь. С молодости и до конца дней это было смешанное чувство страха, жгучего интереса и тяжелых мыслей о дьявольской природе половой любви.

«Женофобия» Толстого не могла не породить в XX веке миф о его подспудном гомосексуализме. К несчастью, он сам предоставил карты любителям раскрашивать классиков в голубой цвет. Речь идет о его записи в дневнике, которую мы приведем полностью, потому что это всё-таки признание самого Толстого.

«Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенной силою. В мужчин я очень часто влюблялся, 1 любовью были два Пушкина, потом 2-й — Сабуров, потом 3-ей — Зыбин и Дьяков, 4 — Оболенский, Блосфельд, Ислявин, еще Готье и многие другие… Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности

педрастии[4] — , но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Странный пример ничем необъяснимой симпатии — это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Ислявину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к тем людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».

Это признание относится к 1851 году. Поразительно, с какой беспощадностью двадцатидвухлетний Толстой анализирует свои переживания.

В том же 1858 году, когда он пишет о сестрах Берс: «Милые девочки!» с восклицательным знаком, — он записывает в дневник странный сон, в котором фигурирует еще живой брат Николай Толстой: «…видел во сне, что Николенька в женском голубом платье с цветком едет на бал». Толстой серьезно относился к снам, постоянно фиксировал их в своих дневниках, посвящал им отдельные места в сочинениях и даже отдельные сочинения («Сон молодого царя», «Что я видел во сне…» и др.).

Этот «голубой» сон 1858 года просто напрашивается быть осмысленным в эстетике Серебряного века, как и другой — начала 1859 года: «Видел один сон — клубника, аллея, она, сразу узнанная, хотя никогда не виданная, и Чапыж в свежих дубовых листьях, без единой сухой ветки и листика…»

Да это же Незнакомка, «узнанная» за полвека до появления ее в поэзии Блока! Это заставляет по-новому взглянуть на облик

Толстого-жениха.

Когда посещение Толстым семьи Берсов стало слишком частым и приобрело явно жениховский характер, старшая сестра решила, что она и есть избранница Л.Н. А как иначе? Ведь к тому времени, как он начал различать трех «милых девочек» как отдельных личностей, Елизавета Берс была единственной сестрой на выданье. Да и порядок требовал, чтобы первой замуж вышла старшая сестра.

Однако не даром бабушка сестер Берс, родная тетка их отца Мария Ивановна Вульферт говорила о Сонечке, которую она любила больше всех: «Sophie a la tête abonnée». Это игра слов. «У Сони — голова в чепце» или «У Сони — голова абонирована». Это означало, что Сонечка первой выйдет замуж.

Старшей сестре Лизе чего-то недоставало. Она была девушка милая, серьезная, но необщительная. Ее постоянно видели с книгой в руках.

— Лиза, иди играть с нами, — звали ее младшие сестры и брат Саша, пытаясь отвлечь от чтения.

— Погоди, мне хочется дочитать до конца.

«Но конец этот длился долго, — вспоминала Т.А.Кузминская, — и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью, у нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья, она, казалось, перечитала всё, что только было доступно ее возрасту».

Казалось, эта серьезность должна была привлечь Толстого. Ведь что его больше всего раздражало в Арсеньевой? Кокетство, любовь к нарядам, балам и умственная пустота. Лиза была полной противоположностью ей. И Толстой поначалу это оценил и даже привлек девушку к сотрудничеству в своем педагогическом журнале «Ясная Поляна».

Всё, казалось, говорило за то, что в лице старшей сестры он имеет готовую жену и сотрудницу для писательской жизни. В это время начинается второй этап его вхождения в семью Берсов, происходит как бы разграничение полномочий трех сестер. С Лизой он сотрудничает, с Соней музицирует, нещадно критикуя за неверные звуки, с Танечкой поет и дурачится.

И в это же время Толстой заявляет сестре Марии, которая была очень дружна с Любовью Берс:

— Машенька, семья Берс мне симпатична, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье.

Он еще не знает, на ком женится, но уже знает — *где*. Эти слова, которые подслушала гувернантка детей Марии Николаевны и передала своей родной сестре, гувернантке детей

Берсов, в семье Берсов расценили по-своему. Единственной невестой в доме была Лиза. Соня была еще просто «здоровая, румяная девочка с темно-карими глазами и темной косой», как вспоминала о ней сестра Татьяна. Что касается Танечки, она была совсем ребенком.

Судя по дневникам, Толстой пристально всматривался во всех трех сестер, с интересом и каким-то даже изумлением наблюдая процесс их взросления, который в этом возрасте происходит стремительно: вчера еще ребенок в коротком платьице, а сегодня уже невеста. Эти наблюдения не прекратились и после женитьбы на Соне в отношении Танечки, которая послужила главным прототипом Наташи Ростовой. Именно образ Наташи Ростовой наиболее ярко отражает всю сложность отношения Толстого к сестрам Берс. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа», — шутил Л.Н.

И еще он шутил в присутствии жены и свояченицы: «Если бы вы были лошади, то на заводе дорого бы дали за такую пару; вы удивительно паристы, Соня и Таня». Художникам многое прощается. Но вряд ли С.А. была рада прочитать в дневнике своего мужа признание, сделанное через три месяца после их свадьбы: «В Таню всё вглядываюсь». И еще через три дня: «Боязнь Тани — чувственность».

Татьяна Андреевна Кузминская не была счастлива в семейной жизни. Едва ли не главной причиной этого стали Толстые. Уж очень они были интересные, харизматичные мужчины, рядом с которыми все прочие как-то меркли. Л.Н. был Толстым № 1. И он выбрал Соню. Но был еще его замечательный старший брат, Сергей Николаевич, в которого и влюбилась Таня на следующий год после свадьбы сестры, когда сама стала девушкой на выданье. Однако Сергей Николаевич, послуживший прототипом Андрея Болконского, в реальной жизни был связан с цыганкой Машей, жил с ней в Пирогово и имел незаконных детей. Влюбившись в Таню («Подарила нищему миллион», — говорил он о ее любви), он всё-таки не решился оставить Машу и детей, измучил обеих своими «ни да, ни нет» и, наконец, остался жить с цыганкой, поступив по отношению к ней как порядочный человек, но, по сути, подстрелив Таню в самый важный момент ее девического взлета.

Часто посещая Берсов и проговорившись сестре о том, что хотел бы найти жену в этой семье, Толстой дал Лизе повод надеяться, что этой женой станет она. Две сестры, гувернантки Берсов и Марии Николаевны, по очереди «стали напевать Лизе о том, как она нравится Льву Николаевичу». В свою очередь, Мария Николаевна «напевала» брату, какая прекрасная жена выйдет из

Лизы. Уж очень она хотела его женить!

Лиза сначала относилась к этому равнодушно, но потом, по словам Татьяны, «в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто сердце…

Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивая его: „Какая я? Какое произвожу впечатление?“ Она меняла прическу ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль».

Таня ей сочувствовала, Соня посмеивалась над ней. Она знала, что в соперничестве со старшей сестрой женское обаяние и привлекательность на ее стороне. В нее уже влюблялись четырнадцатилетние мальчики и тридцатипятилетние мужчины, приходившие в хлебосольный дом Берсов. Был забавный случай, который произошел в Покровском. К Берсам приехали их друзья Перфильевы и с ними четырнадцатилетний Саша, «недоразвитый, наивный мальчик». «Он сидел около Сони, — пишет Кузминская, — всё время умильно глядя на нее. Вдруг взяв рукав ее платья, он стал усиленно перебирать его пальцами. Соня конфузливо улыбалась, не зная, что бы это значило.

— Pourquoi touchez la robe de m-lle Sophie?[5] — послышался вдруг резкий голос Анастасии Сергеевны, матери Саши.

— Влюблен.

Все дружно засмеялись, и все взоры обратились на Соню, более смущенную, чем ее обожатель».

Ничего подобного не могло произойти с Лизой. Вот и тридцатипятилетний профессор Нил Александрович Попов, «степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами» мужчина, тоже влюбился в Сонечку. И еще — учитель русского языка Василий Иванович Богданов, которому в результате пришлось отказать от дома. И сын придворного аптекаря. И сын знаменитого партизана и поэта Дениса Давыдова. И еще Янихин, сын известного акушера.

В Соне было что-то такое, что притягивало к ней мужчин всех возрастов. Это «что-то» называется одним словом «женственность». Это было сочетание живого характера, мгновенной грусти и рано проявившегося материнского инстинкта. Сонечка была женщиной *par ecellence*. Она была прекрасной артисткой в домашнем театре и могла изображать даже мужчин, тонко чувствуя их характерные слабости.

«Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам, — писала Кузминская. — Маленькие дети, их кормление, пеленки — всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Соня, напротив, часто сидела

в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах».

В то же время в Соне была черта, которая насторожила бы другого мужчину, но которая не могла не привлечь Толстого с его сновидческими представлениями об Идеальной Жене.

«Она имела очень живой характер, — пишет Кузминская, — с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь… Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей всё казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему… Отец знал в ней эту черту характера и говорил: „бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива“».

Но только такой комплексный характер мог вполне удовлетворить Толстого. Не забудем, что в это время, да и потом всю жизнь он очень увлекался музыкой. В Соне была «музыкальность»! Нет, со слухом и исполнительским талантом у нее как раз были определенные проблемы. Но «музыкальность» была в самой ее природе, поступках, оттенках настроений.

Вот как будто ничего не значащий случай, который, однако, выразительно рисует «расстановку сил» в милой троице в глазах Л.Н. Покровское, весна. Лиза, Соня, Таня, их брат Петя отправились гулять с Л.Н., профессором Поповым и учителем французского Жоржем Пако. По своей привычке, Толстой повел всех неизвестной тропой, и скоро на их пути возник не то ручей, не то глубокая лужа. Что делать? Таня прыгает Л.Н. на закорки, и он переносит свою «мадам Виардо», как он шутливо называл ее за прекрасный голос, на ту сторону. Лиза степенно переходит ручей, приподняв платье, по сучьям, которые принес Пако. Танечка смотрит на нее и думает: «Ведь вот никто не предложит перенести ее. Отчего? Она совсем другая». А Соня? Ей предлагает услуги Попов.

— Софья Андреевна, вы не решаетесь и ищете место для перехода. Я помогу вам, перенесу вас.

— Нет! — закричала Соня, вся покраснев и, видимо, испугавшись его намерения. Она сразу шагнула в воду и быстро, с брызгами во все стороны, перебежала ее.

«Попов без чутья, — замечает про себя Танечка, — нельзя нести Соню — она большая, а он хотел, как Лев Николаевич. Меня можно».

Казалось бы, какой из этого можно сделать вывод? Никакого. Но, однако же, перед тем как лечь спать, Соня с Таней (без Лизы, та — в стороне) горячо обсуждают это «событие». И вдруг

оказывается, что это «событие» взволновало и Толстого.

— Он очень одобрил меня, что я не позволила Попову перенести себя, — сказала Соня. — Я это самое и ожидал от вас, сказал он мне. Потом расспрашивал, что я делала за всё это время и чем увлекалась.

Есть вещи, которые нельзя объяснить. Например, почему все аргументы «за» для Толстого были на стороне Сони, а все аргументы «против» — на стороне Лизы. Маленькая Танечка это хорошо понимала. Поэтому она была «в игре», а Лиза «вне игры».

— Соня, tu aimes le comte?[6] — однажды спросила сестру Танечка.

— Je ne sais pas[7], - тихо ответила та, нисколько не удивившись.

— Ах, Таня, — немного погодя заговорила она, — у него два брата умерли чахоткой…

Это было начало третьего этапа вхождения Толстого в семью Берсов, который не мог завершиться ничем, кроме женитьбы на Соне.

Толстой еще не влюблен, и Соня еще не влюблена. Вернее, она чуть-чуть влюблена в другого — в кадета Митрофана Поливанова, друга ее брата Саши. «Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный». Соня тайно «помолвлена» с Поливановым, также как Таня — со своим кузеном Сашей Кузминским.

Это детские, но вполне серьезные и многообещающие связи, которые в иной ситуации (то есть, говоря прямо, при отсутствии Толстого) закончились бы, наверное, удачными семейными романами. Саша Кузминский был родственник и «свой» в семье Берсов. Митя Поливанов, сын генерала императорских конюшен, коим и сам стал впоследствии, больше подходил по своему социальному положению Берсам с их «буржуазной», «аптекарской» родословной. Женитьба Толстого на Соне была всё-таки мезальянсом. Соня не была графиней, и за ней не было ни гроша приданого.

После катастрофы с Сергеем Николаевичем Таня вышла замуж за Кузминского, ставшего судебным деятелем, а затем даже сенатором, но это уже не мог быть счастливый семейный роман. С самого начала их жизнь была отравлена ревностью мужа к Толстым. И не только к Сергею Николаевичу которого Таня любила всю жизнь, а к Толстым вообще, к самой их слишком выдающейся, талантливой породе, к тому, что его жена была беспредельно влюблена в Ясную Поляну и не мыслила своей жизни без нее, а значит, и без Толстых. К тому, что она уже не могла отделить себя от Наташи Ростовой.

Соня и Таня догадались о влюбленности графа в Соню раньше своих родителей и Лизы. Любовь Александровна и Андрей Евстафьевич поначалу были уверены, что если граф сделает предложение, то непременно Лизе. По Москве уже ходили слухи о скорой женитьбе Толстого на Лизе Берс. А сам Толстой не только не чувствовал себя влюбленным, но и заранее был уверен, что на Лизе никогда не женится.

22 сентября 1861 года он пишет в дневнике: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет». После этого он прерывает дневник на полгода и начинает его в мае 1862-го, когда бежит в самарские степи лечиться кумысом. Он в самом деле серьезно болен, худеет, даже «хиреет» на глазах. Призрак чахотки, сгубившей двух его братьев, преследует его, несмотря на заверения А.Е.Берса, что это не чахотка, а только «мокрота в крови».

Но бегство в Башкирию весной 1862 года еще и очень напоминает бегство от Арсеньевой в Петербург. На пароходе Толстой «возрождается кжизни» и «к осознанию ее», «…меня немного отпустили на волю», — пишет он, имея в виду натянутые отношения с Лизой, которая ждет предложения руки и сердца. И вновь, как это было в истории уже с Тютчевой, он почти готов жениться. Но холодно, без любви. «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой», — пишет он за неделю до того, как сделать предложение Соне. «Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу», — пишет он через два дня, когда его отношение к Соне определилось окончательно: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить».

А Соня? Это уже не та девочка, которая, краснея от стыда и восхищения, прислуживала за столом автору «Детства». Соня вполне отдает себе отчет в том, что граф, возможно, болен чахоткой и может оставить ее вдовой раньше, чем она насладится семейным счастьем. Она уже способна осуждать его пороки: например, игорную страсть.

А Л.Н.? В последние дни перед тем, как сделать Соне предложение, он не спит ночами и страдает ужасно! Толстой впервые боится. Не того, что сделает неправильный выбор, а что ему откажут. Он чувствует себя и невозможно старым, и «16-летним мальчиком». Носит с собой письмо с объяснением в любви, комкает его в кармане в присутствии Сони и не решается отдать. Он готов даже прибегнуть к посредничеству Танечки. Да, я старый, говорит он себе, «но я прекрасен своей любовью». Попросту говоря, сходит с ума. «Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так будет продолжаться».

Разумеется «да»

Нам кажется таким простым и естественным то, что история любви Л.Н. и Сони Берс перешла в роман «Анна Каренина» практически «без редактуры». В самом деле, сватовство и женитьба Левина на Кити в мельчайших деталях совпадают с тем, что было между Толстым и Сонечкой.

Но в том-то и величайшая загадка Толстого-художиика, непостижимый «фокус» его художественного гения. Каким образом живая жизнь, существенно не изменяясь, перетекает в плоть романа и фиксируется в ней на века? Это такая же загадка, как рождение человека от банального соития, с той разницей, что в случае Толстого мы не видим процесса перехода из одного состояния в другое. Всё происходит вдруг и сразу. Нет границы и ее преодоления.

Наверное, секрет в том, что история сватовства и женитьбы Левина, как и другие семейные страницы «Анны Карениной» и «Войны и мира», были созданы Толстым *до того,* как они легли на бумагу. Через полвека символисты, футуристы и другие представители радикальных течений русского искусства будут мечтать о художнике-демиурге, который сплавляет воедино искусство и жизнь. Толстому это удалось намного раньше. В какой-то степени реальные истории, которые он «разыграл» в жизни или которые были «разыграны» под его наблюдением, даже полнее и объемнее «бумажных» версий. Например, знаменитая сцена «Анны Карениной», когда Левин пишет на ломберном столике начальные буквы объяснения в любви Кити, в реальной жизни имела ряд деталей, которые не вошли в «Анну Каренину».

Во-первых, в романе нет Лизы и соперничества с ней средней сестры. Нет этого волнующего момента женского соревнования, где на кон поставлен не кто-нибудь, а Толстой.

Во-вторых, в этой сцене не хватает третьего лица. Вездесущей, быстроногой Танечки, будущей Наташи Ростовой. Когда Толстой в сельце Ивицы деда сестер Берс Исленьева писал на столике: «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» («Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»), они были в гостиной не одни. Под роялем сидела Таня, спрятавшаяся от взрослых, которые заставляли ее петь. Этот несносный соглядатай стал свидетелем того, что Толстой скрыл в своем романе. А именно: Соня, в отличие от Кити, разобрать сложной аббревиатуры не смогла. «Сестра по какому-то вдохновению читала… Некоторые слова Лев Николаевич подсказал ей», — пишет Т.А.Кузминская. Ну, а если уж совсем держаться правды, Соня потом призналась

сестре, что понять, что написал le comte на ломберном столе, она вовсе не могла.

Но Толстой не ставил задачи испытать Сонечку на сообразительность. Ему надо было приобщить ее к *тайне.* Заставить склониться вместе с ним над ломберным столом и сделать соучастницей заговора против старшей сестры. Да, заговора! В отличие от добряка Левина, Толстой-жених вел себя отнюдь не безупречно. Подав Лизе повод мечтать о замужестве с ним, он понимал, что сделать предложение средней сестре в обход старшей — это, мягко говоря, не comme il faut. Это не просто душевная травма, но очень серьезный подрыв репутации девушки как невесты.

В реальности Толстой писал на ломберном столе не только высокие слова о «невозможности счастья». Он писал еще и том, что в семье Берсов сложились превратные представление о его отношениях с Лизой. И просил Соню вместе с Танечкой (она тут, рядом, но они не знают об этом) помочь выпутаться из щепетильной ситуации.

Так что если Сонечка по первым буквам угадала косвенное признание в любви, то она должна была угадать и предложение вступить в заговор против сестры.

Это было жестоко по отношению к Лизе? Конечно! Месяц спустя, став хозяйкой Ясной Поляны, графиня Толстая покается в дневнике: «А Лизу бедную измучила, так меня и точит, так грустно, ужас…»

Перед тем как приехать в Ивицы, Берсы остановились в Ясной Поляне. Это был август 1862 года. Девушкам отвели «комнату под сводами», где раньше была кладовая, а теперь находился кабинет Толстого. Одного спального места не хватало, и хозяин предложил использовать раздвижное кресло.

— А тут я буду спать, — немедленно заявила Соня.

— Я вам сейчас всё приготовлю, — сказал хозяин.

И Толстой стал… стелить Соне постель. В воспоминаниях Т.А.Кузминской это описано с юмором, как Толстой «непривычными, неопытными руками стал развертывать простыни, класть подушки, и так трогательно выходила у него материальная, домашняя забота». Но в воспоминаниях С.А. эта сцена имеет иной смысл.

«Мы стелили с Дуняшей, горничной тетеньки, как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, говоря, что троим на диванах постелили, а вот четвертой — места нет. „А на кресле можно“, — сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему табуретку. „Я буду спать на кресле“, — сказала я. „А я вам сам постелю постель“, — сказал Лев

Николаевич и неловкими движениями стал развертывать простыню. Мне стало и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов…»

Когда Толстой вышел, Лиза устроила Соне сцену. Но было уже поздно.

Пожалуй, Соня и сама не ожидала такого поворота судьбы. Летом 1862 года она пишет повесть «Наташа», которую, после серьезных сомнений, показала Толстому. Жаль, что эта повесть была уничтожена после свадьбы, как и ее девичьи дневники. Это особенно жаль потому, что «Наташа» произвела сильное впечатление на Толстого и определила некоторые черты и даже имена семейства Ростовых в «Войне и мире». По сути, еще не будучи невестой писателя, С.А. написала для него черновик будущих семейных страниц его произведения.

О содержании повести мы знаем из воспоминаний Т.А.Кузминской.

В повести два героя: Дублицкий и Смирнов. Дублицкий — средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов — молодой, лет двадцати трех, с высокими идеалами, положительного, спокойного характера, доверчивый, делающий карьеру.

Героиня повести — Елена, молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная, холодная блондинка, и меньшая — пятнадцать лет, Наташа, тоненькая и резвая девочка.

Дублицкий ездит в дом без всяких мыслей о любви.

Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он делает ей предложение, она колеблется дать согласие. Родители против этого брака, по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Описание его сердечных мук. Тут много вводных лиц. Описание увлечения Зинаиды Дублицким, разные проказы Наташи, любовь ее к кузену и т. д.

Дублицкий продолжает посещать семью Елены. Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется со своим чувством, но борьба эта ей не по силам. Дублицкий увлекается ею, а не сестрой, и тем самым, конечно, привлекает ее еще больше.

Она сознает, что его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет ее. Она мысленно сравнивает его со Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит меня, ничего не требуя от меня».

Приезжает Смирнов. При виде его душевных страданий и вместе с тем чувствуя влечение к Дублицкому, она задумывает

уйти в монастырь.

Повесть заканчивалась тем, что Елена устраивает брак Зинаиды с Дублицким, а потом выходит за Смирнова.

Благоразумная создательница «Наташи» всё-таки устроила брак Дублицкого со старшей сестрой, а сама предпочла более мягкий вариант женской судьбы — со Смирновым. Реальная С.А. уничтожила «Наташу», а для себя избрала роль служения гению. Но этой своей жертвы она не забыла. Брак с гением — всегда мезальянс, всегда неравенство, но кто в этом неравенстве «равнее» по части «жертвы»? Эта проблема была незримо заложена в основание семейного рая Толстых еще до свадьбы. Но должно было пройти немало времени, чтобы из зерна этой проблемы вырос настоящий конфликт.

Отношение Толстого к «Наташе» было сложным. Повесть, с одной стороны, озадачила его, а с другой — подстегнула чувства к Соне, которые именно с этого момента приняли необратимый характер.

Нет лучшего способа разжечь пламя страсти из тлеющего прутика, чем заставить «немножечко ревновать».

С.А. вспоминала, что Л.Н. вернул ей «Наташу» «холодно». Вообще-то он просил ее показать дневники, но она отказала, и тогда они согласились на повесть. «Что за энергия правды и простоты», — с восторгом пишет Толстой в дневнике.

Нужно ли говорить, что образ Дублицкого задел Толстого? «Всё я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но „необычайно непривлекательной наружности“ и „переменчивость суждений“ задело славно. Я успокоился. Всё это не про меня…»

«Не про него» возможность семейного счастья с Соней. Он стар, некрасив, она молода и прекрасна. «Дурак, не про тебя писано…» «Не про тебя, старый черт, — пиши критические статьи!» «Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь — там, брат, кадеты». «Вздор — монастырь, труд, вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастье…» «О, Дублицкий, не мечтай!» «Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божья, помоги мне». «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить».

Удивительно! Толстой мечтал о женитьбе почти двадцать лет, с пятнадцатилетнего возраста. С женой он прожил почти полвека. А вот период его жениховских ухаживаний занимает всего месяц. Да и какие это ухаживания? До последнего момента никто в семье Берсов, даже Соня, не знали, на ком остановит свой выбор Л.Н. 16 сентября он сделал предложение, 23 сентября была

свадьба. В тот же вечер молодые уехали в Ясную.

По-настоящему ни Толстой не успел почувствовать себя женихом, ни Сонечка — невестой.

Как это было непохоже на сватовство ее отца к ее матери. Там была старинная поэзия, были гадания дворовых девушек с блюдечком воды и перекинутыми через него «мостиком» палочками. Поставленный на ночь под кровать Любочки Ивлавиной, этот «мостик» должен был присниться девушке вместе с Андреем Евстафьевичем и, разумеется, приснился. О невестиных сновидениях Сонечки не известно ничего. Единственный сон, который заносит в дневник Толстой в это время, не сулит ничего хорошего: «Во сне жалкая борзая больная собака».

О неделе, проведенной в невестах, С.А. вспоминала без энтузиазма. «Возили меня по магазинам, и я равнодушно примеряла белье, платья, уборы на голову. Приходил Лев Николаевич, и его волнение, поцелуи, объятия и прикосновения нечистого, пожившего мужчины страшно смущали меня и заражали дурным чувством. Я была вся как раздавленная; я чувствовала себя больной, ненормальной. Ничего я не могла есть кроме соленых огурцов и черного хлеба…»

16 сентября Толстой пришел в дом к Берсам, держа в кармане письмо с предложением. «Предложение было написано на грязной четвертушке простой писчей бумаги, и Лев Николаевич носил его в кармане целую неделю, не решаясь мне его подать», — пишет С.А.

«Софья Андреевна!

Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: „нынче всё скажу“, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам всё. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове оттого, что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастии, что ваши отличные поэтические требования любви… что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: „Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастия, и именно вы…“

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Еще тогда я бы мог оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и

увлеченья делом. Теперь я ничего не могу а чувствую, что я напутал у вас в семействе, что простые, дорогие отношения с вами как с другом, честным человеком, потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мне делать. Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: „да“, а то лучше скажите „нет“, ежели есть в вас тень сомненья в себе.

Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать „нет“, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней».

Сонечка, такая практичная и рассудительная, обладала еще одним качеством, которого не хватало старшей сестре. Она была девушкой не только рассудка, но и порыва, страсти, способной молниеносно принимать судьбоносные решения. Получив от графа письмо, она пошла в девичью комнату и заперлась на ключ. Старшая пошла за ней, стала стучаться в дверь.

— Соня! — кричала она. — Отвори дверь, отвори сейчас!

Дверь открылась. Она молчала, держа в руке письмо.

— Говори, что le comte пишет тебе! — закричала Лиза.

— Il m'a fait la proposition[8].

— Откажись! Откажись сейчас же!

Соня прошла в комнату матери, где ждал ее ответа Толстой.

— Разумеется «да»! — сказала она.

Через несколько минут начались поздравления. Лиза в девичьей комнате рыдала.

Потом, узнав об «измене» Сонечки, в детской комнате будет биться в истерике кадет Поливанов. Ему было очень стыдно, но он не мог сдержаться. Когда Соня и Л.Н. венчались в кремлевской церкви, Поливанов держал над головой невесты венец. «Поливанов испил чашу до дна», — вспоминала С.А.

Провожая Соню, рыдала вся семья Берсов. Кроме Андрея Евстафьевича, который был болен и не в духе, потому что кульбит графа с женитьбой на средней сестре в обход старшей ему не нравился. Молодые зашли к нему в комнату попрощаться отдельно.

Для поездки Толстой специально купил новенький дормез, огромную карету в которой можно лечь во весь рост. Процитируем дневник Л.Н.

«В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства.

Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она всё знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна. Сережа (брат. — *П.Б.*) разнежен, тетенька уже готовит страданья. Ночь, тяжелый сон. Не она».

Не *она*? Не та, которая приснилась в Чепыже, «сразу узнанная, хотя никогда не виданная»? А что же Соня? «Она как птица подстреленная», — пишет Толстой о своем впечатлении от невесты после ее согласия на брак.

Еще он пишет о странном видении, которое возникло между ними, когда они остались вдвоем, уже как жених и невеста. «Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны…»

Вечером 24 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой и графиня Софья Андреевна Толстая приехали в свой яснополянский рай.

Глава четвертая
ГОЛОВА В ЧЕПЦЕ

В Оптиной Толстой пробыл, на первый взгляд, недолго — всего до 3 часов дня субботы 29 октября. Но это если не считать вечер предыдущего дня и ночь, проведенную в гостинице с 28-го на 29-е. Не забудем также, что у Толстого были свои счеты со временем.

Толстой проснулся рано, в 7 часов утра. Таким образом, активного времени, проведенного в монастыре, было 8 часов — полноценный рабочий день. За это время он постарался помочь просительнице, крестьянской вдове Дарье Окаемовой с ее детьми, вручив ей письмо с просьбой о помощи к семье своего сына Сергея Львовича, продиктовал приехавшему к нему молодому секретарю Черткова Алексею Сергеенко статью о смертных казнях «Действительное средство», последнюю в своей жизни, написанную по просьбе Корнея Чуковского, и два раза попытался встретиться со старцами Оптиной пустыни.

Хотя не совсем понятно, почему в этом случае обычно говорят о «старцах». Речь шла всё-таки об одном старце — Иосифе, ученике преподобного Амвросия. Амвросий (после его смерти — Иосиф) был духовником сестры Толстого, монахини Марии Николаевны Толстой, келья которой в соседнем монастыре близ села Шамордино была построена по личному проекту Амвросия.

Это даже удивительно! — самый конфликтный в отношениях с русской церковью писатель был связан с нею самыми кровными, самыми интимными узами. Сам факт, что бежавший из Ясной Поляны Толстой направил свои стопы именно в Оптину и Шамордино, говорит о многом. Это был его выбор.

И это был именно сердечный, а не умственный выбор Толстого. Какая уж тут умственность, какая гордыня! Он бежит. Он весь запутался в семейных противоречиях. Его раздирают на части Чертков, С.А., «толстовцы», наследники, просители… Он слаб, грешен, болен и прекрасно понимает это. И вот в состоянии полного отчаяния Толстой совершает единственный сердечно-человеческий выбор. К сестре, в монастырь! В Шамордине поселиться нельзя — это женский

монастырь. Но он готов снять избу в деревне. Это даже лучше, ведь он так мечтал жить с народом! Но посмотрим на вещи здраво. 82-летний старик в избе, в деревне?

Корреспондент газеты «Новое время» Алексей Ксюнин после смерти Толстого расспросил крестьян деревни Шамордино, где беглец пытался снять дом.

— Снегом шибко заносит зимой, — говорили крестьяне графу, жалуясь на свою несчастную «жисть», — до города восемнадцать верст, иной раз не выберешься.

— Снег ничего, в нем греха нету, — успокаивал крестьян Толстой. — С весною он растает.

Но до весны предстояло пережить еще зиму. А он в это время уже был простужен, постояв на открытой площадке вагона под ледяным ветром.

И вот, как ни посмотри, самым естественным выходом для Толстого в тот момент было остановиться в Оптиной. Хотя бы на время, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями и принять какое-то новое решение. Ведь понятно, что после ухода из Ясной его несло без руля и без ветрил. Толстой, десятилетиями привыкший к оседлой жизни в Ясной, не имел серьезного опыта странничества. В том, что Толстой хотел остановиться в Оптиной, не может быть никаких сомнений. При его разговоре с сестрой в Шамордине присутствовала ее дочь, племянница Толстого Е.В.Оболенская:

«За чаем мать стала расспрашивать про Оптину пустынь. Ему там очень понравилось (он ведь не раз бывал там раньше), и он сказал:

— Я бы с удовольствием там остался жить. Нес бы самые тяжелые послушания, только бы меня не заставляли креститься и ходить в церковь».

Этот разговор с сестрой приводит в своем донесении епископу Калужскому Вениамину и игуменья Шамординского монастыря:

«В 6 часов вечера граф прибыл в Шамордино в келью сестры; встреча была очень трогательная: он обнял сестру, поцеловал и на плече рыдал не меньше пяти минут; долго потом они сидели вдвоем; он поведал ей свое горе: разлад с женой. Затем был обед. К нему пригласили его доктора и монахиню N… Все четыре кушанья, как то: картофель, грибы, каша и суп, им были смешаны в одно место; ел он много, говорил много; вот его слова:

— Сестра, я был в Оптиной; как там хорошо, с какой бы радостью я теперь надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела; поставил бы условие: не понуждать меня молиться, этого я не могу.

Сестра отвечала:

— Это хорошо, брат, но и с тебя взяли бы условие: ничего не проповедовать и не учить.

Граф ответил:

— Чему учить? Там надо учиться; в каждом встречном насельнике я видел только учителей. Да, сестра, тяжело мне теперь. А у вас? Что, как не Эдем? Я и здесь бы затворился в своей храмине и готовился бы к смерти; ведь 80 лет, а умирать надо!»

Сама Мария Николаевна в письме к С.А., написанном через некоторое время после смерти Л.Н., более сдержанно рассказала о его желании остановиться в Оптиной или Шамордине:

«Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рассказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд, я не могла его видеть без слез; но про себя он мне ничего не говорил, сказал только, что приехал сюда надолго, думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, что он хотел уединения, его тяготила яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, когда я была у вас) и вся обстановка, противная его убеждениям; он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал».

В письме же французскому переводчику Толстого Шарлю Саломону от 16 января 1911 года Мария Николаевна писала так «Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной пустыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего в уединении с Богом и своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке».

Толстой явно хотел остановиться в Оптиной. Ему нравилось в Оптиной. Однако ни о церковном покаянии, ни о формальном возвращении в православие речи быть не могло.

В православный монастырь пришел старый Будда. Звучит дико, но не забудем, что это был русский Будда. В

соседнем, «дочернем», монастыре живет сестра Будды, самый родной и даже единственный человек, который может его принять таким, какой он есть.

— Так мне здесь хорошо! — говорил Толстой А.П.Сергеенко в Шамордине. — Сестра меня совсем поняла.

Старый Будда не хочет никого учить. Он устал, жаждет покоя, уединения. И, если получится, мудрых, неторопливых бесед с мудрыми людьми, какими он видит оптинских старцев.

Такое было возможно?

«Нет!» — кричали вчера и кричат сегодня ревностные защитники православия от «страшного» графа Толстого. — «Ишь, чего задумал! В монастыре жить, а в церковь не ходить! Да кто он вообще такой! Да он на коленях должен был к старцам приползти!»

Но послушаем голоса духовных иерархов, прозвучавшие в то время. Газета «Русское слово» 31 октября 1910 года, через два дня после отъезда Л.Н. из Оптиной, напечатала мнения православных епископов о возможности или невозможности пребывания Л.Н. в монастыре.

Епископ Макарий: «Надо узнать, куда он ушел, — в православие или буддизм. Если в православие, то церковь радостно примет заблудшего сына, хотя для этого понадобится отречение Толстого от его противохристианского учения столь же торжественное, как отлучение».

Епископ Арсений: «Признание Толстым официальной церкви, уход его в монастырь принесут, несомненно, громадную пользу церкви».

Епископ Никон: «Ведь Толстой не только против церкви, он против самого Христа».

Епископ Евлогий «По моему глубокому убеждению монастырь может принять Л.Н., если даже он и явился туда не для раскаяния, а просто ища отдыха душе своей».

Как видим, одной точки зрения на возможность жизни Л.Н. в монастыре не было даже у высших церковных иерархов. Епископ Томский и Алтайский Макарий был категоричен, а владыка Холмский и Люблинский Евлогий (в миру Василий Георгиевский, в будущем митрополит Западноевропейских русских церквей, скончавшийся в 1946 году в Париже и похороненный на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа)

оценивал ситуацию более лояльно.

Владыка Евлогий был поклонником Пушкина и Лескова, любил Мельникова-Печерского и Толстого.

Мнение просвещенного епископа удивительным образом полностью совпадало со взглядом простого рясофорного послушника Михаила, монастырского гостинника. В «Летописи скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Оптиной пустыни» сообщаются детали разговора Толстого с братом Михаилом:

«А приехали, — рассказывал отец Михаил, — они вдвоем. Постучались. Я открыл. Лев Николаевич спрашивает: „Можно мне войти?“ Я сказал: „Пожалуйста“. А он и говорит: „Может, мне нельзя: я — Толстой“. — „Почему же, — говорю, — мы всем рады, кто имеет желание к нам“. Он тогда говорит: „Ну здравствуй, брат“. Я отвечаю: „Здравствуйте, Ваше Сиятельство“. Он говорит: „Ты не обиделся, что я тебя братом назвал? Все люди — братья“. Я отвечаю: „Никак нет, а это истинно, что все — братья“. Ну, и остановились у нас. Я им лучшую комнату отвел. А утром пораньше служку к скитоначальнику отцу Варсонофию послал предупредить, что Толстой к ним в скит едет».

Михаил повел себя как евангельская Марфа: сначала приютил, а потом всё остальное. Но если для Евлогия Толстой — это прежде всего Толстой, то для Михаила — это граф Толстой. Не надо забывать, что Оптинский монастырь в начале XX века хотя и был знаменит среди богомольцев, от нищих до богатых меценатов, но представлял из себя обычный провинциальный монастырь. Добраться к нему с дороги можно было только на пароме через Жиздру, а когда река разливалась весной, обитель порой отрезало от мира. Всех насельников скита в 1910 году было 50 человек, один — скитоначальник игумен Варсонофий, один — старец Иосиф, 6 — иеромонахов, 8 — мантийных монахов, 17 — рясофорных монахов и 17 — рясофорных послушников. Ближайший Козельск был обычным уездным городом. Неожиданное появление «отлученного» Толстого было невероятным событием для тихой монастырской жизни!

А ведь было время, когда Толстого принимали в Оптиной как почетного гостя. Встретиться и поговорить

со знаменитым писателем желали все — от архимандрита до простого монаха.

В воспоминаниях слуги Толстого Сергея Арбузова, с которым он пешком ходил в Оптинский монастырь в 1881 году, а также в воспоминаниях С.А., написанных, вероятно, со слов слуги и мужа, наглядно показано иерархическое отношение к богомольцам в монастыре.

Сначала Арбузов вспоминает, как Л.Н. собирался в дорогу: «…граф при моем содействии обулся в лапти по всем правилам крестьянского искусства, с онучами, и завязал их на ногах бечевкой… Затем нам на плечи были приспособлены сумки с вещами; в сумке графа лежали ночное белье, две пары носков, два полотенца, несколько носовых платков, две холщовые блузы, простыня, маленькая подушка и кожаные сапоги».

По дороге в одном селе подвыпивший старшина привязался к Л.Н., надеясь получить от простого и, возможно, беспаспортного странничка мзду за свое освобождение, но, увидев в документах, что это граф Толстой, страшно испугался и старался всячески услужить.

В монастырь пришли вечером, к вечерней трапезе. «Звонил колокольчик на ужин, мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, посадили ужинать с нищими… После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса… Монах, видя, что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и насекомые».

В передаче С.А. это выглядит еще неприятней. «В монастырской гостинице Льва Николаевича, одетого в синюю мужицкую рубаху, поддевку и лапти, приняли за простолюдина, и монах-гостинник Ефим говорил с ним грубо:

— Здесь странноприимный дом, вот здесь и спи. Ты нажрался, а я не ел. Вот сядь сюда!

Даже лакей Сергей, который был в шляпе-котелке, пользовался большим уважением».

За рубль дали грязный, маленький номер с клопами, где уже спал третий человек, сапожник, который громко храпел. «Граф вскочил с испуга, — пишет Арбузов, — и сказал мне:

— Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:

— Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете; он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.

— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?»

Но через два дня всё изменилось.

Его увидел монах Оптиной, бывший крепостной Ясной Поляны. Изумился, увидев своего графа в таком виде:

— Ваше сиятельство, что же вы так смирились!

Толстого стали разыскивать по приказу архимандрита и старца Амвросия. «Приходят два монаха, — вспоминает Арбузов, — чтобы взять вещи графа и просить его в первоклассную гостиницу, где всё обито бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец всё-таки решился».

Прием у архимандрита продлился три часа. Потом Толстой пошел к отцу Амвросию и пробыл в его келье четыре часа. Всё это время, вспоминает Арбузов, возле кельи старца ждали приема около тридцати человек «Некоторые говорили, что они здесь дней пять или шесть и каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословения. Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять? Говорят, что это происходит не от о. Амвросия, а что о них не докладывает келейник».

После Толстого Амвросий принял и слугу Арбузова и очень сокрушался: не натер ли граф ноги во время ходьбы? В гостинице их ждал прием на самом высоком уровне. «Отворяется дверь, входит монах и спрашивает, не угодно ли его сиятельству обедать… Монахи с удивлением спрашивают, неужели мы всю дорогу шли пешком…» И обедали они на этот раз «в первоклассной гостинице, где ему (Толстому. — П. Б.) служили монахи».

Чинопочитание в монастыре было делом обычным. Например, в 1887 году его впервые посетил великий князь Константин Константинович Романов. В «Летописи» Оптинского скита так сообщается об этом событии «Встреченный всей братией в Святых вратах обители, Великий Князь проследовал в настоятельские покои, предложенные Его Высочеству отцом настоятелем. Был вечер — канун праздника. Высокому

гостю по монастырскому обычаю подан был ужин, к которому приглашался и настоятель. Но последний по простоте своей отказался от этой высокой чести, сказав, что он завтра служащий, а в таких случаях не имеет обыкновения ужинать. Эта простота отца Исаакия произвела между прочим отрадное впечатление на Великого Князя, который не раз высказывал, что подобных людей ему не приходилось видеть».

Монастырские приемы отличались особым монастырским этикетом. Настоятель мог позволить себе отказаться от ужина с великим князем, сославшись на то, что не может вкушать пищу перед службой. Но при этом сам ужин проходил в его покоях, которые он освобождал для высокого гостя.

В мае 1901 года монастырь посетили и дети великого князя Константина. Отец в это время был в имении землевладельца Кашкина в селе Прысках, к его приезду стены дома расписали под мрамор. «По желанию Их Высочеств, — сообщает „Летопись“, — торжественной встречи им не делалось ни в монастыре, ни в скиту. Был только звон во все колокола…» 21 мая были именины князя, и «отец игумен со старшим иеродиаконом отцом Феодосией ездил в село Прыски для принесения поздравления Августейшему имениннику, которому отец игумен поднес икону Введения во храм Пресвятой Богородицы в сребропозлащенной ризе и книгу „Описание Оптинской пустыни“».

В этой, на первый взгляд, несправедливости был свой порядок, свой обычай. Необычным и оскорбительным для монастыря было поведение «ряженого» графа. Перед Богом все равны, но не перед настоятелем, который прежде всего отвечал за внутренний, довольно сложный распорядок монастырской жизни, включавший и регулирование наплыва посетителей, особенно летом.

«Ряженый» Толстой грубо нарушал монастырский этикет, посягал на правила.

Ситуация 1881 года почти зеркально повторяла приезд Толстого в монастырь в 1877 году, когда он прибыл туда хотя и как граф, с другом, известным критиком Н.Н.Страховым, но пожелал всё-таки остановиться в гостинице третьего класса как простой богомолец. Это было, конечно, его законное право. Но

слух об этом мигом облетел монастырь, и Толстого с его спутником настойчиво попросили переселиться в хорошую гостиницу. Его принял старец Амвросий, они с ним долго беседовали, и Толстой, по его же признанию, остался беседой весьма доволен.

Зачем спустя четыре года он разыгрывает в монастыре во всех отношениях странный спектакль? Зачем мучается в номере с клопами, храпящим сапожником, налагая молчание на уста Фигаро-Арбузова, который через несколько лет опубликует откровенно издевательские воспоминания о посещении его барином Оптиной? Зачем ставит в неловкое положение монастырское начальство?

Тому было много причин. Толстой действительно хотел слиться с народом и увидеть монастырь его глазами, а не глазами важного барина. Ему действительно было неприятно жить в роскошных условиях и принимать пищу из рук услужливых монахов. В этом проявилась и известная «дикость» толстовской породы, не желавшей считаться с общепринятыми нормами, и толстовское упрямство, но отнюдь не «гордыня», как принято считать. Скорее, это было сугубо писательское любопытство будущего автора «Отца Сергия» и «Посмертных записок старца Федора Кузмича». Толстой хотел вжиться в свои будущие произведения всей своей плотью.

Толстой в монастыре был чужеродным телом. И монастырский организм естественным образом это чувствовал и вынуждал поступать по своим правилам, а не по «сценарию» писателя.

Если бы он был просто чудаковатым барином. Но он был великим писателем, не только каждое слово которого, но и каждый жест разносился по России, всему миру. Вот он в монастырской лавке увидел старушку. Старушка не может найти себе дешевое Евангелие. Толстой купил ей дорогое Евангелие. Казалось бы, ну и что такого? Но ведь это Евангелие купил не просто щедрый барин, а человек, поставивший себе задачей спасти евангельское учение от церковной догматики. И обычный жест немедленно становился символом.

В октябре же 1910 года в монастыре появился не только граф и писатель Лев Толстой, но и «отлученный от церкви» Толстой. Это сегодня мы можем разбираться в тонкостях синодального определения 1901 года,

согласно которому Толстой стал персоной нон грата в пределах православной церкви. Это сегодня можно спорить, было ли это «отлучение» отлучением. Но тогда в монастыре его воспринимали именно как «отлученного».

Это как в семье… Супруг ушел от жены и живет на стороне. Жена терпит, терпит, а потом подает на развод, который соответствующе оформляется. После этого муж может вернуться к жене, но уже не как муж, а как любовник И они могут заново оформить брак, но это будет неловко, непросто, мучительно.

Эта неловкость чувствуется в каждом шаге, сделанном Толстым по Оптиной осенью 1910 года, в каждом сказанном им слове, в каждом жесте.

По его ощущению его должны были бы выгнать. Но Михаил гостеприимно распахивает дверь лучшей комнаты гостиницы. «Я Лев Толстой, отлучен от церкви, приехал поговорить с вашими старцами, завтра уеду в Шамордино», — на всякий случай быстро поясняет Толстой. А Михаил несет яблоки, мед, устраивает в номере всё по его вкусу.

И Толстой оттаивает душой… В это время он наверняка вспоминает о том, что в Оптиной жила в преклонных годах и скончалась родная сестра его отца, тетушка Александра Ильинична Остен-Сакен, ставшая после смерти брата, Николая Ильича, опекуншей над несовершеннолетними Толстыми. Здесь она и похоронена. Когда-то блестящая светская дама, настоящая «звезда» при дворе. Но… неудачное замужество, психическая болезнь мужа… «Тетушка была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками… Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась… но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим», — писал Толстой.

Впервые он посетил Оптину в 1841 году, когда хоронили Александру Ильиничну. Левочке тогда исполнилось тринадцать лет. Позже племянники поставили на ее могиле скромный памятник с такой трогательной эпитафией:

Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный,
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.
В надежде сладкого свиданья
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья
Воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить.

Здесь также жила, скончалась и была похоронена Елизавета Александровна Ергольская, родная сестра самой любимой «тетеньки» Толстого Татьяны Александровны Ергольской. Обе тетушки, Александра Ильинична и Елизавета Александровна, не были монахинями. Они просто жили при монастыре. И нашли здесь вечный покой.

По дороге к скитам у Толстого случилась встреча с другим гостинником, отцом Пахомом, бывшим солдатом гвардии.

Отец Пахом, уже зная, что Толстой приехал в монастырь, вышел ему навстречу.

— Это что за здание?

— Гостиница.

— Как будто я тут останавливался. Кто гостинник?

— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?

— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, я боюсь его беспокоить, говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили?

Пахом назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.

— А, знаю… До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.

И еще была одна встреча, с гостиничным мальчиком. «Со мной тоже разговаривал Лев Николаевич, — с гордостью рассказывал мальчик — Спрашивал, дальний ли я или ближний, кто мои родители, а потом этак ласково потрепал да и говорит: „Ты что ж тут, в монахи пришел?“»

С самого начала приезда в Оптину «отлученного» Толстого встречали как отца родного: и паромщик, и гостинники, и мальчишка… Все были рады появлению этого незаурядного человека, знаменитого писателя и в то же время такого простого, такого доступного «дедушки». И в этот раз Толстой ни во что не «рядился». Он ведь и был дедушкой. И он всегда умел найти кратчайший путь к сердцу простого человека, подробно расспрашивая его о жизни, интересуясь каждой мелочью.

Всё было замечательно, пока Толстой не дошел до скита.

Вот он — самый волнующий момент последнего посещения Толстым Оптиной! Почему он не встретился с Иосифом, ради чего, собственно, приехал в монастырь, вовсе не рассчитывая на ласковый прием, который ему оказали простые насельники? Почему Иосиф не позвал Толстого, которого сам приглашал к себе Амвросий?

Именно в оценке этого события полярно разделяются голоса ревнителей православия и его противников. «Гордыня!» — говорят одни. «Гордыня!» — говорят и другие.

В самом деле, на поверхностный взгляд тут столкнулись два авторитета, церковный и светский. Два старца. Один не позвал, второй — не пошел. А если бы позвал? А если бы сам пошел? Может, и состоялось бы примирение между церковью и Толстым, не формальное, не ради Синода, не ради царя и Столыпина, которые, кстати, были всячески заинтересованы в таком примирении перед лицом Европы. Не ради буквы, не ради иерархов, не ради государства. Ради простых гостинников Михаила и Пахома, ради мальчика Кирюшки, который взрослым монахом гордился бы своей встречей с великим писателем России. Ради тех простых монахов, которые, по свидетельству Маковицкого, толпились возле парома, когда Лев Толстой, несолоно хлебавши, отплывал от Оптиной навсегда, в какую-то свою вечность, как будто вечность в России не одна для всех.

— Жалко Льва Николаевича, ах ты, господи! — шептали монахи. — Да! Бедный Лев Николаевич!

Толстой в это время, стоя у перил, разговаривал с миловидным седым стариком-монахом в очках. По-стариковски участливо расспрашивал его о зрении. Вспомнил анекдот из своей казанской молодости, когда

ему, студенту, татарин предлагал: «Купи очки». — «Мне не нужны». — «Как не нужны! Теперь каждый порядочный барин очкам носит».

«Переправа была короткой, — пишет Маковицкий, — одна минута». Всего одна минута, и один из самых важных духовных вопросов предреволюционной России, конфликт Толстого и церкви, был с русской беспечностью оставлен «на потом». Хотя тогда ничего нельзя было оставлять «на потом». Потом ничего исправить было уже нельзя.

Когда Толстой умер и был похоронен в Ясной, на краю оврага в Старом Заказе, на могильный холм приходила дурочка Параша и отпевала его по-свойски, по-народному:

Уж куда ты, несмышлененький, ушел,
Уж куда ты собирался,
По какой-то по дороженьке,
Уж на кого ты нас оставил, глупеньких,
На кого ты бросил нас…
На кого покинул нас…

Над Парашей смеялись крестьянские бабы. Вот дура, отпевает графа! Но дура была, конечно, в тыщу раз умнее «глупеньких» и «несмышлененьких» участников неловкой истории, которая разыгралась 29 октября в Оптиной. Как раз этой дуры-то и не хватило, чтобы взять Толстого за руку и отвести к старцу.

Все вели себя как-то слишком по-умному, все были как будто в своем праве. Настоятель монастыря архимандрит Ксенофонт болел. Несколько дней назад он вернулся в монастырь из Москвы после операции. И не мог игумен монастыря встречаться с еретиком такого масштаба, как Толстой, не получив разрешения калужского владыки.

«Долгом своим считаю почтительнейшим донести Вашему Преосвященству, что 28 прошлого Октября в вверенную мне пустынь приезжал, с 5-часовым вечерним поездом, идущим от Белева, граф Лев Николаевич Толстой, в сопровождении, по его словам, доктора… 29 Октября часов в 7 утра к нему приехал со станции какой-то молодой человек, долго что-то писали в номере, и с этим же извозчиком доктор его ездил в г. Козельск. Часу в 8-м утра этого дня Толстой отправился на прогулку;

оба раза ходил один. Во второй раз его видели проходившим около пустого корпуса, находящегося вне монастырской ограды, называемого „Консульский“, в котором он бывал еще при жизни покойного старца Амвросия, у покойного писателя К.Леонтьева; затем проходил около скита, но ни у старцев, ни у меня, настоятеля, он не был. Внутрь монастыря и скита не входил. С этой прогулки Толстой вернулся в часу в первом дня, пообедал и часа в три дня этого же числа выехал в Шамордино, где живет его сестра-монахиня. В книге для записи посетителей на гостинице он написал: „Лев Толстой благодарит за прием“».

Это из «доношения» игумена Ксенофонта владыке Вениамину. Из него можно понять следующее… Толстой не побывал не только в скиту, но даже и в монастыре. В самом деле, внимательно читая Маковицкого, Сергеенко, Ксюнина и дневник Толстого, мы нигде не найдем упоминания о том, что Толстой пересек Святые врата и зашел на территорию монастыря. Толстой в буквальном смысле бродил «около церковных стен», выражаясь языком В.В.Розанова.

Гостиница и скит находились за территорией монастыря. «Л.Н. ходил гулять к скиту, — пишет Маковицкий. — Подошел к его юго-западному углу. Прошел вдоль южной стены… и пошел в лес… В 12-м ч. Л.Н. опять ходил гулять к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до святых ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился к святым воротам, потом пошел и завернул за башню к скиту».

Это была как будто обычная прогулка… В руках Толстой держал раскладную палку-сидение, которую всегда брал на прогулки в Ясной Поляне. Но «Л.Н. утром по два раза никогда не гулял». Маковицкий обращает внимание на странность поведения Толстого. «У Л.Н. видно было сильное желание побеседовать со старцами».

Но что-то ему мешает. Вернувшись со второй прогулки, сказал:

— К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы.

В этих словах видят проявление «гордыни» Толстого. В самом деле, почему просто не постучался в домик Иосифа, который выходил крыльцом за ограду скита именно для того, чтобы всякий паломник мог попроситься на прием к старцу через его келейника?

Почему ждал, чтобы его непременно «позвали»? Даже если Маковицкий неточно передает его слова, и без слов ясно, что Толстой ждал приглашения и без него не желал делать первый шаг. Но знал ли об этом Иосиф?

Да, знал. Вот что рассказывает в «Летописи…» келейник старца Иосифа:

«Старец Иосиф был болен, я возле него сидел. Заходит к нам старец Варсонофий и рассказывает, что отец Михаил прислал предупредить, что Л.Толстой к нам едет. „Я, — говорит, — спрашивал его: „А кто тебе сказал?“ Он говорит: „Сам Толстой сказал“. Старец Иосиф говорит: „Если приедет, примем его с лаской и почтением и радостно, хоть он и отлучен был, но раз сам пришел, никто ведь его не заставлял, иначе нам нельзя“. Потом послали меня посмотреть за ограду.

Я увидел Льва Николаевича и доложил старцам, что он возле дома близко ходит, то подойдет, то отойдет. Старец Иосиф говорит: „Трудно ему. Он ведь к нам за живой водой приехал. Иди, пригласи его, если к нам приехал. Ты спроси его“. Я пошел, а его уже нет, уехал. Мало еще отъехал совсем, а ведь на лошади он, не догнать мне было…“

Однако последнее объяснение противоречит тому, что происходило на самом деле и было скрупулезно, по минутам, зафиксировано в дневнике Маковицкого. После второй прогулки Толстой пешком вернулся в гостиницу и плотно пообедал („Л.Н. показались очень вкусны монастырские щи да хорошо проваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел“, — пишет Маковицкий). Он расплатился с гостинником („Что я вам должен? — По усердию. — Три рубля довольно?“). Он расписался в книге почетных посетителей и пешком дошел до парома, где его уже на двух колясках догнали Сергеенко и Маковицкий. У парома Толстого провожали пятнадцать, по подсчетам Маковицкого, монахов.

Догонять Толстого не было нужды. Толстого надо было просто позвать. Он сам не пошел к Иосифу, потому что знал о его болезни и просто не хотел беспокоить старого больного человека без приглашения. Об этом он ясно сказал сестре Марии Николаевне в Шамордине. И еще он сказал, что боялся, что его, как „отлученного“, не примут. Толстого элементарно подвела аристократическая деликатность. В свою очередь, Иосиф

не знал твердо, зачем приехал Толстой. О том, что он хочет говорить с ним, Иосиф знал только по слухам. И, наконец, Иосиф еще ничего не мог знать о самом главном — об уходе Толстого. Об этом еще никто, кроме самых близких, не знал. Еще не было газетных сообщений об этом, которые появятся только на следующий день.

Уже после смерти Толстого в присутствии Маковицкого, снова посетившего монастырь в декабре 1910 года, одна игуменья выговаривала отцу Пахому: зачем он не отвел Толстого к старцу, зная, что граф хочет с ним говорить? „Да как-то не решился… — оправдывался отец Пахом. — Не хотел быть навязчивым“».

Читать это постфактум невозможно без горечи. Все вроде бы поступают правильно. И даже благородно. Но при этом все… какие-то больные, расслабленные. И никто не решается сделать первый шаг навстречу друг другу. А в результате великий русский писатель бродит, как неприкаянный, «около монастырских стен».

В Шамордине Толстой сказал сестре, что собирается еще раз вернуться в Оптину и поговорить с Иосифом. Но было уже поздно. Какая-то неведомая сила гнала Толстого дальше и дальше.

Вдруг

В биографии Толстого можно выделить три события, которые не просто оказали влияние на течение его жизни, но радикально изменили ее, развернули на 180°. Это женитьба, духовный переворот конца 70-х — начала 80-х годов и уход из Ясной Поляны.

Однако последнее событие слишком тесно примыкает к астаповской трагедии и смерти Толстого, фактически сливаясь с ними. К тому же оно и занимает всего 10 дней, чтобы можно было говорить о новом этапе жизни Толстого. Таким образом, самых главных событий его *жизни* было два: женитьба и духовный переворот.

Никакие иные события, ни отъезд на Кавказ, ни севастопольская кампания, ни смерть любимого брата Николеньки, ни «арзамасский ужас», ни ранняя смерть детей, даже самых любимых, Вани и Маши, не меняли до такой степени самого строя жизни Толстого, не превращали его *вдруг* в

принципиально нового человека.

Толстой до женитьбы и после — два принципиально разных человека, так же, как Толстой до духовного переворота и после. *Вдруг* меняется решительно всё! Мир представляется совсем в новом свете, а смысл и значение тех или иных людей, вещей, страстей, положений — меняется со знака «+» на знак «-» и наоборот.

Толстой до женитьбы — это несчастный человек! И невозможный человек, на взгляд окружающих. В одно и то же время путается с девками, проигрывает последние деньги, живет как с «женой» с чужой женой, ссорится с Тургеневым, доводя скандал почти до дуэли…

Понятно, что ни о каком гармоническом строе жизни в этих условиях не могло быть и речи. И Толстой это понимает. Он отнюдь не пытается искать причины этого душевного раздрая вовне. Только в себе! Какими только бранными словами он не называет себя в дневнике накануне женитьбы. «Дурак», «свинья», «скотина», «старый черт», «сумасшедший» и т. п.

«Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? ничего…» «На себя тошно, досадно…» «Нажрался с Васинькой (Перфильевым. — *П.Б.*) нынче и сопели, лежа друг против друга…»

И всё валится из рук… Перед венчанием обнаруживается, что чистая сорочка осталась в карете с вещами и на венчание ехать не в чем. Возникает заминка. В церкви ждут жениха, а его нет. Соня уже думает, что он сбежал, как Подколесин. Что же, неудивительно… Ведь до этого он фактически сбежал от ее старшей сестры Лизы в самарские степи, как сбегал от Арсеньевой в Петербург… Кстати, в дневнике Толстого есть запись: «В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства». Если вспомнить, что Толстой был еще и суеверным человеком и всю жизнь считал надетую утром наизнанку рубашку дурным знаком, то отсутствие рубашки в день венчания вполне могло сыграть роковую роль.

Утром в день свадьбы Л.Н. неожиданно пришел в дом Берсов и прошел прямо в девичью. Лизы не было дома, а Танечка ретировалась из комнаты и побежала докладывать матери о внезапном приезде жениха к Соне. Мать была удивлена и недовольна: в день свадьбы это не полагалось. Она пошла в девичью и застала их вдвоем «между важами, чемоданами и разложенными вещами». Соня была заплакана. Оказалось, что Л.Н. не спал всю ночь и теперь «допытывался у нее, любит ли она его», «может быть, воспоминания прошлого с Поливановым смущают ее» и не «лучше ли было бы разойтись тогда». Соня

убеждала, что это не так. В конце концов ее душевные силы иссякли, и она заплакала.

Но и рубашка нашлась, и венчание состоялось, а радости как не было, так и нет.

Собравшаяся на венчании публика обращала внимание на разницу в возрасте жениха и невесты, на ее заплаканные глаза и делала свои выводы. «Знать, насильно отдают…» «Ишь молоденькая какая, а он старый…» «Зато граф, богатый, говорят…»

Муж был недоволен слезами Сонечки при расставании с семьей. «Он тогда не понял, — писала С.А., - что если я так страстно, горячо любила свою семью, — то ту же способность любви я перенесу на него и на детей наших. Так и было впоследствии».

Ехали почти сутки… Ночь в дормезе была мучительной для молодой жены. «Один стыд чего стоил!» — восклицает она в мемуарах. Кроме этого ничего не запомнила от поездки: где останавливалась, о чем говорили?

Первая ночь, проведенная в Ясной, по свидетельству Толстого, была «тяжелой». За утренним кофе муж с женой ощущали себя «неловко».

Но *вдруг* происходит чудо! В тот же самый день, 25 сентября 1862 года, он пишет в дневнике: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».

Неутомимая Sophie

Соня, привыкшая к кремлевскому быту семьи любящих родителей, была смущена «дикостью» холостяцких и в то же время старинно-барских привычек своего мужа. Отсутствие столового серебра при сервировке стола было для нее странно. Да какое там серебро… Братья Толстые привыкли спать в доме на соломе, без простыней. По всему дому стоял запах сена, а вокруг дома буйно рос бурьян. Дорожки были нерасчищены, слуги одеты неопрятно. Да что там слуги… И сам хозяин дома днем облачался в старый длинный халат с пристегивающимися полами, который одновременно служил пижамой.

Повар Толстого, Николай Михайлович, еще при Волконском переведенный в повара из музыкантов за потерю *амбушюры* (мундштук для флейты), был, по мнению С.А., «чрезвычайно грязен». Он часто запивал, хотя «готовил недурно». Однажды за обедом С.А. расплакалась, найдя в своей тарелке с похлебкой «отвратительного паразита». Старые железные вилки кололи ей

рот, а вид супруга, спавшего под ватным одеялом, на подушке без наволочки, был страшен.

И еще в яснополянском быте остро ощущалась атмосфера раннего сиротства, недостаток отцовской и материнской заботы, т. е. всего того, чем в детстве и юности была окружена СА Недаром особенно нежные чувства в ее муже вызывал Нижний парк с его сентиментальными уголками, мостиками и беседкой, напоминавшими о трогательных уединенных прогулках отца и матери. И это обстоятельство, вместе с «дикостью» Толстого, восемнадцатилетней С А тоже надо было прочувствовать, принять сердцем и оценить разумом. От нее требовались и практичность, и деликатность в освоении нового душевного пространства.

«Неутомимая Sophie», как называла ее Александра Андреевна Толстая, не просто справилась с этой задачей, но, по сути, заново сформировала яснополянский быт по своему вкусу. Если в начале «Войны и мира» Наташа Ростова — это младшая из сестер Берсов — Танечка, то замужняя Наташа — это, конечно, Соня.

Очаровательная внешность, без броской и раздражающей красоты. Телесная привлекательность. Живой, всё быстро схватывающий и осваивающий ум. Неизбалованность — в семье Берсов не баловали дочерей. Сильный материнский инстинкт и несомненный воспитательский талант. И вместе с тем — нефальшивый, горячий интерес к творчеству мужа… Именно к творчеству, а не к хозяйству, которым некоторое время «горел» Л.Н., занимаясь разведением пчел, японских свиней и постройкой винокуренного завода. Сельское хозяйство С.А. не любила и не скрывала этого.

Сохранилась ее яснополянская записная книжка, где она детально расписала, что она «любит» и что «не любит».

Что я люблю:

В душе покой.
В голове мечту.
Любовь к себе людей.
Люблю детей.
Люблю всякие цветы.
Солнце и много света.
Лес.
Люблю сажать, стричь, выхаживать деревья.
Люблю изображать, т. е. рисовать,
фотографировать, играть роль;
люблю что-нибудь творить — хотя бы шить.
Люблю музыку с ограничением.
Люблю ясность, простоту, талантливость

в людях.
Наряды и украшения.
Веселье, празднества, блеск, красоту.
Люблю стихи.
Ласку. Сентиментальность.
Люблю работать производительно.
Люблю откровенность, правдивость…

Что я не люблю:

Вражду и недовольство людей.
Пустоту в душе и мысли, хотя бы временную.
Осень. Темноту и ночь.
Мужчин (за редкими исключениями).
Игру за деньги.
Затемненных вином и пороками людей.
Секреты, неискренность, скрытность,
неправдивость.
Степь.
Разгульные, шумные песни.
Процесс еды.
Не люблю никакого хозяйства.
Не люблю: бездарность и хитрость,
притворство и ложь.
Не люблю одиночества.
Не люблю насмешек, шуток, пародий,
критики и карикатур.
Не люблю праздность и лень.
Трудно переношу всякое безобразие.

Невозможно представить, чтобы что-то подобное написал Толстой. Манера его дневников более тонкая, если угодно, более «женственная». Толстой всячески стремился понять и принять «чужое», найти ему оправдание и, напротив, никогда не находил оправдания самому себе. Для него не было жестких границ между «своим» и «чужим». Если он их чувствовал, то старался преодолеть. Вообще, категорическое «не люблю» не из лексикона Толстого.

Л.Н. и С.А. были очень разные, по сути, диаметрально противоположные натуры.

Она воплощала в себе, условно говоря, «буржуазный» женский тип, со всеми его недостатками и добродетелями, прекрасно отраженными в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»,

любимом романе С.А.

С.А. - тип *верующего прагматика.* В ее девичьем дневнике, случайно сохранившийся отрывок из которого она приводит в своих мемуарах, была любопытная запись:

«…характер, нравственность — всё зависит от устройства мозга, нерв, жил, внутренностей… Зависит от теплой, ясной погоды, от хорошей пищи, теплого жилья. Материя, идеальное, душа… Боже мой, какой хаос! Какие важные вопросы, а кто разрешит их? Есть же что-то загадочное в мире?»

Еще девочкой она посетила монастырь в подмосковном Новом Иерусалиме и была потрясена распятием Христа в натуральную величину: «…во весь рост статуя, вся раскрашенная, одетая в черный, бархатный халат, с цепями на руках… И жутко было смотреть на эту куклу, и тотчас же возникла мысль, что это идолопоклонство, а надо всё, — тем более религию, — идеализировать, и во всяком случае отношение к Христу должно оставаться в области отвлеченной».

С.А. всю жизнь была верующим и церковным человеком, к этому приучала и детей своих, сердилась на антицерковные выступления мужа. Но, в отличие от Л.Н., в ее религиозности не было мистицизма. Бог, конечно, есть… Но Он так далеко и так непонятен, что жить надо по земным правилам, в которые входят и законы церковные.

Л.Н. воплощал в себе совсем другой, условно говоря, «барский» тип, лучше всего отраженный в романе Гончарова «Обломов».

Толстой был *верующим идеалистом.* Бог не где-то далеко… Он вокруг нас и, в конце концов, в самих нас. Отсюда непостижимы и таинственны как раз законы земной жизни, которые необходимо понять не отвлеченно, но всем сердцем и разумом, согласуясь с непосредственной волей Божьей, явленной в мире.

С.А. была практична в домашнем хозяйстве. Составляла меню на месяц вперед, чтобы не тратить лишних денег во время закупки провизии. И в то же время любила свет, балы, модные наряды. Ее муж был непрактичен в домашнем быту и терпеть не мог светские развлечения, тяготился шикарной обстановкой дома в Хамовниках, был скуп в использовании писчей бумаги и даже энергии батарейки электрического фонаря, но не потому, что «жалко денег», а потому, что это чужой труд, который стыдно расходовать просто так.

С.А., отличаясь буржуазным темпераментом в ведении домашних дел, была одновременно сентиментальна, чувствительна на мелочи, не стесняясь в выражении своих чувств.

Л.Н. был, пожалуй, не менее сентиментален. Но крайне скуп во внешнем проявлении чувств. Стыдился ласкать детей, не выносил истерик жены, к которым она была, увы, склонна.

С.А. в своем поведении на людях была прямолинейна, говорила в лицо всё, что думает и чувствует. Л.Н. был крайне тактичен в обращении с чужими людьми, боялся задеть их неосторожным словом. Только он мог придумать такое семейное развлечение, как «нумидийская конница». Дождавшись (дождавшись!) ухода неприятного, наскучившего гостя, он и все домочадцы вставали в цепочку и скакали вокруг стола, потряхивая над головой ладонями. Таким образом они снимали напряжение, внесенное в дом неприятным человеком. Но подать гостю знак, что он неприятен и ему пора уходить, было немыслимо.

С.А. обожала природу, но не любила деревню и мужиков, оставаясь человеком города. Будучи в Москве или Петербурге, она не пропускала ни одного важного концерта, спектакля или выставки. Л.Н. не любил город, даже Москву, где люди не здороваются друг с другом, и был исключительно человеком деревни. После духовного переворота он не признавал концертов, крайне специфически относился к театру, даже став знаменитым драматургом, автором «Власти тьмы»; отличался узостью в восприятии живописи, не только не принимая новых веяний, но и не признавая, например, значения пейзажей.

Каким образом два настолько разных человека могли полюбить друг друга, кажется непостижимым.

Но была любовь! И не просто любовь, а «неимоверное счастье». Неправильно считать, что эта любовь покинула Л.Н. вместе с половым влечением, с «чувством оленя», как порой думала сама С.А. В самых поздних дневниковых записях Толстого есть выражения такой любви к жене, которые невозможно сымитировать.

В апреле 1863 года на Пасху С.А. пишет младшей сестре в Москву: «Скучно мне было встречать праздники, ты ведь понимаешь, всегда в праздники всё больше чувствуешь, вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всенощной с утомительными 12-ю Евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны (экономка Берсов. — *П.Б.*) с громадным куличом на брюхе, ни ожидания заутрени — ничего… И такое на меня напало уныние в Страстную Субботу вечером, что принялась я благим матом разливаться, плакать. Стало мне скучно, что нет праздника. И совестно мне было перед Левочкой, и делать нечего… В Светлое Воскресение я утешилась, и стали мы с Левой смотреть на все с *критической*

«стороны»… Наш поп, отец Константин, ораторствовал и врал такую чушь, что надо было истинно-христианское терпение, чтобы слушать его…»

Однако отсутствие обрядовой религиозности в муже не слишком тяготило Сонечку. Во всяком случае, не так, как позднее она будет страдать от его «нового христианства». Скорее, она просто скучала по матери и сестрам, по кремлевской жизни, в этой связи вспоминая, как праздновали Пасху в Москве. В том же письме к Тане просит: «Еще, Таня, напиши мне, голубушка, что у вас носят и будут носить. Какие материи, какой цвет, какие шляпы…»

С другой стороны, весь быт яснополянской усадьбы был пропитан старинными преданиями и религиозным пиетизмом, напоминавшим о матери Толстого. В комнате тетеньки Ергольской и ее старой приживалки Натальи Петровны висели старинные черные образа. В соседнем флигеле проживало удивительное старое существо — бывшая горничная бабушки Толстого Пелагеи Николаевны — Агафья Михайловна. Вечно одетая в старую кофту, из которой клоками торчала вата, она собирала по округе бездомных собак, живших в ее флигеле на тех же правах, что и хозяйка. Ее называли «собачьей гувернанткой». Как и тетенька Ергольская, Агафья Михайловна была «девушкой» и жила исключительно ради других. Но она имела и свою гордость, о которой пишет старшая дочь Толстых Татьяна Львовна:

«Раз заболела гостившая у нас моя тетя Татьяна Андреевна Берс, младшая сестра матери. Как водилось, послали за Агафьей Михайловной.

— Я только что пришла из бани, — рассказывала Агафья Михайловна, — напилась чая и легла на печку. Вдруг слышу кто-то в окно стучит. „Что тебе?“ — кричу. „За вами Татьяна Андреевна прислали — заболели, так просят вас прийти походить за ними“. А я только что на печке угрелась, не хочется слезать, одеваться да по холоду в дом идти. Я и ответила: „Скажи, не может, мол, Агафья Михайловна прийти, только что из бани“. Ушел посланный, а я лежу и думаю: „Ох, нехорошо это я делаю, себя жалею, а больного человека не жалею“. Спустила я ноги с печки, стала обуваться. Вдруг слышу, опять в окно стучатся. „Ну, спрашиваю, чего еще?“ — „Татьяна Андреевна прислали вам сказать, чтобы вы беспременно приходили — они вам на платье купят“. — „А! а-а, говорю, на платье купит… Передай, что сказала, что не приду, и не приду“. Скинула я с себя валенки, влезла опять на печь и долго уснуть не могла. Не за платья я больных жалею… Любила я Татьяну Андреевну, а как обидела она

меня…»

Верующая Агафья Михайловна могла, тем не менее, повернуть икону святого ликом к стене, когда он плохо «помогал». В то же время она обладала «экзистенциальным» сознанием и однажды поразила Л.Н. рассказом, который он любил вспоминать до конца дней:

«Вот лежу я раз одна, тихо, только часы на стенке тикают: кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Вот я и задумалась: и подлинно, думаю: „Кто я? Что я?“ Так всю ночь об этом и продумала».

Агафья Михайловна жалела мух, тараканов и кормила мышей, которые в ее флигеле становились почти ручными. «Умерла Агафья Михайловна, когда никого из нас в Ясной Поляне не было, — вспоминала Сухотина-Толстая. — Умерла она спокойно, без ропота и страха. Перед смертью она поручила передать всей нашей семье благодарность за нашу любовь. Рассказывали, что когда ее понесли на погост, то все собаки с псарки с воем проводили ее далеко за деревню по дороге на кладбище».

«В доме жили странные люди… — продолжает Сухотина-Толстая. — Живал подолгу монах Воейков. Он был брат опекуна моего отца и его братьев и сестры. Ходил Воейков в монашеском платье, что очень не вязалось с его пристрастием к вину. Жил еще карлик. На его обязанности лежала колка дров, но, кроме того, он всегда играл большую роль в разных забавах и маскарадах Ясной Поляны. Живала старуха странница Марья Герасимовна, ходившая в мужском платье. Она была крестной матерью моей тетки Марьи Николаевны».

Конечно, это разительно отличалось от кремлевской жизни семьи Берсов, где во время прогулок девочек сопровождал лакей в каске с «шишаком». Зато в Ясной можно было увидеть цыган с живым медведем.

— Михайло Иваныч, поклонись господам.

Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.

— Покажи, как поповы ребята горох воруют.

Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.

— Покажи, как барышни прихорашиваются.

Медведь садился на задние ноги, перед ним держали зеркальце, и он передними лапами гладил себе морду.

— Умри!

Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.

«Кончалось всё это обыкновенно тем, — писал старший сын

Толстых Сергей Львович, — что всем, в том числе и медведю, подносилась водка. Выпивши, медведь делался добродушным, ложился на спину и как будто улыбался…»

Эта бытовая поэзия Ясной Поляны, оставившая столь неизгладимое очарование в детях Толстого, что все они вспоминали о яснополянском детстве как о рае, на их мать, в ее восемнадцать-девятнадцать лет, произвела впечатление совсем не однозначное. В конце концов, она просто привыкла к ней.

«В первые дни моего замужества, — вспоминала С.А., - приходили нас поздравлять: дворовые, крестьяне, школьники. Моя мать дала мне, на мои расходы, чтобы первое время не брать денег у мужа, 300 рублей, и я почти всё раздала поздравляющим нас. Мне тогда казалось, что все такие добрые, так нас любят, и меня радовали, хотя очень конфузили, эти поздравления. Тут была и старая жена дядьки Николая Дмитриева — Арина Игнатьевна с дочерью Варварой; скотница Анна Петровна с девочками Аннушкой и Душкой, староста Василий Ермилин, кондитер Максим Иванович, старая горничная бабушки Пелагеи Николаевны — сухая, строгая Агафья Михайловна, веселая прачка Аксинья Максимовна с красивыми дочерями Полей и Марфой; кучера, садовник и *много всяких чуждых и чужих людей, с которыми после еще долго пришлось жить* (курсив мой. — *П.Б.*)».

Все эти непонятные люди, питавшие творческое воображение ее супруга, автора «Детства» и «Отрочества», «Поликушки» и гениального в своей поэтической простоте позднего рассказа «Алеша Горшок», оставались чужды С.А. Показательно отношение жены Толстого к реальному прототипу Алеши Горшка, деревенскому полуидиоту, который действительно проживал в Ясной Поляне. «Например, приходил с деревни дурачок, по прозвищу Алеша Горшок, и его заставляли производить неприличные звуки, и все хохотали, а мне было гадко и хотелось плакать», — вспоминала она примерно в то же самое время, когда Толстой писал рассказ «Алеша Горшок».

У непосвященного читателя воспоминаний С.А. может возникнуть ложное впечатление, будто в «дикую» деревенскую глухомань с медведями и юродивыми, с «собачьими гувернантками» и пукающими идиотами привезли рафинированную столичную барышню. На самом деле всё было не так…

Аристократом был как раз ее муж. Но аристократизм Толстого был не показной, а старинный, усадебный. «По своему рождению, по воспитанию и по манерам, — писал сын Толстого Илья Львович, — отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его

полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином он остался до самого конца своих дней».

Sophie была хорошо образована, знала французский и немецкий языки, имела университетский диплом домашней учительницы, полученный экстерном, умела рисовать, играть на фортепьяно и обладала несомненным литературным талантом, позволявшим писать детские рассказы (книга «Куколки-скелетцы») и переводить философские сочинения своего мужа на французский язык. В поздние годы она увлекалась живописью и достигла в этом больших успехов.

Но всё-таки главным ее талантом были хозяйство и дети. Недаром ее бабушка говорила: «У Сони голова в чепце». Именно этот чепчик, символ домашней хозяйки, и стал первой деталью, на которую обратил внимание Л.Н. в первом письме из Ясной, где он говорит о своем семейном счастье.

«…дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает, — пишет он 2 5 сентября 1862 года в Москву Танечке Берс. — Она (Сонечка. — *П.Б.*) нынче в чепце с малиновыми — ничего.

И как она утром играла в большую и в барыню, похоже и отлично».

Это был первый день их совместной жизни. Через три дня Толстому будет тридцать четыре года, месяц назад Сонечке исполнилось 18 лет. Соня перед ним еще «на цыпочках». Он великий, гениальный! Он — хозяин целого имения. И не одного — в ста верстах прекрасное Никольское, оставшееся после смерти брата Николая. Он — писатель, педагог, страстный охотник и выбран мировым посредником в деле освобождения крестьян. Наконец, это физически очень сильный мужчина. Когда какой-то прохожий «пиджак» стал подсматривать за его женой, купавшейся в пруду, он догнал его и крепко вздул. Ни о каком «непротивлении» еще не может быть и речи. Это *яростный* Толстой. Как он был взбешен, когда, еще до свадьбы, в Ясную заявилась полиция и обыскала его дом, пытаясь найти запрещенные книги и чуть ли не типографию со свеженькими сочинениями Герцена. Счастье, что он в это время находился в самарских степях, иначе Л.Н. непременно застрелил бы станового!

Своим авторитетом, физической силой он подавляет Соню: «Гениально талантливый, умный и более пожилой и опытный в жизни духовной — он подавлял меня морально». «Мощь физическая и опытность пожившего мужчины в области любви — зверская страстность и сила — подавляли меня физически».

На ее стороне как будто бы очень немного: молодость и

«чепчик». Молодая, красивая, она права какая есть, даже если она не права. Письма Толстого 1862-63 годов, просто-таки дышат глупым счастьем молодожена.

«Таня! Знаешь, что Соня в минуты дружбы называет меня *пупок*. Не вели ей называть меня „пупок“, это обидно. А я так люблю, когда ты и Соня называете меня Дрысинькой… Таня! Зачем ты ездила в Петербург?… Тебе там скучно было. Там…»

Дальше письмо продолжает Соня согласно установившейся у них привычке писать письма в «две руки».

В увлекательном единоборстве мужа и жены молодость и привлекательность Сони были гораздо сильнее его физической силы. Письма и дневник Толстого первых лет женитьбы оставляют чувство какого-то пьяного счастья.

«…пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете, — сообщает он А.А.Толстой. — Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым… Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу и так хорошо».

«Фетушка, дядинька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич. — Я две недели женат и счастлив и новый, совсем новый человек».

Е.П.Ковалевскому: «…вот месяц, как я женат и счастлив так, как никогда бы не поверил, что могут быть люди».

М.Н.Толстой: «Я великая свинья, милая Маша, за то, что не писал тебе давно. Счастливые люди эгоисты».

И.П.Борисову: «Дома у нас всё слава Богу и живем мы так, что умирать не надо».

Со своей «последней любовницей», педагогикой, он на время распрощался. И не только потому, что педагогический журнал «Ясная Поляна» не вызвал серьезного общественного интереса. И не только потому, что крестьянским детям во время полевых работ было не до учебы. Едва ли не главной причиной была несовместимость педагогики и молодой жены. Например, сельские учителя, съезжавшиеся в Ясную на своего рода «стажировку» и «обмен опытом», курили в гостиной, а Сонечка, очень скоро сделавшаяся беременной, совсем не выносила дыма.

«Все эти молодые люди, — вспоминала С.А., - очень конфузились моим присутствием, и некоторые смотрели на меня враждебно, чувствуя, что теперь кончится их близкое общение с Львом Николаевичем, который перенесет все свои интересы на семейную жизнь».

Так впервые возник конфликт: для кого существует Толстой? Для семьи или для всех? Первую борьбу Соня выиграла легко,

потому что Л.Н. сам в то время тяготился педагогикой, и его новой «любовницей» стало сельское хозяйство: пчелы, свиньи, лошади и винокуренный заводик. Но вопрос был поставлен, а в жизни Л.Н. не было случайностей.

Но что значит «новый человек», о котором он пишет Фету? Это действительно новый Толстой. И в тоже время как бы промежуточный Толстой. Толстой между молодостью и старостью. Толстой между эпохой тотального бегства (из Казани! на Кавказ! в Севастополь! за границу! в самарские степи!), жадными поисками счастья и временем сокрушительного духовного переворота.

Это *счастливый Толстой.* По сути, это единственный период жизни, когда он был счастлив и когда казалось, что нечего больше желать. Это примерно пятнадцать лет его жизни… Это очень много! Конечно, это не безоблачное счастье. Первый раз он поссорился с женой на пятый день пребывания в Ясной. «Нынче была *сцена*», — пишет он в дневнике 30 сентября. Были и сцены, и истерики, и тяжелейший конфликт в вопросе о кормлении детей… Но всё же, если сопоставить это время с молодыми терзаниями Толстого и с тем, что он переживал после духовного переворота, то это было счастье, почти рай. И конечно, только в это время могли быть написаны романы «Война и мир» и «Анна Каренина».

Главной движительной силой этих произведений была *любовь.* Не любовь к людям вообще, не любовь даже к «ближним», а любовь к женщине. Которая, по крайней мере, на время загадочным образом оформила стихийную силу по имени «Толстой». Ввела ее в берега. Надела на его голову свой незримый чепчик, на котором лежал отблеск того венца, что держали над головой Л.Н. в кремлевской церкви.

Первое, что сделала Сонечка как хозяйка Ясной Поляны, — надела на всех поваров белоснежные колпаки. С тех пор «отвратительные паразиты» не появлялись в ее супе. Это был вопрос обычной гигиены. Но и какой поразительно точный символический жест! Потом расчищались дорожки, выдирались с корнем бурьян и крапива, подшивались белые простыни под шелковое одеяло, заменившее ситцевое, надевались наволочки на подушки и на столе во время обеда расставлялись серебряные приборы. Но сначала — колпаки! Во всяком случае, именно их она первыми вспомнила, описывая в «Моей жизни» свои первые шаги хозяйки.

И Толстой, смеявшийся над лакеем в каске с «шишаком», сопровождавшим девочек Берс на прогулках, не только смирился, но был счастлив как никогда…

«Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит. И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока, у ней и мысль, и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, запрокинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда…»

«Нынче я проснулся, она плачет и целует мне руки. Что? Ты умер во сне… Люблю всё лучше и больше».

«Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть, и всё кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились».

И, наконец, 8 февраля 1863 года в его дневнике появляется запись, которая всё расставляет по местам: «Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравненья больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я и она бессильны».

Интересно, что незадолго до этого была запись в дневнике самой С.А.: «Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного тяжелого… Оттого оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю».

Вот и всё.

Надрезы

Но ни одно семейное счастье не может быть полным без ссор, ревностей и примирений. Оба, Л.Н. и С.А., были ревнивы. Толстой приревновал Соню к молодому учителю, она же серьезно ревновала его не только к Аксинье, но и… к своей младшей сестре.

Таня Берс постоянно приезжает в Ясную и вместе с Толстым развлекается охотой. Две сестры бесконечно любят друг друга. Но Соня пишет в дневнике: «Сестра Таня слишком втирается в нашу жизнь». Еще бы… Младшая, в обтягивающей амазонке, грациозная и сексуальная, скачет с ее мужем по лесам и полям, пока старшая, беременная и скучная, сидит дома. Таня

становится своего рода «моделью» для Толстого. С нее он в буквальном смысле списывает Наташу для «Войны и мира». А Соня должна всё это по многу раз переписывать. У Тани один несчастный роман за другим — с кузеном Анатолем Шостаком (Анатоль Курагин в романе), с братом Толстого Сергеем Николаевичем (Андрей Болконский), из-за которого она чуть насмерть не отравилась. А у Сони свои «романы» — грудь кровоточит, у детей поносы, повар запил и нужно самой, беременной, жарить гуся… Но при этом Танечка — «несчастная», а Соня — «счастливая». Несправедливо!

«Помню, раз летом, — вспоминала С.А., - собрались все кататься: оседлали лошадей, запрягли экипажи — катки и кабриолет: была тут Ольга Исленьева, сестра Таня и гости какие-то. Вышла и я на крыльцо, робко ожидая распоряжения Льва Николаевича, куда меня посадят, так как всё устраивал он. Но, когда все сели, не спросив даже меня, чего я желаю, Лев Николаевич обратился ко мне и сказал: „Ты, разумеется, дома останешься?“ Я видела, что места больше нет, и, едва сдерживая слезы, я ничего не ответила. Но только что все отъехали, я принялась так горько плакать, как плачут дети; плакала долго, мучительно и не забыла этих слез и до сих пор, хотя с того времени прошло больше сорока лет».

«Никогда не надо никого, ни мужчин, ни женщин, допускать близко в интимную жизнь супругов, это всегда опасно», — напишет С.А. спустя сорок лет.

Но не ревность к Тане и даже к Аксинье стала главной причиной семейных «надрезов». Порой ее муж начинает как бы внутренне ворочаться, чувствует какое-то стеснение, недостаток внешней и внутренней свободы. Хотя какой свободы еще можно желать? Хотел заниматься школой — ~ занимался, надоело — бросил. Увлекся пчелами, целыми днями пропадал на пасеке, а жена кротко носила ему обеды. Захотел какую-то особую породу японских свиней, особый сорт яблонь выписали. Свиньи передохли, зато сад укоренился. Весной чуть ли не каждый день охотится на вальдшнепов; осенью, зимой — выезжает с борзыми за лисами и зайцами. Писательство начинает приносит ощутимый доход. Из гонорара за роман «Война и мир» по десять тысяч рублей подарил племянницам, Лизе и Варе, на приданое. И жена этот щедрый жест поняла и одобрила.

Но тем не менее… «Все условия счастия совпали для меня. Одно часто мне недостает (всё это время) — сознания, что я сделал всё, что должен был, для того чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, *всему,* своим трудом за то, что они дали мне».

Весной 1863 года он начинает писать «Холстомера», поразительную «человеческую» историю о лошади, которую заездили и которая напоследок отдает себя всю, до последнего мосла, до куска кожи, — *другим.* На самом пике счастья, когда все его условия совпали, он вдруг начинает повесть, которая является апофеозом русского аскетизма, сопоставимого только с «Живыми мощами» Тургенева. Зачем?

Но «Мерин», как тогда называлась повесть, «не пишется». А «Казаки» — пишутся. «Война и мир» — пишется. И «Анна Каренина» будет писаться — и еще как! Он сам как будто несерьезно относился к своему второму роману сам удивлялся, почему он вызвал такой читательский интерес. Да понятно — почему. Потому что люди во всем мире хотят *счастья,* а не страданий. И за это счастье — хоть под поезд!

Но что-то в этом счастье начинает раздражать Толстого. «Где я, — тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». Эта запись в дневнике появилась менее чем через год после свадьбы.

Вдруг на пике семейного счастья из-под пера Толстого выходит диалог князя Андрея и Пьера Безухова, где Андрей убеждает Пьера: друг мой, не женитесь! Не женитесь, пока не станете совсем старым и никому не нужным. Вдруг бесконечно счастливый со своей прелестной Кити (это почти Сонечка) Константин Левин в «Анне Карениной» начинает всерьез подумывать о крепкой веревке и надежной перекладине под потолком. И сам его создатель в это время прячет от себя веревки и боится один ходить на охоту с ружьем. Что случилось?

Не в дневниках, а в записных книжках Толстого, в которые он заносил всякую всячину, стоит обратить внимание на его записи, когда он увлекался естественными науками: «Водород падает наверх, т. е. из сферы воздуха стремится в сферу водорода». «Водород» — это Толстой, а «воздух» — это семья. Этим «воздухом» пока прекрасно дышится. Больше того — он не может без него жить. Но какая-то невероятная сила выталкивает и выталкивает его в иное пространство, и сопротивляться ей он не может, потому что принадлежит другой «сфере». Еще более интересны замечания Толстого о естественном тяготении и влиянии друг на друга планет:

«Луна вертится вокруг Земли, потому что легче, и составляет одно из видимых тел, вращающихся вокруг Земли.

Земля вращается с другими планетами вокруг Солнца. Т. е. по мере своей плотности относительно сфер Солнца находит свой

путь в одной из сфер. Направление ее определено сферой вращения Солнца, непосредственно соприкасающейся с ее сферой и сферами других планет».

Это и есть «модель» семейной жизни по Толстому. Жена — это Луна, которая вращается вокруг мужа, Земли, вместе с другими малыми спутниками — детьми, подчиненными ее «сфере». Но Земля не самостоятельна и подчинена солнечной «сфере», которая, в свою очередь… и т. д.

Ревность к Аксинье, ревность к сестре… В поздних воспоминаниях жена Толстого слишком акцентирует внимание на этом. Очень серьезным «надрезом» стал вопрос о кормлении первого ребенка — Сережи. У С.А. мучительно болела грудь, не хватало молока, а Л.Н. злился даже на то, что врач (чужой мужчина!) имеет право осматривать грудь его жены. Просто мусульманин какой-то. «Он уходил и уезжал от меня, проводя весело время с моей веселой, здоровой сестрой Таней…»

О том, чтобы бросить кормить ребенка самой и взять кормилицу, по убеждению Л.Н., не могло быть и речи. «Я падаю духом ужасно, — пишет С.А. в дневнике через десять месяцев семейного счастья. — Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный». «Боль усилилась, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности». «Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия?» «Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю всё, что могу, конечно, не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает».

Кормилицу всё равно взяли, а «надрез» остался. «Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать — еще, еще… и две половинки разъединятся совсем».

Что-то не так…

С.А. смотрела на эти «надрезы» со своей женской точки зрения. Л.Н. с его мужским упрямством порой бывал жесток в отношении молодой и неопытной жены. В то же время он сам был неопытен, непоследователен и еще до своего духовного переворота не раз и не два менял «правила игры». «То он стремился к простоте, возил меня в телеге, требовал грубого белья для первого сына. А то, впоследствии, брал с меня честное

слово, что я поеду в 1-м классе, а не во 2-м, как я сама того хотела, и возил мне из Москвы чепцы и наряды от M-me Minangoy — самой дорогой модистки в то время в Москве, и золотистые башмаки от Pinet, то ходила за детьми грязная, русская няня, а то выписывали из-за границы англичанку…»

Через четыре года, когда Соня была в очередной раз беременна, между ними случился конфликт, который ни он, ни она не могли объяснить, «бессмысленный и беспощадный». «Соня рассказывала мне, — пишет Т.А.Кузминская, — что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчас, только уберу всё.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно — я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, всё повторяла: „За что? Что с ним?“

Она рассказала мне уже немного погодя: — Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ — „Уйди, уйди!“ — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил всё на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол».

«Это событие вызвало выкидыш…» — пишет С.А. в «Моей жизни».

67-й год, когда это случилось, был критическим в жизни Толстого. Всю зиму он «раздраженно, со слезами и волнением» заканчивает третий том «Войны и мира», испытывая при этом сильнейшие головные боли. В марте в одну ночь сгорели все оранжереи, заведенные дедом Волконским. Л.Н. едва успел вытащить из пожара детей садовника. В марте же умирает жена его лучшего друга — Долли Дьякова. На похоронах в Москве он

узнает о нелепой смерти сестры А.А.Толстой Елизаветы Андреевны в Италии — подавилась костью. «Бывает время, когда забудешь про нее — про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и с ужасом слышишь, что она ‹то› там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных», — пишет он А.А.Толстой. Наконец, он сам в этот год становится особенно мнительным на предмет собственного нездоровья. Подозрение, что у него чахотка, заставляет обратиться к московскому врачу Захарьину. Со страхом ждет приговора. Находят лишь камни в желчном пузыре.

В этот год Толстой часто выезжает в Москву: хоронить Долли, устраивать дела с печатанием «Войны и мира» и на обследования к Захарьину.

Во время этих отлучек они переписываются с женой каждый день! В этой переписке 67-го года есть что-то необыкновенно трогательное и… ненормальное, как и во всей переписке Толстого с женой, завершившейся страшной «глухой» перепиской во время его ухода.

«Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas (герои „Войны и мира“. — *П.Б.*), и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то.

Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли, и грустно, и страшно, да еще, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей».

Ответы Л.Н. дышат не меньшей нежностью и заботой, только, пожалуй, более чувственно-страстными.

«Сижу один в комнате во всем верху (квартиры Берсов. —

П.Б.); читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы… Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное — я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии».

Впрочем, как раз эта пылкая страстность мужа не очень нравилась С.А. «Хотя приходит в голову, что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я; но потом я сейчас же не хочу себе портить радости и утешаюсь и говорю себе: от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу», — писала она.

Результатом этой страстности были дети, один за другим. С.А. любила детей бесконечно, в уходе за ними и их воспитании проявлялся ее главный жизненный талант. Но постоянное состояние беременности, почти без передышки, начинает ее тяготить, а, кроме того, она скоро обращает внимание, что ее муж ничем не отличается от большинства обыкновенных мужчин: любит жену здоровую, а не больную.

«Из тринадцати детей, которых она родила, — писал сын Толстых Илья Львович, — она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет…»

Но особенно возмущало С.А., что ее муж, отличаясь страстным мужским темпераментом до преклонных лет (последний ребенок, Ванечка, родился в марте 1888 года, незадолго до шестидесятилетия Толстого и сорокачетырехлетия С.А.), при этом подчеркнуто отрицательно относился к половой связи, считая ее греховной и недостойной духовного существа. Удивительно, но это отношение нисколько не изменилось с тех пор, когда он страдал от «чувства оленя» к девкам и крестьянкам. «Но что же делать?» — говорил он жене в таких случаях, давая ей понять, что если он и не властен над «чувством оленя», испытываемого уже по отношению к ней, это еще не значит, что он готов нравственно оправдывать это чувство. Его записи в дневнике вроде: *«Преступно* спал», — буквально взрывали С.А. Они намекали ей на то, что она не просто является соучастницей этого «преступления», но и его главным провоцирующим мотивом. Но главное — главное! — ее выводило из себя то, что муж не видит принципиальной разницы между ней и теми женщинами, которые были до нее.

Единственным оправданием половой связи Толстой считал

рождение детей. «Связь мужа с женою, — пишет он в записной книжке, — не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кошунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но всё-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна». И здесь же он пишет о неразрывной, «смертной» связи мужа и жены, указывая, что случаи почти одновременных смертей брата и сестры крайне редки, а вот старых супругов — сколько угодно. И в этом надо почувствовать тонкость отношения Толстого к половой связи. Он видел в ней не только грех, но и тайну, такую же, как смерть. Смерть всегда завораживала Толстого. Он не мог не понимать, что первым звеном в цепочке: рождение — жизнь — смерть является половая связь. Отсюда она путала его. Если результатом половой связи не становится плод — рождение и жизнь, то эта связь означает «труп».

Этой тонкости в отношении мужа к плотской связи С.А. не понимала. Да ей было и не до того. Для нее эта связь означала конкретные вещи: тяжелое состояние беременности, муки родов, грудницу, бессонные ночи, холодность мужа к больной жене и ее ревность к молодым и здоровым женщинам, вроде своей сестры… «Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше. Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых…»

С.А. до поры до времени чувствовала тот предел, до которого она могла понимать своего мужа и после которого ей уже не стоило ломать голову, занимаясь тем, что ей судил Бог: внутренняя жизнь семьи и дети.

Но в этом ее положении тоже была своя тонкость. Толстой ведь не был физиком или астрономом. Он даже не был «литератором» в обычном смысле, который элементарно зарабатывает творчеством на жизнь. Толстой был *творцом жизни.* Той самой жизни, что свободно и органично перетекала из быта Ясной Поляны в «Войну и мир», «Анну Каренину» и обратно. И она, его жена, была соучастницей этого творческого процесса, причем он сам настоял на этом, придавая женитьбе не только прагматический, но и идеальный, творческий смысл. Как же ей было определить ту грань, за которой кончались ее полномочия и начиналась исключительно его сфера?

Пока этой сферой оставался кабинет мужа, всё было более или менее понятно. То, что кабинет папа — это святилище, а время, когда он пишет или читает, — это самые важные часы, ради которых, собственно, и существует Ясная Поляна, — это

жена Толстого не только понимала, но и накрепко внушила детям.

Побеспокоить папа во время работы было немыслимо! Немыслимо было войти в это время в его кабинет, пересечь границу этой «сферы». Но ведь и когда Толстой покидал кабинет, творчество не прекращалось. Он не становился обычным мужем и отцом. Он продолжал оставаться «сферой», но уже такой, которая вступала во взаимодействие со «сферами» его домашних. И как было найти границы?

«Как хорошо всё, что ты оставил мне списывать, — пишет она мужу во время его отъезда. — Как мне нравится княжна Марья! Так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, всё еще не ясен. Не знаешь, что он за человек Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой».

«Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет…»

«А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне кажется, что это не роман твой так хорош… а я так умна».

«Посылаю тебе, милый Левочка… образок, который, как всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».

Неясные отношения князя Андрея к жене, образок, который княжна Марья упросила его взять с собой на войну и который он удивленно взял, чтобы сделать ей приятное, — всё это либо перетекало из яснополянской жизни в «Войну и мир», либо возвращалось из романа в жизнь. Это была система кровеносных сосудов, а не жесткое разграничение сфер.

С.А. была деспотична в любви к мужу. Этот ее деспотизм был продолжением ее главной добродетели — самоотверженности. Так она была воспитана отцом и матерью, и непонятно еще, кем больше.

У нее тоже были свои тонкости в понимании отношений супругов, которые ей с детства внушали мать и отец, но которые в идеальном мироустройстве яснополянского рая не работали. В дневнике она пишет: «Иногда на меня находит озлобление, что и не надо, и не люби, если *меня* не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это

средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано — и всё это пустяки. Надо *не* любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо».

Это дневник того самого 67-го года, который словно пропитан предощущением катастрофы. Но это как будто чувствует одна С.А. Толстой целиком поглощен «Войной и миром» и своей болезнью. Он консультируется с Захарьиным и меряет ногами Бородинское поле в уверенности, что напишет батальную сцену, которая не снилась даже Стендалю, главному авторитету для него среди «баталистов». Но С.А. всё время что-то «чувствует».

Что-то не так… Что-то не так…

Маргиналы

Удивительное дело! Сонечка Берс свои, очевидно, невиннейшие девичьи дневники уничтожила, не показала Толстому. А вот он свои далеко не невинные заметки холостой жизни не просто показал невесте, но *заставил* прочитать. Зачем?

Ясного объяснения этого поступка мы не найдем ни в его дневниках, ни в «Анне Карениной», где Константин Левин совершает такой же поступок. Но какие-то мотивы лежат на поверхности.

Во-первых, он не был уверен, что он, такой как есть, достоин своей невесты, и хотел, чтобы она знала, что он ее недостоин, и сделала не слепой, а сознательный выбор. Это благородный мотив.

Во-вторых, намереваясь привезти жену и будущую мать их детей в Ясную Поляну, он знал, что там она неизбежно столкнется с Аксиньей и его незаконным сыном. Лучше вскрыть этот нарыв до свадьбы, чем травмировать молодую жену, которая к моменту «приятной новости», возможно, уже будет беременной. Не самый благородный, но и не самый плохой мотив. Да, но зачем было показывать дневник?

Толстой поступил против правил. Это был «дикий» поступок, который ошеломил Сонечку и ее родителей. Но родители списали это на «странности» жениха: о некоторых они уже знали. А вот Сонечке предстояло с этой «правдой» жить.

«…всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, *никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь»,* — пишет С.А. в «Моей жизни».

«Всё его (мужа. — *П.Б.*) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним, — жалуется она в дневнике первого года замужества. — Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что…»

Отдавая Сонечке дневник, Толстой думал, что испытывает на прочность ее чувство и показывает ей «мины», которые могут встретиться ей в Ясной Поляне. На самом деле он закладывал под свою будущую семейную жизнь такой динамит!

Все недостатки С.А. вытекали из ее добродетелей и наоборот. Самоотверженность в семейной жизни соседствовала с деспотизмом, а преданная любовь к мужу — с безоглядной ревностью. Своими дневниками он пробудил в ней темные стороны ее натуры и заставил ее страдать не только от ревности, но и от осознания беспомощности перед темными сторонами своей личности. Если это был духовный урок, то очень жестокий.

Конечно, больше всего ее задели его слова об Аксинье как *жене*. «Влюблен как никогда!» С.А. всегда придавала особое значение отдельным словам, сказанным или написанным ее мужем. Она вцеплялась в эти слова, надувала их дополнительным, ей одной внятным смыслом. Это была ее болезнь.

«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, — пишет она в дневнике через три месяца после свадьбы, увидев Аксинью в своем доме. — „Влюблен как никогда!“ И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая… Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».

Делая свои молодые дневники прозрачными для жены, он совершал и еще одну ошибку, о которой, несомненно, горько сожалел в старости, перед уходом. Он подарил ей право считать себя «жертвой». Разбудив в ней одну темную сторону — ревность,

он дал ей основание и для семейного деспотизма, ибо нет ничего более деспотичного, чем жертвенная любовь. Это чувство «жертвы» она культивировала в себе с самого начала их совместной жизни. Дневники будут «аукаться» Л.Н. на протяжении всех сорока восьми лет их семейных отношений. Этот «скелет в шкафу» постепенно обрастет плотью, напитается кровью и будет постоянно присутствовать в доме во время самых тяжелых конфликтов.

И всё ради чего?

Самое начало семейной жизни Толстых приобретает странный маргинальный характер. Дневник (в сущности, просто написанные слова) вдруг начинает играть в этой жизни роль *третьего.* Оба ведут дневники, будто соревнуясь друг с другом в своей откровенности. Но главное — оба не просто позволяют друг другу читать эти дневники, но делают это принципиальным элементом полноты семейного счастья. Никаких тайн!

Что же они читают в этих дневниках?

ОНА:

«Он мне гадок со своим народом…»

«У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив…»

«Он тем дурной человек, что у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальски незлой человек ко всякому страдающему существу…»

«Любви нет, жизни нет…»

«Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет, и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение, — гадко…»

«Иду на жертву к сыну…»

«А детей у него больше не будет…»

«Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я — *женщина».*

ОН:

«Работать не могу. Нынче была *сцена.* Мне грустно было, что у нас всё, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал…»

«Мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать… Мне всё досадно и на мою жизнь, и даже на нее. *Необходимо работать…»*

«Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло…»

«Таня — чувственность…»

«С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал — слезы, пошлые объяснения… Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это ложная замазка… За обедом замазка соскочила, слезы, истерика…»

«Ее характер портится с каждым днем… Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности…»

«С утра я прихожу счастливый (после прогулки. — *П.Б.*), веселый, и вижу *графиню,* которая гневается и которой *девка Душка* расчесывает волосики… и я, как ошпаренный, *боюсь* всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично».

«Уже 1 ночи, а я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит».

Приписки Толстого в дневнике жены, то шутливые, то покаянные, не оставляют сомнения, что он внимательно читал дневник. А уж он и вовсе не имел права прятать дневник после того, как навязал невесте свое прошлое. Сделав свое прошлое ее душевным грузом, он распахнул дверь в тайник своей души и уже не смел ее больше закрывать.

Одним из внешних символов С.А. как хозяйки был не только чепец, но и тяжелая связка ключей от всего дома и хозяйственных пристроек, которую она постоянно носила на поясе, на животе, даже когда была беременной. Но для проникновения в тайник души мужа ей не требовался ключ. Всё открыто.

Но могло ли так продолжаться всю жизнь? Зачем было двум взрослым людям, обедающим за одним столом, ночующим в одной спальне, вести эту странную, двусмысленную «переписку»?

С.А. эта игра понравилась. Во всяком случае, она вошла в ее вкус и всегда требовала от мужа предельной откровенности. Но Толстого отсутствие между ними всякой тайны скоро стало раздражать. Летом 63-го года он восклицает в дневнике: «Всё писанное в этой книжке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду».

В конце концов дневники, которые по изначальной мысли Толстого должны были соединить супругов в единую и нераздельную духовную плоть, стали одной из главных причин семейного конфликта, завершившегося катастрофой 1910 года…

«Сломилась жизнь»

Так называется одна из глав воспоминаний С.А. Событие, серьезно повлиявшее на отношения между супругами еще до духовного переворота Толстого и ставшее причиной первого не «надреза», а надлома в семейной жизни, было рождение 12 августа 1871 года второй дочери и пятого по счету ребенка — Марии. Это первый ребенок, который впоследствии встанет на стороне отца в конфликте с матерью, обозначив раскол между детьми Толстого. Скончавшаяся в молодом возрасте Мария была во многих отношениях очень необычным и не вполне земным существом, как и самый поздний ребенок — Ванечка. И это была самая любимая дочь Толстого.

После рождения Маши С.А. заболела родовой горячкой и едва не умерла. Врачи советовали ей больше не иметь детей. Но Толстой не представлял себе семейной жизни без рождения детей. После Маши его жена родила восьмерых детей, из которых первые трое — Петр (р. 1872), Николай (р. 1873) и Варя (р. 1875) — умерли в грудном возрасте. И только с рождением сына Андрея в 1877 году, а затем Михаила в 1879-м род Толстых вновь стал набирать силу. Но уже родившийся в 1881 году Алексей умирает в пятилетнем возрасте, а появившийся на свет в 1888-м Ванечка уходит из жизни в 7 лет. Зато родившаяся в 1884 году уже вопреки желанию матери дочь стала главной долгожительницей в роде Толстых. Александра Львовна прожила девяносто пять лет.

В плодоносящей силе Толстого было что-то библейское. И каждый ребенок был не похож на предыдущего и последующего. Каждый обладал неповторимым характером и каким-то даже гипертрофированным личностным началом. Все дети были разносторонне даровиты.

В 1871 году Толстой не вел дневник, но сохранилась запись из его записной книжки, где он осуждает естественные науки за отождествление природных законов с таинством человеческого деторождения: «Естественные науки — это стремление найти общее в жизни внешнего мира с жизнью человека. Человек родится из оплодотворенного яйца. Давай отыскивать яйцо в полипе и оплодотворение в папоротнике…»

Для Толстого деторождение — это таинство, которым нельзя управлять. Но для С.А. это таинство означало более определенные вещи. Вот ее запись в дневнике 1870 года:

«Сегодня 4-й день, как я отняла Левушку (Лев — четвертый ребенок Толстых. — *П.Б.*). Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла, и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело этот первый полный разрыв с своим ребенком. Должно быть, я опять беременна».

Толстой в начале 70-х годов продолжает жить невероятно напряженной умственной жизнью. Возвращается тяга к педагогике, и он составляет «Азбуку» для детей (С.А. ее переписывает). Он изучает греческий язык, чтобы читать Гомера и Ксенофонта в оригинале. Он собирает материалы для романа о Петре I. В 1873 году начинается работа над «Анной Карениной». В это же время Толстой дважды ездит в самарские степи — на кумыс.

Жизнь семьи возвращается в прежнюю колею. Однако «неимоверного счастья» уже нет. В семейной жизни Толстых обозначились все трещины, по которым она будет раскалываться в будущем. Но необходим был какой-то внешний толчок, чтобы раскол начался.

Толчком был переезд семьи в Москву.

В 1871 году когда в семье произошел надлом, Ясную Поляну покинул ее легкокрылый ангел и одновременно демон — Танечка Берс, ежегодно с весны до осени гостившая у старшей сестры. После неудачного и томительного «романа» с братом Толстого Сергеем Николаевичем она всё-таки вышла замуж за своего кузена Кузминского и уехала с ним на Кавказ, куда ее муж получил назначение. Это было большое горе для С.А. Сестра была ее единственной конфиденткой в семейных проблемах, ей она поверяла все свои радости и горести в отношениях с мужем. С отъездом Тани рвалась ее живая и постоянная связь с прежней семьей, с Берсами. Отныне она была только графиней Толстой…

И в это же время Толстой думает о поездке в Оптину. Поездка не состоялась, она случится через шесть лет. Но рассказывая об этом спустя многие годы своему первому биографу Павлу Бирюкову Толстой вдруг сместит в памяти две даты, 1871 и 1877 годы, и расскажет о той первой «поездке» как состоявшейся. Он скажет Бирюкову, что ездил в Оптину говорить со старцем Амвросием о своих семейных проблемах.

Глава пятая
НОВЫЙ РУССКИЙ

Приехавший 29 октября, на следующий день после ухода Толстого, в Оптину молодой секретарь Черткова Алеша Сергеенко был тотчас усажен Л.Н. за стол записывать ответ Толстого на запрос Корнея Чуковского о проблеме смертных казней. Во время работы Сергеенко увидел на противоположном краю стола узенький листок бумаги, на котором было что-то написано крупным почерком Толстого. Ему очень хотелось подсмотреть, что это, но было неловко.

«Кончив диктовать, Лев Николаевич подошел к умывальному столику, на котором стоял большой фаянсовый таз и большой фаянсовый кувшин. Из кувшина налил в таз воды и стал намыливать руки. Вдруг с огорчением воскликнул:

— Ах, досадно!

— Что, Лев Николаевич, досадно?

— Да забыл ногтевую щеточку…

— Я постараюсь, Лев Николаевич, достать вам.

— Нет, нет, не надо. Я записываю, что прошу прислать мне из дому…»

Мучительность нравственного самочувствия Толстого после ухода из дома проистекала от того, что, больше всего на свете не желая обременять своей персоной других людей, он только тем и занимался. И чем больше он старался их не обременять, тем больше создавал им проблем.

Когда Толстой ушел гулять, Сергеенко тотчас потянул к себе листок бумаги и прочитал:

«Мыло

Ногтевая щеточка

Блок-нот».

Если бы вместо «блокнота» в этом списке значился «скальпель», можно было бы не сомневаться, что это запрос домой временно отъехавшего и постоянно практикующего хирурга. Но это был запрос писателя, для которого мыло и ногтевая щеточка, пожалуй, не менее важны, ибо главный инструмент писателя — руки, которые должны содержаться в идеальной чистоте. Не говоря о том, что Толстой вообще отличался

необыкновенной чистоплотностью.

В письме к Саше, которое она не успела получить, сама выехав в Шамордино, Толстой просил прислать или привезти «штучку для заряжания чернил» (чернила он не забыл), а еще — «маленькие ножницы, карандаши, халат». Кстати, мыло ему требовалось вегетарианское, приготовленное не из животных. Еще в список, который видел на столе Сергеенко, потом добавились «кофе, губка». В письме к Саше он просил прислать книги Монтеня, Николаева и второй том «Братьев Карамазовых». Уезжая ночью, он не взял с собой необходимых книг и уже в первом поезде стал мучиться их отсутствием. Особенно не хватало составленных им самим «Круга чтения» и «На каждый день», куда он собирал произведения и мысли великих и не великих писателей и мыслителей, считая это своим главным занятием в конце жизни. Некоторые из этих сборников он увидит в библиотечке сестры в Шамордине и немедленно их радостно «похитит» с согласия Марии Николаевны.

Всё это — книги, мыло, щеточка, «штучка» для чернил, ножницы, блокнот, халат — потребовались Л.Н. в первые же два дня ухода. Их отсутствие портило ему настроение, и без того тягостное, как он ни старался уверить себя и окружающих, что ему «свободно» и «хорошо». Да, в дневнике и письме к Саше он писал, что поездка в вагоне третьего класса в Козельск вместе с простым народом была ему «поучительна» и «приятна». Но когда двинулись из Козельска дальше и вдруг возникла перспектива ехать тем же поездом, в том же третьеклассном вагоне (а другого в этом поезде просто не было), Толстой очень этого испугался, и Маковицкий это заметил и зафиксировал в дневнике…

И таких мелочей было много… Собственно, из них-то и складывалась вся поездка «на перекладных» и «проходящих» от Ясной до Астапова. Например, чем и где питаться? Не вечно же на станциях? В Ясной Поляне был особый, довольно сложный рацион для вегетарианца, страдающего плохой печенью и кишечником. Этот рацион был результатом долгих поисков СА, которая вообще отличалась необыкновенным педантизмом в составлении домашних меню. Здесь были свои семейные хитрости, вроде того, что в грибной бульон, приготовленный специально для

Л.Н., незаметно для него подливали несколько ложечек мясного бульона. Была целая проблема с цветной и брюссельской капустой, с киселями, до которых Л.Н. был большой охотник, с чем-то еще, о чем мы не будем говорить, чтобы не дразнить тех, кто считает, что поздний Толстой вел «барскую» жизнь. Это была не «барская» жизнь, но жизнь аскета, с величайшим вниманием относившегося к драгоценному сосуду, переносившему бессмертную душу из одной вечности в другую, — своему телу Это был особого рода аскетизм, без вшей и вериг

Но что делать с драгоценным сосудом в скверных российских поездах и гостиницах, на ухабах нашего вечного бездорожья?

«Дорога была ужасная, грязная, неровная, и ямщики взяли с нее влево, через луга города Козельска; несколько раз приходилось проезжать канавы. Было не очень темно, месяц светил из-за облаков. Лошади шагали. На одном месте ямщик стегнул их, они рванули, и страшно тряхнуло, Л.Н. застонал», — описывает Маковицкий дорогу из Козельска в Оптину.

Приехавшие в Шамордино Саша с Феокритовой привезли с собой овсянку, сухие грибы, яйца, спиртовку. В Оптиной, в Шамордине и потом в поезде, перед тем как слечь, Толстой по-стариковски много и охотно ел — это заметили все, кто был с ним. Вероятно, этому было какое-то физиологическое объяснение: нервы или слабость, а, может быть, его организм просто готовился к трудной смерти?

Всё это упало на плечи сперва одного Маковицкого, а затем Саши и Феокритовой. И когда Толстой писал Саше из Оптиной пустыни: «Душан разрывается, и физически мне прелестно», — он имел в виду только то, что он очень ценит заботу своего спутника, но и страдает от того, что доставляет окружающим столько забот.

Однако, был человек, которому он не только не боялся доставить хлопот, но которому эти хлопоты были бы, несомненно, приятны. Это была его сестра Машенька, монахиня Мария Николаевна Толстая.

Маша и Левочка были младшими детьми в семье Толстых, и потому особенно тянулись друг к другу еще с раннего детства. Мария Николаевна была моложе Л.Н. всего на полтора года. Их переписка захватывает полвека, и по ней одной уже можно судить о том,

насколько нежными были отношения брата и сестры. Она принимала живейшее участие в его делах, как сердечных, так и творческих Он был крестным отцом ее дочери Варвары, своей племянницы, которой подарил в качестве приданого десятитысячный билет из гонорара за «Войну и мир». После неудачного романа Л.Н. с Арсеньевой Мария Николаевна пыталась выступить в роли свахи и женить брата на княжне Дондуковой-Корсаковой. Она хорошо знала психологию брата, первой разгадав в нем «подколесинский» синдром беглеца.

В свою очередь, будучи старшим в семье только по отношению к Маше, он особенно трогательно заботился о ней, переживая ее несчастья как свои личные. Несчастий на ее долю выпало много, чем-то ее судьба напоминала судьбу Анны Карениной.

В шестнадцать лет выданная замуж за своего родственника Валериана Толстого, она поселилась в имении Покровское близ Черни Тульской губернии и родила ему четырех детей. Беззаветно любила мужа и была оскорблена, узнав о его многочисленных любовных похождениях, в том числе с гувернантками и кормилицами (в этом ее судьба по-своему предваряла судьбу Долли Облонской). Имея гордый и независимый характер, Мария Николаевна в 1857 году оставила мужа. Эта новость «задушила» Л.Н., который в это время находился в Баден-Бадене. Он бросил всё и помчался в Россию спасать сестру. Толстой снял в Москве дом, где поселился вместе с Марией и ее детьми. Но на этом злоключения сестры не кончились.

Она отправилась с детьми за границу, где познакомилась с молодым, красивым, но больным человеком, Гектором Виктором де Кленом. Вскоре их дружба перешла в страстную любовь. Три зимы они провели в Алжире. В 1863 году у Марии Николаевны родилась незаконная дочь Елена. Свое отчество, Сергеевна, она получила от своего крестного отца, старшего брата Марии и Льва, Сергея Николаевича Толстого.

Лев принял живое участие в драме сестры и даже предлагал самому воспитывать ее незаконную дочь. В 1873 году, когда в «Русском вестнике» печаталась «Анна Каренина», де Клен умер, и Мария Николаевна всерьез думала о самоубийстве. Не зная еще, чем закончится роман брата, писала ему: «Мысль о самоубийстве начала

меня преследовать, да, положительно преследовать так неотступно, что это сделалось вроде болезни или помешательства… Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, потому что всё то, что *незаконно*, никогда не может быть счастием…»

Вернувшись в Россию с Еленой, уже сознательной девочкой, воспитанной по-европейски и плохо говорившей по-русски, Мария Николаевна первое время боялась при людях признавать ее своей дочерью и выдавала за свою воспитанницу. Братья Сергей и Лев этого не понимали, они открыто называли ее своей племянницей. Поэтому отношение дочери к матери было непростым. Она рано ушла от нее, жила самостоятельно и вышла замуж за юриста, судебного чиновника в Воронеже, а затем в Новочеркасске, Ивана Васильевича Денисенко. Именно к ним, к Денисенко, направлялся Толстой, когда бежал из Шамордина.

После личных драм с Валерианом Толстым, де Кленом и дочерью Еленой Мария Николаевна поселилась в Белевском женском монастыре Тульской губернии, откуда писала брату в 1889 году:

«Ты ведь, конечно, интересуешься моей внутренней, душевной жизнью, а не тем, как я *устроилась*, и хочешь знать, нашла ли я себе то, чего искала, то есть удовлетворения нравственного и спокойствия душевного и т д. А вот это-то и трудно мне тебе объяснить, именно тебе: ведь если я скажу, что не нашла (это уж слишком скоро), а надеюсь найти, что мне нужно, то надо объяснить, каким путем и почему именно *здесь,* а не в ином каком месте. Ты же ничего этого не признаешь, но ты ведь признаешь, что нужно отречение от всего пустого, суетного, лишнего, что нужно работать над собой, чтоб исправить свои недостатки, побороть слабости, достичь смирения, бесстрастия, т. е. возможного равнодушия ко всему, что может нарушить мир душевный.

В миру я не могу этого достичь, это очень трудно; я пробовала отказаться от всего, что меня отвлекает, — музыка, чтение ненужных книг, встречи с разными ненужными людьми, пустые разговоры… Надо слишком много силы воли, чтоб в кругу всего этого устроить свою жизнь так, чтобы ничего нарушающего мой покой душевный меня не прикасалось, ведь мне с тобой

равняться нельзя: я самая обыкновенная женщина; если я отдам всё, мне надо к кому-нибудь пристроиться, трудиться, т. е. жить своим трудом, я не могу. Что же я буду делать? Какую я принесу жертву Богу? А без жертвы, без труда спастись нельзя; вот для нас, слабых и одиноких женщин, по-моему, самое лучшее, приличное место — это то, в котором я теперь живу».

Это признание будущей монахини (она окончательно ушла из мира в 1891 году, поселившись в только что возникшем Шамординском монастыре, в домике-келье, специально построенном по проекту ее духовника, оптинского старца Амвросия) весьма любопытно. Оно говорит о том, насколько близки были Л.Н. и его сестра в понимании веры, несмотря на всю разницу путей ее жизненного воплощения. Оба они были практичны в своем отношении к вере. Если вера — это счастье, то есть «полное удовлетворение нравственное и спокойствие душевное», то и надо искать самый короткий и для тебя лично доступный путь к счастью. Для Толстого (в его понимании) этот путь лежал вне церкви, для сестры — через монастырь.

Конечно, Мария Николаевна, уже твердо вставшая на монашеский путь, переживала за брата, страдала за него, «…я тебя очень, очень люблю, молюсь за тебя, чувствую, какой ты хороший человек, так ты лучше всех твоих Фетов, Страховых и других. Но всё-таки как жаль, что ты не *православный,* что ты не хочешь *ощутительно* соединиться с Христом… Если бы ты захотел только соединиться с Ним… какое бы ты почувствовал *просветление* и мир в душе твоей и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день! Я завтра, если силы мои позволят, буду приобщаться в церкви», — писала она брату в 1909 году.

На эти попытки сестры вернуть его в лоно православия Толстой отвечал в дневнике: «Да, монашеская жизнь имеет много хорошего: главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно, но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку».

Упрямство Толстого в отстаивании своего религиозного пути, его отрицание церкви нередко приводили к спорам между братом и сестрой, но эти споры никогда даже близко не приводили к возможности

разрыва отношений. Они всегда заканчивались… шуткой. Оба ценили остроумие. Однажды, посетив сестру в Шамордине, Толстой пошутил: «Вас тут семьсот дур монахинь, ничего не делающих». Это была злая, нехорошая шутка. Шамординский монастырь был действительно переполнен, причем девицами и женщинами из самых бедных, неразвитых слоев, ибо устроитель монастыря Амвросий перед кончиной приказал принимать в него всех желающих. В ответ на эту злую шутку Мария Николаевна вскоре прислала в Ясную собственноручно вышитую подушечку с надписью: «Одна из семисот Ш-х дур». И Толстой не только оценил этот ответ, но и устыдился своих сгоряча сказанных слов.

Подушечка эта и сегодня лежит в спальне Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

Сама Мария Николаевна была не вполне обычной монахиней. По крайней мере, она сильно выделялась на общем фоне. Перед смертью, уже приняв схиму, она бредила по-французски. Ей, привыкшей жить по своей воле, было трудно смиряться, всегда спрашивая разрешение духовника или игуменьи. Она скучала по общению с близкими ей по образованию людьми, читала газеты и современные книги. «У нее в келье, — вспоминала ее дочь Е.В.Оболенская, — в каждой комнате перед образами и в спальне перед киотом горели лампадки, она это очень любила; но в церкви она не ставила свечей, как это делали другие, не прикладывалась к образам, не служила молебнов, а молилась просто и тихо на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик Первое время на это покашивались, а иные и осуждали ее, но потом привыкли».

«Я как-то раз приехала к матери с моей дочерью Наташей, которая страдала малярией. Мать приставила к ней молодую, очень милую монашенку, которая ходила с ней всюду гулять; но когда та хотела повести ее на святой колодезь, уверяя, что стоит ей облиться водой, как лихорадка сейчас же пройдет, мать сказала:

— Ну, Наташа, вода хоть и святая, а всё лучше не обливаться.

Монашенка была страшно скандализирована этими словами».

Раз в год, на два летних месяца, она приезжала гостить к брату в Ясную Поляну. Выхлопотать

разрешение на это было непросто, пришлось обратиться к калужскому архиерею. Последний раз она была в Ясной летом 1909 года и, по свидетельству дочери, уезжая, горько плакала, говоря, что больше не увидит брата.

Тем не менее его внезапный приезд поздней осенью был для нее не совсем неожиданным. Уже в последний свой визит в Ясную она видела, что в семье брата назрел неразрешимый конфликт, и была в этом конфликте всё-таки на его стороне.

Встреча их в доме Марии Николаевны была очень трогательной. Приехав с Маковицким и Сергеенко в Шамордино 29 октября уже поздно вечером, Толстой даже не заглянул в номер гостиницы, где они остановились. Он немедленно отправился к сестре. Эта его стремительность после рассеянного блуждания возле скитов Оптиной говорит о многом. Он рвался к сестре излить свою душу, поплакаться, услышать слова поддержки. Возможно, даже оправдания своего ухода из семьи…

Это был очень тонкий момент. Как монахиня, сестра должна была, разумеется, упрекнуть брата за то, что он отказался нести свой крест до конца. Сама Мария Николаевна осуждала себя за то, что в свое время из гордости разошлась с Валерианом и тем самым обрекла себя на дальнейшую цепь грехопадений. Однако она ни одним словом не выразила несогласия с поступком Л.Н. и целиком поддержала его.

В келье Марии Николаевны в то время были ее дочь Елизавета Валериановна Оболенская и сестра игуменьи. Они стали свидетелями необыкновенной, мелодраматической сцены, когда великий Толстой, рыдая попеременно на плечах сестры и племянницы, рассказывал, что происходило в Ясной Поляне в последнее время… Как жена следила за каждым его шагом, как он прятал в голенище сапога свой тайный дневник и как наутро обнаруживал, что тот пропал. Он рассказал о том, как С.А. прокрадывалась по ночам в его кабинет и рылась в бумагах, а если замечала, что он в соседней комнате не спит, входила к нему и делала вид, что пришла узнать о его здоровье… Он с ужасом поведал о том, что ему рассказал в Оптиной Сергеенко: как С.А. пыталась покончить с собой, утопившись в пруду…

Племяннице Толстой показался «жалким и

стареньким». «Был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая бородка. Монахиня, провожавшая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шел к нам».

Жалкий вид отца отметила и приехавшая на следующий день в Шамордино дочь Саша. «Мне кажется, что папа уже жалеет, что уехал», — сказала она своей двоюродной сестре Лизе Оболенской.

В гостинице Л.Н. был вял, сонлив, рассеян. Впервые назвал Маковицкого Душаном Ивановичем (вместо Душан Петрович), «чего никогда не случалось». Глядя на него и пощупав пульс, врач сделал вывод, что состояние напоминает то, какое было перед припадками.

И снова Толстой постоянно плутает… На следующий день, уходя от сестры после второго визита к ней, он заблудился в коридоре и никак не мог найти входную дверь. Перед этим сестра рассказала ему, что по ночам к ней приходит какой-то «враг», бродит по коридору, ощупывает стены, ищет дверь. «Я тоже запутался, как враг», — мрачно пошутил Толстой во время следующей встречи с сестрой, имея в виду собственные блуждания в коридоре. Впоследствии Мария Николаевна очень страдала от того, что это были последние слова брата, сказанные ей.

После второго визита 30 октября Толстой вернулся в гостиницу и узнал, что приехала Саша и пошла к тете, думая застать там отца. Они разминулись потому, что Маковицкий повел Толстого более коротким путем. Толстой немедленно повернул назад, но Маковицкий, уже чуя неладное, отправился за ним, следуя в ста шагах. «И действительно, Л.Н. пропустил дом Марии Николаевны, направился дальше влево. Я догнал его и вернул и тогда уже вместе с ним вошел к Марии Николаевне».

Кажется, всё говорило о том, что Толстой находится на последнем докате, на последнем пределе душевных и физических сил. Дальше ехать нельзя! Ехать дальше — самоубийство!

Но, как и в Оптиной, на всех находит какое-то оцепенение. Как в Оптиной нет ни одного человека, который бы взял и отвел Толстого к старцам, так и в Шамордине все в принципе понимают, что ехать дальше смертельно опасно и что Шамордино — это последняя

гавань здравого смысла, но не только ничего не предпринимают для того, чтобы остановить Л.Н., а фактически подталкивают его к дальнейшему бегству. Хотя здесь живет его любимая сестра. Здесь Толстого любят все. Не раз бывая в Шамордине, он успел вызвать к себе симпатию простых насельниц монастыря. Здесь есть гостиница. По соседству — деревня, в которой Л.Н. утром 30 октября подыскал себе домик у вдовы Алены Хомкиной, с чистой и теплой горницей и дощатыми полами, за пять рублей в месяц.

Толстой по-прежнему жадно любопытен. Он хочет изучить состояние дел монастыря, осмотреть мастерские и типографию. В его дневнике замыслы четырех произведений, которые он записал еще в Оптиной: «1) Феодорит и издохшая лошадь; 2) Священник, обращенный обращаемым; 3) Роман Страхова. Грушенька-экономка; 4) Охота; дуэль и лобовые». Обнаружив в домашнем собрании сестры книжки из «Религиозно-философской библиотеки» М.А.Новоселова, он в гостинице с интересом их изучает, особенно статью Герцена о социализме, вспоминая, что оставил в Ясной свою незаконченную статью на ту же тему. Диктует дружеское письмо Новоселову и мечтает о продолжении собственной статьи. В Толстом было еще достаточно сил для мысли и творчества.

Когда Саша с Феокритовой приехала к отцу, он почти решил остаться в Шамордине. В противном случае он не стал бы договариваться об аренде дома в деревне, таким образом обманывая бедную вдову, нуждавшуюся в деньгах. Правда, вдова оказалась не очень-то расторопной: вечером того же дня не пришла в гостиницу для окончательного договора. Но Толстого, как пишет Маковицкий, устраивала и гостиница, — по рублю в сутки.

Приезд дочери переломил его настроение. Саша была еще слишком молода и решительно настроена против матери и братьев. К тому же она была возбуждена путешествием в Шамордино, окружным путем через Калугу. Зачем? А чтобы запутать след для С.А.

Как все упрямые люди, Толстой был крайне переменчив в настроениях и подвержен внезапным влияниям извне. Изменить его точку зрения на мир было почти невозможно, для этого ему требовались годы и годы душевной работы, колоссального накопления

положительного и отрицательного душевного опыта. Но переменить его настроение не составляло труда. Особенно в тот момент, когда он был страшно неуверен в правильности своего поступка и даже прямо написал Саше, что «боится» того, что сделал. В этот момент он был подобен царю Салтану, которого мог смутить известиями всякий гонец.

Сначала в роли гонца с дурными вестями выступил Сергеенко, тоже молодой человек и тоже настроенный враждебно к жене Толстого. Именно от него Л.Н. первый раз услышал, что С.А. собирается поехать вдогонку за ним. И не одна, а с сыном Андреем. Приехавшая в Шамордино Саша подтвердила это и возбужденным видом внесла дополнительную нервозность в общую атмосферу.

Ее нельзя за это винить. В конфликте отца и матери Саше досталось больше всех. В отличие от других детей Толстого, живших своими семьями и наезжавших в Ясную Поляну, когда они сами того хотели или же когда им это было нужно, Саша жила в Ясной постоянно. Беспредельно преданная отцу, для которого она была и секретарем, и главным поверенным в его тайнах (насколько это позволяла ее молодость), она в глубине души, конечно, любила и жалела и мать, но в силу своей молодости и резкого характера в самый разгар конфликта вела себя по отношению к ней жестоко. Она уверила себя (и самое плохое — старалась убедить в этом отца), что мать отнюдь не больна, а только хитрит и прикидывается больной. Судя по дневнику ее подруги Варвары Феокритовой (кстати, взятой в дом самой С.А. в качестве переписчицы ее мемуаров), та была уверена в этом же. И вот обе приехали в Шамордино на помощь к Толстому, но, по сути, именно их приезд стал толчком к его дальнейшему бегству и неизбежной гибели.

Впрочем, один только приезд Саши и ее возбужденное состояние, конечно, не изменили бы решения Толстого остаться в Шамордине. Прожив со своей женой сорок восемь лет, он гораздо лучше Саши знал, чего от нее можно было ожидать. И если накануне и даже в день приезда дочери он намеревался остаться возле сестры, значит, он надеялся на какое-то иное разрешение конфликта и ждал от Саши каких-то иных известий, не тех, которые она с собой привезла.

Например, задумаемся, почему в качестве своего

спутника С.А. выбрала именно Андрея?

Второй раз услышав это имя уже от Саши, Толстой не мог не испытать тяжелого чувства. Но не потому, что Андрей был бы ему неприятен, а как раз потому, что из всех сыновей Толстой больше всех любил именно Андрея. Это порой удивляло даже С.А. Самый беспутный из детей, Андрей Львович оказался самым любимым сыном Толстого. И это несмотря на то, что все привычки сына вступали в непримиримое противоречие с тем, как жил его отец и что он проповедовал. Андрей Львович был очень неравнодушен к вину, кутежам и женщинам. Его связи с яснополянскими крестьянками напоминали Л.Н. о самом постыдном грехе его собственной молодости. Единственный из сыновей Толстого, Андрей Львович избрал военную карьеру и даже отправился добровольцем на Русско-японскую войну. И это в то время, когда сотни людей под влиянием учения его отца отказывались от обязательной службы в армии и отправлялись за это в тюрьмы и штрафные батальоны. Сын Толстого горячо и открыто поддерживал столыпинские смертные казни в период подавления революции 1905–1907 годов. Он помогал матери организовать вооруженную охрану Ясной Поляны и даже инициировал обыски в крестьянских дворах в поисках ворованной с их огорода капусты.

Наконец Андрей Львович не просто оставил свою первую жену Ольгу Константиновну (к тому же свояченицу Черткова) с двумя детьми, но ушел от нее с женой тульского губернатора Арцимовича, у которой было шестеро детей. Грех Анны Карениной и Вронского был невинной литературной шуткой в сравнении с тем, с чем столкнулся Толстой на примере собственного сына, о чем вынужден был письменно объясняться с тульским губернатором, своим хорошим знакомым.

Но вот — тем не менее… «Как непонятно, что Андрюша — худший по жизни из всех сыновей — любимый отца!» — восклицала С.А. в письме к Т.А.Кузминской.

«Удивительно, почему я люблю его, — поражался сам Л.Н. в дневнике. — Сказать, что оттого, что он искренен и правдив — неправда. Он часто неправдив… Но мне легко, хорошо с ним, люблю его. Отчего?»

Андрей Львович считал, что Федя Протасов в «Живом трупе» списан отцом именно с него. Федя

Протасов — это патологический беглец, своего рода квинтэссенция всех героев-беглецов Толстого, от князя Дмитрия Оленина («Казаки») до старца отца Сергия («Отец Сергий»), Протасов — наиболее талантливо написанный драматический персонаж Толстого. И если сын Толстого был прав, мы обнаружим любопытный факт. Ни одного из своих многочисленных детей Л.Н. не воплотил в сколько-нибудь ярком, живом, действующем персонаже. Между тем Толстой буквально «списывал» многих своих героев с жены, братьев, свояченицы и более отдаленных родственников, знакомых и просто случайных людей. Из детей же только Андрей оказался достойным этого. В любом случае судьба Андрея «прочитывается» и в «Анне Карениной», завершенной в 1877 году, в год рождения Андрея, и в «Живом трупе», написанном в 1900 году, когда характер двадцатитрехлетнего сына уже определился. Можно сказать, что из всех детей писателя Андрей Львович был самым «литературным».

В то же время у Толстого были все основания не то что не любить, но прямо ненавидеть Андрея.

Андрей не стеснялся называть великого отца «безумным стариком». Из всех сыновей своей прямолинейностью он больше других походил на мать, и недаром в конфликте с отцом Андрей открыто стоял на ее стороне. Он считал вздором отказ отца от авторских прав на свои произведения и нисколько не смущался говорить, что барская жизнь ему по вкусу и что отказываться от нее он не желает. Уже пятнадцатилетний Андрюша откровенно презирал «темных» и говорил, что лакеи их не любят, потому что не получают от них «на чай».

Но странно… Именно Андрея отец считал самым «добрым». «У тебя доброе сердце», — писал он ему. «У тебя есть самое дорогое и важное качество, которое дороже всех на свете — доброта». «Ты добр в душе».

И это не было парадоксом со стороны отца… По-видимому, Андрей, при всей своей прямолинейности и грубости, был действительно «добр в душе». Ведь недаром его любили и прощали женщины. Первая жена, Ольга Константиновна, не только простила мужа, но даже подружилась с его второй женой, Екатериной Арцимович. Когда Андрей Львович неожиданно скончался в 1916 году от редкого заражения крови, за

гробом вместе с женой и матерью шли его неутешные любовницы.

Несложно понять, что означал бы для Толстого внезапный приезд Андрея с матерью в Шамордино. Весь тяжелейший комплекс семейных отношений, все «надрезы» и спайки пришлось бы пережить вновь. Но именно от этого Толстой бежал. Именно этого он сейчас не только не хотел, но боялся пуще смерти.

К тому же Саша привезла отцу письмо от Андрея, из которого было ясно, что тот нисколько не поколебался в осуждении отца. Письмо Андрея Львовича было самым грубым и бестактным из четырех писем детей, которые привезла в Шамордино Саша и которые Толстой прочел немедленно в келье сестры. Но в то же время это было и самое прямое письмо, без всякой попытки как-то смягчить в глазах отца суть семейной проблемы, какой она встала во весь рост именно теперь. Главная же проблема заключалась в том, что отец оставил своим детям душевно больную мать, которая ежеминутно угрожает покончить с собой, и вовсе не исключено, что она это сделает, даже если это произойдет случайно.

Но вернемся в Ясную Поляну, куда, вызванные телеграммами, приехали все дети Толстого за исключением Льва Львовича, находившегося в Париже.

Шесть детей Толстого (Сергей, Татьяна, Илья, Андрей, Михаил и Саша) были вынуждены обсуждать не проблему отца. Проблема отца встанет через несколько дней, когда он будет умирать в Астапове. Теперь же детям представлялось (кроме, разумеется, Саши, безгранично преданной отцу), что Толстой выбрал пусть и не самый легкий, но всё равно — путь освобождения от накопившихся в Ясной Поляне семейных проблем. А вот они, дети, теперь по рукам и ногам связаны больной матерью. С которой непонятно — что делать?

«Мать вышла к нам в залу, — вспоминал Сергей Львович. — Она была неодета, непричесана, в каком-то капоте. Меня поразило ее лицо, вдруг постаревшее, сморщенное, трясущееся, с бегающим взглядом. Это было новое для меня выражение. Мне было и жалко ее и жутко. Она говорила без конца, временами плакала и говорила, что непременно покончит с собой, что ей не дали утонуть, но что она уморит себя голодом. Я довольно резко сказал ей, что такое ее поведение произведет на отца обратное действие, что ей надо

успокоиться и полечить свои нервы; тогда отец вернется. На это она сказала: „Нет, вы его не знаете, на него можно подействовать только жалостью“ (то есть возбудив в нем жалость). Я подумал, что это правда, и хотя возражал, но чувствовал, что мои возражения слабы. Впрочем, я говорил, что раз отец уехал, он не может скоро вернуться, что надо подождать, а через некоторое время он, может быть, вернется в Ясную. Особенно тяжело было то, что всё время надо было держать ее под наблюдением. Мы не верили, что она может сделать серьезную попытку на самоубийство, но, симулируя самоубийство, она могла не учесть степени опасности и действительно себе повредить…»

Главный разговор вращался вокруг матери. Это и понятно: ведь она находилась рядом, и ее жизни угрожала опасность. Ну, а что же отец? Неизвестно где, ему восемьдесят два года! На это Андрей «совершенно верно говорил, что отыскать отца ничего не стоит, что губернатор и полиция, вероятно, уже знают, где он, что наивно думать, что Лев Толстой может где-нибудь скрыться. Газеты тоже, очевидно, сейчас же это пронюхают. Установится даже особого рода спорт: кто первым найдет Льва Толстого».

Вся эта ситуация в тот момент представлялась сыновьям так: отец ушел от матери. Только Саша и отчасти Татьяна знали, каких мучений это ему стоило и что он должен переживать теперь. Толстой всегда был откровеннее с дочерьми, чем с сыновьями. И дочери всегда были на стороне отца, в отличие от сыновей. Так уж сложилась эта семья, в которой настоящей главой была мать, но отец был ее содержанием и смыслом существования. С уходом отца семья теряла смысл, а вот проблемы, которые решала одна мать, оставались. И теперь они падали на сыновей… вместе с больной матерью…

Здесь надо учитывать психологию детей в их отношении к отцу. С детства они привыкли к тому, что отец — это «вещь в себе». Это незыблемая, постоянная величина, самостоятельная планета. Вернее сказать, это звезда, вокруг которой вращаются все планеты системы «Толстые», но которые с ней не соприкасаются напрямую, настолько велико ее энергетическое поле. Всякая попытка сыновей душевно сблизиться с отцом заканчивалась неудачей, порой трагической, как это

было со Львом Львовичем. Еще подростком он увлекся идеями отца, подружился с его главным учеником — Чертковым, жадно слушал разговоры «темных» в хамовническом доме и, наконец, сам попытался стать писателем, подписывая свои публикации «Граф Лев Толстой-сын». Это закончилось тяжелейшей депрессией, едва не приведшей к ранней смерти, изнурительным лечением в России и за границей и самыми недружественными отношениями с отцом. «Тигр Тигрович», как шутя называли Льва Львовича, порой даже не понимая, насколько это для него оскорбительно, наверное, больше всех сыновей любил своего отца и был самым нелюбимым его сыном.

Прочитав письма, привезенные Сашей из дома, Толстой был крайне расстроен. Именно эти письма, а не приезд Саши и не ее слова, стали главной причиной дальнейшего бегства Толстого.

Поистине страшным было письмо С.А., написанное безумно талантливо, так, что и сегодня невозможно понять, где тут заканчивался талант и начиналось безумие.

«Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Левочка, друг всей моей жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Левочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись; ради Бога, ради любви божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы всё опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну прощай, прощай, может быть, навсегда.

Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил навсегда? Ведь я не переживу этого несчастья, ты ведь убьешь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьешь меня.

Левочка, друг мой милый, не скрывай от меня, где ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе.

Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я всё ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе».

Страшное письмо! Однако из его многословного безумия Толстой не мог не сделать два очень конкретных для себя вывода. Первый вывод заключался в том, что жена не оставит его в покое. Она либо догонит его, либо будет преследовать из Ясной Поляны постоянной угрозой самоубийства. Второй вывод был тот, что проблемы больной матери дети не решат, «…они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом», — пишет С.А., ясно давая ему понять, что его надежды на детей тщетны. Детям не удастся ни изолировать ее, ни вылечить ее нервы, ни даже предоставить твердую гарантию ее жизни, «…мне одно нужно, нужна твоя любовь».

Вместе с письмом С.А. было письмо от Черткова. «Не могу высказать словами, какой для меня радостью было известие о том, что вы ушли… Уверен, что от вашего поступка всем будет лучше, и прежде всего бедной С. А-не, как бы он внешним образом на ней ни отразился».

Этот самоуверенный тон не мог успокоить Л.Н. Он-то прекрасно понимал, что невозможно просто и «радостно» прекратить сорокавосьмилетнюю связь с самым близким тебе человеком.

Самым приятным было письмо от Сергея Львовича. Старший сын выбрал верный тон в отношении отца, понимая, до какой степени ему самому тяжел его уход. «Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мама что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход…»

Татьяна Львовна была единственная, кто в письме

обещала отцу удержать мать от роковых шагов, используя «страх или власть».

Илья Львович жалел, что отец «не вытерпел этого креста до конца». «Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо». Фактически самоустранялся от ответственности.

Андрей Львович не скрывал и главных причин, по которым сыновья не могут взять на себя всю ответственность за мать. «Способ единственный — это охранять ее постоянным и надзором наемных людей. Она же, конечно, этому всеми силами воспротивится и, я уверен, никогда не подчинится. Наше же, братьев, положение в данном случае невозможно, ибо мы не можем бросить свои семьи и службы, чтобы находиться неотлучно при матери».

Положение, в котором должен был почувствовать себя Толстой, было безвыходным. Ему указывали на то, что и было на самом деле, но во что до последнего момента он, возможно, просто не хотел верить, оставляя за собой право на красивую иллюзию. Его ночной уход ничего не решил. Как верно писала ему сестра в далеком 1873 году, когда он только начал печатать «Анну Каренину», «всё то, что *незаконно*, никогда не может быть счастием».

Ранним утром Толстой бежал из Шамордина.

В зените

С середины 60-х до конца 70-х Л.Н. почти не писал дневник, обращаясь к нему лишь эпизодически. Верный знак того, что в душе его не происходило кардинальных перемен, но шел медленный процесс накопления нового духовного опыта с тем, чтобы потом эти перемены были уже необратимыми.

Образ Толстого семидесятых годов прекрасно отражен в его знаменитом портрете кисти Ивана Крамского. Мощный лоб мыслителя, крупные черты лица, небольшие, но пронизывающие неотступным взором глаза. Большие, сильные руки, идущие от широких плеч и заканчивающиеся такими же крупными, но мягкими и эластичными кистями. Большое ухо, едва прикрытое прядью непослушных волос, точно всё обращено в слух, как у охотничьей собаки. Что-то охотничье есть и в раздувшихся крыльях носа, и в вертикально расчесанных усах. Лопатистая, ровно подстриженная и пышная борода опоясывает всю нижнюю

часть лица и шею, точно ворот из ценного меха с проседью по краям. А под воротом — рубаха с мягкими, ниспадающими складками и крупными пуговицами на разрезе. И конечно, энергетическим центром портрета является глубокий междубровный вертикальный ровчик, отвлекающий взгляд зрителя от слишком пристальных, испытывающих на честность глаз. Этот ровчик говорит о невероятной концентрации воли и мысли, способных собраться в одной точке, чтобы, подобно рычагу Архимеда, перевернуть весь мир.

Толстой на портрете Крамского — *богатырь,* одновременно и специфически русский, и явно преодолевающий национальные границы. Недаром Репин сравнивал этот портрет с работами голландца Ван Дейка.

В 70-е годы написана «Анна Каренина», о которой Владимир Набоков сказал, что это лучший русский роман, а затем, подумав, прибавил: «А, собственно, почему только русский? И мировой — тоже».

И в семидесятые же годы написан «Кавказский пленник», положивший начало принципиально новой, народной стилистике позднего Толстого. В это время создается «Азбука», пособие-хрестоматия, рассчитанное, по гордой мысли его создателя, на детей всех социальных слоев — от императорских детей до детей крестьян и сапожников.

В эти годы Толстой тридцать три раза, точно в русской сказке, начинает исторический роман о Петре I, собрав огромное количество документального материала. Но ни один из этих вариантов начал не имеет продолжения. До сих пор исследователи гадают: почему он бросил такой плодотворный замысел, который полвека спустя воплотит его однофамилец и дальний родственник «красный граф» Алексей Николаевич Толстой? Одним из самых убедительных объяснений является то, что Толстой не чувствовал в себе возможности буквально «переселиться» душой и телом в быт простых людей той эпохи. Всё-таки война 1812 года, изображенная в «Войне и мире», недалеко по времени отстояла от него, а «переселяться» в жизнь персонажей «Анны Карениной» и вовсе не составляло труда. Здесь только был необходим тайный механизм толстовского воображения, который в эти годы работал как часы. Так, образ Анны Карениной сложился из разных лиц, от старшей дочери Пушкина, полковничьей жены Марии Александровны Гартунг, чьи «арабские завитки на затылке» запали ему в память на губернском балу, до экономки и любовницы его соседа, помещика А.Н.Бибикова, Анны Степановны Пироговой, бросившейся на рельсы на станции Ясенки Московско-Курской железной дороги,

чтобы отомстить коварному сожителю, вознамерившемуся жениться на гувернантке.

Но, наверное, главная причина отказа от замысла была другая. Петр I просто опротивел ему как личность. Здесь требовался художник менее нравственно разборчивый, не в обиду «третьему Толстому» будет сказано. Первый Толстой не смог бы без чувства омерзения написать об оргиях «всешутейного собора» и о том, как пьяный Петр неумелой рукой, в несколько приемов собственноручно отрубал головы казнимым. Задумав своего Петра по канону «Войны и мира», как проводника внеличностной воли, которая должна была повернуть Россию к Западу, Толстой не мог вполне отрешиться от личного переживания ужаса перед его поступками. Работа над романом с самого начала не пошла, и, в отличие от замысла романа о декабристах, который волновал его всю жизнь, к теме Петра I он не возвращался в будущем. «Пьяный сифилитик Петр со своими шутами» — так охарактеризует он личность царя в работе «Царство Божие внутри нас», а в 1905 году скажет секретарю Н.Н.Гусеву: «По-моему, он был не то что жестокий, а просто пьяный дурак Был он у немцев, понравилось ему, как там пьют…»

В эти же годы из замысла романа о декабристах, который уже породил «Войну и мир», отпочковывается еще один грандиозный замысел. Судьбы декабристов вели его в Сибирь, куда он так и не доехал в своей жизни, но которая волновала его сильно. В конце 70-х годов он задумывает произведение о «силе завладевающей», о великом переселении русских землепашцев на юг Сибири и дальше, до Китая. Уже в «Анне Карениной» дважды, устами автора и его alter ego Константина Левина, повторяется мысль, что главное призвание русских — мирное завоевание необъятных восточных пространств. Так с западных устремлений Петра I мысль Толстого, точно стрела гигантского компаса, медленно поворачивалась на Восток. Но и в этой точке она не задерживалась (замысел не был воплощен) и продолжала дальнейшее движение в какую-то предначертанную ей свыше точку.

В то же время 70-е годы — оседлый период жизни Толстого. Не считая ежегодных летних выездов на лечение кумысом в Самарскую губернию, он живет только в Ясной Поляне и почти не общается с соседями, за исключением Бибикова. Он и семья живут вместе, в одном доме, стены которого уже не вмещают разрастающуюся семью, и здание приходится надстраивать. В это поистине плодоносное во всех отношениях десятилетие рождаются Мария, Андрей и Михаил, кроме уже подрастающих Сергея, Татьяны, Ильи и Льва. Кроме них рождаются и умирают в

младенчестве Петр, Николай и Варвара.

Дети требуют постоянных забот и волнений, и всё это падает на С.А. Некоторое время Толстой, с его специфическими взглядами на кормление, воспитание и образование детей, еще колеблется, но, в конце концов, сдает свои позиции жене. В их доме, как во всех барских домах, появляются кормилицы, бонны, гувернанты и домашние учителя. С некоторыми из них у детей завязываются почти родственные отношения, как, например, с замечательной англичанкой, дочерью садовника Виндзорского дворца Ханной Тардзей, выписанной Толстым из Лондона. Отец учит детей географии, арифметике, но главным образом заботится об их физической и нравственной культуре. В семье Толстого нельзя быть тщедушным хлюпиком и нельзя врать и лицемерить. Нельзя делать свое дело плохо — лучше совсем не делать. Нельзя перекладывать свою ответственность на другого. Наказание за это — нерасположение отца, которое все дети переживают очень остро, потому что отец для них — непререкаемый авторитет. При этом даже подростками они не понимают, что отец — великий писатель. Гордиться этим в семье не принято. Поэтому великий писатель — это Жюль Верн, которого они вместе с отцом читают по-французски, рассматривая картинки к его книге, специально нарисованные отцом.

Толстой имел какой-то тайный ключик к сердцам маленьких детей. Например, невозможно объяснить, чем завораживали их придуманные им игры и рассказы.

«Была одна игра, в которую папа с нами играл и которую мы очень любили. Это была придуманная им игра, — вспоминала Т.Л.Сухотина-Толстая. — Вот в чем она состояла: безо всякого предупреждения папа вдруг делал испуганное лицо, начинал озираться во все стороны, хватал двоих из нас за руки и, вскакивая с места, на цыпочках, высоко поднимая ноги и стараясь не шуметь, бежал и прятался куда-нибудь в угол, таща за руку тех из нас, кто ему попадались.

„Идет… идет…“ — испуганным шепотом говорил он.

Тот из нас троих, которого он не успел захватить с собой, стремглав бросался к нему и цеплялся за его блузу. Все мы, вчетвером, с испугом забиваемся в угол и с бьющимися сердцами ждем, чтобы „он“ прошел. Папа сидит с нами на полу на корточках и делает вид, что он напряженно следит за кем-то воображаемым, который и есть самый „он“. Папа провожает его глазами, а мы сидим молча, испуганно прижавшись друг к другу, боясь, как бы „он“ нас не увидал.

Сердца наши так стучат, что мне кажется, что „он“ может

услыхать это биение и по нем найти нас.

Наконец, после нескольких минут напряженного молчания, у папа лицо делается спокойным и веселым.

— Ушел! — говорит он нам о „нем“.

Мы весело вскакиваем и идем с папа по комнатам, как вдруг… брови у папа поднимаются, глаза таращатся, он делает страшное лицо и останавливается: оказывается, что „он“ опять откуда-то появился.

— Идет! Идет! — шепчем мы все вместе и начинаем метаться из стороны в сторону, ища укромного места, чтобы спрятаться от „него“. Опять мы забиваемся куда-нибудь в угол и опять с волнением ждем, пока папа проводит „его“ глазами. Наконец, „он“ опять уходит, не открыв нас, мы опять вскакиваем, и всё начинается сначала, пока папа не надоедает с нами играть и он не отсылает нас к Ханне.

Нам же эта игра, казалось, никогда не могла бы надоесть».

Так же невозможно объяснить, чем всё-таки пленял всех без исключения детей, своих и чужих, «рассказ „про семь огурцов“. „Он столько раз в своей жизни рассказал его мне и при мне другим детям, что я помню его наизусть, — пишет Сухотина-Толстая. — Вот он:

— Пошел мальчик в огород. Видит, лежит огурец. Вот такой огурец (пальцами показывается размер огурца). Он его взял — хап! и съел! (Это рассказывается спокойным голосом, на довольно высоких тонах.)

— Потом идет мальчик дальше — видит, лежит второй огурец, вот такой огурец! Он его хап! и съел. (Тут голос немного усиливается.)

— Идет дальше — видит, лежит третий огурец: вот тако-о-й огурец… (и папа пальцами показывает расстояние приблизительно в пол-аршина) — он его хап — и съел. Потом видит, лежит четвертый огурец — вот та-коо-о-о-й огурец! Он его ха-а-п! и съел.

И так до седьмого огурца. Голос у папа делается всё громче и громче, гуще и гуще…

— Идет мальчик дальше и видит, лежит седьмо-о-о-й огурец. Вот тако-о-о-ой огурец! (И папа растягивает в обе стороны руки, насколько они могут достать.) Мальчик его взял: ха-а-а-ап! ха-а-а-ап! и съел.

Когда папа показывает, как мальчик ест седьмой огурец то его беззубый рот открывается до таких огромных размеров, что страшно на него смотреть, и руками он делает вид, что с трудом в него засовывает седьмой огурец… И мы все трое, следя за ним, невольно так же, как и он, разеваем рты и так и сидим с

разинутыми ртами, не спуская с него глаз“.

В этот период мальчики обожают отца не меньше, если не больше, чем девочки. Ведь отец — это охота, рыбалка, физкультура. Это частый бег наперегонки с заливистым смехом, который мешал более резвым детишкам обогнать тяжеловесного отца. Это чистка зимой катка на Большом пруду — занятие, которое нравилось детям даже больше, чем катание на коньках, в котором их отец был большой мастер. Это pas-de-geant („гигантские шаги“), присланные отцом из Москвы, когда он ехал в Самару. Это множество других удовольствий, которые ассоциировались у мальчиков с отцом.

Читая воспоминания сыновей Толстого о яснополянском детстве, нельзя не прийти к мысли, что если он мечтал устроить в Ясной Поляне отдельно взятый рай, то ему это безусловно удалось. Но только не в отношении себя и жены, а в отношении маленьких детей.

Неслучайно лучшее произведение, написанное сыном Львом, — это повесть под названием „Яша Полянов“. В этом замечательном имени-названии как бы соединяются личность ребенка и личность усадьбы. Они становятся одним целым. Дети Толстого в детстве и отрочестве были в какой-то мере этими Яшами Поляновыми.

Вот как описывал Лев Львович Толстой яснополянское детство: „Мать, отец, братья, сестры, няни, гувернантки, прислуга, гости, собаки, редко медведь с медвежатником, лошади, охота отца и братьев, праздники Рождества, елка, Масленица и Пасха, зима — со снегом, санями, снегирями и коньками; весна — с мутными ручьями и блестящими коврами серебряного тающего снега, с первым листом березы и смородиной, с тягой, с первыми цветами и первой прогулкой „без пальто“, лето — с грибами, с купаньем, со всевозможными играми, с верховой ездой и рыбной ловлей; осень — с началом ученья и труда всей семьи, с желтыми листьями в аллеях сада и вкусными антоновскими яблоками, с первой порошей — вот счастливая жизнь моего детства…“

И не его одного, но и остальных детей — Сережи, Тани, Ильи, Марии, Андрея, Миши, Саши и любимого сына Толстых — Ванечки, дожившего только до семи лет. И конечно, главная доля этого невыразимого счастья пришлась на 70-е годы, не омраченные духовным переломом отца и глубокой трещиной, расколовшей семью. Вот неопровержимый факт. Самыми основательными и нравственно устойчивыми детьми Толстого оказались старшие — Сергей и Татьяна. Их переходный возраст пришелся на 70-е годы. Их детских и подростковых душ не коснулась гроза, разразившаяся в семье в конце 70-х — начале 80-

х годов. Их души успели окрепнуть и выдержали грозу не сломленными.

Но всё ли замечательно было с самими Л.Н. и С.А. в 70-е годы? И можно ли назвать это время полным семейным счастьем?

Конечно — нет.

Если Солнце держит в своей орбите другие планеты, это еще не значит, что оно существует ради них. Если Солнце согревает Землю, это не означает, что когда оно заходит за тучи, его нет. Те pas-de-geant (гигантские шаги), которыми Толстой в 70-е годы движется в направлении, ему самому еще не вполне понятном, никак не могли совпадать с процессом жизни его семьи. Поэтому трагедия 80-х закладывалась в семидесятые.

Всё, что делает Толстой в 70-е годы, как-то избыточно. Грандиозных замыслов больше, чем реальных сил для их воплощения. Задуманная „Азбука“ требует, по его мнению, не меньше ста лет работы, а делается и издается в первом варианте за один год. Неизвестно, сколько времени нужно обычному человеку для изучения древнегреческого языка. Толстой выучил его за полтора месяца, зимой 1870–1871 года, в последний месяц беременности С.А. Машей. „Живу весь в Афинах; по ночам говорю по-гречески“, — пишет он Фету за несколько дней до родов жены, после которых она едва не умерла. Да и сам Толстой подорвал неимоверными усилиями по изучению греческого языка свое здоровье, так что в июне 1871 года вынужден уехать в самарские степи на кумыс, с шурином, братом С.А., студентом правоведения Степочкой Берсом.

Кто такие „кумысники“, то есть приехавшие лечиться кумысом? В основном это легочные больные, чахоточники, в большинстве своем обреченные на раннюю смерть. Можно представить себе настроение этих людей. А Толстой с Берсом живут как первобытные башкиры, в кибитке с земляным полом, и наслаждаются привольной степной жизнью в селе Каралык. Толстой постоянно охотится (дичи пропасть!), ходит по степи в одной рубашке, с утра до вечера пьяный от кумыса. В степи ему „пахнет Геродотом“, которого он переводит лично для себя, как ни уговаривает его в письмах С.А. бросить заниматься „мертвым языком“, который его убьет. Играет с башкирами в шашки, вовлекает в конные прогулки „кумысников“. За девяносто верст едет с Берсом в Бузулук на ярмарку, чтобы полюбоваться табунами уральских, сибирских и киргизских лошадей. Присматривает себе имение, которое он купит в будущем году.

В Ясной Поляне после десятилетнего перерыва он возвращается к своей „последней любовнице“, педагогике. В небольшом доме Толстых ежедневно собираются свыше тридцати

деревенских детишек, которых обучают грамоте и арифметике сам Л.Н., его жена и старшие дети Сергей, Татьяна и Илья. Но Илюша слишком маленький и к тому же задирист. В конце концов „педагог“ просто передрался со своими учениками.

И Петр I… И декабристы… И невероятное человеческое пространство „Анны Карениной“… И еще написана и разорвана статья о военной реформе.

И страстное увлечение естественными науками, физикой и астрономией. „Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды“, — пишет С.А. в дневнике. И сельские работы, которыми Толстой увлекается так же страстно, как и всем, и вновь готов бросить литературу, о чем пишет Фету. Весной и осенью почти ежедневная охота… Перестройка яснополянского дома. Статья „О народном образовании“.

Во время очередной поездки на кумыс Толстой организует грандиозные скачки на пятьдесят верст для башкиров, чтобы возродить в них дух старинной, привольной жизни. Съезжаются из многих деревень, и вся степь вдруг оживляется кибитками. Перед скачками Толстой устраивает состязание, борьбу „на палке“. Борцы садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся руками за два конца палки и стараются поднять друг друга. „Отец всех перетянул, — вспоминал его сын Сергей, — кроме землянского старшины; он не мог его поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов“.

В самарском имении, которое он расширил до более чем 6000 десятин, Толстой организовал большой конный завод. От слияния культурных кровей русских и английских рысаков с низкорослыми степными кобылами должны были получиться быстрые и выносливые лошади, годные для кавалерии. Через десять лет эта толстовская затея, приносившая семье немалые убытки, стала внешним побудительным мотивом семейной ссоры, едва не приведшей к уходу Л.Н. из семьи.

Все замыслы Толстого грандиозны. Это время, когда он один, без помощников и секретарей, поддерживаемый лишь постоянно беременной женой, делает неслыханное количество дел. Но странно… Если почитать дневники и письма С.А., возникает впечатление, что муж ее очень болен.

И не просто болен, а пребывает в состоянии тяжелейшей депрессии.

„…постоянное беспокойство о здоровье Левочки. Кумыс, который он пил два месяца, не поправил его; болезнь в нем сидит; и я это не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которое у него проявилось с прошлой зимы“.

„У Левочки три предыдущие дня по вечерам озноб и всё нездоровится“.

„У Левочки всё зябнет спина и всё нездоровится“.

„Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам так долго жить не может“. (Дневники.)

„Левочка нездоров, ты уехала“. (Письмо к сестре.)

Бесценным психологическим документом является переписка Л.Н. и С.А. во время лечения Толстого в Башкирии.

Если первая поездка в степь, безусловно, диктовалась необходимостью (он буквально надорвался на изучении греческого языка), то последующие ежегодные поездки и покупка самарского имения (не вызвавшая в С.А. энтузиазма) говорили о том, что в дикой степи Л.Н. чувствует себя лучше, чем дома, в Ясной Поляне. Степной воздух, кумыс, баранина, конные прогулки, остатки древнего кочевого быта — всё это благотворно отзывалось в Толстом и возрождало к жизни. Возможно, плывя от Нижнего до Самары на пароходе, он вспоминал свое первое бегство, на Кавказ, когда они с Николенькой сплавлялись на лодке от Казани до Астрахани. Во всяком случае упорство, с которым Л.Н. ежегодно отправлялся в степь, говорит о том, что дух „беглеца“ не исчез в нем за первые десять лет оседлой семейной жизни. Душа потянулась к тому, с чего начался брак: ведь предложение Сонечке он сделал, вернувшись из Самары.

С.А., с ее крайней чувствительностью к подобным „знакам“ в настроении мужа, не могла не заволноваться на этот счет. Поехать с мужем она не могла, будучи больной после родов. (В 1873 году она поедет с грудным младенцем на руках.) Явной обиды тут быть не могло, но обида всё-таки была. Любые отъезды Л.Н. воспринимались женой болезненно. Вспомним, какая страшная ссора произошла между Кити и Левиным, когда он собрался поехать без нее к умирающему брату. Когда осенью 1869 года Толстой отправился в Пензенскую губернию посмотреть имение для покупки, он получил письмо из Ясной Поляны:

„Находят уже на меня минуты, когда вовсе прихожу в отчаяние, что тебя нет, и что с тобой, милый Левочка, особенно, когда кончится день и усталая остаешься вечером одна с своими черными мыслями, предположениями, страхом. Это такой труд жить на свете без тебя; всё не то, всё кажется не так и не стоит того. Я не хотела писать тебе ничего подобного, да так сорвалось… А не хорошо тебе от меня уезжать, Левочка; остается во мне злое чувство за ту боль, которое мне причиняет твое отсутствие. Я не говорю, что оттого не надо тебе уезжать, но

только, что это вредно; всё равно как не говорю, что не надо рожать, а только говорю, что это больно“.

Намек на роды здесь вполне прозрачен. Это намек на то, что всякий отъезд Л.Н. есть маленькая несправедливость по отношению к С.А., связанной по рукам и ногам беременностями и детьми.

В письмах лета 1871 года она настойчиво уговаривает мужа оставаться в степи столько, сколько необходимо. В них много трогательной нежности и заботы о его здоровье. „Будь, пожалуйста, тверд, живи на кумысе подольше и, главное, не напускай на себя страха и тоски, а то это помешает твоему выздоровлению… Прощай, еще раз, целую тебя в макушку, губы, шею и руки, как люблю целовать, когда ты тут. Бог с тобой, береги себя, сколько возможно“.

Всё же она косвенно намекает Л.Н. на ненормальность его длительной отлучки из семьи, но делает это устами его лучшего друга Дьякова. „В пятницу к обеду приехал к нам Дьяков с Машей. Он всё проповедовал о принципах супружества и упрекал мне и Тане, что мы расстались с мужьями на два месяца. Меня он не смутил. Для меня это слишком серьезный вопрос, и слишком больно мне было решиться на это, чтоб вопрос этот слегка обсуживать с Дьяковым. Если мы оба решились, то, стало быть, это так надо было. Но всё-таки Дьяков меня немного расстроил, и мне было неприятно“.

Но самым важным является конец письма.

„Прощай, друг мой милый; уж я теперь ничего тебе не советую, ничего не настаиваю. Если ты тоскуешь, то это вредно. Делай, что хочешь, только бы тебе было хорошо. Старайся быть благоразумен и ясно видеть, что тебе может быть хорошо. Ты был уставши, ты вдруг переменил весь образ жизни; может быть поживши, ты будешь в состоянии быть опять не одной десятой самого себя, а цельным. Бог с тобой, мой милый друг, обнимаю и целую тебя. Если б я могла передать тебе хоть частицу своего здоровья, энергии и силы. Я никогда не помертвею. Мне довольно одной моей сильной любви к тебе, чтоб поддержать все нравственные и жизненные силы. Прощай, два часа ночи, я одна и как будто с тобой. Соня“.

По крайней мере, в первые пятнадцать лет семейной жизни она не желала чувствовать себя слабой и страдательной стороной. Конечно, ее муж был для нее недосягаемой вершиной в творческом плане, но по-человечески она хотела быть если не выше, то, во всяком случае, сильнее. Да так оно и было в известном смысле. Ведь трудно представить себе, что перенесла его жена, когда в феврале 1875 года на ее руках умирал

годовалый сын Николушка.

„Три недели продолжалась мучительная рвота, неделю Николушка был без сознания, и три дня были непрерывные конвульсии. Думая, что он кончается, я за неделю перестала кормить его грудью и с ложечки вливала ему в рот воду. Но он так жадно хватал ложку что мне стало страшно, что ребенок с голоду умрет. Я дала ему опять грудь. Не могу вспомнить без ужаса, как этот ребенок, уже потерявший всякое сознание, как зверек, схватил грудь и стиснул ее своими острыми 7-ю зубками. Потом он начал жадно сосать. Вид этого потухшего человеческого сознания и идиотизм в глазах, которые еще так недавно смотрели на меня весело и ласково — был ужасен. И так я прокормила его еще почти неделю. За сутки до смерти все маленькие члены Николушки закоченели в неподвижном состоянии, кулачки сжались, лицо перекосилось“.

Когда младенца хоронили на Кочаковском кладбище, была „страшная метель“. „Я боялась за Льва Николаевича, он за меня“.

Тем не менее горе, болезни и разлуки больше сближали супругов, чем спокойная, размеренная жизнь, когда Л.Н. целиком отдавался работе, как это было во время писания „Войны и мира“ и „Анны Карениной“. С.А. ценила это время и как будто мечтала о нем. Но неслучайно в ее дневниках и письмах к мужу и сестре столько тоски и печали. Ее муж был слишком избыточным для нее человеком, чтобы она могла всегда чувствовать свое родство с ним. Иное дело, когда он был слаб, болен и нуждался в ней…

Это было очень сложное семейное счастье. Толстой оказался не совсем прав, когда начал роман „Анна Каренина“ с утверждения, что „все счастливые семьи похожи друг на друга“. Похожи — да, но поверхностно, а не в глубине. Ведь пример его собственной семьи показывал, что каждое семейное счастье имеет множество глубоко индивидуальных составляющих, которые не подходят для состава другой семьи. Но Толстой был исключительно прав, говоря, что „каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“. То, что произошло с семьей Толстых в конце 70-х — начале 80-х годов, действительно не имело аналогов.

Отречение Толстого

Духовный кризис, который переживает Толстой примерно с 1877-го по 1884-й годы (любые точные даты, конечно, условны) и который завершился первой попыткой ухода из семьи, его современники и более поздние биографы называли и называют

по-разному. Для кого-то это был „кризис“, для кого-то „эволюция“, для кого-то „переворот“, а первый биограф Толстого П.И.Бирюков называет это „просветлением“. Но очевидно одно: в этот период Толстой невероятно меняется, и гораздо больше, чем после женитьбы.

На смену „ветхому человеку“, как он сам считал, явился „новый человек“. И это был не просто новый человек, а *новый русский* человек, потому что всё, что происходит в это время с Толстым, носило какой-то слишком национальный характер и по внешности напоминало поведение русских славянофилов в 40-50-е годы, носивших бороды и кафтаны, фраппируя этим светское общественное мнение. На гребне литературного успеха и семейного счастья Толстой вдруг предъявил всем образованным русским невиданный доселе стиль поведения, но главное — неслыханную систему взглядов на окружающий мир, в которой всё было „наоборот“. Белое становилось черным, черное — белым. Новый русский.

Сам Толстой не считал это переворотом. „В одном из своих автобиографических произведений Лев Николаевич сам заявляет, что собственно кризиса, перелома в его жизни и не было, что он всегда стремился к отысканию смысла жизни и только сложные внешние явления и события и его собственные страсти и увлечения отодвигали это решение вопросов жизни и сконцентрировали таившиеся силы в один могущественный внутренний порыв, который и опрокинул ветхое здание“, — замечает П.И.Бирюков. Это, разумеется, верно, но лишь для самосознания Толстого. Для его семьи это был именно переворот, стихийное бедствие, потому что „ветхим зданием“, которое опрокинул „могущественный внутренний порыв“, был не только он сам, но и его полтора десятилетия кропотливо выстраиваемая семейная жизнь.

С.А. недаром так пристально всматривалась в апатичные состояния Левочки, в те „остановки жизни“, которым он стал подвержен в 70-е. Она чуяла беду. Чуткость ее была поразительной! Но и ее не хватило, чтобы сразу понять, сколь серьезны и необратимы были те перемены, которые происходят в Л.Н., начиная с 1877 года.

В этот год он вместе со Страховым едет в Оптину пустынь.

Но здесь мы имеем дело с одной загадкой, в решении которой расходятся два авторитетных биографа Толстого — Николай Гусев и Владимир Жданов. Дело в том, что впервые (не считая детской поездки на похороны тетушки Остен-Сакен) он собрался посетить монастырь еще в 1870 году.

Об этом свидетельствует его фраза из письма к Фету от 20

ноября 1870 года: „Получив ваше письмо, я сейчас же решил ехать к вам… если бы не Урусов, которого я вызвал к себе для поездки в Оптину пустынь…“

Эта фраза не имела бы большого значения, поскольку поездка тогда не состоялась. Но спустя многие годы в разговоре с Бирюковым Толстой рассказал об этой поездке как о реально бывшей и привязал ее к своим разногласиям с женой. Вот что рассказывает Бирюков: „Приблизительно в 1906 году я для своей биографической работы расспрашивал Льва Николаевича в Ясной Поляне, за круглым столом, о некоторых событиях его жизни. Мы остались одни в зале. Я между прочим спросил его, с какой целью он в первый раз посетил Оптину пустынь. Лев Николаевич ответил мне приблизительно следующее: „Мне хотелось побеседовать с тогдашним старцем Амвросием, о нравственных качествах которого я был высокого мнения. У меня на душе лежало большое сомнение, поводом которого было расстройство семейных отношений. Жена после тяжелой болезни, под влиянием совета докторов, отказалась иметь детей. Это обстоятельство так тяжело на меня подействовало, так перевернуло всё мое понятие о семейной жизни, что я долго не мог решить, в каком виде она должна была продолжаться. Я ставил себе даже вопрос о разводе. И вот, за разрешением этого-то сомнения я и решился обратиться к старцу Амвросию““.

По словам Бирюкова, Толстой этой „поездкой“ (в реальности не бывшей) остался недоволен.

На самом деле он ездил в Оптину летом 1877 года и своей беседой с Амвросием остался как раз очень доволен. „По-видимому, — справедливо пишет другой биограф Н.Н.Гусев, — в этом воспоминании Лев Николаевич соединил в одно несколько эпизодов своей жизни, происходивших в разное время“.

„Первое посещение им Оптиной пустыни произошло 22 июля 1877 года, — продолжает Гусев. — Нет никаких данных ни о расстройстве его семейной жизни в то время, ни о разговоре его с Амвросием о своих семейных делах, ни о его неудовлетворенности Амвросием после первой встречи с ним“. Нет никаких свидетельств, чтобы в первой половине 1877 года (Толстой готовился к поездке загодя, начиная еще с зимы) Л.Н. как-то особенно тяжело ссорился с женой, а тем более думал о разводе. Но ведь и в ноябре 1870 года, когда он писал Фету о предполагаемом посещении Оптиной, настоящего конфликта еще не было. С.А. была только беременна Машей, и никаких советов ей докторов больше не рожать еще быть не могло. Видимо, желание Толстого посетить монастырь всегда в его сознании как-то связывалось с семейными проблемами.

Но кто может знать все причины, по которым Толстой решился посетить монастырь? И почему спустя многие годы он ошибочно связал это посещение с семейной ситуацией 1871 года?

В отличие от Гусева, автор книги о семейной жизни Толстого В.А.Жданов убежден, что и в 1877 году он поехал в монастырь в том числе и по причинам семейным. Ведь никому не известно, о чем Толстой говорил с Амвросием несколько часов без свидетелей. Беседа с Амвросием осталась тайной. Однако из воспоминаний жены о четырех посещениях Толстым Оптиной мы знаем, с его слов, что он остался этой встречей „очень доволен, признав мудрость старцев и духовную силу отца Амвросия".

Кстати, летом 1877 года С.А. тоже была беременной, сыном Андреем. Оба супруга со страхом ждали этих родов и с куда большим страхом, чем рождения Маши в 71-м. Смерти подряд трех младенцев — Петра (f 1872), Николая (f 1874) и Варвары (f 1875) — не могли не наводить Толстого на мысль, что если оправданием половой связи является продолжение потомства, то и этого оправдания его лишает Бог. Или не Бог? И есть ли Бог?

Семья Толстого не была результатом случайного соединения двух влюбленных людей. Но и не была „брачным договором". Она была *проектом счастья.* Этот проект имел под собой религиозные основания и отражал то состояние веры Толстого, каким оно было в 60-х — первой половине 70-х годов. Это был довольно длительный опыт создания земного рая на отдельном участке земли, который в семидесятые годы прирос и весьма обширным самарским имением. Но показательно, что именно в то время, когда Толстой начинает расширять географическое пространство этого „рая", явно не столько по хозяйственной нужде, сколько завороженный первобытной нетронутостью степной Башкирии, этот „рай" перестает его удовлетворять. Душе Толстого и тесно в его границах (отсюда воля к расширению, поиску новых, не испорченных цивилизацией пространств), и самый проект в его глазах вдруг лишается смысла.

К моменту духовного кризиса ему исполнилось сорок девять лет. Прожито полвека. Мысль о смерти и раньше волновала Толстого, но до поры до времени он бежал от нее, спасаясь войной, хозяйством, литературой и семейной жизнью. Но лгать перед собой он не мог, и проклятый вопрос „зачем?" в конце концов настигает его и затмевает все остальные вопросы. Происходит „остановка жизни".

С.А. с нарастающей тревогой следит за тем, как ее муж, смысл и опора семьи, созданной по его воле, но главным образом ее трудами, медленно, но верно „уходит" от них, еще не физически, но уже душевно. Ее дневники и письма к сестре этого

времени нельзя читать без чувства сострадания к умной и самоотверженной женщине, которая не может понять до конца, что происходит, но уже чувствует, что происходит что-то не то и явно страшное. Муж меняется на глазах, даже внешне. Она отчаянно пытается объяснить это его болезненными недомоганиями, потому что как иначе ей объяснить то, чего она в муже не понимает, как не „болезнью“. Она с надеждой фиксирует в нем всякое возвращение литературных интересов, потому что эти интересы „встроены“ в их семейный проект, в отличие от новых интересов мужа. На это, грубо говоря, она „подписывалась“, выходя за него замуж Она, хотя и скрепя сердце, готова согласиться и на его приобретательские интересы в Самарской губернии, хотя она не любит степь, жару и антисанитарию. Но Башкирия для мужа — это всё-таки отдушина, а главные проблемы начинаются в Ясной.

„Левочка что-то мрачен; или целыми днями на охоте, или сидит в другой комнате, молча, и читает; если спорит и говорит, то мрачно и не весело“.

„Левочка постоянно говорит, что всё кончено для него, скоро умирать, ничего не радует, нечего больше ждать от жизни. Какие же могут быть мои радости, помимо его“.

„…очень занят своими мыслями о новом романе, и я вижу, что это будет что-то очень хорошее, историческое, времен декабристов, в роде, пожалуй, „Войны и мира“. Дай Бог только ему поправиться скорей, он часто стал хворать, а то работа пойдет“.

„Левочка… теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся, странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего, и о житейских делах решительно неспособен думать“.

„Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска, а всё шью. Работы гибель, и конца ей не предвижу; семь человек и я восьмая…“

Духовный кризис мужа совпадает с ее душевным кризисом, когда затворническая жизнь в деревне ее, городскую по воспитанию женщину, начинает тяготить. После самоотверженных полутора десятков лет замужества, непрерывных беременностей, болезненных родов, выкидыша, смерти троих детей и ежедневных хлопот по хозяйству и воспитанию детей С.А. вдруг вспоминает о том, что есть и другая жизнь — вне сферы интересов ее супруга.

Но она с самого начала их совместной жизни никогда и не была до конца допущена в сферу его интересов. „Мне хотелось бы всего его охватить, понять, чтоб он был со мной так, как был с

Alexandrine, — пишет она в дневнике через год после замужества, ревнуя Л.Н. не только к простой бабе Аксинье, но и к его родственнице и духовной корреспондентке А.А.Толстой, — а я знаю, что этого нельзя, и не оскорбляюсь, а мирюсь с тем, что я для этого и молода, и глупа, и недостаточно поэтична. А чтоб быть такой, как Alexandrine, исключая врожденных данных, надо быть и старше, и бездетной, и даже незамужней".

С.А. начинает завидовать младшей сестре, которая, будучи замужем за Кузминским, может вести нормальную светскую жизнь. „Мы очень уединенно живем эту зиму, и я часто скучаю и начинаю тяготиться деревенским одиночеством, — пишет она сестре. — Я для развлечения начала вышивать большой ковер, четыре аршина длиной и три с половиной шириной в персидском вкусе. Работы этой года на три будет. Так-то в старину затворницы в теремах делали большие работы, чтобы занять себя в одиночестве".

В 1875 году она признается в дневнике: „Слишком уединенная деревенская жизнь мне делается наконец несносна. Унылая апатия, равнодушие ко и всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — всё то же и то же. Проснешься утром и не встаешь. Что меня поднимет, что ждет меня? Я знаю, придет повар, потом няня будет жаловаться, что люди недовольны едой и что сахару нет, надо послать, потом я с болью правого плеча сяду молча вышивать дырочки, потом ученье грамматики и гамм, что я делаю хотя с удовольствием, но с грустным сознанием, что делаю не хорошо, не так, как бы хотела. Потом вечером то же вышиванье дырочек и вечное, ненавистное для меня раскладыванье пасьянсов тетеньки с Левочкой. Чтенье доставляет короткое удовольствие — но много ли хороших книг? Во сне иногда, как нынче, живешь. Именно живешь, а не дремлешь. То я иду в какую-то церковь ко всенощной и молюсь, как я никогда не молюсь наяву то я вижу чудесные картинные галереи, то где-то чудесные цветы, то толпу людей, которых я не ненавижу и не чуждаюсь, а всем сочувствую и люблю".

С течением совместной яснополянской жизни у Л.Н. и С.А. постепенно возникает сезонное несовпадение настроений. Он особенно ценит осень и зиму, когда они сидят в Ясной полными затворниками и он может спокойно отдаваться работе. Весной и летом начинается наплыв гостей, которые развлекают С.А. и досаждают ее мужу. Толстой даже строит в лесу, в Чепыже, избушку чтобы скрываться от гостей. С началом осени Л.Н. оживляется для работы, а С.А. пишет в дневнике: „Я наконец дожила до своей осенней, болезненной тоски. Молча, упорно вышиваю ковер или читаю; ко всему равнодушна и холодна,

скучно, уныло, и впереди темнота“.

Но всё было бы преодолимо, и жизнь в Ясной Поляне текла бы в своем определившемся русле, если бы начиная с 1877 года, когда Л.Н. посещает Оптину и когда у него рождается сын Андрей, Толстой не стал последовательно отрекаться, пока еще только в душе, от всего, к чему сам же приучил свою семью: от важности литературных занятий и от осмысленности яснополянского бытия.

В „Исповеди“ Толстой подробно описал этот внутренний процесс:

„Так я жил, но пять лет тому назад (с 1874 года. — *П.Б.*) со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а что потом?…

Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: „Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?…“ И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: „Зачем?“ Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: „А мне что за дело?“ Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: „Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж!..“

И я ничего и ничего не мог ответить.

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать, но жизни не было…

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже

узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица“.

В „Исповеди“ Толстой приводит притчу о путнике, застигнутом в степи разъяренным зверем. Спасаясь от него, он прыгает в колодец и видит на дне его дракона с разинутой пастью. Повиснув на ветках куста, растущего в расщелине колодца, он также видит, как две мыши, одна белая, другая черная (день и ночь), равномерно обходят ствол куста и подтачивают его. Скоро он неминуемо окажется в пасти дракона (смерти). Но пока он висит, путник ищет вокруг себя, находит на листьях куста капли меда и слизывает их языком.

„Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, — любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, — уже не сладки мне“, — признается Толстой.

Интересно, что семья значится у него на первом месте. Отречение от нее было для него самым трудным моментом кризиса.

Это был не умозрительный кризис, но „остановка жизни“, результатом которой могло быть либо самоубийство, либо ответ на вопросы, который задавал себе Толстой. Насколько он был близок к самоубийству, можно судить по финалу „Анны Карениной“ (не тому общеизвестному где Анна бросается под поезд, а настоящему, где Константин Левин, состоя в счастливом браке, тоже близок к самоубийству), и по признанию в „Исповеди“: „И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни…“

В начале 70-х годов Толстой начинает, но не заканчивает два рассказа, сюжетом которых является фиктивная смерть как способ бегства от прежней жизни. Потом он вернется к нему в „Живом трупе“ и „Посмертных записках старца Федора Кузмича“. В первом рассказе без названия помещик Желябужский убивает неверную жену с помощью камердинера бежит из-под ареста, приходит к речной переправе, где столпилось много простого народа, раздевается и входит в воду. Развитием этого сюжета был второй рассказ, под названием „Степан Семенович Прозоров“, в котором богатый помещик, промотавший все деньги, свои и детей, также бежит, приходит на реку, раздевается и заходит в воду. Выйдя из воды, он надевает лежавшую на берегу мужицкую одежду и отплывает на пароходе в каюте третьего класса; причем сначала, по привычке, идет в первый класс, но его оттуда

выгоняют.

Путь фиктивной смерти, несомненно, представлялся Толстому если не самым привлекательным, то, во всяком случае, приемлемым способом решения неразрешимых проблем. Это всё-таки лучше, чем грех самоубийства. Но в жизни он воплотит эту идею лишь отчасти, когда в начале 90-х годов откажется от всей собственности в пользу жены и детей, „как будто я умер“.

В середине 70-х годов с Толстым происходит случай, который был предвестником того, что будет происходит во время его ухода из Ясной Поляны. Толстой заблудился… в своем доме.

„Отец перед сном обыкновенно раздевался и умывался в комнате под залой, бывшей его кабинетом, после чего в халате шел наверх в спальню, общую с матерью, — вспоминал Сергей Львович Толстой. — Я и брат Илья в то время спали в комнате, находящейся между буфетом и комнатой со сводами. Однажды осенью я проснулся около двенадцати часов ночи от отчаянного крика моего отца: „Соня, Соня!“ Я выглянул из двери. В передней было совсем темно. Он повторил свой крик. Я вышел в переднюю и услышал, как моя мать быстро прибежала к лестнице со свечой в руке.

Сильно взволнованным голосом она спросила: „Что с тобой, Левочка?“

Он ответил: „Ничего, я заблудился“…“

В конце 1879 года, когда Толстой писал „Исповедь“ и его духовный переворот был необратим, семья Толстых пополняется. Родился сын Миша. Запись в дневнике С.А., сделанная за два дня до родов, рисует мрачную, тяжелую, безвоздушную атмосферу в Ясной Поляне, когда ничто уже не радует большую и когда-то дружную семью:

„Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало темно, тесно жить на свете. Дети и весь дом в напряженном состоянии… Страшные морозы… Левочка уехал в Тулу… Он много пишет о религиозном“.

Невыразимо больно

Его увлечение православной церковью относится к 1877 году к началу его духовного кризиса. Это было именно увлечение, которому он отдался со всей страстью, как отдавался любому увлечению, но которое оставило в его душе крайне неприятный осадок.

В детстве Толстой воспитывался таким образом, что его

мироощущение не могло быть пронизано духом церковной обрядовой поэзии. Его мать и отец были верующими людьми, исполнявшими все принятые церковные обряды, глубоко верующими были и две тетушки, жившие в Ясной Поляне в период его детства, А.И.Остен-Сакен и Т.А.Ергольская (вторая оказала на него сильное влияние), но нельзя говорить о глубоком церковном воспитании мальчика.

В повести „Детство“ главный герой часто и горячо молится, особенно перед тем как заснуть. Эта потребность одинокого обращения к Богу сохранялась в Толстом всегда, даже в период его молодого атеизма.

Идеализируя образ своей матери, которой он почти не знал, Толстой изобразил ее в княжне Марье Болконской. Однако биограф Толстого Н.Н.Гусев считает, что реальная Мария Николаевна Толстая вовсе не была столь религиозно экзальтирована и существенного противоречия между ней и ее неверующим отцом не было. „Никакой розни в миросозерцании между отцом и дочерью, как это мы видим в „Войне и мире“ (например, в религиозных вопросах), в дневнике Марии Николаевны незаметно“, — пишет Гусев. Зато известно, что она была прекрасно образована, знала четыре европейских языка и очень хорошо знала русский язык, что было редкостью среди светских женщин того времени. Воспитанная своим отцом, дедом Толстого Н.С.Волконским, просвещенным аристократом XVIII века, она и в своих детях старалась развить не столько сердечное начало, сколько волю и рассудительность. Большое значение придавалось умственному развитию мальчиков, их ранней привычке к чтению, воспитанию в них мужества и даже патриотизма, но ни о каком сколько-нибудь серьезном привитии детям любви к церкви со стороны матери нам не известно.

Отец Толстого был обычным аристократом своего времени, для которого, как и для деда Толстого, церковь была не более чем гражданским институтом. Да, необходимым для венчания, крещения и т. п., но вовсе не являющимся „столпом и утверждением истины“. Просвещенная русская аристократия уже в XVIII веке относилась к церковным обрядам в лучшем случае снисходительно. Вспомним начало „Войны и мира“: ведь и старый князь Болконский, и его сын Андрей — это совершеннейшие атеисты, для которых церковный пиетизм княжны Марьи объясняется только ее дурной внешностью и невозможностью найти красивого жениха. Прототипом князя Андрея был старший брат Л.Н. Сергей Николаевич. До самой смерти он был неверующим человеком, посмеивался над монашеским одеянием сестры Маши, когда она приезжала гостить в Ясную и Пирогово, а

ее клобук шутливо называл „цилиндром“. Когда встал вопрос о причащении перед смертью, его верующая жена, бывшая цыганка, обратилась к Л.Н. с просьбой попросить брата не отказываться от этого акта, тем более что и сам Сергей Николаевич перед смертью этого захотел. Л.Н. поддержал их порыв, брат был исповедан и причащен.

„Иначе относились к церкви тетки Толстого, — пишет Гусев, — особенно его родная тетка Александра Ильинична. Несчастная в своей личной жизни, она искала утешения в религии. Ее любимым занятием было хождение в церковь, любимым обществом — странники, странницы, монахи, монахини, юродивые. Еще при жизни матери странники и странницы находили гостеприимный приют в яснополянском доме; теперь их стало гораздо больше. Была полумонахиня Марья Герасимовна, были какие-то Ольга Романовна, Федосея, Федор, Евдокимушка и другие. Николай Ильич не препятствовал своей сестре принимать странников и странниц, но сам с присущим ему здравым смыслом не разделял ее восторженного отношения к этим людям“. И в этом Левочка был согласен с отцом, которого очень уважал. Но религиозные настроения тетушки привили ему определенный страх перед Богом. В автобиографическом отрывке „Что я?“ он рассказывает, как в детстве съел просвиру, присланную священником, не натощак, как полагалось, а уже напившись чаю. Это его потом сильно мучило, и он заметил, что „Бог наказал“ его за это.

Самое глубокое религиозное влияние на Толстого оказала тетушка Татьяна Александровна Ергольская. Она прожила в его доме до начала 70-х годов, находясь в сердечном общении с племянником, его женой и детьми. Но как раз религиозные взгляды Т.А.Ергольской были весьма специфичны и, как ни странно, предваряли религиозный модернизм. Она принимала все церковные догматы, кроме одного: догмата о загробных мучениях. То есть отрицала ад. Она говорила: „Бог, который — сама доброта, не может желать наших страданий“. То же самое писал в начале XX века религиозный философ Н.А.Бердяев. И это же отрицание загробного ада мы находим в религиозных воззрениях Толстого. „Я с детства никогда не верил в загробные мучения“, — писал он в 1884 году В.Г.Черткову.

В пору юности и молодости Толстой и вовсе отходит от церкви, и не столько по причине своего религиозного нигилизма, сколько от отсутствия привычки ходить в церковь и исполнять обряды, которое было характерно для молодых холостых людей его круга. До женитьбы им просто не приходило в голову, что нужно посещать храмы, отстаивать долгие службы, говеть,

исповедоваться и причащаться. Вспомним, с каким смущением Константин Левин вступает в храм во время венчания. Он испытывает при этом глубокое умиление, но именно оттого, что это происходит с ним словно во сне, в какой-то новой для него реальности.

В конце 70-х годов в поисках смысла жизни и твердой веры Толстой обращается к простому русскому народу, в нем находя то единственное, что не может разрушить его аналитический ум. Толстого всегда поражало спокойное отношение русского мужика и солдата к смерти. И в этом он был не одинок вспомним „Бородино“ Лермонтова, „Живые мощи“ Тургенева, поэзию Некрасова. Но если мужик не боится смерти, значит, он знает какой-то ответ на главный вопрос бытия: о смысле человеческого существования. Эта загадка всегда волновала Толстого и была главной причиной его „народничества“. Обратившись к простому народу за ответом о смысле бытия, он не мог не признать, что русский народ суть народ православный. Отсюда попытка Толстого в 1877 году обратиться к церкви и житийной литературе.

„Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость, — восклицает Толстой в „Исповеди“. — Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде“.

С.А., сама верующий и церковный человек, была несколько удивлена той страстью, с которой ее муж вдруг обратился к церкви.

„Он так строго соблюдал посты, что в конце Страстной недели ел один ржаной хлеб и воду и большую часть времени проводил в церкви, — вспоминала она о событиях 1877 года. — Детей он этим тоже заражал; и я, даже беременная, строго постилась…“

Дочь священника Кочаковской церкви, рядом с которой фамильное кладбище Толстых, рассказывала Маковицкому: „Бывало, отец идет утром к заутрене, а Лев Николаевич уже сидит на камушке. Отец часто ходил ко Льву Николаевичу в дом, возвращался в два часа ночи. Много они со Львом Николаевичем говорили о вере“.

Становой пристав В.Р.Чаевский слышал от крестьян такой рассказ: „Господа наши, значит, граф с семьей, кажинный праздник в церкви; приезжают больше одни семейные, сам граф

завсегда почитай пеший… Раньше начала обедни придет. Мы, мужики, на крыльце присядем у церкви, глядим — и граф присядет вместе с нами, так сидит калякает, разговаривает, значит, о делах аль о божественном…“

Слуга Сергей Арбузов, который в 1881 году ходил вместе с Толстым в Оптину, вспоминал о 77-м годе, что, отправляясь рано утром в церковь, граф сам седлал лошадь, чтобы не будить конюхов.

Толстой понимал религию в точном значении этого слова, как „связь“. Но обрядовая сторона православия означала для него явно не связь с Богом, а как бы „горизонтальную“ связь — со своими предками, исполнявшими те же обряды, и с миллионами русских мужиков.

„Исполняя обряды церкви, — писал он в „Исповеди“, — я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною — отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа“.

Однако упрямый ум Толстого не мог остановиться на том, что он поступает как все и, следовательно, поступает верно. Первый же опыт причастия после многих лет отказа от этого вызывает в нем душевное отторжение.

„Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила — всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера“.

В этот момент Толстому стало „невыразимо больно“. Но „я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это.

Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз“, — пишет он в „Исповеди“.

Ни посты, ни молитвы, ни исповедь, ни само по себе причастие не вызывали в нем отторжения, но, напротив, вызывали радостное чувство (вспомним его определение жизни как „радости“). Радость он испытал и от чтения житийной литературы, особенно „Четий Миней“. Но требование священника подтвердить веру в то, что вино и хлеб есть кровь и тело Иисуса, было „невыразимо больно“. Здесь интеллектуальная совесть Толстого спотыкается, не может этого принять.

Вторым важным моментом, оттолкнувшим Толстого от церкви, было требование молиться в храме за власть предержащих и воинство. Толстой не только не находил этого требования в Евангелии, но видел нечто совсем обратное. И вновь интеллектуальная совесть Толстого бунтует, сопротивляется внешнему насилию принять на веру то, чего он не видит, не понимает.

„Православие отца кончилось неожиданно, — вспоминал его сын Илья Львович Толстой. — Был пост. В то время для отца и желающих поститься готовился постный обед, для маленьких же детей и гувернанток и учителей подавалось мясное. Лакей только что обнес блюда, поставил блюдо с оставшимися на нем мясными котлетами на маленький стол и пошел вниз за чем-то еще. Вдруг отец обращается ко мне (я всегда сидел с ним рядом) и, показывая на блюдо, говорит:

— Илюша, подай-ка мне эти котлеты.

— Левочка, ты забыл, что нынче пост, — вмешалась мама.

— Нет, не забыл, я больше не буду поститься и, пожалуйста, для меня постного больше не заказывай.

К ужасу всех нас он ел и похваливал. Видя такое отношение отца, скоро и мы охладели к постам, и наше молитвенное настроение сменилось полным религиозным безразличием“.

Enfante terrible[9]

Казалось, зрелый, семейный Толстой отошел от озорных привычек молодости, но во время духовного кризиса он снова возвращается к ним. В Москве он будет демонстративно шить сапоги, когда его жена с дочерью ездят на балы. В присутствии литературных поклонников он в издевательских выражениях будет говорить о „Войне и мире“ и „Анне Карениной“, как это произошло в кабинете директора частной гимназии Поливанова, куда он пришел устраивать сыновей Илью и Льва. В кабинете оказались жена директора и бывший учитель тульской гимназии Марков, старый знакомый и поклонник Толстого.

„Марков спросил Толстого, правда ли, что он теперь ничего не пишет?

— Правда, — ответил Толстой вызывающе. — Ну и что же?

— Да как же это возможно? — воскликнул Марков, горячий поклонник художественных произведений Толстого. — Лишать общество ваших произведений?

Толстой спокойно ответил:

— Если я делал гадости, неужели я должен всегда продолжать их делать? Вон я в юности цыганок посещал, шампанское пил, неужели я должен опять всё это проделывать?

Глубоко оскорбленный Евгений Марков укоризненно замечает:

— Как же можно делать такие сравнения?

И опять слышит спокойный ответ Толстого:

— Ну, если я считаю свои произведения именно таким вздором и занятия „художествами“ делом недостойным?“

Из воспоминаний жены Поливанова следует, что не только свои произведения Толстой называл „вздором“.

„Вот был Пушкин. Написал много всякого вздора. Ему поставили статую. Стоит он на площади, точно дворецкий с докладом, что кушанье подано… Подите, разъясните мужику значение этой статуи и почему Пушкин ее заслужил“.

В марте 1881 года он пишет Александру III дерзкое письмо, в котором просит не казнить убийц его отца, Александра II, после известного события 1 марта. Это письмо в том виде, в каком Н.Н.Страхов пытался передать его царю через Победоносцева, нам неизвестно. Но сохранился его черновик. Сам факт того, что дворянин советовал царю не казнить прямых цареубийц, стоил бы другому дворянину очень серьезных последствий. Это отлично понимала С.А., которая была решительно против этого письма, с

самого начала вступив с мужем в конфликт из-за его „диссидентских“ настроений. Она грозила „выгнать вон“ домашнего учителя В.И.Алексеева, который поддержал порыв ее мужа. Она боялась за семью и за детей. Но для Толстого это рассуждение не было аргументом. Письмо было передано Страховым, но задержано Победоносцевым.

В ответе Толстому он писал: „…не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. В таком важном деле всё должно делаться по вере. А прочитав ваше письмо, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение. Душевно уважающий и преданный К.Победоносцев“.

Намек на „расслабленность“ и необходимость „исцеления“ со стороны члена госсовета и недавно назначенного обер-прокурора Святейшего Синода был вполне прозрачен. История с письмом Чаадаева (даже не царю), за которое его признали сумасшедшим, была еще свежа в памяти. С этого письма Александру начинается диссидентский путь Толстого. Письмо не дошло до царя, но содержание его было ему известно.

Толстой вступает на опасный путь, где гарантией его неприкосновенности является только его громкое литературное имя. Но именно это имя он ценит теперь менее всего. И в то самое время, когда его дочь Таня, как это следует из ее дневников, добросовестно читает „Войну и мир“, подобно всем образованным девушкам своего времени, ее папа озабочен тем, что цензура не пропускает в печать его антицерковную „Исповедь“. „Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера, это я могу; если я хочу писать о величии России и воспевать войны, я очень могу“, но книгу „в которой я рассказал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России“.

Новый философско-религиозный трактат „В чем моя вера?“ (1884) он уже и не надеется опубликовать после того, как из майского номера журнала „Русская мысль“ за 1882 год была „вырезана“ „Исповедь“. Трактат набирается за деньги Толстого в количестве пятидесяти экземпляров в типографии Кушнерева, а после запрещения и ареста, наложенного на это издание духовной цензурой, расходится в Петербурге в высшем свете по рукам. Это уже „самиздат“.

С.А. откровенно напугана перспективой быть женой диссидента. „Маракуев (издатель. — *П.Б.*) сказал, что книгу твою

новую цензура светская передала в цензуру духовную; что архимандрит, председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей стороны не видит причины не пропускать ее, — сообщает она в январе 1884 года. — Но я думаю, что Победоносцев с своей бестактностью и педантизмом опять запретит“.

Разумеется, запретил. Но в данном случае куда важнее отношение к этой книге жены Толстого. В это время она готовит к изданию собрание сочинений мужа и определенно недовольна тем, что его новые „сочинения“ издаются и распространяются помимо нее.

„Кушнерева (владельца типографии. — *П.Б.*) застала больного, в халате; он ужасно извинялся, но мне нужно было добиться экземпляров, и я его спросила. Он говорит — вот моя карточка, а спросите у Маракуева. Но вчера вечером я посылала к Маракуеву Сережу (сына. — *П.Б.*); но Маракуев очень просто объявил, что так как все очень интересуются этим произведением, то он их все роздал для чтения и переписки. Я так рассердилась, что сегодня поехала сама и говорю ему, что „экземпляры не ваши, а графа, и он вас не просил и не уполномачивал их раздавать. И допустите, что родные, близкие графа, если не больше, то по крайней мере имеют одинаковые права интересоваться его произведениями“. Он обещал мне привезть завтра два; но ты не сердись на меня, я еще более удостоверилась, что он крайне наглый человек, и с ним надо быть осторожнее“, — с возмущением сообщает она в январе 1884 года в Ясную Поляну. Это уже крик души писательской жены, которая впервые сталкивается с тем, что посторонние люди вклиниваются в семейные интересы, имея на новые произведения ее мужа какие-то свои права.

„То, что служило Толстому во благо, теперь обратилось для него во зло, — пишет Владимир Жданов. — То, что делало семью счастливой, — духовная, творческая жизнь Льва Николаевича — теперь делает семью несчастной. Прежде он и семья взаимно питали друг друга, теперь их интересы противоположны, связь оборвана, и они вступили в борьбу, защищая каждый свое право на жизнь, временами ожесточаясь, временами примиряясь и срываясь опять“.

Наиболее откровенно семейная драма Толстых объясняется в воспоминаниях Ильи Львовича, которому в тот момент было 13–14 лет. Это самый трудный подростковый возраст, так называемый „переходный“. И, может быть, потому-то перелом, происходивший в его отце, был так живо прочувствован сыном,

что сам Л.Н. в это время ведет себя как взрослый подросток.

„Он, идеализировавший семейную жизнь, с любовью описавший барскую жизнь в трех романах и создавший свою, подобную же обстановку вдруг начал ее жестоко порицать и клеймить; он, готовивший своих сыновей к гимназии и университету по существующей тогда программе, начал клеймить современную науку; он, ездивший за советами к доктору Захарьину и выписывавший докторов к жене и детям из Москвы, начал отрицать медицину; он, страстный охотник, медвежатник, борзятник и стрелок по дичи, начал называть охоту „гонянием собак“; он, пятнадцать лет копивший деньги и скупавший в Самаре дешевые башкирские земли, стал называть собственность преступлением и деньги развратом; и, наконец, он, отдавший всю жизнь изящной литературе, стал раскаиваться в своей деятельности и чуть не покинул ее навсегда“.

„Но что должна была переживать в это время моя мать! — пишет далее Илья Львович. — Она любила его всем своим существом. Она почти что создана им. Из мягкой и доброкачественной глины, какою была восемнадцатилетняя Сонечка Берс, отец вылепил себе жену такою, какой он хотел ее иметь, она отдалась ему вся и для него только жила — и вот она видит, что он жестоко страдает, и, страдая, он начинает от нее отходить дальше и дальше, ее интересы, которые раньше были их общими интересами, его уже не занимают, он начинает их критиковать, начинает тяготиться общей с ней жизнью. Наконец, начинает пугать ее разлукой и окончательным разрывом, а в это время у нее на руках огромная и сложная семья. Дети от грудных до семнадцатилетней Тани и восемнадцатилетнего Сережи.

Что делать? Могла ли она тогда последовать за ним, раздать всё состояние, как он этого хотел, и обречь детей на нищету и голод?

Отцу было в то время пятьдесят лет, а ей только тридцать пять. Отец — раскаявшийся грешник, а ей и раскаиваться не в чем. Отец — с его громадной нравственной силой и умом, она — обыкновенная женщина; он — гений, стремящийся объять взглядом весь горизонт мировой мысли, она — рядовая женщина с консервативными инстинктами самки, свившей себе гнездо и охраняющей его.

Где та женщина, которая поступила бы иначе? Я таких не знаю ни в жизни, ни в истории, ни в литературе.

В этом случае мою мать можно пожалеть, но осуждать нельзя. Она была счастлива в первые годы своей замужней жизни, но после 1880-х годов счастье ее померкло и никогда больше не возвратилось.

Но больше всего, конечно, страдал сам отец“.

В это время С.А. пишет брату: „Если бы ты знал и слышал теперь Левочку. Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был“.

„Левочка всё работает, как он выражается, — с тревожной иронией пишет она сестре, — но, увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь“.

Легко поймать С.А. на слове, чтобы доказать, насколько нечуткой она была к духовным поискам мужа и как ошиблась в прогнозе о „десятке“ людей, которые этим заинтересуются. Но поиски Толстого в это время вызывали недоумение также у Фета и Тургенева, и даже такой наиболее близкий по духу человек, как Страхов, был с ним во многом несогласен. Наконец, духовный переворот вызвал серьезный конфликт между Л.Н. и его теткой А.А.Толстой, той самой, которую С.А. привыкла считать на голову выше себя.

С.А. поддержала ее родня. 3 марта 1881 года (через два дня после убийства царя, после которого Толстой встал на открыто диссидентский путь) она пишет сестре, что гостивший в Ясной Поляне брат Александр Берс нашел в Л.Н. „перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок“. От себя она прибавляет, что „религиозное и философское настроение самое опасное“.

Московский пленник

Вот вопрос: что было бы, если бы в 1881 году семья Толстых не переехала из Ясной Поляны в Москву?

Может быть, в семье не случилось бы необратимого разлада? И взгляды Толстого не поменялись бы до такой степени, что они вступили в непримиримое противоречие со взглядами его домашних?

Переезд был вызван необходимостью. Выросли старшие дети, Сергей и Татьяна. Сергей собирался поступать в Московский университет. Татьяна была уже взрослой девушкой, ее пора было вывозить в свет. Кроме того, Татьяна проявляла успехи в живописи и хотела поступить в Училище живописи и ваяния. Илья и Лев нуждались в гимназическом образовании. Домашняя подготовка Сергея, с ежегодными экзаменами в Туле, оказалась

делом хлопотным. Издательские интересы Толстого и его жены тоже вынуждали к переезду в Москву. Это понимала не только С.А., но сам Толстой. Он с большим страхом ожидал переезда, тосковал. Но смирился.

Толстой не любил Москву.

В повести „Детство“ мы найдем первые признаки этой нелюбви. Посетив Москву, Николенька Иртеньев был неприятно удивлен видом городских жителей: „Я никак не мог понять, почему в Москве все перестали обращать на нас внимание — никто не снимал шапок, когда мы проходили, некоторые даже недоброжелательно смотрели на нас“. Это взгляд ребенка, но не забудем, что ко времени переезда в Москву Л.Н. начал задавать себе „глупые, простые, детские вопросы“.

Большой город вызывал в нем эстетическую и нравственную неприязнь. Трудно понять, чего тут было больше. Например, эстетическое чувство Толстого возмущал стоявший среди улицы городовой с большим пистолетом. Это представлялось ему такой же нелепостью, как лакей в каске „с шишаком“, который сопровождал его будущую жену в Кремле, когда она была девочкой.

Москва 70-80-х годов XIX века была пестрым городом, в котором разительно соединялись достижения городской цивилизации с архаичным деревенским бытом. За исключением нескольких центральных улиц это был конгломерат множества барских усадеб, вольно и беспорядочно состыкованных друг с другом. Во всяком случае, такой должна была видеться Москва Толстому с многолетним зрительным навыком, воспитанным на усадебном ландшафте и инфраструктуре Ясной Поляны. Большая деревня.

„Часть Москвы, простиравшаяся от берега Москвы-реки и приблизительно до Малой Дмитровки и Каретного ряда, та часть ее, по которой радиусами проходят улицы Остоженка, Пречистенка, Арбат, Поварская, Большая и Малая Никитские с запутанными лабиринтами переулков между ними, была преимущественно дворянской и чиновничьей стороною, — писал историк М.М.Богословский о Москве 70-90-х годов. — Здесь, в черте кольца Садовой, а кое-где и выходя за это кольцо, были расположены по главным улицам большие барские особняки — дворцы с колоннами и фронтонами в стиле empire. Здесь же, и на главных улицах, и по переулкам, было много небольших часто деревянных одноэтажных с антресолями или с мезонинами дворянских особняков, нередко также с колоннами и фронтонами, на которых виднелись гербы с княжескими шапками и мантиями или с дворянскими коронами, рыцарскими шлемами

и страусовыми перьями. Эти большие и малые дворянские особняки очень напоминали собою такие же барские дома в подмосковных и более отдаленных вотчинах, тем более что и самые дворы при них с многочисленными различными службами и хозяйственными постройками — сараями, погребами, конюшнями, колодцами — мало чем отличались от деревенских усадеб тех же владельцев. Московская улица тогда не имела еще вида двух высоких, смотрящих друг на друга, скучно вытянутых сплошных фасадов, из которых один незаметно переходит в соседний. Тогда граничили друг с другом не фасады домов, а отдельные владения в виде усадеб, отделенные одни от других деревянными заборами. В эти владения вели по большей части деревянные ворота, очень нередко открытые для проезда с улицы к парадному крыльцу. Сходство с деревенскими усадьбами увеличивалось еще массой зелени. Редко при каком из этих особняков не было хотя бы небольшого садика. Сады при иных домах были громадны, были прямо целые парки“.

Так выглядела Москва 80-х годов, куда предстояло переселиться Толстому. Одно дело поменять деревню на город. И совсем другое — из родовой усадьбы, своей вольной крепости — перебраться в скопище чужих крепостей.

Но и городская часть столицы не могла удовлетворять эстетическому вкусу Толстого. „Тверская, в особенности же Кузнецкий мост достигли значительного прогресса в отношении внешности расположенных на них магазинов, но большинство торговых заведений и лавок на других улицах сохранило прежние допотопные вывески с неграмотными, нередко смешными надписями и картинами, наивно изображавшими сущность торгового предприятия; особенно бросались в глаза вывески „табачных лавок“, на которых обязательно сидели по одну сторону входной двери азиатского вида человек в чалме, курящий трубку, а на другой негр или метис (в последнем случае — в соломенной шляпе), сосущий сигару; парикмахерские вывески изображали обычно, кроме расчесанных дамских и мужских голов, стеклянные сосуды с пиявками и даже сцены пускания крови; на пекарных и булочных имелись в изображении калачи, кренделя и сайки, на колониальных — сахарные головы, свечи, плоды, а то заделанные в дорогу ящики и тюки с отплывающим вдали пароходом; на вывесках портных рисовались всевозможные одежды, у продавцов русского платья — кучерские армяки и поддевки; изображались шляпы, подносы с чайным прибором, блюда с поросенком и сосисками, колбасы, сыры, сапоги, чемоданы, очки, часы, — словом, на грамотность публики и на витринную выставку торговцы не надеялись и представляли

покупателям свой товар в грубо нарисованном и раскрашенном виде, причем и самые вывески были неуклюжи и в полной мере некрасивы…“ — вспоминал о Москве того времени другой мемуарист, Н.В.Давыдов.

К тому же большой город являлся большой проблемой с точки зрения санитарии. „Москва доныне (1914 год. — *П.Б.*), несмотря на водопровод и канализацию, не может добиться чистого воздуха, — пишет Н.В.Давыдов, — и к иным дворам лучше и сейчас не подходить, но в шестидесятых годах зловоние разных оттенков всецело господствовало над Москвой. Уже не говоря про многочисленные, примитивно организованные обозы нечистот, состоявшие часто из ничем не покрытых, расплескивавших при движении свое содержимое кадок, в лучшем случае из простых бочек с торчащими из них высокими черпаками, движение которых по всем улицам, начавшись после полуночи, а то и раньше, длилось до утра, отравляя надолго даже зимой всю окрестность, — зловоние в большей или меньшей степени существовало во всех дворах, не имевших зачастую не только специально приспособленных, но никаких выгребных ям. Места стоянок извозчиков, дворы „постоялых“, харчевен, простонародных трактиров и тому подобных заведений и, наконец, все почти уличные углы, хотя бы и заколоченные снизу досками, разные закоулочки (а их было много!) и крытые ворота домов, несмотря на надписи „строго воспрещается“, были очагами испорченного воздуха…“

Первый конфликт возник при устройстве детей в гимназию. Сначала Л.Н. хотел отдать Илью и Лелю в обычную государственную гимназию. Но там от него потребовали подписку о „благонадежности“ сыновей. Это возмутило Толстого! „Я не могу дать такую подписку даже за себя, как же я ее дам за сыновей“. В результате остановились на частной гимназии Поливанова, где „подписка“ не требовалась.

Гимназия Поливанова была еще тем хороша и удобна, что дом княгини С.В.Волконской в Денежном переулке, между Поварской и Остоженкой, который нашла С.А. и который семья Толстых арендовала осенью 1881 года, был „забор в забор“ с гимназией. Одной из главных причин, по которой Толстой смирился с переездом в Москву, был *страх за детей.* Речь не могла идти ни о частном пансионе для Ильи и Льва, ни о том, чтобы уже взрослый Сергей находился в Москве один, без постоянного надзора родителей. Патриархально-домостроевские убеждения Толстого не были поколеблены его антицерковными и антигосударственными настроениями.

Одной из причин переезда в Москву было опасение Толстого,

что сыновья в гимназии и университете подвергнутся влиянию нигилистически настроенной молодежи. Он хорошо помнил свое казанское студенческое время, когда в первый год обучения угодил в клинику с венерической болезнью. С другой стороны, у Толстого с его новым религиозным мировоззрением вообще не было оснований любить университет, и особенно естественный факультет, на который поступил Сергей. Принципиальный антидарвинист (в этом они были союзники со Страховым, написавшим книгу против Дарвина), Толстой до конца дней не мог простить старшему сыну этот выбор. Незадолго до смерти, находясь в Астапове, он продиктовал Саше письмо для Сергея и Татьяны, в котором были такие слова: „Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те, усвоенные тобою взгляды дарвинизма и эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом, любя тебя, вероятно, накануне смерти говорю это“.

Комментируя это письмо, Сергей Львович пишет, что к 1910 году его взгляды „во многом изменились“. Отец, вероятно, просто вспомнил их споры периода его студенчества.

Отцу не нравился выбор сына, не нравился университет вообще, но именно он больше всех заботился о том, чтобы Сергей достойно подготовился к университетским экзаменам.

Домашних учителей, как и бонн, и гувернеров, искал детям именно Л.Н. Он договаривался о том, чтобы Сергей, обучавшийся дома, тем не менее выдерживал ежегодные экзамены в тульской гимназии наравне с обычными учениками. Результаты этих экзаменов очень волновали Толстого, как видно из его писем.

И вдруг, переехав в Москву, отец начинает при сыне бранить университет, отрицательно отзывается о науке вообще. В своих воспоминаниях Сергей Львович передает устные высказывания отца о науке и ученых, которые слышал во время их споров:

„Наука занимается чем угодно, но не вопросами о том, что необходимо знать, о том, как надо жить“.

„Ученые не различают полезного знания от ненужного; они изучают такие ненужные предметы, как половые органы амебы, потому что за это они могут жить по-барски“.

„Все эти ученые получают содержание от государства и не только не могут высказывать истины, не угодные правительству, они даже должны плясать под его дудку…“

Ни один нигилист, ни один Базаров не мог сказать при Сергее ничего подобного. Разрушительная сила отрицания отца была столь велика, что 18-летний юноша растерялся. Когда его отец был прав? Когда тратил деньги и душевные силы, чтобы подготовить его в университет, или когда ругал науку и ученых?

В „Записках христианина“, своеобразной исповеди Толстого начала 80-х годов, старший сын упоминается часто. Толстой, несомненно, чувствовал вину перед ним, но и не мог избавиться от неприязненного отношения к сыну. Из дневника видно, что они постоянно спорили, причем задирал и провоцировал на споры как раз отец, а сын вынужден был от него отбиваться. „Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее“, — пишет Толстой. И — холодно замечает: „Я рад ясной постановке вопроса“.

А Таня? Семнадцатилетняя девушка, конечно, мечтала о переезде в Москву! И не только потому, что хотела учиться в училище живописи и ваяния. Ведь Москва — это балы, наряды, поклонники. Ко всему этому Таня была неравнодушна. Умная, хорошо образованная, с несомненным талантом к живописи, она всё-таки была обычной провинциальной и несколько восторженной барышней, которой очень хотелось „романов“.

Она была тайно влюблена в своего ровесника, Колю Кислинского, сына председателя Тульской земской управы. За ней ухаживал чуть более старший ее годами приятель брата Сережи Антон Дельвиг, племянник знаменитого поэта и друга Пушкина, сын тульских знакомых Толстых Дельвигов. Она прочитала „Войну и мир“, и ее симпатии были на стороне Наташи Ростовой, а не княжны Марьи. Ее женским кумиром была тетя Таня Кузминская.

О том, что происходило в голове этой прелестной девушки, она сама замечательно написала в своих воспоминаниях. Но лучше всего состояние ее ума и души отражают две записи в дневнике, 1879 и 1880 годов.

„На елке мне подарили бинокль, бумажки с моим вензелем на 4 р. 50 к. Бабушка прислала мне кольцо из Петербурга. Еще мне мама подарила сочинения папа, две вазы и флакон для туалета и еще английский роман Jane Eyre“[10]…»

«Я знаю, чего бы он (отец. — *П.Б.*) желал: он хотел бы, чтобы я была княжной Марьей, чтобы я не думала совсем об веселье, об Дельвигах, об Коле Кислинском и, если бы это было возможно, чтобы я не ездила больше в Тулу. Но теперь поздно: зачем меня в первый раз возили туда?»

Из этих коротких строк вырисовывается удивительно объемный портрет юной Танечки. Видны и ее ум, и обаяние, и

образованность, и умение считать деньги, и чувствовать благодарность за подарки родных, и психологическая наблюдательность, и ранняя способность к самоанализу. И всё это было результатом долгого и тщательного семейного воспитания, в котором отец сыграл не менее выдающуюся роль, чем мать. «Отцовское влияние в доме было сильнее материнского, — признавалась впоследствии Т.Л.Сухотина-Толстая. — Это сознавали все».

Когда Таня, поскользнувшись на вощеном полу, сломала ключицу, отец повез ее в Москву к лучшему хирургу и спрашивал его, не останется ли после операции следов? «Ему хотелось удостовериться, не будет ли заметно утолщение, когда мне придется появляться в бальном туалете…»

В Москве Толстой сам повез дочь на ее первый бал и представил людям светского крута, с которыми сохранил старые связи.

Читая «Записки христианина», мы видим совсем другое отношение отца к дочери. Но надо знать, что этот дневник — по сути, хроника бесконечных народных страданий. У Толстого отверзаются очи. Он видит вокруг себя то, что видел и раньше, но чего не замечал. Простой народ бедствует, болеет всевозможными болезнями, умирает «от тоски», от чахотки, теряет последних кормильцев, не знает, чем кормить малолетних детей, подвергается телесным наказаниям за малейшую провинность и молча всё это терпит.

«Щекинский мужик Чахотка. Чох с кровью, пот. Уже 20 лет кровь бросает».

«Егора безрукого сноха. Приходила на лошадь просить».

«Пьяный мужик затесывал вязок, разрубил нос».

«Мальчик Колпенской 12 лет. Старший, меньшим 9 и 6. Отец и мать умерли».

«Солдат из Щекина в лихорадке».

«Погорелый Иван Колчанов».

«Баба из Судакова. Погорели. Выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне всё одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские».

«Щекинская больная с девочкой 3 дня шла до меня».

«Подыванковской брат больной сестры. У сестры нос преет».

«Мужик Саламасовской. Корова издохла».

«Хромая щеголиха девка. Брат двоюродный сгоняет».

«Погорелая женщина, мещанка, с ребенком, мальчик сгорел, муж обгорел…»

Это малая часть того людского горя и вселенского зла, которые переполняют «Записки христианина», превращая их в

мучительное чтение. Взгляд Толстого стал избирательным. Он видит кругом себя только горе и страдания. Он подобен Будде, которого в детстве и юности тщательно оберегали от вида людских страданий, но когда он увидел их, то уже не мог видеть ничего иного.

И на фоне этого — семья. В доме праздник. Все собираются на пикник. «У нас обед огромный с шампанским. Тани (дочь и Татьяна Кузминская. — *П.Б.*) наряжены. Пояса 5-рублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».

Всё это происходит еще не в Москве, еще в Ясной Поляне. Но Толстой уже не может смотреть на близких так, как смотрел на них раньше. «Соня в припадке. Я перенес лучше, но еще плохо. Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, но нельзя не отворачиваться от зла. — С Таней разговор о воспитании занял до утра. — Они не люди».

Это новое отношение к женщинам будущего автора «Крейцеровой сонаты» рикошетом падает на дочь, которая именно в это время нетерпеливо готовится к тому, чтобы стать такой же. Еще в Ясной Толстой, по выражению из дневника, «будирует» жену и дочь, задирает, провоцирует на споры и сам страдает от их реакции.

Но вот они в Москве…

«Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками».

А дома? «Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что как люди. Несчастные! И нет жизни».

Дом в Денежном переулке, который нашла С.А., был шумный, «как бы карточный». Перегородки между комнатами оказались такие тонкие, что было слышно всё, что говорилось и делалось в соседних комнатах. Желая угодить мужу, С.А. выбрала для его кабинета большую комнату, выходившую окнами на двор и расположенную в стороне от других комнат. «Но этот-то великолепный кабинет, — писала она в своих воспоминаниях, — впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен».

Почти двадцать лет назад, когда Л.Н. привез Сонечку в свой холостяцкий дом в Ясной Поляне, ей, горожанке, непросто было привыкать и приноравливаться к деревенскому быту. Теперь они

поменялись ролями. «Наконец у нас было объяснение, — пишет С.А. сестре. — Левочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д.».

«Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, — снова пишет она сестре, — потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre[11] плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду».

Чтобы работать в привычных условиях, Л.Н. дополнительно снимает за 6 рублей в месяц две маленькие комнаты во флигеле.

Но что же он пишет? Единственным завершенным произведением 1881 года был рассказ «Чем люди живы» для детского журнала.

Той же осенью 1881 года, когда он закончил работу над рассказом «Чем люди живы», в московском доме Толстых случилось новое пополнение. Родился восьмой по счету ребенок (не считая трех умерших), сын Алексей. Беда была в том, что этого ребенка С.А. уже не хотела. Еще из Ясной она писала сестре: «Миша срыгивает то малое молоко, которое сосет, всякий раз, и я чувствую себя дурно. Стало быть, я, к крайнему ужасу своему, верно, опять беременна».

Она *устала.* Муж не считается с ее физическими и психическими возможностями. Он весь в новом мировоззрении и поисках людей, которые отвечали бы этим взглядам, да попросту не считали бы его сумасшедшим. На ее плечах два младенца, два маленьких ребенка, два гимназиста, один студент и одна девушка на выданье. И в это время муж впервые говорит о том, что надо отказаться от всей собственности, всех доходов от произведений, всех усвоенных барских привычек, всё раздать нищим и крестьянам и жить своим трудом на клочке земли.

И это не слова.

В дневнике Толстого 1884 года мы найдем целую программу новой семейной жизни, какой она представлялась Толстому и какой он ее, по-видимому, предлагал жене и детям. Мы приводим ее от начала до конца, сохраняя h те позиции, которые он зачеркнул.

«Жить в Ясной.(*Зачеркнуто.* Первое время пользоваться доходами с Ясной Поляны.) Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по (*зачеркнуто:* учреждению) распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же. Себе, (*зачеркнуто:* оставить) т. е.

нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2 до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себе, т. е. ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни.) Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть Самарских или Никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас, и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мущинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. (*Зачеркнуто:* И) Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда (*зачеркнуто*: искусство, науки, всё такое) всё самое простое. (*Зачеркнуто:* и близкое.) Всё лишнее:(*зачеркнуто*: продать) фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинакое. Цель одна — счастье, свое и семьи — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим».

Это была трудовая коммуна на основе отдельной семьи. Конечно, С.А. на это не согласилась. Дело было не только в том, что ни она, ни дети, ни, наконец, сам Л.Н. не имели никакого навыка жизни в таких условиях. Дело было еще и в том, что Толстой предлагал жене перечеркнуть и уничтожить всё, что она создавала на протяжении двадцати лет по его же воле. Ей предлагалось начать семейную жизнь заново. Новый муж, новые заботы, новые ссоры и примирения.

На это у нее не было ни моральных, ни физических сил. Рождение Алексея было последней каплей в чаше ее женского терпения. Еще выкармливая Мишу она писала сестре из Ясной: «Иногда так бы и полетела к вам, к мама, в Москву — всюду, всюду из своей полутемной спальни, где я, нагнувшись в три погибели над красненьким личиком нового мальчика, 14 раз в сутки вся сжимаюсь и обмираю от боли сосков. Я решилась быть последовательна, т. е. кормить и этого *последнего,* и вынести еще

раз эти боли, и выношу довольно терпеливо».

Не только Миша, но и Алеша были не *последние.* Последним будет Ванечка. А до него будет Саша, от которой С.А. чуть не избавилась, отправившись к тульской акушерке с просьбой сделать искусственный выкидыш. Кстати, именно в этот год и был написан Толстым проект их семейной коммуны.

Несовпадение уже даже не интересов, а просто ритмов жизни мужа и жены становится катастрофическим. Жизнь Толстого в конце 70-х — начале § 80-х как бы замедляется, временами даже останавливается («нет жизни»), а у его почти непрерывно рожающей и кормящей жены нет времени, чтобы задуматься и проанализировать новую семейную ситуацию. В это время Толстой ведет себя по отношению к жене и детям очень жестоко. Впоследствии он будет чувствовать большую вину за этот период жизни, когда упрямством, прямолинейностью он пытался ломать семью через колено, предъявляя ей требования, выполнить которые она была не в состоянии.

Поиски и примирения[12]

И всё-таки семья Толстых была удивительно сильной и крепкой семьей! Даже в 1881 году, в один из самых отчаянных периодов семейной жизни, Л.Н. ни разу не приходит в голову мысль «отделить» себя от семьи.

«Семья — это плоть, — пишет он в дневнике 1881 года. — Бросить семью — это 2-ое искушение — убить себя. Семья — одно тело. Но не поддавайся 3-му искушению — служи не семье, но единому Богу».

Итак, бросить семью значит *убить себя.* Причем речь здесь идет, конечно, не о физическом выживании без забот о тебе домашних. Речь о том, что Толстой еще не отделяет свою духовную жизнь от жены и детей. Смерть семьи — это собственная смерть, не физическая, а именно духовная. Поэтому Толстой не может «оставить мертвым хоронить своих мертвецов». Это не «мертвецы», но единое с ним духовное тело, которое болеет, но которое нельзя просто так рассечь на «больные» и «здоровые» части. И Толстой пытается это «тело» вылечить вместе с самим собой. Отсюда такой накал страсти его споров с домашними.

Поведение Толстого в Москве, на первый взгляд, кажется очень непоследовательным. Он отрицает собственность, но весной-осенью 1882 года энергически берется за поиски, приобретение и обустройство нового дома в Москве. «Карточный»

дом Волконской в Денежном переулке его не устраивает. Он хочет не временного пристанища, а уютного и надежного семейного гнезда, такого же, как в Ясной Поляне.

Неслучайно этим поискам и находке дома предшествовали многократные бегства Толстого в Ясную в феврале-апреле 1882 года, когда он мог одновременно и подлечить расшатанные нервы, и как бы оценить возможность жизни без семьи. Его метания между Ясной и Москвой оказались и первым испытанием семьи на прочность, и поисками нового формата семейной жизни. С.А. его отъездам мудро не препятствовала, но и не старалась делать вид, что всё хорошо. Она дала мужу carte blanche самому выбрать новый формат семейной жизни в соответствии с новыми убеждениями. И лучше поступить не могла.

Они переписываются почти каждый день, иногда по два письма за один день. В первом же письме С.А. расставляет все точки над i. Да, она бесконечно любит мужа. Была бы счастлива жить с ним тихо и спокойно в Ясной Поляне. Городская жизнь ей самой не нравится. Но она не поступится интересами детей даже ради спокойствия мужа, а это уже его право выбирать, как жить дальше.

«Сейчас пришла сверху из Андрюшиной комнаты, где он спросонок неистово кричал. Когда взглянула там из окна, то увидала прекрасное, звездное небо и подумала о тебе. Какое поэтически-грустное настроение вызвало сегодня вечером, в Ясной, в тебе это небо, когда ты пошел гулять, как бывало. Мне захотелось плакать, мне стало жаль той тихой жизни, я не совладала с городом, и я здесь изнываю, больше физически, может быть, но мне не хорошо».

В письме честно и подробно рисуется суета и сумбур московской жизни с экипажами, балаганами, Малым и Большим театрами, балами, родней, товарищами детей. «В субботу у Олсуфьевых танцуют, в пятницу Оболенская зовет к себе. Кому платье, кому башмаки, кому еще что». А у нее «спазма в горле и груди», по ночам — кошмары. «Я видела сегодня ночью, и мне не было страшно, женщину в ситцевом платье, ноги босые и башмаки ее шлепали и волочились, когда она подошла к моему изголовью. Я спросила: „кто это?“ Она обернулась и ушла в дверь гостиной…»

Она напоминает мужу о грудном младенце, Алеше. «Маленький мой всё нездоров и очень мне мил и жалок. Вы с Сютаевым можете не любить особенно своих детей, а мы, простые смертные, не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь ни к кому ка- кой-то любовью ко всему миру».

Она ни строчкой не пытается «смазать» семейный конфликт, спустить его на тормозах. «Мне гадко, мне нездоровится, мне ненавистна моя жизнь, я целый день плачу, и если б под руками яд был, я бы кажется отравилась. Разделять эту жизнь я тебя не зову и опять не лгу. Твое присутствие меня тоже расстраивает, тем более что я ни тебя не могу успокоить и утешить, ни себя. Прощай».

В ответ получает «тихое, покорное» (по ее выражению) письмо, из которого следует, что как ни хороша жизнь в Ясной Поляне, а семьи Л.Н. всё-таки не хватает, и он ждет призыва вернуться. «Пишу тебе, душа моя, из Ясной, в комнатке Алексея Степановича, где мне очень хорошо… Со мной и спал на печке Петр Шинтяков. Марья Афанасьевна, Агафья Михайловна пили чай и беседовали вчера, а нынче я проехался верхом, напился кофею и начал заниматься, но не мог много сделать — голова болит по-мигренному, и чувствую слабость. Я не утруждаю себя и читаю старые Revues и думаю. Упиваюсь тишиной. Посетителей избегаю. Мне очень хочется написать то, что я задумал. В доме топят в тетинькиной комнате. Перейду только, если будет совсем теплый и легкийвоздух. Пробуду я, как Бог на сердце положит и как ты напишешь».

«Нет, не вызываю я тебя в Москву, — отвечает С.А., - живи сколько хочешь; пусть я одна уж сгораю, зачем же двум: ты нужней меня для всех и вся. Если я опять заболею, я пришлю телеграмму, тогда уж делать нечего. Наслаждайся тишиной, пиши и не тревожься; в сущности всё то же при тебе и без тебя, только гостей меньше. Вижу я тебя редко и в Москве, а жизнь наша пошла врозь. Впрочем, какая это жизнь — это какой-то хаос труда, суеты, отсутствия мысли, времени и здоровья и всего, чем люди живы… Прощай, Левочка милый, будь здоров. Где ты? т. е. ты такой, какой был когда-то в отношении меня. Такого теперь тебя давно нет. Прощай, уж 2 часа ночи, а еще дела мне много».

В этом письме есть недвусмысленная «шпилька», скрытая цитата из названия его нового рассказа «Чем люди живы».

В письме С.А. снова перечисляет городские развлечения детей, хотя, конечно, знает о его отношении к ним.

«Сегодня мальчики, Илья и Леля, были в опере, еще Коля Оболенский, Иван Михайлович и Сережа. Леля всплакнул, говорят, когда в Фаусте один убил другого на дуэли. Вечером они были в цирке с Келлер, Лярскими, Оболенскими и Олсуфьевыми. Пять лож брали. Завтра утром я везу девочек в цирк и Андрюшу, а вечером на вечер к Оболенским. В субботу на вечер к Лярским: Олсуфьевы отменили свой вечер».

В следующем письме — снова описание балов: «Сейчас

вернулись от Оболенских, милый Левочка, усталые, и детям, кажется, было весело. Таня тоже танцевала, и Таня Олсуфьева была, и Лярские две, и Келлеры — пар 15-ть должно быть. Даже старик Олсуфьев приехал и всё говорил: „мне очень весело!“… Были днем в цирке: чудесный цирк, а мне было весело на Андрюшу смотреть, хотя и сознаю, что подобные увеселения вредны детям. Но он вслух рассуждал, смеялся, даже аплодировал мальчику и пони». И — жалоба на перегруженность: «Мне пришлось прервать письмо: я кормила, раздевалась, кончала все дела и теперь скоро три часа ночи, так я всякий день ложусь». И — совет не спешить с возвращением: «Поправляйся здоровьем, живи в Ясной, сколько хочешь, пиши и наслаждайся. Если пошла жизнь врозь, то надо устраиваться каждому наилучшим образом, что я и постараюсь для нас, т. е. меня и детей. До сих пор мне еще очень тяжело и непривычно, но люди ко всему привыкают».

Так построены почти все письма С.А. к Л.Н. этой поры. Их (детей) веселье, ее (жены и матери) усталость и бессонные ночи, его (мужа и отца) покой и наслаждение. И на всё это она согласна. И — так и надо. Если уж *пошла жизнь врозь.* Но она не скрывает, что это ей больно.

Иногда она признается, что ее письма «злые» и «дурные». Иногда она сама мечтает о переезде в Ясную. Но не просит мужа вернуться в Москву. Напротив: «В первый раз в моей жизни, милый Левочка, я сегодня не обрадовалась твоему скорому возвращению. Ты пишешь, в понедельник или во вторник выедешь: значит, может быть, завтра ты приедешь и опять начнешь страдать, скучать и быть живым, хотя и молчаливым, укором моей жизни в Москве. Господи, как это наболело во мне и как измучило мою душу! Это письмо тебя может быть не застанет; если же застанет, то не думай, что я очень желаю твоего возвращения; напротив, если ты здоров и занимаешься и, особенно, если тебе хорошо, то зачем же возвращаться? Что ты мне не нужен ни для каких житейских дел — это несомненно. Я всё держу в порядке и в равновесии пока: дети покорны и доверчивы, здоровье лучше, и всё идет в доме, как следует. Что же касается до духовной моей жизни, то она так забита, что не скоро и дороешься до нее. И пусть будет пока забита, мне страшно ее раскопать и вывести на свет Божий, что я тогда буду делать? Эта внутренняя, духовная сторона жизни до такой степени не согласуется с внешней».

В конце семейной жизни она будет всячески стараться привязать мужа к себе. Она не будет отпускать его одного никуда, даже к родной дочери и зятю, не говоря уж о Черткове. Она будет всеми силами препятствовать его отъезду в Стокгольм. И в

качестве последнего аргумента в их ссорах будут звучать ее обещания полностью разделить его духовную жизнь и жить с ним хоть в избе. И он… бежит из Ясной Поляны. В письме к мужу после его ухода она будет соглашаться на всё, на любые его требования, только бы он вернулся. И он убежит из Шамордина.

Но сейчас, в Ясной, получая из дома письма, казалось, предоставлявшие ему свободу действий и моральное право не участвовать в «суете сует» московской жизни, где его взрослая дочь отбивает каблуки на балах, а маленький сын — ладоши в цирке, где жена не ждет его возвращения и даже пишет, что без него жить спокойнее, — он не только возвращается, но начинает самым энергичным образом устраивать свое семейное гнездо. Победа С.А. в этом эпистолярном поединке супругов за свои права была полной. Именно потому, что она не покушалась на *его* права. Но и давала ему понять, что семья проживет и без него.

Впрочем, ответные письма Л.Н. тоже не без «шпилек». Например, он напомнил ей об Арсеньевой. «Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если бы женился на Арсеньевой. „А теперь уехали, бросили ее там с детьми, — делай, как знаешь, а сами сидите, бороду расправляете“. Это было хорошо».

Но в целом тон его писем грустный. Покой деревенской жизни влияет на него благотворно, но как раз в тиши он понимает, что не может прожить без семьи. Даже конкретно — не может жить без С.А.

«Не могу я с тобой врозь жить… Мне непременно нужно, чтобы всё было вместе… Ты говоришь: „Я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо“… Только этого и надо. И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня».

Это его покорный ответ на письмо жены, в котором она, жалея мужа, тем не менее напоминала, что причина семейного конфликта — его новые убеждения:

«Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне это кажется ясно. Мне тебя жаль ужасно, и, если б ты без досады обдумал и мои слова, и свое положение, то, может быть, нашел бы исход. Это тоскливое состояние уже было прежде, давно; ты говорил: „От безверья повеситься хотел“. А теперь? — ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве прежде ты не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать? Прощай, милый мой друг; как бы утешить тебя, голубчик, я только одно могу — любить и жалеть тебя, но тебе уж этого теперь не надо. Что ж тебе надо? Хоть бы знать».

Беда была в том, что он и сам в то время не знал, что ему надо. Ясная для него мысль о несправедливости устройства жизни не имела позитивного выхода. Печатать «Исповедь» нельзя. Нет друзей и единомышленников. Не пишется…

На стороне С.А. - дети, ее родня и весь московский свет. На стороне Л.Н. - *никого.* Даже самые близкие в литературной сфере, Фет и Страхов, не понимают смысла переворота, происходящего с Толстым. В это время он рассорился и со своей духовной корреспонденткой Alexandrine Толстой. Когда они встретились в Петербурге зимой 1880 года, между ними разгорелся спор. А.А.Толстая была горячей сторонницей церковного понимания веры. Уезжая из столицы, Л.Н. написал ей: «Я не приеду к вам и уеду нынче. Пожалуйста, простите меня, если я вас оскорбил, но если я сделал вам больно, то за это не прошу прощенья. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться от лжи привычной и спокойной».

В следующем письме он пытался найти путь к примирению, написав, что хотя не думает, что «мущина» с ее образованием может верить в церковные обряды, «но про женщин не знаю».

Старшие дети, Сергей и Татьяна, не могут поддержать отца. Они слишком молоды и увлечены городскими удовольствиями. К тому же Сергей, как всякий порядочный студент, влюблен в Писарева и Чернышевского, посещает студенческие сходки, распространяет прокламации против правительства и т. д. Он позитивист и считает, что только математика и естественные науки есть истинное знание. Он обижен на отца за его презрение к университетской учебе.

Татьяна была настроена к отцу теплее. Все дочери по мере взросления становились преданными сотрудниками отца, с радостью и даже с ревностью выполняя для него секретарские обязанности… пока не выходили замуж.

Но в начале 80-х годов Танечка просто не могла разделять с отцом его трудов и идей. Таня становилась светской барышней, и это ей очень нравилось в отличие от нудных нравоучений отца.

«Недавно папа вечером спорил с мама и тетей Таней и очень хорошо говорил о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим — уж мама нас гнала спать, и мы с Маней и тетей Таней уж уходили, но он поймал нас, и мы простояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожей на Фифи Долгорукую, и что мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, что я со всем этим согласна и что я умом всё это понимаю, но что душа моя остается совсем равнодушной ко всему хорошему, а вместе с тем

так и запрыгает, когда мне обещают новое платье или новую шляпку…»

Позиция «тети Тани» (Т.А.Кузминской) тоже не в пользу Толстого. Она боготворила его как писателя, особенно как автора «Войны и мира», где стала прототипом главной героини. В 80-е годы она сама написала под его влиянием и руководством рассказы из крестьянского быта, напечатанные в «Вестнике Европы». Но ее привычки и отношение к жизни не совпадали с новыми убеждениями Толстого.

«Таня — прелесть наивности эгоизма и чутья… — записал Толстой в дневнике 1863 года, гениально выразив внутренний мир свояченицы. — Люблю и не боюсь».

Ее стычки с Толстым в Ясной были притчей во языцех. Однажды Толстой, уже будучи вегетарианцем и заразивший этим и своих детей, к приезду «тети Тани», не признававшей вегетарианства, приказал привязать к стулу за обеденным столом курицу и положить на стол нож «Ты хочешь курочки? Возьми ее и зарежь».

Но и «тетю Таню» было не просто смутить. Сын Толстого Лев Львович вспоминал эпизод яснополянской жизни:

«Вот, например, утро, и на „крокете“ — площадке перед домом — накрыты два стола для утреннего кофе. Один стол Толстых, другой — Кузминских. Лакеи и горничные несут издали, из кухон, вкусный кофе, свежие, сдобные булки, горячий хлеб с изюмом, жирные сливки и готовят всё это на белоснежных скатертях. Господа встали, прогулялись, искупались и собираются кушать. Приходит на крокет и Лев Николаевич…

— И вам не совестно, — вдруг спрашивает „тетеньку“ Лев Николаевич, — и тебе, Таня, не стыдно сидеть так и жрать, и видеть, как мужики провозят мимо нас сено? И не стыдно, что прачки тебе стирают на пруду эти скатерти?

— Нет, нисколько, — отвечает храбро тетя Таня, — надо же выпить кофе! Я иначе не могу.

Лев Николаевич тогда замолкал и сам присаживался к столу выпить чашку кофе».

В письмах к старшей сестре Кузминская протестовала против ее слишком покорного отношения к мужу. С.А. ей отвечала: «Мужчины постоянно напрягают ум и, следовательно, нервы, потому голову и нервы их надо беречь прежде всего; и за эту тишину, за соблюдение их нервов они, после работы, приносят в семью хорошее расположение духа…»

Итак, ни со стороны детей, ни со стороны «тети Тани» поддержки быть не могло.

Но, может быть, Толстого могла поддержать его собственная

родня, сестра и брат?

Нет, и с этой стороны поддержки ждать не приходилось. Скорее, сестра и брат сами нуждались в его поддержке, и душевной, и материальной. «Дядя Сережа», Сергей Николаевич Толстой, был замечательным человеком, но в жизни он не смог устроиться надежно и крепко. Не ладились его отношения с детьми, особенно с сыном Гришей, не ладилось и его хозяйство в имении Пирогово, не приносившее достаточного дохода. По-настоящему ему удавалась только охота, и ряд волчьих зубов вдоль дорожки пироговского парка был тому живописным свидетелем. По убеждениям он был консерватор, читал «Московские ведомости», а потом «Новое время», для развлечения читал английские романы, ради чего даже выучил английский язык Он был настоящим знатоком русских и цыганских песен и, перебравшись с семьей в Москву в то же время, когда туда переехал младший брат Лев, Сергей Николаевич однажды взял племянника Сережу в Стрельну — слушать цыган.

«Дядя с цыганами обращался по-барски, — вспоминал Сергей Львович Толстой, — знаменитому дирижеру Федору Соколову, к которому мы, молодежь, относились с почтением, говорил „ты“, заказывал старинные песни и бранил цыган за то, что они забыли настоящие цыганские и русские песни. Цыгане относились к нему с большим почтением, Федор Соколов всячески старался угодить его сиятельству. В эту ночь я понял прелесть цыганского пения лучше, чем когда-либо».

Вот была настоящая стихия Сергея Николаевича. Переписка братьев начала 80-х годов говорит о том, что старший брат постоянно нуждался в средствах и обращался с просьбой о деньгах к младшему, у которого денежные дела шли как раз хорошо.

«В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии. Я говорю — финансовые дела нашей семьи, а не отца, потому что отец всегда считал, что его состояние принадлежит не только ему, но и всей его семье, и для него не было вопроса о том, чтобы дать матери столько денег, сколько ей понадобится. В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей от бр. Салаевых».

«Я с детства слышал, — вспоминал также Сергей Львович, — что дядя — отличный хозяин, но потом убедился, что это неверно. Он хорошо знал условия тогдашнего хозяйства, но был нерасчетлив, неделовит и вел хозяйство по-барски… Он был

подозрителен, но нередко подозревал не тех, кого следовало подозревать. В результате с каждым годом его материальное положение ухудшалось». Прожив в Москве четыре зимы, старший брат не потянул городскую жизнь, отнюдь не по настроениям и убеждениям, а просто — по нехватке денег. И опять заперся в Пирогове.

«Вы ведь живете на деньги, полученные от писаний вашего отца, — любил говорить Сергей Николаевич домашним своего знаменитого брата. — А мне надо учитывать каждую копейку. Вашего отца приказчик обворует на 1000 рублей, а он его опишет и получит за это описание 2000 рублей: тысяча рублей в барышах… Я не могу так хозяйничать…»

Толстой всю жизнь нежно любил и уважал своего красивого и независимого брата, настоящего русского барина, но никакой поддержки в своих исканиях с его стороны он ждать не мог.

Не мог он их ждать и от сестры. Ее собственная жизнь катилась под откос. После развода с мужем и несчастным романом с де Кленом она лечилась у гомеопата Д.С.Трифоновского и подружилась с этим «добродушным, чудаковатым, бескорыстным и религиозным» человеком. Он, а также популярный протоирей Архангельского собора Валентин Амфитеатров оказали на нее религиозное влияние, но это было не то влияние, которое мог оказать на нее брат Лев. У нее, как и у Сергея Николаевича, были серьезные проблемы с детьми. У нее был тяжелый и капризный характер. Она нигде не могла ужиться, ни в своем имении Покровское, ни в Москве, ни за границей. Она пыталась жить в Ясной, но и там не заладились ее отношения с С.А. Она была своенравна и остроумна. Однажды в Москве к ней пристал уличный ловелас. Она подвела его к фонарю, подняла вуалетку и сказала: «Посмотрите на меня, и, наверное, вы от меня отстанете». Когда компания каких-то дачников рядом с Ясной Поляной попросила ее провести их к Льву Толстому, она ответила: «Сегодня льва не показывают, показывают только мартышек». В конце концов только в монастыре смогла найти покой и гармонию ее гордая и независимая натура.

И вот, с какой стороны ни посмотри, но единственным человеком из близкого окружения Толстого, который мог его как-то понять, была только его жена.

В обширной литературе о Толстом, возникшей еще при его жизни, поселилось расхожее мнение, что в начале 80-х С.А. не поняла своего мужа, и это стало причиной их семейного конфликта. Это неправда. Как раз жена была единственной, кто его поняла. И *это* стало причиной их семейного конфликта.

Во-первых, С.А. была очень умной женщиной. На наш взгляд,

гораздо умнее не только младшей сестры, но и Марии Николаевны, и даже Александры Андреевны Толстой. Ее ум был не односторонний, не лежавший только в сфере материальных интересов. В своей переписке начала 80-х годов Толстой почти не обсуждал с женой духовные вопросы не потому, что они ее не касались, а потому что у них было много времени для их обсуждения и без переписки. Тот накал споров, которые происходили и в Ясной Поляне, и в московском доме Толстых, говорит, что у С.А. была своя, жесткая позиция по этим вопросам. Они ее слишком касались лично. Она не могла не просчитывать последствий духовного переворота мужа для своей семьи и ясно видела, что последствия эти — смерть семьи в ее прежнем благополучном виде. Для нее эти вопросы были не умозрительными, как для Alexandrine, а буквально вопросами жизни и будущего счастья или несчастья семьи.

Свое место в духовном перевороте мужа она объяснила так «Вероятно, я не была достаточно умна, чтобы понять всё то духовное миросозерцание мужа, к которому он пришел тяжелым, продолжительным и сложным путем; и не была достаточно глупа, чтобы слепо, без рассуждений, с тупой покорностью идти за ним. Да и времени не было на размышления».

Во-вторых, С.А. знала истоки этого нового духовного миросозерцания. Его рождение происходило на ее глазах, в тех сочинениях, которые она переписывала, в их черновиках, в дневниках Л.Н., которые она читала и которые писались с сознанием того, что жена это прочтет. Наконец она знала, и это тоже важно, о его физических слабостях и недомоганиях: зыбкой психике, больной печени и постоянных головных болях. Она знала тайные причины перемены его настроений, в том числе и такие, которые проистекали из интимной супружеской жизни пожилого, но еще очень биологически сильного мужчины, и еще молодой, но постоянно рожающей и кормящей женщины.

И Толстой знал, что она это знает. Поэтому в их письмах гораздо больше подтекста, нежели самого текста. Иногда маленькая деталь, вроде сентиментально вложенной в письмо незабудки, которую 60-летний Толстой отправляет из Ясной жене в Москву, говорит больше, чем слова.

Когда мужчина и женщина так любят друг друга и когда их связывает такое количество любимых ими детей, они, рано или поздно, даже при всех возникающих разногласиях, должны найти какой-то новый формат семейных отношений, который устраивал бы обоих вполне.

Порой возникает странное ощущение, что этим идеальным форматом была переписка между супругами во время отъездов

Л.Н. в Ясную Поляну или в Самарскую губернию. Письма Толстого к жене занимают два самостоятельных тома в полном собрании его писем. Есть только один второй корреспондент, который удостоился такого же эксклюзива. Это Владимир Григорьевич Чертков.

Среди нескольких сотен писем Толстого к жене мы не найдем ни одного послания злого, резкого, тем более — оскорбительного. Даже в его письмах, написанных во время ухода 1910 года, нет ни одной оскорбительной строчки.

«Душенька», «голубушка», «милый друг» — обычная форма эпистолярного обращения Толстого к жене. Все ссоры и разногласия в его письмах обретают какой-то иной, осмысленный характер.

«В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, — пишет он жене 26 сентября 1896 года, после тридцати четырех лет их совместной жизни, — только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое всё-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне этого нечего желать; я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мной душой так, как ты совпадешь после моей смерти».

Это признание, во-первых, удивительно тем, что в нем Толстой всё-таки признает личное бессмертие и возможность загробного взгляда человека из иного мира на оставленных в этом мире близких. Это так не согласуется с религиозной философией Толстого, отрицавшей всякое индивидуальное бессмертие, что заставляет усомниться в его пресловутом «буддизме». Во-вторых, Толстой оказался стопроцентно прав! После его смерти С.А., действительно, стала проникаться его взглядами, и весь последний девятилетний период ее жизни посвящен этому непростому «душевному совпадению».

В письмах муж и жена лучше, яснее и отчетливее, понимают друг друга. Словно падает пелена с их отношений, и самая их ссора вдруг приобретает какой-то другой, более глубокий смысл.

Казалось бы, их идеалы полностью противоположны. Он зовет в будущее, она — в прошлое. Он предлагает сжечь мосты и ничего не бояться. Она берет на себя обязанность сохранения старого домашнего очага. Он зовет кочевать, она — остаться на старом месте.

Когда эти позиции проявляются в письмах, они перестают быть только семейными разногласиями.

О н а: «Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь

производишь — это что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоуменье: отчего? за что? Вокруг всё так хорошо и счастливо».

О н: «Тот побирается, тот в падучей, тот в чахотке, тот скорчен лежит, тот жену бьет, тот детей бросил. И везде страдания и зло, и привычка людей к тому, что это так и должно быть».

О н а: «… я так чувствую весь трагизм твоего положения…»

О н (о пожаре в Ясной Поляне, когда сгорело 22 двора): «Очень жалко мужиков. Трудно представить себе всё, что они перенесли и еще перенесут… Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость и уверенность в свою силу, и спокойствие».

О н а: «Да, мы на разных дорожках с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я — *городская,* и как бы я ни рассуждала и не стремилась любить деревню и народ, — любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я *не понимаю* и не пойму никогда деревенского народа… Когда ты уходишь в эту деревенскую атмосферу нравственную, я за тобой болезненно и ревниво слежу и вижу, что тут мы *наверное* не вместе; и не потому, что я этого *не хочу,* а потому, что менее, чем когда-либо, *могу».*

Может быть, С.А. и не понимала мужа, когда его вообще мало кто понимал. Но она никогда не позволяла детям в ее присутствии усомниться в том, что поступки и писания отца продиктованы высшими соображениями. «Прощай, милый Левочка, — пишет она мужу, — я хочу, чтоб Таня (дочь. — *П.Б.*) тебе писала, а она говорит: „Он пишет три строчки, за что же мы ему будем писать три человека по три листа“. А я говорю: „Он за то пишет 300 страниц для всего мира“. Целую тебя!»

«Твоего хорошего и доброго хватает на всю семью, — признает она в другом письме, — или, как Урусов выразился в прошлое воскресенье, что „вы все в его лучах живете и не цените это!“ Ну а без тебя лучей нет, и приходится самой хоть слабым светом светить».

Первый уход

14 июля 1882 года старший нотариус Московского окружного суда подписал купчую крепость на покупку Толстым за 27 000 рублей в рассрочку дома № 15 в Долго-Хамовническом переулке коллежского секретаря И.А.Арнаутова. Этот дом очень советовал

купить дядя жены Толстого Константин Ислявин. Он писал: «… роз больше, чем в садах Гафиза; клубники и крыжовника — бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет штук 30; 2–3 сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода — тут же, чуть ли не лучше мытищинской! А воздух, а тишина! И это посреди столичного столпотворения. Нельзя не купить».

Кажется, тишина и наличие огромного фруктового сада, в котором можно было заблудиться, как в лесу, и привлекли Толстого. Сам дом был очень старый и недостаточно просторный. Построенный в 1808 году, он пережил нашествие Наполеона на Москву и не сгорел только потому, что редкие строения Хамовнического района прерывались большими зелеными массивами. В доме не было электричества, уже существовавшего в ту пору в Москве. И наконец, его забор упирался в кирпичную стену пивоваренного завода. И весь район был фабричный, окраинный. Соседи были хорошие, Олсуфьевы.

На лето семья Толстых вернулась из Москвы в Ясную. И вот здесь-то в августе случилось событие, которого С.А. боялась больше всего. Возможно, предчувствуя его, она и отговаривала мужа от слишком поспешного возращения в Москву. Но не в Москве, в Ясной он впервые высказывает желание уйти из семьи.

В Москве он чувствовал страшную слабость и желание умереть. Толстой писал Страхову: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что по-моему нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна…»

В Ясной, на двадцатилетнюю годовщину их семейной жизни, разразилась гроза. С.А. пишет в дневнике:

«В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи. Умирать буду, а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце. Молю Бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 2 0 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствовании. Я ревную его… Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, Господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа. Я загадала: если он не придет, он любит другую. Он не пришел».

Из «тихого, покорного» мужа Л.Н. превращается в зверя в клетке, а С.А. из мудрой, уверенной хозяйки дома — в безумную женщину, которая боится, что муж ее бросит. То, что во время разлуки кажется наносным, в реальности оказывается самым важным. Какие-то «курточки» чуть не становятся причиной развода. Попробуем предположить, что имела в виду С.А. под «курточками». В Москве Толстой пилил дрова и шил сапоги. Это была его мужская, *мужицкая* работа. Ну, так отчего бы не пошить курточки для детей?

Позже они помирились. С.А. пишет в дневнике: «Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь. Никогда не забуду того прелестного утра, ясного, холодного, с блестящей, серебристой росой, когда я вышла после бессонной ночи по лесной дороге в купальню. Давно я не видала такой торжествующей красоты природы. Я долго сидела в ледяной воде с мыслью простудиться и умереть. Но я не простудилась, вернулась домой и взяла кормить обрадовавшегося мне и улыбающегося Алешу».

В этой записи настораживает навязчивая мысль о самоубийстве. В письме она намекала о «яде», теперь во время купания в пруду мечтает простудиться и умереть. Суицидальный характер С.А. во многом объясняется ее беременностями, проблемами кормящей матери, непрерывными болезнями детей и ранней смертью троих из них (потом будут еще двое). Он был связан и с непростым поведением ее мужа. Но в ее характере присутствовали и изначально присущие черты. Жена Толстого была, так сказать, *экстремисткой* в любви. Это видно по всем ее дневникам, включая ранние. Ту ревность, которую она испытывала к Аксинье, мечтая «разорвать на куски» ее ребенка, ко всем бывшим женщинам ее мужа вообще, нельзя объяснить иначе как изначальными особенностями ее женского характера.

«Всё его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с этим».

«У меня столько глупого самолюбия, что если я увижу малейшее недоверие или непонимание меня, то всё пропало. Я злюсь. И что он делает со мной; мало-помалу я вся уйду в себя и ему же буду отравлять жизнь».

«Он целует меня, а я думаю „не в первый раз ему увлекаться“».

«Бедный, везде ищет развлечения, чтоб как-нибудь от меня избавиться. Зачем я только на свете живу».

«…я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому».

«Так бы ушла, ушла куда-нибудь далеко, посмотрела бы, что дома, а потом опять пришла бы сюда домой».

«Можно умереть от счастья и унижения с таким человеком… Мне легче, когда его нет».

«Если б я могла убить его, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».

«Только и есть муж, т. е. Левочка, который всё, в котором и заслуга моя, потому что я его люблю ужасно, и ничто мне не дорого, кроме его».

«Я только что была не в духе и сердилась за то, что он всё и всех любит, а я хочу, чтоб любил меня одну».

«…чтоб он и жил, и думал, и любил — всё для меня».

«Мое несчастие — ревность».

«Я плакала как сумасшедшая и после не подумала, как всегда это бывает — о чем, а так знала и понимала, что есть о чем плакать, и даже умереть можно, если Лева меня не будет так любить, как любил».

«Я для Левы не существую».

«Нет жизни. Любви нет, жизни нет. Вчера бежала в саду, думала, неужели же я не выкину».

«Ничего, кроме его и его интересов, для меня не существует».

Всё это цитаты из ее дневника до рождения их первого ребенка. Это писала не уставшая, измученная женщина, а восемнадцатилетняя Сонечка.

Она всегда хотела находиться при муже неотлучно. «С рождения Илюши, — пишет она в дневнике 1866 года, — мы с ним живем по разным комнатам, и это не следует, потому что будь мы вместе, я бы не выдержала и всё ему бы высказала нынче же вечером, что во мне накипело, а теперь я не пойду к нему, и так же и с его стороны».

Но так ли не заботился Толстой о детях накануне ссоры с женой в августе 1882 года? В дневнике Тани Толстой читаем: «Илюша стал сильно нездоров. Послали за доктором, и он сказал, что у него тиф. Его перевели наверх, в балконную комнату. У меня тоже сделался флюс, и папа меня лечил — делал мне припарки из уксуса, соли, спирта и отрубей, которые мне очень помогли… Раз я лежу у Илюши в комнате с ужасной болью, Илья тоже стонет от жара, как вдруг входит папа; спросил — как мы, и говорит: „даже смешно“. И мы вдруг так стали все трое хохотать, что папа сел и чуть не повалился от хохота на пол, а я не помню, когда я так хохотала во всей моей жизни, и Илья тоже».

В глазах детей ссора родителей выглядела иначе, чем в дневнике С.А. «На днях папа с мама ужасно поссорились из-за пустяков, и мама стала упрекать папа, что он ей не помогает и

т. д., и кончилось тем, что папа ночевал у себя в кабинете, будто бы для того, чтобы ему не мешала спать мама, которая поминутно вставала к Илье. Но на другой день последовало примирение. Леля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут. Теперь они между собой так ласковы и нежны, как уже давно не были. Папа обещал больше входить во все семейные дела и выражать свою волю, чего мама так и хотела».

10 сентября, оставив семью в Ясной, Толстой едет в Москву заниматься ремонтом и благоустройством дома в Хамовниках. Он с таким азартом берется за это дело, что семья в изумлении. Он ходит на Сухаревский рынок в магазин старой мебели и подбирает гарнитур только из красных пород дерева, вместе с архитектором занимается планировкой будущих комнат для всех членов семьи. Говоря нынешним языком, он готовит дом «под ключ» и мечтает о том мгновении, когда семья увидит это великолепие.

Он как будто перехватывает у жены эстафету двадцатилетней давности, когда она, приехав в барское логово мужа в Ясной Поляне, навела в нем «буржуазный» порядок. Теперь он хочет продемонстрировать ей свой вкус и выбор.

Жена даже начинает волноваться…

«Сейчас получила твое письмо, милый Левочка, и оно меня смутило. По тону я вижу, что совсем дом не готов, переезжать бог знает когда придется. А по содержанию ничего подобного понять нельзя. Что именно не готово на верху, готовы ли те две комнаты из коридора и девичья, и кухня? Ты как-то всегда забываешь людей. Потом если занять мебелью низ, то где же жить? Ведь мебели много, она громоздка, и ее всю поломают в тесноте, если жить. Вообще я ничего не могу сказать, что я думаю и когда я перееду; мне надо бы всё знать поподробнее».

Толстой сам покупает и подбирает всё: от экипажей до цвета обоев. Сам занимается всем: от перекладки русской печи до перевозки мебели и вещей из дома в Денежном переулке. Он явно спешит осчастливить семью. Всего месяц ему потребовался на то, чтобы обустроить новый дом. «Какое глупое было распоряжение архитектора велеть красить полы под осень, — ворчит жена в письме. — Всё лучше, чем теперь сырой пол, к которому всё приставать будет, и запах краски замучает».

Наконец, 10 октября семья въезжает в новый дом. Этот эпизод запечатлен в дневнике Тани Толстой как великолепный праздник:

«Мы приехали в Арнаутовку вечером. Подъезд был освещен, зала тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всем видно, что папа всё обдумал и старался всё

устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад — восхищение!»

С этого момента начинается как будто новый светлый период жизни семьи Толстых. Это, конечно, не яснополянский рай, но близкое к этому. В книге Опульского «Дом в Хамовниках» повседневный московский быт семьи описывается так:

«Завтракали Толстые около часа дня, обедали в шесть, к вечернему чаю собирались к девяти. Стол сервирован к обеду на 12 персон. Вокруг стола и около стен — венские стулья. Хозяйка дома Софья Андреевна сидела во главе стола, спиной к окну. Напротив нее — старший сын Сергей Львович, слева от нее — младший сын Ванечка, направо — младшая дочь Саша. Лев Николаевич обычно садился возле Ванечки, рядом с ним — дочери Татьяна и Мария, а напротив — сыновья Илья, Лев, Михаил и Алексей. Впрочем, своей семьей садились за стол редко: всегда бывали гости.

Во время обеда перед Софьей Андреевной ставилась миска с мясным супом, а с левой стороны стопка глубоких тарелок. Она стоя разливала суп в тарелки, а лакей разносил и ставил их перед сидевшими за столом на мелкие тарелки… Вина к семейному столу не подавали, но всегда стоял графин с водой и стеклянный кувшин с домашним квасом…»

Когда Толстой стал вегетарианцем, для него готовили особо — каши, винегреты, кисели, компоты… В ореховом буфете рядом с серебряной посудой всегда стоял белый эмалированный кофейник. Рано утром в него наливали ячменный кофе. Каждое утро Л.Н. забирал его вместе со стаканом и калачом и поднимался к себе в кабинет.

За столом почти всегда было очень оживленно. Издательница Л.Я.Гуревич вспоминала:

«Я так ясно вижу его (Толстого. — *П.Б.*), когда он сидит за длинным обеденным столом, жует хлеб уже беззубым ртом, рассказывает что-нибудь и смеется… Когда все бывали в сборе, за обедом бывало весело и шумно. Шутили, дразнили друг друга, играли в почту. Подростки хохотали во всё горло, до крика… Иногда тут же начинался какой-нибудь серьезный спор».

Кто только не побывал в Хамовниках! Художники Ге и Репин, скульптор Трубецкой, писатели Фет, Григорович, Чехов, Горький, философы Страхов и Соловьев, композиторы Рубинштейн, Римский-Корсаков, Аренский, Рахманинов, Скрябин. И все отмечали необыкновенное радушие и гостеприимство дома

Толстых. В одно и то же время в столовой Паоло Трубецкой лепил бюст Л.Н., а Николай Ге рисовал портрет С.А. Оригинал портрета находился в Ясной, а копия — в спальне супругов над диваном красного дерева, обитым палевым атласом. Спальня выходила на террасу. У выхода стоял стол-бюро С.А., тоже из красного дерева, на котором она переписывала «Воскресение», пьесы и статьи мужа.

Репин писал о ней с восторгом художника: «Высокая, стройная, красивая, полная женщина с черными энергичными глазами».

После перестройки московский дом Толстых стал большим и удобным. Зал, столовая, малая и большая гостиные, спальня, кабинет Л.Н. и отдельная рабочая комната, где он шил сапоги, детская комната, комнаты мальчиков, комнаты Тани и Маши, кроме того — угловая комната и посудная, комнаты экономки, портнихи, комната камердинера.

Рядом с главным домом находились флигель, сарай, дворницкая, кухня и беседка. Огромный сад. Зимой перед домом — каток.

Но заглянем в дневник Толстого… Такое впечатление, что он живет не в раю, а в аду.

В 1882 и 1883 годах Толстой почти не вел дневник, но с 1884 года начинает вести регулярно.

17 марта. «Утром внизу как будто задирал жену и Таню на то, что жизнь их дурна».

18 марта. «Дома — народ. Неловко и соблазнительно. Музыка, пение, разговоры. Точно после оргии».

23 марта. «Поехал верхом. Скучно ездить. Глупо — пусто. Попробовал поговорить после обеда с женой. Нельзя. Одна колючка и больная. Пошел к сапожнику. Стоит войти в рабочее жилье, душа расцветает. Шил башмаки до 10. Опять попробовал говорить, опять зло — нелюбовь. Пошел к Сереже. Говорил с ним глаз на глаз. Тяжело, трудно, но как будто подвинулся».

24 марта. «Два раза с женой начинал говорить — нельзя».

31 марта. «Остался один с ней. Разговор. Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал. Оказалось, что я раздражил ее еще 3-го дня утром, когда она приходила мешать мне. Она очень тяжело душевно больна».

24 апреля. «Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно».

26 апреля. «Пошел в книжные лавки, но не доехал, никто в конке не разменял 10 р. Все считают меня плутом. Вернулся, один

обедал… Ходил в лавку, зачем-то купил сыру и пряников. Как во сне — слабость… Дома разговаривал с m-me Seuron (гувернантка. — *П.Б.*) и Ильей. Он искал общения со мной. Спасибо ему. Мне было очень радостно. Потом приехали наши. Мертво».

3 мая. «…нашел письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души — ужасно не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне!»

4 мая. «Господи, избави меня от этой ненавистной жизни, придавливающей и губящей меня. Одно хорошо, что мне хочется умереть. Лучше умереть, чем так жить».

5 мая. «Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно всё стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть!»

6 мая. «Дома треск Кислинских. Тоска, смерть».

Весной они, как обычно, возвращаются на лето в Ясную Поляну. Но и тут Толстому нет радости.

28 мая. «Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Всё, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».

18 июня 1884 года Толстой отправился косить траву у дома, потом — купаться на пруд. Вернулся бодрый и веселый. Вдруг начались упреки жены за самарских лошадей, которых он завел, а теперь от них одни убытки, их поморили, и вообще он хочет от них избавиться. Спор принял злобный, истерический характер. Толстой ушел в кабинет, собрал котомку, с которой он ходил пешком в Оптину пустынь, и пошел по «прешпекту» вниз. Жена догнала его и спросила: куда он идет? «Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку и навсегда. Я не могу больше жить дома!» — кричал он со злобой и слезами. С.А. напомнила, что она беременна и ей вот-вот рожать. Он всё прибавлял шагу и скоро скрылся.

С половины дороги на Тулу он вернулся. «Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына», — с неприязнью пишет в дневнике. Спать пошел в кабинет на диване. В 3-м часу ночи жена разбудила его. «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Ночью родилась их дочь Саша.

Ни отец, ни мать не были этому рады.

Глава шестая
МИЛЫЙ ДРУГ

Отъезд Толстого из Шамордина ранним утром 31 октября удивительно точно повторяет его бегство из Ясной тремя днями ранее.

Те же самые свидетели и соучастники события. Саша Феокритова и Маковицкий должны были испытать чувство déjà vu, когда бледный, взволнованный и решительный Толстой внезапно разбудил их в гостинице в начале 4 утра.

«В начале 4-го ч. Л.Н. вошел ко мне, разбудил; сказал, что поедем, не зная куда, и что поспал 4 ч. и видел, что больше не заснет (и поэтому) решил уехать из Шамордина утренним поездом дальше. Л.Н. опять, как и под утро перед отъездом из Ясной, сел написать письмо Софье Андреевне, а после написал и Марии Николаевне. Я стал укладывать вещи. Через 15 минут Л.Н. разбудил Александру Львовну и Варвару Михайловну», — пишет Маковицкий.

Та же последовательность действий. Те же лица. Та же самая атмосфера. Глубокая ночь, переходящая в раннее утро. Полная темнота и тишина. Кроме беглецов, в монастырской гостинице не было ни одного постояльца. Та же внезапность решения Л.Н., который накануне вечером даже не простился с сестрой. Покидая ее келью, он оставлял Марию Николаевну в святой уверенности, что на следующий день они встретятся вновь. Те же, незадолго до бегства, переговоры с крестьянами о найме дома. В первом случае это был крестьянин Михаил Новиков, а во втором — вдова Алена Хомкина из деревни Шамордино.

И наконец, самая главная и пугающая общая деталь: полная неопределенность в вопросе: куда же они, собственно, едут? Как в Ясной Л.Н. не говорил своим близким, куда он в точности направляется, так и в Шамордине он как будто скрывал от них это.

Может возникнуть странное подозрение, что он сознательно сбивал их с толку, не позволял опомниться, деспотически подчинял их своей воле. Именно так ведут себя старцы, ошеломляя своих учеников самыми неожиданными послушаниями, не объясняя им значения

тех или иных своих слов и поступков, порой диких и даже кощунственных на первый взгляд. Стать юродивым было сокровенной мечтой Толстого. Так не пытался ли он во время ухода испытать эту модель поведения в действии?

Но от этой версии придется отказаться. В поведении Толстого в Шамордине чувствуется еще меньше уверенности, чем во время ухода из Ясной. Но главное, как и в Ясной, здесь незримо присутствует пятый человек — С.А. Она-то, собственно, и руководит всеми эксцентрическими поступками Толстого. Причем делает это не только против своей воли, но и не догадываясь об этом.

С.А.-то как раз желает обратного: остановить мужа, удержать возле себя. Но все ее поступки вызывают прямо противоположный эффект: Толстой срывается с места и бежит. Если бы она в то время могла учитывать прекрасно известное ей корневое свойство натуры своего мужа, его яростное внутреннее сопротивление всякому внешнему насилию, она, конечно же, повела бы себя как-то иначе. Но обсуждать, а тем более осуждать поведение С.А., во-первых, аморально, а во-вторых, бессмысленно.

Обследовавший ее сразу после бегства Толстого психиатр П.И.Растегаев дал хотя и осторожное, ввиду кратковременности обследования, но всё же вполне определенное заключение, что С.А. «страдает психопатической организацией (истерической)», а это «под влиянием тех или иных условий может представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном преходящем душевном расстройстве».

Факт есть факт. Толстой и в Ясной, и в Шамордине панически боялся своей жены, вернее, боялся внезапной встречи с ней. В Ясной боялся, что она проснется и станет свидетелем бегства. В Шамордине боялся ее внезапного приезда, возможность которого он уяснил из ее письма и писем детей. «Отец остался бы в Шамордине, — вспоминала А.Л.Толстая. — Он уже на деревне присмотрел себе квартиру… Но привезенные мною известия и письма встревожили его. Мы сидели в теплой, уютной келье тети Маши и разговаривали. Отец молча слушал. И вдруг, упершись руками на ручки кресла, быстрым движением встал и ушел в соседнюю комнату. Видно было, что он принял какое-то твердое решение».

Даже в позднейших воспоминаниях Саша делает акцент на письмах из дома, стараясь снять с себя ответственность за бегство отца из Шамордина, которое было уже чистым безумием. Но на самом деле она сама внесла немалую лепту в нагнетание страха перед призраком больной матери, к которой в то время относилась враждебно. Маковицкий в своих дневниках несколько иначе рисует сцену разговора в домике Марии Николаевны.

«Александра Львовна рассказала, что Софья Андреевна хочет непременно поехать за Л.Н.; что разведывают (через губернатора, через своего человека и через корреспондентов „Русского слова“), где находится Л.Н., и что предполагают, что в Шамордине и можно ожидать приезда Софьи Андреевны и Андрея Львовича.

Л.Н. сказал, что приезду Андрея Львовича был бы рад, что он его убедил бы, что ему нельзя вернуться, нельзя быть вместе с Софьей Андреевной, ради нее и ради себя.

Когда Александра Львовна высказала опасение, что Софья Андреевна уже в пути сюда; что утром прибудет; что надо собираться и утром в другое место уехать, Л.Н. сказал:

— Надо обдумать. В Шамордине хорошо.

Рассказал про квартиру в деревне, где поселится:

— Не хочу вперед загадывать.

Пришла Варвара Михайловна (Феокритова. — *П.Б.*), говорено было много про состояние Софьи Андреевны и про тревогу в Ясной Поляне.

На ней и особенно на Александре Львовне было видно, какой панический страх овладел ими.

Александра Львовна и Варвара Михайловна настаивали на том, что надо бежать дальше, и поскорее. Она (Александра Львовна) оставила своих ямщиков до утра, чтобы с ними поехать к 5-часовому поезду на Сухиничи — Брянск».

Против скоропалительного бегства Толстого были сестра и ее дочь Елизавета. Маковицкий занял нейтральную позицию врача, задача которого следить за состоянием здоровья беглеца, а всё остальное — уж как он сам решит.

Позже, приводя в порядок свои записи, Маковицкий честно корил себя за то, что проморгал начало болезни Толстого, и на прямой вопрос Елизаветы Валериановны

«можно ли ему ехать?» ответил: «Можно, слабость прошла».

Наверное, какую-то роль сыграло и то обстоятельство, что Толстой так и не дождался «бабы» из деревни, которая должна была подтвердить ему, что изба для найма готова. Л.Н. несколько раз спрашивал Маковицкого о ней, последний раз уже вечером, по дороге от сестры в гостиницу. Но «баба» так и не пришла. Вполне возможно, что до деревни уже дошел слух, какой именно постоялец хочет у них поселиться (сам граф Толстой!), и они попросту испугались. Если так, то это опять же в точности повторяло историю с попыткой Л.Н. поселиться в деревне у Михаила Новикова или рядом с ним.

Но главной причиной бегства был призрак С.А. Почему он так боялся этой встречи, что этот страх разбудил его среди ночи и заставил покинуть место, где ему явно нравилось и где он хотел остаться и, по-видимому, умереть?

Это важный момент! Толстой не собирался непременно бежать. Все версии о том, что им руководила какая-то иррациональная воля к бегству, то ли от смерти, то ли к смерти, или что в нем в конце жизни пробудился романтический дух странничества, желание посетить места своей молодости, вроде Кавказа, — на наш взгляд, совершенно не основательны. Они не учитывают самую главную особенность духовного настроения позднего Толстого. Ему было решительно всё равно, где находиться. Лишь бы его оставили в покое с его мыслями, с его Богом. Лишь бы внешние условия были настолько аскетичны, чтобы не терзали его совесть и не отвлекали его внимания от мыслей о Боге, о скорейшем воссоединении с Ним.

Он готов был жить в Оптиной, в Шамордине, в монастырской гостинице. Готов был стать послушником и выполнять любую черную работу. Только бы над его душой не было никакого внешнего насилия, только бы не заставляли притворяться, молиться и исповедоваться так, как он не считал для себя возможным.

Его духовный эгоцентризм в конце жизни достигает своего апогея. Он уже не желает идти на компромиссы с внешними требованиями жизни и желает служить исключительно тому внутреннему «я», тому «Льву Толстому», который не сегодня-завтра предстанет перед

Богом.

Изба, которую он хотел снять в Шамордине, состояла всего из двух комнат, двух «половин», в одной из которых жили две женщины, две вдовы. Там не было даже приличной кровати, только лежанка. Но Толстой, не раздумывая, согласился на этот вариант. Когда «баба» из деревни не пришла, он решил поселиться в гостинице.

В письме к Черткову, написанном перед бегством из Шамордина, он писал: «Едем на юг, вероятно, на Кавказ. Так как мне всё равно, где быть, я решил избрать юг, особенно потому, что Саша кашляет». Для больных легких дочери самым лучшим местом был Крым, где она недавно удачно вылечилась от чахотки. Именно крымское, а не кавказское направление они сначала обдумывали накануне в гостинице, склонившись над картой железнодорожного указателя Брюля. «Намечали Крым, — пишет Маковицкий. — Отвергли, потому что туда только один путь, оттуда — некуда. Да и местность курортная, а Л.Н. ищет глушь».

Вот, собственно, два требования, которые предъявлял Л.Н. новому и, очевидно, последнему месту своего пребывания. Это должна быть «глушь», однако из этой глуши должна быть возможность бежать дальше, если станет известно, что С.А. всё-таки решилась его преследовать.

Но как он узнает определенно? Об этом он позаботился в том же, последнем, письме к Черткову. «Самое главное следить через кого-нибудь о том, что делается в Ясной, и сообщайте мне, узнав, где я, известить меня телеграммой, чтоб я мог уехать. Свидание с ней было бы мне ужасно».

И снова зададим себе вопрос: почему он так боялся этой встречи, что вместо благодатного Крыма выбирает дикий Кавказ, где проще было скрыться от жены?

Здесь, кроме духовного настроения Толстого, надо учесть еще одну корневую особенность его натуры. Не вынося никакого внешнего насилия над собой, он также не выносил ссор и истерик В критической, а тем более в скандальной житейской ситуации он неизменно пасовал перед своей женой. Кроме его врожденной деликатности, это тоже было проявлением его эскапизма, синдрома беглеца. Ему было легче и проще согласиться, чем обосновать свою правоту. Проще было замять скандал внешним согласием, чем жестко настоять на своем. На

протяжении сорока восьми лет жизни с С.А. он непрерывно уступал, уступал и уступал. Даже в первые пятнадцать лет счастливой семейной жизни, когда он, зрелый и опытный мужчина, воспитывал свою молоденькую жену, он признавался, что жена имеет на него куда большее влияние, чем он на нее. Постепенно он передал ей весь круг мужских прав и обязанностей. Она владела Ясной, она распоряжалась доходами от его сочинений, написанных до 1881 года (остальными занимался Чертков), она нанимала охрану для усадьбы, она выдерживала натиск сыновей, то и дело нуждавшихся в деньгах.

Ценой внешних уступок и снятия с себя ответственности он покупал себе право на духовное одиночество, в котором в конце жизни, как философ, нуждался гораздо больше, чем в общении даже с самыми милыми людьми. Он уступил С.А. даже Черткова, вернее, возможность общаться с ним. Но одного Толстой уступить ей не мог — того внутреннего «Льва Толстого», которого он с величайшей заботой готовил к воссоединению с Богом.

Обратите внимание: единственная вещь, которую Толстой не уступил своей жене во время чудовищных скандалов последнего месяца перед уходом, был его дневник. Здесь он стоял буквально насмерть, рискуя разрывом сердца.

В остальном он был готов идти на любые уступки. И если бы С.А. настигла его в Шамордине, в Крыму, на Кавказе или на Луне, он, конечно, вернулся бы в Ясную. Не вынес бы ее слез и истерик. И это было бы постыдное возвращение. Кроме внешней нелепости (вернула домой сбежавшего безумного старика), оно означало бы такое колоссальное насилие над его душой и телом, что это было куда страшнее, чем смерть в дороге.

Еще накануне вечером в гостинице Толстой не имел твердого намерения уехать. Но он с Сашей, Феокритовой и Маковицким всё же обсуждал такую возможность. Они разложили на столе большую голубую карту популярного железнодорожного указателя Брюля. Это был потрясающий дореволюционный справочник по всем дорогам России, переиздававшийся два раза в год — в апреле и октябре. «Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений» выходил в летнем и зимнем варианте. Он

стоил недешево: 85 копеек без твердого переплета и 1 рубль 15 копеек в переплете. Его удобный, почти карманный формат тем не менее позволял вкладывать в него две огромные карты, каждая из которых после раскладки занимала небольшой стол. На одной карте была не только Россия, но и вся Европа, Южная Азия, Китай. Но беглецов наверняка интересовала вторая карта — более подробная.

Отказавшись от Крыма, как от дорожного тупика, «говорили о Кавказе, о Бессарабии. Смотрели на карте Кавказ, потом Льгов». «Ни на чем определенном не остановились, — вспоминает Маковицкий. — Скорее всего на Льгове, от которого в 28 верстах живет Л.Ф.Анненкова, близкий по духу друг Л.Н. Хотя Льгов показался нам очень близко, Софья Андреевна могла бы приехать…»

По-видимому, Льгов имела в виду и Саша, когда, по выражению Маковицкого, «оставила своих ямщиков до утра, чтобы с ними поехать к 5-часовому поезду на Сухиничи — Брянск». Но сама Саша, вспоминая их вечернее бдение над картой, называла Новочеркасск. «Предполагали ехать до Новочеркасска. В Новочеркасске остановиться у Елены Сергеевны Денисенко, попытаться взять там с помощью Ивана Васильевича заграничные паспорта и, если удастся, ехать в Болгарию. Если же не удастся — на Кавказ, к единомышленникам отца».

Все варианты были один хуже другого. Скрыться во Льгове от репортеров и С.А. было невозможно. Хотя Льгов был именно захолустным уездным городишком, в котором, согласно словарю Брокгауза, по данным 1895 года было всего чуть более пяти тысяч жителей. Он находился в шестидесяти верстах от Курска на реке Сейме. Имение поклонницы Л.Н. Леониды Фоминичны Анненковой располагалось в двадцати восьми верстах от города и, конечно, Толстого приняли бы в нем с распростертыми объятиями. «Какая религиозная женщина!» — восклицает Толстой об Анненковой в одном из писем. Анненкова не раз бывала и в московском доме Толстого, и в Ясной Поляне. С.А. ее не любила, как и всех «темных». К тому же Анненкова оказывала Толстому уж слишком интимные знаки внимания, присылая ему в Ясную собственноручно сшитые и связанные вещи: теплые носки, носовые платки, полотенца, летнюю шапочку. Она тем самым

вторгалась на территорию С.А. В сентябре 1910 года она последний раз посетила Ясную и получила полное представление о серьезности конфликта между Л.Н. и С.А. В письме к Толстому после отъезда она убеждала своего кумира не уступать жене. Толстой ответил ей сочувственным письмом, как «старый друг».

Переезд Л.Н. к Анненковой был бы жестоким ударом для С.А. Но Толстой и не думал останавливаться там навсегда. Только «отдохнуть». Но если бы они выбрали железнодорожную линию Сухиничи — Брянск, их дальнейший путь лежал бы на Киев, куда Л.Н. ехать вовсе не собирался. В противном случае надо было возвращаться обратно, всякий раз рискуя быть настигнутым С.А.

Казус заключался еще и в том, что через Сухиничи-Брянск доехать до Льгова было нельзя. На карте Брюля Льгов был ошибочно указан на линии Брянск-Артаково, что беглецы выяснили не сразу.

Другой казус заключался в том, что именно на этом поезде могла приехать из Горбачева в Козельск С.А. Эту вероятность и имела в виду Саша, настаивая на скорейшем отъезде из Шамордина. И если бы всё так сошлось, Л.Н. почти наверняка столкнулся бы с женой в Козельске при посадке в поезд, на котором она бы приехала за ним. Насколько это было серьезно (во всяком случае, в головах беглецов), можно понять из дневника Маковицкого. Когда они ехали ранним утром из Шамордина в Козельск, уже очевидно не успевая на 5-часовой поезд, они страшно боялись встретиться по дороге с С.А. Толстой очень торопил ямщика, а Маковицкий предложил поднять верх пролетки. На это Л.Н. не согласился (стыдно!), и тогда доктор сказал ямщику, «что если будут встречные спрашивать, кого везут, чтобы не отвечал». В этом напряжении они ехали до Козельска.

Чтобы добраться до Льгова, надо ехать не на Сухиничи (на запад, ошибочное направление), а на Горбачево (восток) и затем уже на юг: Орел-Курск Но в этом случае дальнейшее бегство предполагало бы Харьков и Симферополь, т. е. опять-таки Крым, куда Л.Н. ехать не хотел. К тому же на Курск через Горбачево прямого сообщения из Козельска не было. Пришлось бы в Горбачеве ждать пересадку восемь часов, опять же постоянно рискуя встретиться на этой узловой станции с

С.А., которая поехала бы из Г.Цекина в Козельск именно через Горбачево.

Таким образом, духовная поездка в Оптину и Шамордино через «глухой» Козельск оборачивалась для Л.Н. настоящей западней: выбраться из нее можно было только через то же самое Горбачево, откуда они и приехали в Козельск, но куда, в случае преследования мужа, неизбежно приехала бы его несчастная жена.

И вот, гонимый страхом, Толстой выбирает скорейший, с точки зрения железнодорожного расписания, но и самый длительный по географии маршрут: Козельск — Горбачево — Воронеж — Новочеркасск

Именно неумолимые законы российских железных дорог, а вовсе не романтическая любовь к Кавказу, оказались главной, решающей причиной того, что Толстой бросился бежать не на запад и не на юг, а на юго-восток, через бескрайние донские степи.

Поэтому так смешно и горько читать, что Толстой скончался «на богом забытой станции». Астапово-то как раз не было «богом забытой станцией». Это была крупная, узловая станция между Данковым и Раненбургом. Если бы болезнь Толстого не развивалась так стремительно и они без пересадки проскочили бы Горбачево, Данков, Астапово, Богоявленск, Козлов, Грязи, Графскую и, наконец, Воронеж, дальнейший путь лежал бы через пустые степи, через сотни и сотни верст, до первого крупного поселка — казачьей станицы Миллерово.

Восток — дело тонкое…

Не совсем пустыня

В предыдущей главе мы говорили, что в начале 1880-х годов Толстой в своих исканиях был одинок. Это не совсем точно. Толстой чувствовал себя одиноким, лишившись поддержки семьи, «…вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящее *я,* презираемо всеми окружающими меня», — писал он Михаилу Энгельгардту в конце 1882 года, исповедуясь перед незнакомым молодым человеком, который проявил сочувствие к его настроениям. Но в действительности уже с осени 1881 года, сразу после переезда Толстых в Москву, рядом с ним стали появляться люди, которые

хотя и не были «толстовцами», но были ему духовно близки и приятны.

Одним из таких людей оказался философ Н.Ф.Федоров, служивший библиотекарем Румянцевского музея. Ровесник Л.Н., он уже тогда выглядел как худенький, небольшого роста старичок, круглый год ходивший в одном и том же коротком пальтеце. Его называли «московским Сократом». Это был абсолютный аскет: жил в тесной каморке при библиотеке, спал на голых досках, постелив себе всё то же пальто, и свое немаленькое жалование главного хранителя библиотеки тратил на книги для той же библиотеки и раздавал нищим. Он был робок и застенчив, но вместе с тем горел внутренним огнем яростного защитника мировой культуры, особенно — книжной. Видевший его сын Толстого, Илья Львович, полагал, что «если бывают святые, то они должны быть именно такими».

Как мыслитель, автор «Философии общего дела», изданной после его смерти Петерсоном, бывшим учителем в яснополянской школе Толстого, Николай Федоров оказал влияние на Циолковского, Вернадского и Чижевского. Повлиял он также на многих советских писателей 20-30-х годов: от Андрея Платонова до Владимира Маяковского. Главная его мысль заключалась в том, что необходимо физически воскресить всех умерших людей, «поколение отцов», используя новейшие достижения науки. При жизни Федорова, да и после него это представлялось квазинаучной утопией. Но сегодня, в эпоху моды на «клонирование», это не кажется полным бредом. Для размещения воскрешенных он предлагал выход человека в космос и его заселение. В конце XIX века это тоже казалось утопией.

Толстой впервые увидел Н.Ф.Федорова в 1878 году, когда работал в Румянцевской библиотеке с материалами о декабристах. В октябре 1881 года, после первого месяца, проведенного в Москве («…самый мучительный в моей жизни», — жалуется в дневнике), он вновь встретился с ним и увидел совсем другими глазами. «Николай Федорыч — святой, — пишет в дневнике от 5 октября. — Каморка. Исполнять! Это само собой разумеется. Не хочет жалования. Нет белья, нет постели».

Но ничего общего с «философией общего дела» у Толстого быть не могло. Сама идея материального воскрешения «отцов» в корне противоречила тому, что искал в духовной сфере Толстой.

Он искал Царства Божия *внутри,* а не вне человека. И Федоров мог привлекать его только как человек, обретший Царство Божие внутри себя. Толстой был духовным эгоцентристом, Федоров — утопическим практиком. Для Толстого насильственное возвращение человека помимо Божьей воли в его

грешное земное воплощение было бы не просто неправильным, но *ужасным* актом. Наконец, у них были противоположные подходы к пониманию «общего дела». В понимании Толстого «общее дело» — это самое естественное дело, которым занимаются крестьяне. Федоров же призывал к служению одной идее, в этом плане являясь духовным коммунистом.

Федоров был в восторге от «Войны и мира». Но почему? «В „Войне и мире“, — писал он, — сам Толстой, сколько имеет сил, воскрешает своих отцов, влагая весь свой великий талант в это дело, — конечно, лишь словесно». Познакомившись с автором романа, Федоров ждал от него если не пропаганды своей идеи воскрешения, то уж, по крайней мере, дальнейшего словесного «воскрешения» отцов в своем творчестве. «При каждой встрече с моим отцом, — вспоминал старший сын Толстого Сергей Львович, — он требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить».

Но как раз в это время Толстой отходит от исторической прозы, а свои мечты о писании «в поэтическом роде» прячет глубоко в себе, признаваясь в этом только в письмах к жене. Больше того: в это время книжная культура вызывает в нем ненависть. Однажды Толстой пришел в Румянцевскую библиотеку. Федоров пригласил его в хранилище, чтобы он сам мог выбрать нужные книги. Толстой оглядел длинные ряды высоких шкафов со стеклянными дверцами, набитые книгами, и тихим голосом задумчиво сказал:

— Эх, динамитцу бы сюда!

Возмущению Федорова не было предела! «Всегда спокойный, добродушный и приветливый, на этот раз он весь горел, кипел и негодовал», — вспоминал их общий знакомый.

Окончательный раскол между ними вызвала статья Толстого «О голоде», которая по цензурным соображениям не могла появиться в России, но была напечатана в английской газете «Daily Telegraph» 14 января 1892 года. Толстой писал эту статью, удрученный картинами крестьянского голода 1891-92 годов, когда он сам и его старшие дети принимали непосредственное участие в помощи голодающим. Радикальный тон этой статьи, вдобавок своеобразно переведенной на английский язык в антиправительственном духе, возмутил Федорова. Возможно, он вспомнил о «динамитце» и решил, что Толстой призывает к бунту и расправе с властью. Заведующий отдела рукописей Румянцевского музея Г.П.Георгиевский так описал встречу Толстого и Федорова после статьи:

«Увидев спешившего к нему Толстого, Федоров резко спросил его: „Что вам угодно?“

— Подождите, — ответил Толстой, — давайте сначала поздороваемся… Я так давно не видал вас.

— Я не могу подать вам руки, — возразил Федоров. — Между нами всё кончено.

Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.

— Объясните, Николай Федорович, что всё это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.

— Это ваше письмо напечатано в „Daily Telegraph“?

— Да, мое.

— Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.

— Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся…

Но Николай Федорович остался непреклонным, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел…»

Однако отношение самого Толстого к Федорову как к человеку не изменилось. В письмах к разным людям он называл его «дорогим, незабвенным», «замечательным человеком», к которому он всегда питал и питает «самое глубокое уважение».

Другим замечательным человеком, который встретился Толстому в 1881 году, был крестьянский философ-сектант Василий Кириллович Сютаев. Сютаев стал первым из «темных», кто побывал в доме Толстых в Москве и открыл новый этап жизни этой семьи, жизни, которая, при всем огорчении С.А., была отныне непредставима без вмешательства посторонних людей в повседневный домашний быт.

В отличие от Федорова, Сютаев оказался почти полным единомышленником Толстого в духовных вопросах, а в практическом решении этих вопросов его можно даже назвать учителем Толстого.

О Сютаеве, крестьянине Новоторжского уезда Тверской губернии, оставил прекрасные воспоминания исследователь русского сектантства А.С.Прутавин. «В 1880 году — пишет он, — газетами, со слов „Тверского вестника“, было передано известие о появлении в Новоторжском уезде новой религиозной секты, названной „сютаевскою“ по имени основателя ее, крестьянина деревни Шевелина, Василия Кирилловича Сютаева».

Пругавин лично отправился в Тверскую губернию

знакомиться с новой сектой и ее лидером. Вот как он описал его внешность:

«…маленький, тщедушный человек, лет пятидесяти пяти, одетый в суконный, потертый, с узкими рукавами, туго застегнутый кафтан, из-под которого виднелись синие, пестрядинные порты и большие, тяжелые, неуклюжие сапоги; в руках он держал фуражку, какую обыкновенно носят в городах рабочие… Не то рыжеватые, не то белобрысые, редкие волосы, всегда слипшиеся, всегда чем-то смоченные, зачесаны на выпуклый лоб. Худое лицо с розовым оттенком, с тонким, маленьким носом и двумя резкими морщинами, идущими от углов рта, кончалось острым подбородком, на котором торчала клином, или вернее мочалкой, небольшая, всегда скомканная бледно-рыжеватая бороденка».

Не самая привлекательная внешность… И конечно, она вызывала удивление любого городского интеллигента. Мужик — не мужик, рабочий — не рабочий?

Интересное объяснение этому типу найдем в статье другого исследователя русского сектантства — М.В.Муратова. Он называет людей вроде Сютаева «народной интеллигенцией». «Мнение, будто существует один русский народ, не больше, чем предрассудок. Вернее было бы сказать, что есть два разных народа: с одной стороны, русское общество, с другой стороны — крестьянская и рабочая масса. У этих народов разный быт, разные понятия и даже разный язык самая обыкновенная газетная статья непонятна рядовому крестьянину. Но этого мало: у каждого из этих народов своя интеллигенция, свои борцы за правду, свои герои и мученики».

В 1876 году на Сютаева завели дело по доносу, что он не крестит своего внука. На допросе Сютаев заявил, что «не крестит внука потому, что в Писании сказано: „Покайтесь, и пусть крестится каждый из вас“, — а ребенок каяться еще не может». Одним из мировых судей, которые вели дело Сютаева, был младший брат знаменитого анархиста Михаила Бакунина А.А.Бакунин. Имение Бакуниных Прямухино находилось как раз в Новоторжском уезде. Так в реальности столкнулись две интеллигенции, «народная» и «господская».

По Сютаеву, главное не веровать, а «жисть надо устраивать», «жисть надо наблюдать». Устроить «жисть по правде», так, чтобы «друг дружке не вредно было», — вот «закон Божий», который он изложил при встрече А.С.Пругавину.

Сютаев не был обычным сектантом. Обычный сектант, пишет Муратов, «не холоден, не горяч». Его «религиозное чувство проявляется с некоторой размеренностью… Он знает, что

спасется, знает даже тогда, когда говорит, что это никому не известно заранее, и на душе у него ясно и спокойно».

Сютаев был сектантом-«энтузиастом». «Вера энтузиаста, — пишет Муратов, — наоборот, не имеет границ. Он отдается ей всей душой и свои религиозные переживания всегда готов считать такой же реальностью, как и то, что видит и слышит…»

«Выискивай истину, Александр! — напутствовал он на прощание Пругавина. — Выискивай правду, правду, штоб всем было жить хорошо на земле! Надо дознаться, придет ли Спаситель!»

«Всё в табе, и всё сейчас», — это понимание Сютаевым Бога внутри каждого человека было особенно близко Л.Н., который в это время разочаровывается в любых посредниках между человеком и Богом.

О Сютаеве Толстой услышал в июле 1881 года, когда, находясь в Самарской губернии, познакомился с А.С.Пругавиным. Тот рассказал ему о необычном крестьянине, который проповедует «любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества». Толстой сказал: «Всё это так интересно, что я готов при первой возможности съездить к Сютаеву, чтобы познакомиться с ним». А жене писал: «Есть умные люди и удивительные по своей смелости».

В конце сентября Толстой отправился в Тверскую губернию, чтобы видеть Сютаева. Но по дороге — и это символично! — заезжает в Прямухино, чтобы взять в провожатые того самого Александра Бакунина, который занимался делом Сютаева. Толстой знал всех трех братьев Бакуниных, Павла (писателя), Александра, с которым служил в Севастополе, и Михаила, анархиста, который в свое время бежал из Сибири в Париж и первым делом заказал устриц с шампанским, а во время осады революционного Дрездена предлагал выставить на городской стене «Мадонну» Рафаэля: мол, роялисты не посмеют стрелять в живописное сокровище.

Л.Н. остался в восторге от Сютаева и его семьи. Нет сомнения, что в проекте коммунистического общежития для собственной семьи, который был записан Толстым в дневнике 1884 года, звучали отголоски виденного и слышанного Л.Н. в 1881 году.

В довольно многочисленной семье Сютаевых не было личной собственности. Бабьи сундуки были общие. На невестке Сютаева был надет платок. «Ну, а платок у тебя свой?» — спросил ее граф. «А вот и нет, — ответила баба, — платок не мой, а матушки, свой не знаю куда задевала». Сютаев водил его к бывшему солдату, за которого выдал замуж свою дочь. «Когда порешили и собрались

вечером, я им дал наставление, как жить, потом постлали им постель, положили их спать вместе и потушили огонь, вот и вся свадьба», — сообщил Сютаев.

Сютаев и его последователи не держали в домах икон, не верили в святые мощи и не ходили в церковь. Покойников своих они хоронили где придется: в подполье, в чистом поле. «Говорят, — проповедовал Сютаев, — кладбищенское место освященное, а другие места — неосвященные. Неправда это: вся земля освященная, везде одинаковая земля». Кстати, раньше он изготавливал памятники на могилы и держал свою лавку. Но однажды бросил торговать, раздал деньги и разорвал долговые расписки.

Сютаев отрицал право собственности на землю, справедливость войн и вообще всего, что разделяет людей. Все должны трудиться на общей земле «сообча». Господа должны отдать землю крестьянам, а крестьяне — не бросать господ из милосердия. Сютаев был абсолютным христианским коммунистом, и всё, что впоследствии предлагал Толстой Столыпину в отношении земли, не сильно выходило за рамки проекта Сютаева. Но главное, что его привлекло в проповедях Сютаева, была идея *любви* как новой движущей силы цивилизации. Когда Сютаев отрицал присягу ему говорили: «Ну а ежели, к примеру, турка нас возьмет — тогда что?» — «Он тогда нас возьмет, — отвечал Сютаев, — когда у нас любви не будет. Турки нас возьмут, а мы их в любовь обратим. И будет у нас единство, и будем мы вси единомысленные. И будет тогда всем добро и всем хорошо».

Опять же — в проповедях Толстого мы не найдем почти ничего принципиально нового в сравнении с этой простой мыслью Сютаева. Не противься злу злом, предложи ему любовь, и зло перестанет быть злом. Бог в душе каждого человека подскажет путь к всеобщему единению в любви, надо только не мешать Богу.

В Сютаеве Толстого потрясло то, что все мысли, к которым он сам пришел сложным и мучительным путем, изложенным в «Исповеди», в устах тверского крестьянина звучали просто и очевидно, как дважды два. Главное же — Сютаев идеально отвечал тому образу русского мужика, который Толстой хотел бы видеть в крестьянской массе и который в начале 80-х годов начинает в ней искать. Если в городе он не только видит, но и ищет всевозможное зло и несправедливость, если в деревне он видит (и ищет) это зло и несправедливость во всем, что идет от дворянского землевладения, от «барской роскоши», то в самой народной гуще он мечтает найти жемчужное зерно истины,

которое воплощал бы в себе конкретный народный тип или характер.

В конце января 1882 года Сютаев наносит ответный визит в Москву. Он останавливается в доме Толстых в Денежном и своими речами, но еще более экзотической внешностью привлекает в дом светских гостей. В Москве на него возникает настоящая мода. Его фотографии продаются в художественном салоне Аванцо на Кузнецком мосту. Репин рисует с него портрет. Эта картина под названием «Сектант» была приобретена, по рекомендации Толстого, Павлом Третьяковым. Сютаевым интересуется и сестра Л.Н. Мария Николаевна и даже встречается с ним.

В это время Толстой принимает участие в переписи московского населения, выбрав для себя один из самых злачных кварталов, по Проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком. Он пишет статью «О переписи в Москве» и призывает общество оказать благотворительность несчастным. Сютаев его не поддерживает. Он предлагает другой проект ликвидации нищеты.

— Разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Еще десять раз столько будь — всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе, — он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня.

Нужно ли говорить, что появление Сютаева не а могло обрадовать С.А.? Как раз в то время, когда ее муж начинает «уходить» из семьи, в их доме появляются посторонние и явно опасные люди, которых она назвала «темными».

Но что она понимала под этим словом?

«Да и были они для меня темные люди, — впоследствии вспоминала С А, — о которых часто ровно ничего не знаешь, ни кто они, ни откуда, ни кто их родители, и где родина, и чего хотят. А жизнь моей семьи от них страдала, их я избегала и боялась».

Были и другие люди, которые отвечали новым духовным устремлениям Толстого. Например, Владимир Федорович Орлов. Сын сельского священника из Владимирской губернии, бывший «нечаевец», просидевший в тюрьме два года и оправданный, Владимир Орлов работал учителем в железнодорожной школе под Москвой. Он оказался очень близок Толстому в своих духовных исканиях и книжных предпочтениях. Он был приятен Л.Н. как личность стойкостью и терпеливостью к лишениям и страданиям, хотя был и не без недостатков, вроде классического

русского пьянства. Он бывал в московском доме Толстых, оставался ночевать, и Л.Н. радостно писал в дневнике, как он лично готовил Орлову постель и даже приносил ночной горшок. Это была забота о *брате, братике,* нечто монастырское или сектантское, нечто вроде «омовения ног», что не могло не резать глаза семейным и в то же время представлялось Л.Н. вполне естественным.

Близким Толстому человеком был и домашний учитель Василий Иванович Алексеев, оставивший после себя интересные воспоминания.

Глубокая привязанность связывала Толстого с князем Леонидом Дмитриевичем Урусовым, «первым толстовцем», как называл его сын Л.Н. Сергей Львович. Урусов, служивший тульским вице-губернатором, в отличие от «темных», был близким другом семьи Толстых. С ним дружила С.А. и даже сделала его героем своей повести «Чья вина?» Князь Урусов был в восторге от религиозных сочинений Л.Н. Он перевел на французский (и содействовал выходу в Париже) трактат «В чем моя вера?» «Князя в доме любили и дети, и даже прислуга», — вспоминала С.А.

Невозможный Толстой

Незадолго до духовного переворота Толстого его жене приснился страшный сон, который она пересказала Alexandrine:

«Она видела себя стоящей у храма Спасителя, тогда еще неоконченного; перед дверьми храма возвышался громадный крест, а на нем живой распятый Христос… Вдруг этот крест стал двигаться и, обошед три раза вокруг храма, остановился перед нею, Софьей Андреевной… Спаситель взглянул на нее — и, подняв руку вверх, указал ей на золотой крест, который уже сиял на куполе храма».

«С Левочкой стали чаще стычки, — жалуется она сестре, — я даже хотела уехать из дома. Верно это потому, что *по-христиански* жить стали. А по-моему прежде, без христианства этого много лучше было». Это простодушное признание точно отражает религиозное самосознание С.А. Чем с таким христианством, лучше уж совсем без него!

Нельзя сказать, что С.А. была абсолютно глухой и равнодушной к религиозным запросам мужа. Всё-таки она воспитывалась в православной семье. К тому же в семье, пусть и отдаленно, но приближенной ко двору. Всё-таки ее отец был гоф-медиком. Для С.А. православие было тем, чем оно и являлось в

России XIX века — соединением религии и государства. Поэтому когда ее муж оказался религиозным диссидентом, это напугало ее гораздо больше, чем если бы он был атеистом, но лояльным к монархической власти.

Какое-то время она старалась не обнаруживать разногласия с мужем и даже в письмах к сестре не выносила сор из избы. «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи; иногда прорываются у него речи против городской и вообще *барской* жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это *свет,* но не могу идти скорее; меня давит и толпа, и среда, и мои привычки. Я так и вижу как ты смеешься моим *в высшей степени* словам, как дети говорят, но это тебе немножко уяснит, как мы относимся друг к другу».

Но однажды она совершает роковую ошибку. Переписывая в своей комнате религиозное произведение мужа, «Критику догматического богословия», она не выдерживает поднимающихся в ней протестных чувств, приносит рукопись в кабинет Л.Н., кладет на стол и отказывается переписывать. Фактически отказывается быть его помощницей после пятнадцати лет благодарнонежного творческого сотрудничества. Ее мотивация этого поступка замечательна! Она говорит Л.Н., что «слишком волнуется», переписывая это.

Но если «волнуется», значит, понимает?

«Критика догматического богословия» — самое раннее, вместе с «Исповедью», религиозное произведение Толстого, которое он начал писать еще в 1879 году. И это самое разрушительное из его сочинений по отношению не только к православной вере, но и ко всему церковному пониманию христианства. По разрушительной силе «Критику…» можно поставить только рядом с «Антихристом» Ницше, подвергшим беспощадному анализу само христианство. Но Толстой как раз защищает христианство. Однако делает это так, что не оставляет камня на камня от тысячелетней традиции учения церковных отцов.

Поводом для статьи была книга митрополита Московского Макария (Булгакова) «Православно-догматическое богословие», издаваемая в России массовыми тиражами как основное учебное пособие для духовного обучения. Разбирая учебник Макария, Толстой последовательно опрокидывает все краеугольные камни христианской веры: Троицу, Божественность Иисуса, историю

грехопадения, искупление грехов страданиями Иисуса, обряд причастия и т. д. По сути, статья является не критикой конкретной книги, но отрицанием всей истории церковного христианства, которая под пером Толстого превращается в жуткую драму то ли наивного заблуждения, то ли сознательного мошенничества.

Подкупающим моментом этой статьи является детский взгляд на вещи. Что значит Бог «един в трех»? Ведь один не равно трем. И зачем такая сложная формула для Единого Бога? Почему Бог запретил Адаму и Еве вкусить плод от древа познания добра и зла? Он, что ли, хотел, чтобы люди были, как животные? Бог обещал первым людям, что они умрут, вкусив от древа. Но этого не произошло. Значит, Бог солгал?

Спорить с Толстым — всё равно что спорить с ребенком, который кричит, что король голый.

Если король не голый, ребенку надо просто заткнуть рот. А если он голый, то надо с этим согласиться.

«Православная церковь? — спрашивает Толстой. — Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать, дом построить по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем том я должен спроситься у них — у этих праздных и обманывающих и невежественных людей. В своей жизни, в святыне своей у меня руководитель — пастырь, мой приходский священник, выпущенный из семинарии, одуренный, полуграмотный мальчик, или пьющий старик, которого одна забота — собрать побольше яиц и копеек. Велят они, чтобы на молитве дьякон половину времени кричал многая лета правоверной, благочестивой блуднице Екатерине II или благочестивейшему разбойнику убийце Петру, который кощунствовал на Евангелии, и я должен молиться об этом. Велят они проклясть, и пережечь, и перевешать моих братьев, и я

должен за ними кричать анафема; велят эти люди моих братьев считать проклятыми, и я кричи анафема. Велят мне ходить пить вино из ложечки и клясться, что это не вино, а тело и кровь, и я должен делать.

Да ведь это ужасно!»

По выражению Толстого, церковь существует только для «слабоумных», «плутов» и «для женщин». Неудивительно, что эта статья так «взволновала» С.А.

Она хорошо знала своего мужа. Знала, что задиристый, невозможный тон статьи не отражает истинного отношения Л.Н. к православию, к духовенству, особенно низовому, а тем более к народно-церковной вере. Мишенью и в то же время адресатом статьи могло быть только высшее духовенство и государственная власть, которых ее муж именно *задирал,* как подросток. Она слишком хорошо знала эту сторону его характера, столь свойственную всей породе Толстых. Резкость высказываний и «переменчивость суждений» пугала ее в Толстом еще до женитьбы. Каково же ей было обнаружить, что спустя почти двадцать лет супружеской жизни в ее муже забродили старые дрожжи?

Наконец, С.А. просто испугалась. К несчастью, духовный переворот в ее муже происходит в то время, когда семья достигает высшего предела и насчитывает девять (!) детей. Материнские чувства в С.А. были необыкновенно развиты, и сам же Толстой их высоко ценил. Между тем начиная с весны 1881 года, после письма Толстого Александру III, завязывается «сюжет» конфликта Л.Н. с главным идеологом России — Победоносцевым. Победоносцев является пуповиной государственной и духовной власти. И его позиция по отношению к «новому» Толстому была сразу и недвусмысленно заявлена тем, что письмо к Александру он даже не счел нужным передать. Его отношение к сектантскому движению тоже очень определенно выразилось в высылке за границу «без права возвращения» в 1884 году отставного полковника Василия Пашкова — основателя секты «пашковцев».

К началу 80-х годов С.А. не была светской дамой. Она была провинциальной помещицей, *барыней.* Впрочем, опыт общения со светскими людьми и даже сильными мира сего С.А., благодаря своему открытому и уверенному характеру, приобрела довольно скоро. В 1885 году она встречалась с Победоносцевым, пытаясь отстоять право публикации в выпускаемом ею собрании сочинений Толстого запрещенных статей «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?»

Встречаясь с Победоносцевым, С.А. преследовала не одного и не двух, а сразу трех зайцев. Она показывала мужу свое

сочувствие его новым воззрениям, она пыталась сделать его новые сочинения источником дохода для семьи и одновременно снять с них «диссидентское» клеймо, ибо то, что разрешил Победоносцев, не посмеет запретить ни один духовный цензор. Победоносцев, ни секунды не колеблясь, отказал жене Толстого. Но самый факт ее личной встречи с ним, прошедшей в вежливой и даже участливой атмосфере, не мог не успокоить С.А. Впоследствии она вспоминала об этом визите с гордостью.

В «Моей жизни» она приводит свой разговор с Победоносцевым:

«— Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женой такого человека.

— Вот это для меня ново, — отвечала я. — Не только я считаю себя счастливой, но мне все завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека.

— Должен вам сказать, — говорил Победоносцев, — что я в супруге вашем и ума не признаю.

Ум есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и утлы.

— Может быть, — отвечала я. — Но Шопенгауэр сказал, что ум есть фонарь, который человек несет перед собой, а *гений* есть солнце, затмевающее всё».

Толстой к встрече жены с Победоносцевым отнесся равнодушно, даже скорее недоброжелательно. Он ждал от нее совсем не этого. Он хотел, чтобы она разделила его новые убеждения, а не пыталась сгладить неизбежный конфликт между ним и властью. Он нуждался в спутнике, а не в адвокате.

В декабре 1885 года, уезжая в имение Олсуфьевых Никольское-Обольяниново в 60 верстах от Москвы, куда он не раз сбегал от суеты городской жизни и где отдыхал душой на правах дорогого гостя, Л.Н. оставляет в московском доме пространное письмо к С.А. Она его прочла и затем, собирая архив мужа, сделала в начале его пометку: «Не отданное и не посланное письмо Льва Николаевича к жене».

Это письмо — крик души! Оно обрывается на страшной фразе: «Между нами идет борьба насмерть — Божье или не божье». Это письмо обращено не к одной С.А., но ко всей семье, из которой Л.Н. снова хочет уйти.

«Случилось то, что уже столько раз случалось, — пишет С.А. сестре. — Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит, я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ну, ровно ничего. „Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку“.

Понимаешь, Таня, если б мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно: „Что случилось?“ — „Ничего, но если на воз накладывать всё больше и больше, лошадь станет и не везет“. Что накладывалось — неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, всё хуже, хуже, и, наконец, терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу — человек сумасшедший, а когда он сказал, что „где ты, там воздух заражен“, я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней.

Прибежали дети, рев. Таня говорит: „Я с вами уеду, за что это?“ Стал умолять: „Останься“. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто; подумай: Левочка — и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его; дети, четверо — Таня, Илья, Леля, Маша — ревут на крик. Нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, всё хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность — всё это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?»

Истерику Толстого нельзя объяснить иначе, как только тем, что днями, неделями и месяцами накапливавшееся раздражение внезапно и без видимой причины хлынуло наружу. Если бы он ругался с женой каждый день — и то было бы легче. Но это было не в характере Толстого. Уезжая после этой истерики вместе с дочерью Таней в Никольское — Обольяниново «в крошечных санках», он в письме пытается объяснить причину своего «сумасшествия».

«Представь себе, что мне попадется твой дневник, в котором ты высказываешь свои задушевные чувства и мысли, все мотивы твоей той или другой деятельности, с каким интересом я прочту всё это. Мои же работы все, которые были ничто иное, как моя жизнь, так мало интересовали и интересуют тебя, что так из любопытства, как литературное произведение прочтешь, когда попадется тебе; а дети, те даже и не интересуются читать. Вам кажется, что я сам по себе, а писанье мое само по себе.

Писанье же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности».

«Писанье» — это духовные сочинения Толстого после переворота: «Исповедь», «Критика догматического богословия», «В чем моя вера?», «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий». И еще это пронзительная статья «Так что же нам делать?», над окончанием которой он как раз работал в 1885 году. В этой статье, рисующей ужасающее состояние европейской цивилизации, где каста «образованных» цинично пользуется тяжелым трудом миллионов «необразованных», Толстой выносит приговор всему политико-экономическому развитию мира. Эта статья была апофеозом отрицания Толстым жизни образованных классов, а это и дворянство, и духовенство, и люди науки и искусства. Все они, по его убеждению, паразиты на народном теле, «дармоеды», и единственным выходом для любого из представителей этих классов может быть лишь бесстрашный взгляд на свое положение и попытка жить на новых основаниях, отказавшись от собственности, лишних денег, от всех кастовых привилегий и зарабатывая хлеб насущный черным трудом. В противном случае Толстой предвидит революцию:

«…мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв».

Примечателен финал этой статьи. В нем он обращается к женщинам-матерям. Именно они, даже представительницы привилегированных классов, знают, что такое тяжелый труд рождения, кормления и воспитания детей. Толстой обращается к их естественному внутреннему чувству долга и правды; в них он видит объединяющее начало нового светлого человечества.

Но этот финал менее всего убедителен. Он не учитывает естественного эгоизма женщины-матери в интересах своей семьи. Ни одна нормальная мать не пожелает детям трудов и лишений, того пути, на который звал Толстой. Казалось, опыт жизни с С.А. должен был заставить Толстого усомниться в правильности выбора адресата для своей духовной пропаганды. С другой стороны, читая этот финал, нельзя не заметить, что, обращаясь к женщинам-матерям вообще, Толстой держал в голове вполне конкретного человека. Это была его жена.

«Такая (идеальная. — *П.Б.*) мать *сама родит, сама выкормит,* сама будет, прежде всего другого, кормить и готовить пищу детей, и шить, и мыть, и учить своих детей, и спать, и говорить с ними, потому что в этом она полагает свое дело жизни. Только такая мать не будет искать для своих детей внешних обеспечений

в деньгах своего мужа, в дипломах детей, а будет воспитывать в них ту самую способность самоотверженного исполнения воли Божьей, которую она в себе знает, способность несения труда с тратою и опасностью жизни, потому что знает, что в этом одном обеспечение и благо жизни. Такая мать не будет спрашиваться у других, что ей делать, — она всё будет знать и ничего не будет бояться».

Конфликт между Л.Н. и С.А. имел глубокие и древние корни. Этот же конфликт мы встретим в «Тарасе Бульбе» Гоголя. Это конфликт *матери и отца.* Отец, как Авраам, знает ценности, которые выше жизни его ребенка, и готов принести сына в жертву этим ценностям. Не суть важно, какие это ценности: Бог, «козаческое товарищество» или «благо», «дело жизни», как понимал христианство Толстой. Важно, что в этом вопросе ни одна мать *естественным образом* не встанет на сторону отца.

В декабре 1885 года Толстой пытается уйти из семьи, а 18 января следующего года умирает младший из сыновей Толстого четырехлетний Алеша. Умирает в Москве, и возникает вопрос: где его хоронить? На кладбище Девичьего монастыря запрашивают немыслимую цепу — 200 рублей серебром. Но дело даже не в деньгах, а в том, что там слишком много могил, «одна на другой», как пишет С.А. сестре.

Она сама выбирает новое кладбище рядом с Покровским, где прошло ее дачное детство, на высоком берегу речки Химки. «Сегодня, — пишет она сестре, — мы поставили гробик на наши большие сани, в которых так недавно я возила его и в Зоологический сад, и в театр обезьяной села няня и я… Приехали мы; там священник встретил нас и несколько человек народа… Узнали, что я дочь Андрея Евстафьевича Берса, и такая меня окружила атмосфера любви, участия, добрых воспоминаний об отце, что я поняла, какой он был добрый, и мне приятно было. Все помогали гробик нести; все нежно, осторожно, как любящая женщина (а ведь все мужики), обратились они и с моим горем, и с гробиком, и с засыпанием могилки, и с обещаниями и помянуть младенца, и могилку соблюдать, и молиться на могилке».

В описании похорон муж не упоминается. Он упоминается потом и коротко: «Левочка осунулся, похудел и очень грустен».

В январе 1886 года Толстой усиленно занимается буддизмом. Он хочет изложить учение Будды в книжке для народа. «Хотелось бы с божьей помощью составить эту книжку», — пишет он *другу* 17 января. А в следующем письме *другу* пишет о смерти сына: «То, что оставило тело Алеши, оставило и не то, что соединилось с Богом. Мы не можем знать, соединилось ли, а осталось то, чем оно было, без прежнего соединения с Алешей. Да и то не так. Об

этом говорить нельзя. — Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной, и благой».

То, что осталось после Алеши, труп ребенка, отвозили на санках С.А. с няней. У Л.Н. этот «предмет» вызывает полное равнодушие. Он весь в мыслях и чувствах где-то далеко. И это та область, которую он не может обсуждать с женой. Зато может обсуждать с новым и бесконечно преданным *милым другом.*

Блестящий конногвардеец

Самой влиятельной фигурой в ближайшем окружении Толстого с середины 80-х годов и до самой смерти писателя был его «духовный душеприказчик» Владимир Григорьевич Чертков (1854–1936).

Сложная личность. Его невозможно не уважать. Но и трудно симпатизировать. Нельзя не оценить его огромный вклад в сохранение и систематизацию наследия Толстого после 1880 года, а главное «детище» Черткова, академическое Юбилейное собрание сочинений, писем и дневников писателя, остается непревзойденным по сей день. Его роль в последних тридцати годах жизни Толстого столь велика и многосложна, что немыслимо представить себе Толстого без Черткова, как невозможно представить его без С.А. В жизни Толстого это был второй по значению человек после жены писателя, а поклонники Черткова полагали, что и первый. В то же время нельзя без душевного смущения, а порой и отвращения, прослеживать его влияние на семейную жизнь Толстых, в которой Чертков сыграл весьма мрачную роль.

Но настоящая загадка Черткова заключается не в нем. В конце концов, он просто был самым преданным и последовательным сподвижником позднего Толстого. Он посвятил гению всю жизнь, подчинив каждый ее день служению тому, кого он считал новым Буддой, Христом и Магометом. Ради этого он отказался от блестящей карьеры, от возможности праздного и обеспеченного существования и, собственно, от самой личной жизни. Человек умный, энергичный, образованный, талантливый и, наконец, красивый и в молодости, и в зрелости мужчина, настоящий аристократ, интеллигент на все сто процентов, Чертков добровольно взял на себя роль первого ученика и келейника великого старца. И он сделал это не когда слава Толстого как учителя была в зените, но когда его родные и близкие находили в его взглядах не то очередное увлечение, не

то род помешательства.

О личности самого Черткова можно спорить. Он оставался человеком своего времени, «левых» политических убеждений. Он был более решительным антиклерикалом, чем Толстой, фундаментальным вегетарианцем и противником убийства всякого живого существа, включая мух и комаров. Сильное название его статьи против охоты, «Злая забава», говорит о нем как об одном из предтеч современного движения «зеленых». Он был заботливым отцом и преданным мужем. Но, несмотря на свое «толстовство», до конца дней не избавился от аристократических привычек. Его особняк в Англии периода вынужденной эмиграции далеко превосходил по размерам и комфорту дом учителя в Ясной Поляне. И его дом в Телятинках близ усадьбы Толстых был и лучше, и капитальнее дома Толстого. Даже после революции на похороны Сергея Есенина, последней женой которого была I! пучка Толстого, Чертков явился со слугой.

Чертков был человеком обширных «связей», куда входили и представители высших аристократических кругов России и Англии, и большевики-нелегалы, вроде Бонч-Бруевича. Но именно это как будто сомнительное обстоятельство позволяло ему выпускать и распространять произведения Толстого до революции и после. Это же обстоятельство помогло ему после революции вызволять из тюрем «толстовцев» и дочь Толстого Сашу. Его письмо к Сталину в годы гонений на «толстовцев» является безупречным свидетельством совести и смелости этого человека.

Непонятной и загадочной оказалась та роль, которую он сыграл в семейном конфликте Толстых. Вот здесь фигура Черткова невольно обретает демонический характер, вполне в соответствии с его «говорящей» фамилией. Здесь это не просто человек, сподвижник, переводчик, издатель, собиратель, а какой-то *черт, чертик,* который точно нарочно оказывается рядом с Л.Н. и С.А., когда находиться рядом как раз не надо, когда нужно остаться в стороне и дать возможность супругам и их детям разобраться в своем, семейном.

Конечно, в этом проявилась отрицательная сторона натуры Черткова с его преувеличенным представлением о своем значении возле «тела» Толстого. Но этим отличаются все первые ученики и келейники. Загадочным и даже непостижимым является то, как сам Толстой это воспринимал. Загадкой является не Чертков, а учитель в своем отношении к первому ученику.

В конце концов, Чертков своим присутствием в жизни Толстого просто проявил многие тайны отношений Л.Н. с родными и прежде всего с женой. Если бы Черткова не было, эти

тайны, возможно, не проявились бы или проявились как-то иначе. Но, конечно, не Чертков был главной причиной ухода Толстого из семьи. Он спровоцировал этот уход, он был ему бесконечно рад. Но не он был главной движительной пружиной этого события.

«Если бы Черткова не было, его надо было бы придумать»[13].

История дружбы Толстого и Черткова изложена в обстоятельной книге М.В.Муратова «Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков в их переписке». Изданная в 1934 году Толстовским музеем, она не переиздавалась в России.

Впервые Толстой услышал о Черткове в Ясной Поляне от своего последователя Г.А.Русанова в августе 1883 года. К тому времени уже появились последователи «нового» Толстого. В октябре того же года состоялось их знакомство в московском доме Толстых. С тех пор, замечает Муратов, «Толстой писал Черткову чаще, чем кому-либо не только из своих знакомых, но и из членов своей семьи». Известно 931 письмо Л.Н., включая телеграммы. Для издания писем Толстого к Черткову с комментариями потребовалось пять томов, свыше 175 печатных листов. Чертков писал Толстому еще чаще, причем порой это были многостраничные послания.

Первое появление Черткова в доме Толстых, казалось, не предвещало семье никакой опасности. «Блестящий конногвардеец, в каске с двуглавым орлом, красавец собой, сын богатейшей и знатной семьи, Владимир Григорьевич приехал к Толстому сказать ему, что он разделяет вполне его взгляды и навсегда хочет посвятить им свою жизнь, — вспоминал сын Толстого Лев Львович. — В начале своего знакомства с нашей семьей Чертков был обворожителен. Он был всеми любим. Я был с ним близок и на „ты“».

В этом воспоминании есть ошибка. Осенью 1883 года Чертков никак не мог желать посвятить взглядам Толстого всю свою жизнь. Он впервые услышал об этих взглядах только в июле 1883 года на свадьбе своего друга Р.А.Писарева от прокурора Тульского окружного суда Н.В.Давыдова. Разговорившись с Давыдовым, двадцатидевятилетний офицер Чертков поведал о *своих* взглядах, которые к тому времени уже достаточно оформились. Выслушав странного гвардейца, Давыдов заметил:

— Да ведь Толстой говорит то же самое! Вы как будто повторяете слова Толстого — вам непременно нужно познакомиться с Толстым.

Давыдов был знаком с Л.Н. и обещал это дело устроить. В конце октября Чертков специально едет в Москву с этой целью, останавливается в гостинице «Славянский базар» и наконец получает телеграмму от Давыдова: «Толстой в Москве».

Первый раз отправляясь к Толстому, Чертков еще ничего не знал о его «учении». Да и «учения» как такового еще не было. Но в Толстом уже случился духовный переворот, и этот переворот совпадал с тем, что происходило в душе самого Черткова. Оба были потрясены открывшимся им страшным противоречием между правдой Христа и ложью современной жизни.

Их встреча проходила в кабинете. Вошли в «уединенную, покойную и светлую комнату с окнами, выходившими в сад и во двор и задергивавшимися длинными суконными зелеными занавесками, с простыми мягкими черными креслами и большим письменным столом, на котором высились две свечи в старинных медных подсвечниках, стояла медная чернильница на зеленой малахитовой подставке и стопкой лежала бумага…»

Чертков еще не читал философских произведений Толстого, только художественные. И он решил его испытать первым.

В присутствии боевого офицера, защитника Севастополя, автора «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира» он стал говорить о своем отрицательном отношении к военной службе. Толстой «в ответ стал мне читать из лежавшей на его столе рукописи „В чем моя вера?“», вспоминал Чертков, и он «почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества наконец прекратился, что, погруженный в мои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: „Лев Толстой“».

Отличительной особенностью Черткова было то, что он с самого начала всегда точно «попадал» в душевное настроение Толстого. Конец 1883 года. До первой попытки ухода Л.Н. из семьи осталось несколько месяцев. С.А. сбивается с ног на балах и детских спектаклях. Старший сын увлечен естественными науками и студенческим движением. И никто в доме не хочет серьезно относится к новым писаниям Толстого.

А Чертков не просто его слушает. Он резонирует душой каждому слову. Он гораздо моложе Толстого, но у них похожий жизненный опыт. Чертков — тоже помещик и офицер. Наконец, он не просто ровня Л.Н. на социальной лестнице. Он стоит выше него. Он богат, родовит и готов от всего отказаться. И Толстой видит в этом молодом человеке себя самого двадцать лет назад. Но такого себя, который не совершил в жизни ошибки, не пошел ложной дорогой.

Есть портрет В.Г.Черткова работы Ильи Репина 1885 года. Перед нами зримое воплощение Константина Левина. Мягкая бородка, умные, большие, глубокие глаза. Мягкость во всех

чертах благородного и интеллигентного лица, но и какая воля — добрая воля!

Чертков родился в знатной и богатой семье. Его мать, Елизавета Ивановна Черткова, урожденная графиня Чернышева-Кругликова, была очень влиятельной женщиной в петербургских аристократических кругах. Ум, красота, властность выделяли ее в высшем свете. Ее дядя, граф Захар Чернышев, был декабристом, сосланнным в Сибирь. Ее тетка была замужем за другим декабристом, Никитой Муравьевым, и последовала за мужем в ссылку. Ее рано начали вывозить в свет, и на первом же придворном балу Николай I задал юной красавице испытующий вопрос о ее дяде. Она смело ответила царю, что сохраняет к дяде самое сердечное отношение. В результате ее уважали при дворе. Александры II и III запросто приезжали к ней и ее мужу без охраны. Но когда ей предложили сделаться статс-дамой, она отказалась. Через несколько лет после замужества она вовсе отошла от светской жизни, найдя себя в религии и став последовательницей модного в то время проповедника лорда Редстока. Кстати, мужем ее сестры был полковник Пашков, которого она познакомила с Редстоком, таким образом посодействовав возникновению в России секты «пашковцев».

Елизавета Ивановна не просто любила, но обожала своего сына. Старший и младший ее сыновья, Гриша и Михаил, умерли рано, с разницей в четыре года. Средний сын стал кумиром семьи. Все считались с его волей, каждый старался доставить ему удовольствие.

Отец Черткова, Григорий Иванович, служил флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II. В военных кругах он был известен тем особенным знанием строевой службы, которое имели лишь офицеры, начинавшие карьеру в гвардии Николая. Он прошел путь от командира полка до начальника дивизии. Он был автором распространявшейся в войсках «Солдатской памятки». После гангрены и ампутации обеих ног последние десять лет жизни он возглавлял Комитет по устройству и образованию войск.

Его родная сестра была замужем за графом Шуваловым, главным консервативным идеологом эпохи Александра II. Его брат, Михаил Иванович Чертков, служил наказным атаманом Войска Донского, а затем киевским и варшавским генерал-губернатором.

Чертковы постоянно жили в Петербурге, но в южной части Воронежской губернии у них были обширные земельные угодья: 30 000 десятин.

Существует акварельный портрет работы Делакруа 1860 года,

где Елизавета Ивановна Черткова изображена с шестилетним сыном Володей. Она одета в длинное бархатное платье, которое стелется по земле. Мальчик — ангелочек в шароварах, лаковых сапожках и кругленькой шапочке. Интересна его поза: властной правой ручкой он удерживает мать за складки платья, а левой — не то указывает ей правильный путь, не то спрашивает: «Что там?…»

Отличительной особенностью воспитания Черткова было то, что он вырос в очень религиозной атмосфере. Главный «пункт» учения Редстока заключался в исключительной вере в Божественность Христа, силу искупления Его кровью грехов человечества. Ко времени знакомства с Толстым Чертков был подвержен влиянию этой веры и секты «пашковцев». Затем под влиянием Толстого он отказался от этого, но сектантские настроения сохранялись в нем всю жизнь. Как и мать, он был склонен к прозелетизму, одержим горячим стремлением «обращать» несчастных и заблудших в свою веру.

В этом было его отличие от Толстого, который никогда не был сектантом. Всякий дух партийности, с «тайнами» и «паролями», жестким разграничением людей на «своих» и «чужих» и одновременно с необузданным стремлением пропагандировать свою точку зрения, которая является единственно верной, был ему чужд. Толстой доверял внутренним духовным ресурсам человека и меньше всего хотел быть «идолом» для «посвященных». В сравнении с Л.Н. Чертков был узок, догматичен и склонен к доктринерству. Но самое главное — он не терпел непоследовательности во взглядах и поступках. Два самых бранных слова в его лексиконе — «вилять» и «увиливать». Он считал недостойным уклоняться от решения тех вопросов, которые вставали перед человеком. И если он чувствовал, что кто-то уклоняется от решения этих вопросов, он готов был вынуждать его принять это решение во что бы то ни стало.

Детство Черткова было детством аристократического барчонка: няни-англичанки, гувернеры, домашнее обучение, чтобы в школе, не дай бог, не заболел. Молодость его очень напоминает молодость главного героя «Отца Сергия» — князя Касатского. Разница лишь в том, что Касатский, как и молодой Толстой, не принадлежал к сливкам петербургского общества и страдал от этого, терзаемый тщеславием. Чертков же, в силу обстоятельств рождения, был избавлен от этого порока. У него не было комплекса небогатого дворянина, не имеющего связей, чтобы утвердиться в свете. Он был очень красив — тонкий, стройный, на голову выше других, с большими серыми глазами под изогнутыми бровями. Он был остроумен и любил парадоксы.

У него был мягкий, звучный голос и заразительный смех. Он был правдив и порой слишком прямолинеен. Его кошелек всегда был открыт для товарищей. Служа в гвардии, Чертков кутил в Петербурге, играл в рулетку заводил содержанок. «Двадцатилетним гвардейским офицером, — писал Чертков, — я прожигал свою жизнь „во все нелегкие“».

В обязанности гвардейских офицеров входило дежурство в госпиталях. В 1877 году (в тот год, когда в Толстом начался духовный кризис) Чертков испытывает потрясение при виде умирающего солдата, с которым они читают вслух Евангелие. С этого времени он не может жить как раньше. Не может служить в армии и даже просто *не может жить.* Как это похоже на то, что происходит с Толстым, но только в пятидесятилетнем возрасте! Когда Чертков явился к нему, Толстой, несомненно, должен был чувствовать зависть к молодому конногвардейцу, который одновременно с ним встал на путь истины, но еще полным физических сил, с нерастраченной энергией и большим запасом времени впереди.

Это и предопределило странную, на первый взгляд, зависимость Л.Н. от Черткова. Хотя поначалу интимность отношений с «милым другом» (так, с первого письма, обращается к Черткову Толстой) самого Л.Н. слегка настораживает. Его явно не греет мысль взять на себя полноту духовной ответственности, как это делают в монастырях старцы, за странного молодого конногвардейца. Толстому это не нравится, но и отказать а Черткову он не может и не хочет, так как при первом же знакомстве подпадает под обаяние этого удивительного и столь похожего на него молодого офицера. Между тем Чертков нуждается в Толстом и не скрывает этого. Он посылает ему в Москву не только книги, которые сам читает, но и свои дневники. Наконец он зовет Толстого в Лизиновку.

Тонкость приглашения заключалась в том, что в Лизиновке Чертков знакомится с тремя крестьянскими юношами, готовыми разделить его взгляды. Но имеет ли он право на такое духовное руководство?

«Нет, Лев Николаевич, приезжайте, ободрите, помогите. Вы здесь нужны».

Эта фраза — *вы здесь нужны* — становится обертоном сложной музыкальной партии, которую начинает играть Чертков в семье Толстых. В самом деле, где Толстой нужнее — в семье, которая его не понимает, не ценит его новых произведений, или же среди пылких и чистых юношей, готовых посвятить пропаганде его воззрений всю свою жизнь?

Однако ответ на этот вопрос, столь очевидный для

«толстовцев», не был очевиден для Толстого. И дело не только в том, что Л.Н. не желает отказываться от семьи, с которой он составляет единое тело, но и в том, что ему принципиально не нравится роль духовного наставника, которую навязывает ему милый друг.

«Получил ваше письмо и получил вашу книгу и не отвечал на письмо. Не отвечал потому, что не умею ответить. Оно произвело на меня впечатление, что вы (голубчик, серьезно и кротко примите мои слова), что вы в сомнении и внутренней борьбе по делу самому личному, задушевному — как устроить, вести свою жизнь — личный вопрос обращаете к другим, ища у них поддержки и помощи. — А в этом деле судья только вы сами и жизнь. — Я не могу по письмам ясно понять, в чем дело; но если бы и понял — был бы у вас, не то что не решился бы, а не мог бы вмешиваться — одобрять или не одобрять вашу жизнь или поступки. Учитель один — Христос…»

На языке Черткова это означало «вилять» и «увиливать». Но Толстой не то что сомневался, а вполне определенно давал понять Черткову, что не желает быть высшим арбитром в решении чужих жизненных проблем. Тем не менее Чертков последовательно и планомерно вводил Л.Н. в курс этих проблем, порой не считаясь с проблемами его собственной семьи. Иногда он делал это настолько бестактно, что доброжелательная реакция на это Толстого вызывает изумление.

Приведем один показательный пример. В 1886 году Чертков решает жениться на Анне Константиновне Дитерихс, слушательнице Бестужевских высших курсов и сотруднице издательства «Посредник», созданного Чертковым. Внешность Гали (так близкие называли ее) хорошо известна по картине П.А.Ярошенко «Курсистка» (1883), находящейся в Третьяковской галерее. Красивая, худенькая, строгая и сосредоточенная, Галя была страстной последовательницей взглядов Толстого, посещала его с подругой, вызывая недовольство С.А. Прежде чем жениться, Чертков неоднократно обсуждал этот вопрос с Толстым в письмах, не считая себя способным к семейной жизни и опасаясь повторить «ошибку» своего учителя. Но Толстой одобрил брак В.Г. и Дитерихс. Во взглядах Толстого еще не случился новый переворот, после которого он отрицательно относился к браку вообще.

В 1887 году у Чертковых родилась дочь Оля, которая умрет в младенчестве. Галя оказалась женщиной слабой и болезненной. Фактически В.Г. взял на себя тяжелый крест в лице постоянно болеющей жены и, нельзя не отдать ему должное, нес этот крест безропотно и до конца. С появлением первого ребенка в семье

Чертковых встал тот же вопрос, который в свое время вызвал первые «надрезы» в семейном счастье Толстых. Галя не могла своим молоком выкормить ребенка. Нужна была кормилица. Почему-то в Крекшине Московской губернии, где жили молодые, кормилицы не нашлось. И вот растерявшийся В.Г. обращается к Л.Н. с просьбой найти кормилицу в Москве.

Поручение до такой степени деликатное, что обратиться с ним можно только к очень близкому человеку. Но в это время Чертков потерял отца и находился в ссоре с матерью из-за Толстого, чьих взглядов она не принимала. «Я глубоко убеждена и вижу из Евангелия, что всякий, не признающий Воскресшего Спасителя, пропитан этим духом, и так как из одного источника не может течь сладкая и горькая вода, я не могу признать здоровым учение, исходящее из подобного источника», — писала Елизавета Ивановна сыну.

«Дорогой Лев Николаевич, — пишет Чертков Толстому, — еще раз обращаюсь к вам за помощью в добром деле, которое для тех, кого оно ближе всего касается, остается добрым делом, несмотря на то, что не чиста причина, побудившая меня принять в нем участие. У Архангельской[14], проходом в городской госпиталь, остановилась и родила одинокая, нищая женщина. Она вперед решила отдать ребенка в воспитательный дом, чтобы не ходить с ним зимою по миру. Так и сделала; но, родивши его, успела так к нему привязаться, что рассталась с ним с отчаянным горем, но всё же таки рассталась, дала унести от себя в воспитательный дом, не видя возможности идти с ним по миру зимою без всякого пристанища. У нее очень много молока, и если врач, которого мы ожидаем, признает необходимым испробовать молоко другой женщины, то эта может нам быть очень полезна, хотя мы хотим, если только есть какая-либо возможность, обойтись Галиным молоком… Обращаюсь к вам опять в надежде, что кто-нибудь из ваших семейных или близких возьмется исполнить это поручение для того, чтобы избавить вас от хлопот, требующих отвлечения вас от занятий, более вам свойственных, нужных для людей и в которых никто не может вас заменить. Сделать вот что нужно. Отправиться безотлагательно с прилагаемым билетом в воспитательный дом и заявить там, что ребенка под этим номером мать берет назад к себе и чтобы поэтому его не высылали в деревню. Если есть у вас в Москве подходящий знакомый человек, то поручите ему сейчас же взять ребенка и привезти сюда…»

В этом письме, как в капле воды, отразилась натура Черткова. Прежде всего обращает на себя внимание стиль письма — вязкий, обволакивающий, но в то же время твердо расставляющий все

точки над і в том, что касается процедуры исполнения поручения. Суть вопроса в том, что Чертковым срочно нужна кормилица. В противном случае они рискуют потерять первенца. Паника молодоженов понятна и простительна. Но почему, в таком случае, не заявить начистоту: Лев Николаевич, девочка умирает, помогите Христа ради, на вас одна надежда!

Но это был бы не Чертков. Вопрос о жизни и смерти ребенка он обставляет таким количеством привходящих соображений, что посторонний человек не сразу поймет, о чем тут идет речь. Кому должен помочь Толстой? Что он должен сделать? Вернуть ребенка образумившейся матери или предоставить Гале чужое молоко? Первое — доброе дело, второе — аморально в глазах Толстого. Л.Н. был принципиальным противником кормления своих детей чужим молоком. Он считал это вредным и безнравственным — за деньги отнимать молоко у детей бедноты. Но и сам он был вскормлен таким образом, и С.А., страдавшая грудницей, не шла на поводу у мужа и регулярно покупала кормилиц и для своих детей, и для детей сестры Татьяны.

Так или иначе, это был вопрос болезненный и щепетильный. Знал ли это Чертков? Наверное, знал. К 1887 году он не раз бывал и в Хамовниках, и в Ясной Поляне. Он дружил со старшими сыновьями Толстого. Наконец, он знал о взглядах Толстого на кормление по письмам к нему, Черткову, написанным как раз после рождения Оли. Отсюда эта оговорка: «…хотя мы хотим, если только есть какая-либо возможность, обойтись Галиным молоком». Отсюда и намек на нечистоту мотива, вызвавшего это письмо Черткова.

Какая же была реакция Толстого?

Он с радостью (!) бросается исполнять поручение. «Сейчас получил ваше письмо о ребенке (3 часа) и сейчас иду сделать, что могу. И очень, очень рад всему этому», — отвечает он милому другу. И это Толстой! Он, который, по словам С.А., «убийственно» относился к молодой жене, когда она отказывалась кормить Сережу, ссылаясь на невыносимые боли.

Все мотивы поступка Черткова, пусть и глубоко спрятанные в письме, понятны и простительны.

Не может молодой отец спокойно наблюдать страдания своего ребенка и готов обратиться за срочной помощью к кому угодно, хотя бы и ко Льву Толстому. Непонятна *радость* Л.Н. Почему он «очень, очень рад всему этому»?

Объяснение, что его до такой степени волнует проблема недоедания ребенка, не годится.

«Радостный» ответ Толстого Черткову написан 19 декабря 1887 года. А 31 марта следующего года в семье Толстых родился

сын Иван. Последыш, он был особенно любим С.А. и Л.Н. и всей большой семьей. Но сразу после его рождения у С.А. начались старые женские проблемы.

«Иван худ и плохо поправляется», — пишет она из Москвы в Ясную 26 апреля. И через два дня получает ответ: «Не скучай ты, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребеночка, даст ему и пищу».

Проблемы семьи Чертковых, кажется, волнуют Л.Н. в гораздо большей степени, чем заботы своей семьи. Несколько лет спустя он с радостью будет искать для них дом в окрестностях Ясной, зная наверняка, что его жена болезненно ревниво относится к этим поискам. До этого он будет радостно озабочен поисками молодой фельдшерицы для ухода за больной Галей. Узнав о критическом состоянии Гали, он в 1894 году сам отправится к ним во Ржевск Воронежской губернии, и Галя буквально оживет с его приездом.

Посредник

Говоря о Черткове как литературном агенте, нельзя не обратить внимание на одно замечательное обстоятельство. Чертков был, несомненно, гениальным литературным посредником Толстого, особенно — за границей, чему немало способствовали и его совершенное знание английского языка, и его семейные связи в высших аристократических кругах Англии. Но это был такой агент, который за всю жизнь Толстого не принес ему ни одной копейки, ни одного шиллинга, и сам не заработал на своем клиенте ни гроша.

Такова была воля самого Толстого. Он, который бился с Катковым и Некрасовым за размеры гонораров, после духовного переворота отказывается от прав на свои сочинения. Сначала негласно, а затем и юридически (как он считает), через публикацию в 1891 году в газетах письма об отказе. С этого времени любой издатель имеет право безвозмездно перепечатывать его произведения, написанные после 1880 года, с момента первого появления их в печати. Произведения, написанные до 1881 года, принадлежат жене, о чем он опять-таки позаботился формально, написав на жену доверенность.

Издательская деятельность Черткова до революции и после, представляет собой одну из самых ярких страниц российского и мирового книжного дела. Он оказался выдающимся организатором и посредником, без которого Толстой вскоре не мог обойтись.

В последнем письме Толстого к дочери Саше, написанном 29 октября 1910 года из Оптиной пустыни, прозвучало одна оговорка, нехарактерная для Л.Н. Говоря о препятствиях со стороны С.А. встречаться с Чертковым, Толстой жалуется дочери на ненависть жены «к самому близкому и нужному мне человеку». Всякому, кто знаком с письмами и дневниками Л.Н., слово «нужный» не может не резать слух. Оно не из лексикона Толстого.

Не в его натуре было использовать людей. Не в его морали было делить людей на «нужных» и «ненужных». И хотя здесь под словом «нужный» он имел в виду нечто более широкое и глубокое, чем только практическое сотрудничество, имеющий уши услышит: Толстой именно оговорился. И это показательно.

В декабре 1883 года Чертков знакомится с издателем Маракуевым, выпускавшим книжки для крестьян. В это время в дневнике Толстого появляются первые записи о Черткове. «Люблю его и верю в него». «Как он горит хорошо». «Я устал, он тверд». «Он удивительно одноцентренен со мной».

В апреле 1884 года умирает отец Черткова. Зная о новых увлечениях сына, он всё завещал одной жене. Чертков вынужден стать нахлебником у матери. На его содержание она выделяет двадцать тысяч ежегодно. Это хорошие средства, но сама мысль, что он денежно зависим от матери, которая не разделяет его убеждений, страшно терзает его. И об этом он тоже пишет Толстому в уже принятом между ними исповедническом тоне, пытаясь оправдаться тем, что тратит часть этих средств на «добрые дела». Но Толстого такое оправдание не устраивает. Он замечает в дневнике: «Ему страшно отказаться от собственности. Он не знает, как достаются 20 тысяч. Напрасно. Я знаю — насилием над измученными работой людьми. Надо написать ему».

Но какие это «добрые дела»? Летом 1884 года, вернувшись с матерью из Англии, где та пыталась развеяться после потери мужа, Чертков вновь поселяется в Лизиновке. Он продолжает заниматься созданной им ремесленной школой для крестьянских детей, сельским училищем, пытается даже организовать образцовый сельскохозяйственный хутор. Но это его уже не удовлетворяет. Он мечтает создать для Толстого его собственное издательство. Поначалу он занимается этим кустарно, гектографическим способом размножая трактат «В чем моя вера?». Но однажды в письме к Толстому он советует (!) ему писать рассказы для народа. «Я издавал бы эти рассказы сериями».

Осенью того же года Чертков в Москве встречается с Маракуевым и писателями-народниками Златовратским и

Пругавиным. Они впервые обсуждают план мощного народного издательства.

Такие, впрочем, уже существовали. Но это была сплошь лубочная литература, раскрашенные картинки с текстами-переложениями иностранной дребедени, вроде «Бовы Королевича» и «Милорда Георга», высмеянного Некрасовым в «Кому на Руси жить хорошо?». Однако Чертков понимал, что на первых порах без «лубка» не обойтись. Надо только убедить лубочных издателей, что выпускать таким же образом Льва Толстого и других русских писателей тоже выгодно.

И такой издатель нашелся, молодой и энергичный — Иван Сытин. В ноябре 1884 года Чертков зашел в его книжную лавку в Москве и познакомился с ним. Сытин заинтересовался идеей Черткова издавать виднейших русских писателей того времени наравне с лубком и продавать за ту же цепу. Со своей крестьянской смекалкой он понял, как это выгодно: и гонорара платить не надо, и издательству — честь. Так на базе Сытина возникло издательство «Посредник», которое Чертков создал со своим другом, бывшим морским офицером, а теперь служащим обсерватории Павлом Бирюковым.

Первым рассказом, который Толстой подготовил для «Посредника», был написанный ранее для «Азбуки» рассказ «Кавказский пленник» — шедевр нового Толстого. Но Чертков уже сам правит этот рассказ в народном вкусе, вмешивается в его текст. Толстой неожиданно легко соглашается. Постепенно Чертков становится не только посредником, но советником Толстого. Толстой делится с ним замыслами новых произведений, посылает начатые и брошенные отрывки, которые Чертков переписывает, оставляя пробелы между строками и большие поля, чтобы Толстой мог заполнить их новым текстом и правкой. До этого не додумалась С.А.!

В марте 1885 года выходят первые книжки «Посредника» — три народных рассказа Толстого в синих и красных обложках с черным рисунком, набранные очень крупным шрифтом. Они очень дешевы — в копейку и полторы копейки книжечка.

В мае того же года Чертков вновь едет с матерью в Англию и договаривается об издании на английском языке запрещенных в России произведений Л.Н. Помогает ему его английский друг лорд Батерсби. Так под одной обложкой выходят на английском языке «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия». И Толстой этому «очень, очень рад».

С возникновением «Посредника» и первыми изданиями за границей запрещенного Толстого в жизни писателя начинается новая эра. Честь ее открытия всецело принадлежит Черткову.

Пока С.А. самостоятельно переиздает проверенные временем старые сочинения мужа, договариваясь с типографией, вычитывая корректуры и складируя готовые книги в сарае московского дома, Чертков открывает для Толстого новые горизонты.

И это увлекает Л.Н. несравненно больше, чем бесконечное повторение «старья», вроде «Детства» и «Войны и мира», над которыми продолжает лить слезы его жена и которые новый, духовно свежий Толстой уже ни во что не ставит. И вот дома — «старье», всё то, чем он горел в 60-70-е годы и что теперь ему смертельно надоело. А там, за пределами наскучившей ему семейной сферы, молодой и энергичный Чертков, способный связать его с теми, еще неизвестными передовыми людьми мира, о которых он грезил во время своего духовного одиночества. Выбор был слишком очевиден, а борьба слишком неравной.

Глава седьмая
ЧЬЯ ВИНА?

Поведение Толстого и его спутников во время бегства из Шамордина очень напоминает поведение беженцев во время войны, которых внезапно срывает с непостоянного, но уже отчасти обжитого места какое-то тревожное известие, угрожающее их жизни, и заставляет бежать дальше, подчиняясь не разумной воле, а логике обстоятельств. Здесь царь и бог — начальник станции, а книга судеб — расписание железной дороги.

Куда они собирались ехать от Козельска? В Новочеркасск? Но уже находясь в пролетке, по дороге на станцию от гостиницы, Л.Н. спрашивает Маковицкого: «Как далеко к Анненковым от станции Льгов»? Сбитые с толку ошибкой в карте указателя Брюля, они пока еще думают, что ехать на Льгов нужно через Сухиничи и Брянск, т. е. строго на запад, в прямо противоположном направлении, чем то, в котором они в результате поехали. Но поезд на Сухиничи отправлялся в 5:19 утра, и они на него уже не успевали. Почему? Их задержали нерасторопные ямщики, оставленные с двумя колясками приехавшими вчера Сашей и Феокритовой.

«Ямщики ужасно медлили с подачей лошадей, — пишет Маковицкий. — Было почти шесть, когда Л.Н. и я садились в экипаж Было туманно, сыро, температура могла быть на точке замерзания, безветренно, темно».

Во втором экипаже ехали вещи Толстого и доктора. Таким образом, для дочери и ее подруги места уже не было. Толстой рассчитывал взять для себя более удобную коляску — своей сестры. Ради этого Маковицкий, пока Саша и Феокритова укладывали вещи, пошел к дому Марии Николаевны и разбудил ее дочь Елизавету. Но тут случилось странное, на светский взгляд, недоразумение. Сестра Л.Н. была монахиней и никаких личных распоряжений, даже в отношении собственной коляски, без разрешения игуменьи отдавать не могла. Игуменья же была больна, и будить ее в такой ранний час было неудобно. Да и время не позволяло.

«Пришлось сделать так идти на скотный двор, разбудить оставленных двух ямщиков, а третьего ямщика нанять в деревне, послать за ним работника. А пролетку

Марии Николаевны прислать за ней же, чтобы она поехала в гостиницу проститься с братом». Проститься с братом она не успела, застав в гостинице только Сашу с подругой, которые сами отчаянно спешили, чтобы догнать Толстого и Маковицкого.

Л.Н. оставил сестре трогательное письмо, которое, кроме нежных чувств к ней, яснее ясного доказывает, что Толстой и во время второго бегства находился в здравом уме и вполне отдавал отчет своим поступкам.

«Милые друзья, Машенька и Лизонька.

Не удивитесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один — в 8-м часу…

Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас.

Л.Т.».

Итак, уже очевидно не успевая на брянский поезд, они собирались сесть на тот, который отходил в 7:40, до Горбачева и дальше. Дальше — куда?

И тут в дневнике Маковицкого возникает странная путаница, которая и говорит о том, что ясного представления о направлении их маршрута, не говоря уже о его конечной цели, у беглецов еще не было.

Этот самый Льгов и Анненкова постоянно присутствуют в голове Толстого, как наваждение. О Льгове и имении Анненковой он говорит Маковицкому в пролетке по пути на станцию. Там «по дороге можно остановиться и отдохнуть», — внушает он доктору, недвусмысленно намекая на то, что устал от своего бегства и хочет привычного усадебного уюта. А может, и просто ухода со стороны душевно близкой и опытной женщины?

Но Маковицкий то ли не понимает этого, то ли делает вид, что не понимает. Л.Н. тревожит еще и то, что коляски с Сашей и Феокритовой не видно позади, а они уже подъезжают к Козельску. Стало быть, дочь может опоздать на поезд?

Казалось бы, это такое опасение, которое

перекрывает все остальные соображения. Л.Н. и Маковицкий спрашивают ямщика: успевают ли они сами на семимичасовой поезд? Успеем, отвечает ямщик Тем не менее на въезде в Козельск Толстой неожиданно спрашивает его о гостинице: есть ли гостиница? «Л.Н. намекнул, ввиду невероятности поспеть к поезду, не остановиться ли в гостинице, и спросил ямщика, какая в Козельске гостиница», — пишет Маковицкий. Это был уже не намек Это был сдавленный крик старого и больного человека, который понимает, что сил бежать дальше у него нет, но то ли из упрямства, то ли из деликатности не говорит этого.

Прямым долгом Маковицкого, как врача, было понять это настроение и, несмотря на то что встретиться с С.А. он не хотел не меньше самого Толстого, заставить ЛН. остановиться в гостинице. И Маковицкий колеблется. Он говорит, что «тогда (т. е. в случае остановки в гостинице. — *П.Б.*) под вечер в 4:50 можно будет ехать дальше». Но позвольте — куда ехать? Заглянем в указатель Брюля, из которого доктор взял эти цифры 4:50. В это время через Козельск шел поезд отнюдь не на Ростов. Это был тот же самый поезд на Сухиничи, на котором они приехали из Горбачева тремя днями раньше. Тот же самый товарный поезд с единственным пассажирским вагоном III класса, в котором Толстой и простудился.

Из дневника Маковицкого:

«Л.Н.: В том поезде (вагоне), в котором сюда приехали?

И в голосе слышно было, что мысль о том страшна ему. И никто из нас не поручил ямщику свернуть к гостинице. Догадайся я спросить Л.Н., как он себя чувствует, может быть,

Л.Н. признался бы в своем недомогании. Л.Н. всё время сидел прямо, не опираясь, не ища, как бы поудобнее сесть, не стонал, не вздыхал, ничем не проявлял утомленности или того, что нехорошо себя чувствовал. Но я не обратил внимания, не подумал, что Л.Н., может быть, по слабости хочет остановиться, и мы, не останавливаясь, поехали на вокзал. Поезд подъезжал. Ямщик погнал лошадей и остановился у самого подъезда».

Сегодня легко осуждать Маковицкого за неисполнение им врачебного долга. Но не забудем, что

свидетельство этого неисполнения мы черпаем из его же дневника. Никаких свидетелей (кроме ямщика, который вряд ли был очень рад проснуться в такую рань и везти господ на станцию) не было, и ничто не помешало бы доктору потом, во время приведения дневника в порядок, как угодно приукрасить свою роль в бегстве Толстого. Но он этого не сделал. Да, врач проморгал болезнь своего подопечного. Но ведь и честно рассказал об этом всему свету.

К тому же Маковицкий сам был чудовищно уставший и невыспавшийся. Да и не в его правилах было спорить с решениями Л.Н., которые он считал священными.

Саша и Феокритова всё-таки успели к поезду на Ростов. Сели вместе в вагон 2 класса, в котором даже не было свободного купе. Л.Н. посадили к интеллигентному человеку из Белева, который сразу узнал писателя и деликатно освободил купе. Сели в поезд без билетов. И только тогда «стали совещаться, куда ехать».

Только тогда Льгов и Анненкова отпали сами собой. Только тогда они решили ехать на Ростов, в Новочеркасск, к Денисенкам. «За Горбачевой опять советовались и остановились на Новочеркасске. Там у племянницы Л.Н. отдохнуть несколько дней и решить, куда окончательно направить путь — на Кавказ или, раздобыв для нас, сопровождающих Л.Н., паспорта („У вас у всех виды (на жительство — *П.Б.*), а я буду вашей прислугой без вида“, — сказал Л.Н.), поехать в Болгарию или в Грецию».

Читая дневник Маковицкого, невольно приходишь в ужас. Значит, беглецы собирались нелегально пересекать границу, провозя больного восьмидесятилетнего старика под видом прислуги? Разумеется, это было невозможно. И дело даже не в том, что их вычислили бы на границе, так как известие о том, что великий Лев Толстой сбежал из своего дома вместе с невозмутимым бледнолицым доктором-словаком, к тому времени облетело бы весь мир. Дело в том, что в поезде на Ростов их уже сопровождал корреспондент газеты «Русское слово» Константин Орлов. И Орлов, следовавший за Толстым по пятам, конечно, регулярно сообщал бы о месте нахождения Л.Н. и его спутников с каждой крупной железнодорожной станции. В итоге в Новочеркасске Толстого и его свиту встречала бы толпа

корреспондентов со всего Южного края, так что ни о каком приватном визите к Денисенкам не могло быть и речи…

И всё-таки рассмотрим возможные пути бегства Толстого после Шамордина. Предположим, они получили паспорта, пересекли границу и добрались до Болгарии. Был ли это выход для Л.Н.?

Чего он хотел больше всего? Покоя и одиночества. «Он не помнил или не знал, — пишет Маковицкий, — как он известен и в Болгарии. Ни на одном языке в мире, не исключая английского, чешского, нет столько переводов последних писаний Л.Н., как на болгарском. Но никто из нас тогда и не думал объяснять Л.Н., что ему скрыться надолго нигде нельзя. Мы тогда думали только о том, чтобы хоть несколько недель (а пока хоть несколько дней) не быть разысканными, догнанными».

В Болгарии Толстого ждал слишком уж теплый прием. В частности, в Болгарии жил его страстный последователь, друг Черткова, Христо Досев, сотрудник журнала «Възраждане». В 1907 году он гостил у Черткова в Телятинках и встречался с Толстым. В Болгарии, как во всех славянских странах, было движение «толстовцев», и они, конечно, носили бы своего учителя на руках. Но как раз этого Толстой меньше всего хотел. Принципиальное условие, которое он предъявлял своему предполагаемому месту жительства, — чтобы это ни в коем случае не была толстовская коммуна. Это он не раз настойчиво говорил своим спутникам. Где угодно — в избе, в гостинице, только не в коммуне!

И как тут не вспомнить Будду, отказавшегося умирать в буддийском монастыре?[15]

Но в таком случае и Кавказ не стал бы мил Толстому. На Кавказе тоже жили «единомышленники», сосланные туда «толстовцы», духоборы.

Номера газет, где уже сообщалось об исчезновении Толстого из Ясной Поляны, на станции Горбачево купила его дочь Саша. Толстой эти газеты увидел и, по свидетельству Саши, очень огорчился.

— Всё уже известно, все газеты полны моим уходом, — грустно воскликнул Л.Н.

В вагоне многие пассажиры читали эти газеты и обсуждали главную новость. «Против меня сидели два молодых человека, — вспоминала Саша, — пошло-франтовато одетые, с папиросами в зубах.

— Вот так штуку выкинул старик, — сказал один из них. — Небось это Софье Андреевне не особенно понравилось, — и глупо захохотал, — взял да и ночью удрал.

— Вот тебе и ухаживала она за ним всю жизнь, — сказал другой, — не очень-то, видно, сладки ее ухаживания».

Слух о том, что виновник скандала находится здесь же, в этом поезде, мгновенно облетел вагон, и в купе к ним стали заглядывать любопытствующие пассажиры. Одних усилий спутников Л.Н. сдержать этот натиск было недостаточно. Тогда вмешались умные кондукторы.

— Что вы ко мне пристали? — говорил один из них, седой, почтенного вида, с умным, проницательным лицом. — Что вы в самом деле ко мне пристали? Ведь говорю же я вам, что Толстой на предпоследней станции слез.

Но Толстой этого, слава богу, уже не видел и не слышал. Он спал, накрывшись пледом, в пустом купе.

И когда он проснулся, для его спутников стало очевидно: Толстой тяжело болен. Все ресурсы его мощного организма, поддерживавшие его на пути из Ясной в Шамордино, будто рухнули в одночасье. Не будем гадать, почему это произошло. Тем более что существуют разные версии о болезни Толстого. Заметим лишь, что это случилось тогда, когда он, казалось, вырвался из козельской западни, когда они уже проехали злосчастное Горбачево и призрак С.А., по крайней мере, не угрожал им в ближайшие дни. Но именно после Горбачева через газеты он понял, что сбежать от жены еще можно, а от земной славы — никак Толстой понял, что теперь за каждым его шагом следит весь мир. Неутомимые газетчики настигнут его где угодно.

Путь отца Сергия ему не удался. Как, впрочем, и путь всех его литературных беглецов, от князя Оленина до старца Федора Кузмича. Этого последнего дьявола, земную славу, он не смог одолеть. Она только многократно умножилась его уходом.

Кольцо судьбы

Жизнь Толстого искушала биографов поделить ее не просто на отрезки времени (детство, юность, зрелость, раннее

творчество, позднее), но именно на кратные отрезки, чтобы каждому жизненному периоду соответствовало одинаковое количество лет.

Почему это так, рационально объяснить трудно, но интуитивно это так. Возможно, потому что Толстой жил и развивался не обычными периодами, а циклами или, образно выражаясь, кольцами, как огромное дерево, например дуб. Он как бы постоянно рос в своем духовном объеме, с каждым этапом наращивая новое духовное кольцо.

Эти циклы не совпадают с привычными темпами человеческой жизни. В них есть какой-то строгий порядок, который однажды самого Толстого ввел в искушение разделить свою жизнь на кратные отрезки времени.

В разговоре со своим первым биографом П.И.Бирюковым Толстой взял за основу цифру «7». «Это деление я слышал от самого Льва Николаевича, который когда-то в разговоре при мне высказал мысль, что ему кажется, что соответственно семилетним периодам физической жизни человека, признаваемым некоторыми физиологами, можно установить и семилетние периоды в развитии духовной жизни человека, так что выйдет, что каждому семилетнему периоду соответствует особый духовный облик».

Согласно догадке Толстого, П.И.Бирюков поделил его жизнь на семилетние циклы. Вот что получилось:

1) 1828-35 гг. Младенчество.

2) 1835-42 гг. Отрочество.

3) 1842-49 гг. Юность, учеба, начало хозяйства в деревне.

4) 1849-56 гг. Начало писательства, военная служба: Кавказ, Севастополь, Петербург.

5) 1856-63 гг. Отставка, путешествия, смерть брата, педагогическая деятельность, посредничество, женитьба.

6) 1863–1870 гг. Семейная жизнь. «Война и мир». Хозяйство.

7) 1870-77 гг. Самарский голод. «Анна Каренина». Апогей литературной славы, семейного счастья и богатства.

8) 1877-84 гг. Кризис. «Исповедь». «Евангелие». «В чем моя вера?»

9) 1884-91 гг. Москва. «Так что же нам делать?» Народная литература. «Посредник». Распространение идеи в обществе и народе. Критики.

10) 1891-98 гг. Голод. «Царство Божие внутри нас». Духоборы. Гонение на последователей этих идей.

11) 1898–1905 гг. «Воскресение». Отлучение. Болезнь. Последний период. Обращение к военным, духовенству и

политическим деятелям. Война. Революционное и реформаторское движение в России.

С этой хроники начинается первая из существующих полных биографий Толстого, написанная его последователем Бирюковым. Прекрасная биография, во многом непревзойденная и поныне.

Однако показательно, что сам Бирюков называет эту систему деления «условной». Семилетние периоды очевидно не отражают самых важных дат в жизни писателя. С одной стороны, многие отрезки времени являются случайными. 1842-49, а почему, скажем, не 1843-50? С другой — отсутствуют ключевые моменты в развитии Толстого, когда его жизнь буквально поворачивалась на 180°. Таких моментов было не так уж много, и было бы логичней именно от них выстраивать циклы жизни Л.Н.

Положим перед собой лист бумаги и, после самого строгого и тщательного отбора, отметим самые важные даты в жизни Толстого.

Вот что у нас получится:

1828 1847 1862 1877 1910

Объяснять роль первого и последнего событий — рождения и ухода-смерти — не нужно. Их бесповоротность («безвозвратность», говоря языком Толстого) понятна и не нуждается в комментариях.

Но почему — 1847 год? В этом году находясь в Казани, восемнадцатилетний Левочка Толстой начинает вести дневник. Начало ведения дневника — это, по сути, начало творчества Толстого, ибо дневник играл в нем едва ли не главенствующую роль. Это начало духовного самосознания Л.Н. И за важностью этого «безвозвратного» события можно даже не упоминать, что в этом же году Толстой становится хозяином Ясной Поляны. Он бросает университет и мчится в Ясную начинать свою помещичью деятельность, которую с переменными успехами и разочарованиями продолжает вести до середины 80-х годов.

Не нуждается в комментарии и третья дата — 1862 год. Это — женитьба Толстого. Напомним, что само понятие «безвозвратного» события он относил к браку и смерти. «После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее, безвозвратнее брака», — писал он в дневнике 1896 года.

1877 год — начало духовного кризиса. Толстой обращается к религии, едет в Оптину Пустынь и начинает «Исповедь». Он прощается с прежней жизнью, раскаивается в ней и начинает новую жизнь.

Таким образом, биография Толстого разбивается на следующие отрезки: 1828-47 (18 лет за вычетом нескольких месяцев, ибо родился Толстой в конце августа, а дневник начал в апреле), 1847-62 (15 лет), 1862-77 (15 лет) и 1877-10 (33 года). 18 + 15 + 15 + 33. Невольно возникает искушение назвать еще одну дату, чтобы формула оказалась симметричной: 18 + 15 + 15 + 15 + 18.

Но для этого нужен 1892 год.

И тогда мы получим вот что:

1828 1847 1862 1877 1892 (?) 1910

В хронике Бирюкова этот год приходится на период 1891-98 гг. Среди самых важных событий этого времени он называет работу Л.Н., его семьи и его сподвижников на крестьянском голоде в Бегичевке Рязанской губернии. Он также выделяет книгу «Царство Божие внутри нас» и самоотверженную помощь Толстого в деле переселения русских духоборов в Канаду которая в означенный период началась, но отнюдь не закончилась; ее главная фаза пришлась на 1898-99 гг., когда Толстой передает на это дело гонорар от «Воскресения» и отправляет вместе с мигрантами-духоборами старшего сына Сергея.

Спору нет, всё это чрезвычайные события в жизни Л.Н. Но их никак не назовешь бесповоротными («безвозвратными»), И они, за исключением статьи «Царство Божие внутри нас», не являются фактом исключительно жизни самого Толстого. Это была коллективная деятельность, в которой он принимал живое участие.

Но и «Царство Божие внутри нас» не является самым важным произведением Толстого даже «духовного» периода. Почему не «Исповедь», не «Воскресение»? Не дневник, не письма? Таким образом, если следовать хронике Бирюкова, мы не найдем на этом этапе жизни Л.Н. ни одного безвозвратного события.

Но так ли это на самом деле?

Отказ или раздел?

В 1892 году Толстой отказался от собственности. Впрочем, сам по себе отказ от собственности не был новостью в то время. От собственности отказался и знаменитый в России проповедник лорд Редсток. Полковник английской армии, участник Крымской войны, после духовного переворота он в возрасте тридцати трех

лет раздал все свое имущество и распустил прислугу. Привычным явлением был отказ от собственности в пользу монастырей среди богатых русских купцов, когда в конце жизни они уходили из мира замаливать грехи. Но то, как совершил эту процедуру Толстой, и сегодня вызывает много вопросов.

Отказ от собственности стал для Л.Н., пожалуй, самым мучительным событием в его жизни. То, что по его мысли должно было принести ему радость, духовное облегчение, на деле ввергло его в настоящую тюрьму бесконечных вопросов и сомнений.

С самого начала духовного переворота Толстой пытается доказать семье и прежде всего жене, что собственность — величайшее зло, от которого надо отказаться. Но это нужно сделать вовсе не для того, чтобы облагодетельствовать других, как понимала это его жена, упрекая мужа, что он хочет помогать бедным и сделать нищими своих детей. Это нужно для самой семьи, поскольку жизнь в условиях роскоши, за счет непосильного труда других людей, — не жизнь, а духовная смерть. Это и стало главным «разночтением» в понимании жизни Л.Н. и его женой после 1877 года.

Пятнадцать лет (столько же, сколько они прожили счастливо дружной семьей) Л.Н. пытается доказать жене и старшим детям свою, как он думает, неоспоримую правоту. И встречает с их стороны либо глухоту и непонимание, либо недвусмысленное сопротивление. Атмосфера в московском доме Толстых и в Ясной Поляне отравлена навсегда. Она становится невыносимой для обеих сторон, хотя это не всегда заметно многочисленным гостям.

Между тем семья растет.

В 1888 году рождается последний ребенок — Ванечка.

И в том же году заводит свою семью второй по старшинству сын — Илья.

Это была первая свадьба в большой семье Толстых. Она, естественно, предполагала продолжение и умножение рода[16].

По традиции, заложенной отцом, дети Толстого не выходили замуж и не женились по денежному расчету. Вот и Илья выбрал в жены девушку замечательную, но малообеспеченную, дочку известного художника-портретиста Н.А. Философова, члена Академии художеств. Перед свадьбой Илья находился «в том невменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные». После венца молодые отправились в Ясную Поляну, где провели медовый месяц одни, в трех нижних комнатах, как робинзоны, наслаждаясь свободой и независимостью от родителей (семья Толстых в это время жила в Москве). Затем Илья с молодой женой

Сонечкой переехал в хутор Гриневка Чернского уезда, ранее приобретенный Л.Н. на имя жены. И вот тут он почувствовал материальную зависимость от родителей. Фактически Илья стал управляющим имения, которое принадлежало матери, что ему, с его характером, было невыносимо.

Остальные дети не спешили обзаводиться семьями. Сергей Львович первый раз женился в 1895 году в тридцатидвухлетнем возрасте, но этот брак оказался непрочным. Татьяна после длинной череды неудач с разными женихами вышла замуж в возрасте тридцати пяти лет за пожилого помещика М.С.Сухотина, у которого были дети. В тридцатилетнем возрасте на дочери шведского врача Вестерлунда женился Лев Львович. И наконец, любимая дочь Толстого Маша вышла замуж тоже довольно поздно по критериям того времени. Ей было двадцать шесть лет, когда она стала женой внучатого племянника отца, внука его сестры Марии Николаевны, Коленьки Оболенского, который, выражаясь языком той эпохи, был «гол, как сокол».

Что касается младших Толстых, то Саша дожила до девяноста пяти лет, не выходя замуж Дважды женился сын Андрей и единожды — Михаил. И оба оставили после себя немалое потомство.

Таким образом, с конца 80-х годов вокруг Толстого начинает собираться и расти, как снежный ком, новая семейная ситуация, с новыми, в том числе и финансовыми, заботами.

Толстой же к этой ситуации не только не был готов, но и не думал готовиться. Он словно живет на другой планете. В его дневнике, переписке с женой вы не найдете сколько-нибудь серьезных размышлений о материальной стороне жизни. Единственное, что по-настоящему волнует его, это что дети растут в условиях роскоши, из них делают «паразитов» на теле народном. Этот упрек он постоянно обращает к жене, а с середины 80-х жалуется на это и в письмах к «милому другу» В.Г.Черткову.

Любые попытки С.А. поднять финансовые вопросы вызывают в ее муже раздражение. В лучшем случае — снисходительно-барскую реакцию. В октябре 1884 года она посылает ему в Ясную список «Ежемесячный неизбежный расход»:

«В рублях
Англичанка 30
Madame 50
Страховка 267
Кашевская 40
В Думу 200

Гимназия и университет 47
Казенные 80
Русск. учительницы Маши 36
Воспитание 203
Ж а л о в а н ь е:
Жалов. людей 98
Повару 15
Прачке 40
Лакею 15
Дрова 60
Кучеру 16
Серёже 40
Няне 8
Мясо и еда людям и нам 150
Дворнику 8
Сухая провизия, освещение, угли, табак и пр. 150
Дуняше 8
Кухарке 4
Булочнику 25
Варе 5
Полотёрам 5
Татьяне 6
Лошади, корова 75
Власу 8
Ночной сторож 2
Кормилице 5
Жалов. Илье, Тане, Лёле и Маше 12
Повинностей по дому 50

Итого вынь да положь в месяц 910».

Ответ на это Л.Н. поражает барской пренебрежительностью. Было бы понятно, если бы он указал жене на лишние или чрезмерные статьи семейного бюджета. Но он отвечал ей так: «Не могу я, душенька, не сердись, — приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Всё это не событие, как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких; а это наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на 100 разных манер».

Замечательна эта убежденность Толстого, что жизнь большой, сложной, разновозрастной и разнохарактерной семьи можно легко переустроить «на 100 разных манер». Словно это не живые

люди с их привычками и недостатками, а детали кубика Рубика. И возникает небезосновательное подозрение, что, отрекаясь от собственности, Толстой избавлялся не только от «греха», но и от головной боли, связанной с «неизбежными расходами». Как философу ему была неинтересна эта «мышиная возня», и он говорил своей жене, как Диоген: «Не загораживай мне солнце». Своим беспечным отношением к финансовым вопросам отец заразил и часть старших детей. Например, дочь Маша была на его стороне.

«Она была худенькая, довольно высокая и гибкая блондинка, фигурой напоминавшая мою мать, а по лицу скорее похожая на отца, с теми же ясно очерченными скулами и светло-голубыми, глубоко сидящими глазами, — писал о своей младшей сестре брат Илья. — Тихая и скромная по природе, она всегда производила впечатление как будто немножко загнанной. Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону».

В дневнике Татьяны конца 90-го года есть чрезвычайно интересная запись, которая свидетельствует, что в это время более одинокой в семье чувствовала себя мать.

«Мама мне более жалка, потому что, во-первых, она ни во что не верит — ни в свое, ни в папашино, во-вторых, она более одинока, потому что, так как она говорит и делает много неразумного, конечно, все дети на стороне папа, и она больно чувствует свое одиночество. И потом, она больше любит папа, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову. Главное ее несчастье в том, что она так нелогична и этим дает так много удобного материала для осуждения ее».

Положение супругов в начале 90-х годов существенно отличается от начала 80-х. Ни о каком одиночестве Толстого говорить уже не приходится. Он чувствует колоссальную поддержку со стороны российского и мирового общественного мнения. Хотя в России его новые сочинения запрещены цензурой, они расходятся в списках, гектографическим способом, но главное — о них идет молва по всей стране, а молва на Руси куда сильнее книг и журналов. Что же касается заграницы, то, благодаря энергической деятельности Черткова, эти сочинения выходят миллионами (!) печатных страниц на многих языках. Из духовного маргинала Л.Н. становится властителем дум. Убеждение С.А. начала 80-х, что новые сочинения ее мужа будут интересны не более чем десятку людей, терпит сокрушительное фиаско.

Но главное — на ее глазах рушится ее крепость, *ее дом.* Он

наводняется «темными». В связи с этим в С.А. начинают проявляться наиболее невыигрышные стороны ее характера, вплоть до сословной и национальной нетерпимости.

«Тяжелое время пришлось переживать на старости лет, — жалуется она в дневнике 1890 года. — Левочка завел себе крут самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот утром сегодня приехал один из таких, Буткевич, бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный, и привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же, внизу, и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится с всякой дрянью и что отец этому как будто сочувствует. И я рассердилась, раскричалась; я ему зло сказала: „Ты привык всю жизнь водиться с подобной дрянью, но я не привыкла и не хочу, чтоб дочери мои водились с ними“. Он, конечно, ахал, рассердился молча и ушел».

Между тем Маша влюблена в Бирюкова и хочет выйти за него замуж Таня увлечена Чертковым. С Чертковым дружит и сын Лева. И всем им, конечно, гораздо интереснее правда отца, чем правда матери. Тем более что на стороне его правды всё прогрессивное человечество и такие приятные люди, как Чертков и Бирюков. Для С.А. начинается самое страшное: она терпит поражение в своей семье.

Это была ужасная несправедливость! Ведь семья держалась на ней. В любой критической семейной ситуации, которую создавал Л.Н., главный удар и ответственность падали на С.А. Но в отличие от мужа у нее не могло быть «милых друзей» и советчиков в этой ее борьбе. Слишком нетипичной была ее семейная ситуация. Каждый год муж преподносил ей сюрпризы: то он шьет сапоги, то пишет письмо к царю, уговаривая отпустить цареубийц, то ежедневно посещает церковь, то на глазах детей есть котлеты в пост, то пашет, то пытается копать землю лопатой под пшеницу, увлекаясь какой-то невиданной агрономией.

Толстой «чудесит». Он ведет себя как юродивый, но при этом формально остается главой огромной семьи и собственником нескольких имений, а также хамовнического дома, тоже своего рода имения внутри Москвы, с садом, хозяйственными службами, инвентарем, коровой, лошадьми, собственными экипажами. И всё это постепенно де-факто переходит к С.А. Но де-юре он в любое время может поставить ребром вопрос о полном отказе от собственности.

В феврале 1890 года Толстой записывает в дневник замысел новой драмы — «о жизни: отчаяние человека, увидевшего свет,

вносящего этот свет в мрак жизни с надеждой, уверенностью освещения этого мрака; и вдруг мрак еще темнее». Этот замысел вылился в неоконченную пьесу «И свет во тьме светит», которую он начинал писать, потом бросал и так работал над ней до 1900-х годов. Это самая личная пьеса Толстого, по своему автобиографизму сопоставимая только с повестью «Дьявол». В ней он не просто выразил свое отношение к проблеме отказа от собственности, но и постарался понять драму своей жены.

В пьесе богатый человек Николай Иванович Сарынцев, начитавшийся Евангелия и решивший буквально следовать проповеди Христа, предлагает своей семье отказаться от собственности, раздать всё бедным и жить своим трудом. Страдающей стороной здесь оказываются его жена Марья Ивановна и их дети — Степа и Ваня, Люба, Мисси и Катя. В пьесе много других персонажей — помещики, чиновники, священники, жандармы, доктора. Но самые важные среди них фигуры — это сестра жены Сарынцева, его свояченица, Александра Ивановна Коховцева и ее муж Петр Семенович. Прототипы всех главных героев вполне прозрачны. Это Л.Н., его жена, их дети и Кузминские.

Особенно примечательна фигура Александры Ивановны. В отличие от своей сестры она ни секунды не сомневается, что Николай Иванович просто дурит и Марья Ивановна должна переписать всю собственность на себя. Таким образом Толстой озвучивал позицию Татьяны Андреевны Кузминской. Эта пьеса является убедительным ответом на вопрос: что было бы, если бы Толстой выбрал не Соню, а Таню, дождавшись ее совершеннолетия. А вот что… Татьяна, не задумываясь, объявила бы своего мужа сумасшедшим, когда он начал бы *дурить*.

Фигура Марьи Ивановны (С.А.) выписана значительно сложнее. В принципе она готова разделить убеждения мужа, потому что любит его безгранично. Но ее ideé fixe — это дети. Вовсе не собственность как таковая. Собственность ей скорее самой ненавистна. И потому что она порождает раздор между ней и любимым человеком, и потому что собственность для нее — это тот крест, который она должна взять у мужа и взвалить на свои плечи ради детей. Таким образом? суть конфликта заключается не столько в разнице нравственных убеждений, хотя и они отличаются. Суть — в разном понимании своего «креста» и блага детей.

В пьесе Николай Иванович дает удивительное определение своей жене — «хитрый ребенок»:

«Николай Иванович. Ребенок, совсем ребенок, или хитрая женщина. Да, хитрый ребенок…»

Формально пьеса не завершена, но смысл ее исчерпан финалом. Под давлением семьи Николай Иванович подписывает акт передачи имения в собственность жены и пытается уйти из дома вместе с каким-то загадочным Александром Петровичем, который фигурирует в финале как «оборванный». Они собираются «без гроша» доехать до Кавказа.

Но опять-таки под давлением жены Николай Иванович остается дома и взывает к Богу:

— Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю Тебе? Нет. Отец, помоги мне!

Перед тем как подписать акт отречения, Николай Иванович очень ясно предупредил жену:

— Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой, я должен уйти. Не могу я продолжать жить в этих условиях. Не могу видеть, как не моим уж, а твоим именем будут выжимать сок из крестьян, сажать их в острог. Выбирай.

Ее выбор означает его уход. Не сегодня, так завтра.

Но настоящая драма, разыгравшаяся в семье Толстых в начале 1890-х годов, была сложнее литературной. К 7 июля 1892 года, когда Толстой подписал акт раздела своего имущества между женой и детьми, Л.Н. уже почти десять лет фактически не владел ничем. В мае 1883 года в присутствии тульского нотариуса Белобородова им была выдана генеральная доверенность жене на ведение всех его имущественных дел, которая включала в себя и право продажи в целом и по частям за цену и на условиях, которые она сочла бы приемлемыми, любой его собственности. Она могла извлекать из нее доход и тратить его по своему усмотрению. Она могла заключать любые договоры и подписывать любые юридические документы без согласия мужа.

Интересно, что при этом она не могла без согласия мужа свободно передвигаться по России. И когда в 1886 году возникла необходимость поездки С.А. в Ялту к умиравшей там матери, Толстой должен был подписать жене еще одно удостоверение, что он разрешает ей «в течении сего 1886 года проживание во всех городах и местностях Российской Империи».

Но зачем в таком случае понадобился документ 1892 года, если акт отречения Толстого от собственности уже почти десять лет был даже юридически узаконен? Между тем именно второй документ, в отличие от первого, дался Л.Н. и его семье крайне тяжело h в нравственном, h в юридическом отношении (он готовился целый год). Именно второй документ породил в семье уже не одну, а несколько трещин. И этот документ был *невыгоден* для С.А.

В 1883 году между Толстым и его женой был подписан

полюбовный договор, по которому «зло» (в понимании Л.Н.) или «крест» (в понимании С.А.) собственности она принимала на свои плечи, освобождая от него своего идеалиста-мужа. Отныне он мог не заниматься ненавистным «злом», не подписывать бумаг, противных его убеждениям, не следить за тем, чтобы никто чужой не покушался на то, что ему, как он считал, от Бога не принадлежит.

Всем занималась жена.

К тому же Толстой продолжал надеяться, что он сможет убедить семью вовсе отказаться от собственности и начать жить своим трудом, пустившись в опасный, но увлекательный жизненный эксперимент. Сам он готовился к нему тщательно: шил сапоги, пилил дрова, пахал, косил, строил избы. Не была белоручкой и его жена, мастерица, обшивавшая всю семью. За всю свою жизнь С.А. ни разу не была за границей. Ее увлечение балами быстро сошло на нет. Вообще С.А. невозможно упрекнуть, что она потратила свою жизнь на удовольствия. И, зная ее самоотверженность в любви к мужу, которая так возмущала ее сестру Таню, почему бы не предположить, что при других семейных условиях она могла пойти за Л.Н. хоть в избу, хоть на край света?

Но только не с детьми! Тем более такими разными, как их дети.

Целиком на стороне отца была только Маша. Но недаром брат Илья называл свою сестру «немножко загнанной». С ангельски бескорыстным характером, любовной предрасположенностью к людям и готовностью служить всем, Маша была не от мира сего, как и Ванечка. Она могла быть духовно ведомой отцом при материальной поддержке матери, но не вести самостоятельную жизнь, которая у нее, в конце концов, и не удалась.

Любопытную характеристику Маши мы найдем в дневнике ее брата Льва 1890 года. «Маша, та заряжена, даже не заряжена, а смазана мыслью, взглядом папа, всем, что могло только коснуться ее душеньки, и что она могла понять из сложной до бесконечности внутренней машины папа. Интересно, что из нее будет?»

В тот же день он пишет: «…сестра Маша в штанах, обтянутая с тонкими ногами, христианка, вегетарианка и т. д. и глупа просто, как пробка…»

Но и Лев, и Татьяна в принципе допускали полный отказ от собственности, о чем свидетельствует запись Татьяны в дневнике того же 1890 года:

«Лева (брат. — *П.Б.*) был очень огорчен всей этой историей

(спорами между отцом и матерью. — *П.Б.*) и говорил, чтобы отдать всё к черту и que cela finisse[17]. Но я, представляя себе, что это случилось, всё-таки думаю, что никакой разницы бы не было. Лева продолжал бы университет на стипендию, Сережа продолжал бы служить, Илья пошел бы в управляющие, Маша вышла бы замуж за Пошу (Бирюкова. — *П.Б.*), детей бы распихали по заведениям, я ушла бы в гувернантки, мама бы завела какой-нибудь пансион, папа бы верно жил с Машей и Пошей».

Итак, жизнь без собственности, по мнению Тани, была возможна. Но что от этого изменилось бы? «Все бы мы остались с теми же идеалами и стремлениями, только, пожалуй, в некоторых родилось бы озлобление за то, что их поставили в это положение».

«Озлобление» уже и родилось. Женившись первым, Илья потребовал доли семейного имущества. В семье Толстого произошло то, что происходило в крестьянских семьях с преобладающей мужской половиной. Взрослые сыновья, обзаводясь семьями, не желали жить семейной общиной под руководством отца. Тем более жить так, как обожаемый Толстым крестьянин Сютаев, с общими платками и сундуками. Новый семейный проект Толстого оказался обречен не из-за его якобы жадной супруги, а из-за естественного желания сыновей жить самостоятельными домами.

Вольно или невольно, но именно Илья стал главной причиной семейного имущественного раздела. С.А. этот раздел ничего не давал, он только отнимал у нее власть над всей собственностью семьи.

Именно после женитьбы Ильи в доме Толстых начинаются постоянные разговоры о разделе собственности. Начинает их Илья, но и остальные не остаются в стороне. Кроме отца и Маши.

Илья живет с молодой женой в Гриневке, которая не принадлежит отцу, она записана на мать. Таким образом, крайней оказывается мать, которая сделала своего сына простым управляющим.

Запись из дневника С.А.:

«Илья вдруг говорит: „А я вам кобыл для кумыса не дам“. Я вспыхнула и говорю: „Я тебя и не спрошу, а прикажу управляющему“. Он тоже вспыхнул и говорит: „Управляющий — я“. — „А хозяйка — я“. Была ли я уставши или уж очень он меня намучил разговором о деньгах и именьи, только я страшно рассердилась, говорю: „До чего дошел, отцу на кумыс кобыл пожалел, зачем ты ездишь, убирайся к черту, ты меня измучил!..“»

Толстой любил Илью. Но его отношения с сыновьями — это вообще большая психологическая загадка.

«Деликатность отца в отношении с нами доходила до застенчивости, — вспоминал Илья Львович. — Были вопросы, которые он не решался затрагивать, боясь этим сделать больно.

Я не забуду того, как один раз в Москве он сидел и писал в моей комнате за моим столом, а я невзначай забежал туда для того, чтобы переодеться.

Моя кровать стояла за ширмами, и оттуда я не мог видеть отца.

Услыхав мои шаги, он, не оборачиваясь, спросил:

— Илья, это ты?

— Я.

— Ты один? Затвори дверь. Теперь нас никто не услышит, и мы не видим друг друга, так что нам будет не стыдно. Скажи мне, ты когда-нибудь имел дело с женщиной?

Когда я ему сказал, что нет, я вдруг услыхал, как он начал всхлипывать и рыдать, как маленький ребенок.

Я тоже разревелся, и мы оба долго плакали хорошими слезами, разделенные ширмами, и нам не было стыдно и было так хорошо, что я эту минуту считаю одной из самых счастливых во всей моей жизни».

Илья тоже любил отца. Из всех сыновей Толстого он более всех походил на него внешне, а в старости, живя в Америке, стал поразительно на него похож, что позволило Голливуду втянуть Илью в авантюру весьма неудачного фильма о Толстом, где сын сыграл своего отца. Но в молодости, став главой собственной семьи, он начал вынуждать мать (мать, а не отца!) отдать ему Гриневку, что нельзя было сделать, не ущемив имущественных прав остальных детей. Записи в дневнике С.А. ясно свидетельствуют о том, что акт об отказе от собственности, подписанный Л.Н. в 1892 году, был результатом не столько его и ее воли, сколько вынужденной ситуации, в которой семья оказалась после женитьбы Ильи.

«Собственно, трудно с одним Ильей, — пишет С.А. в 1891 году, за год до формального раздела собственности семьи, — он страшный эгоист и очень жаден, может быть оттого, что у него уже семья. Остальные дети все деликатны и на всё будут согласны. Левочка всегда имел слабость к Илье и не видал его недостатков; на этот раз тоже ему хочется сделать всё по желанию Ильи, и я боюсь, что будут еще неприятности без конца. К счастью, Гриневка на мое имя, и если не согласятся делить всех детей по жеребью, я не соглашусь отдать Гриневку и Овсянникова. Но маленьких в обиду не дам ни за что… Левочке все эти разговоры тяжелы, а мне еще вдесятеро тяжелее, так как приходится защищать меньших детей от старших».

Не сумев радикально решить вопрос об отказе от собственности, Толстой «умывает руки». Он отрекается от собственности, но формально это происходит в виде раздела имущества между членами его семьи. Это было единственно возможное компромиссное решение, но надо признать, что пострадавшей стороной в этом разделе оказалась С.А. Муж получил то, что хотел — свободу от собственности. Дети получили свои доли. Она получила Ясную Поляну (на паях с несовершеннолетним Ванечкой), но вместе с тем сохранила обязательство отвечать за Л.Н., организовывать его быт и оставаться связующим звеном дробящейся большой и сложной семьи.

«В июле 1891 года, — вспоминал Сергей Львович, — все мы — братья и сестры — съехались в Ясной Поляне для обсуждения предполагаемого отцом раздела его имений между нами[18]. Отец оценил все свои имения вместе с купленными матерью двумя небольшими имениями Овсянниковым и Гриневкой приблизительно в 500 000 рублей и решил распределить все эти имения поровну на девять человек — нашу мать и восемь его детей. Каждую часть он оценил в 55 000 рублей. После совместного обсуждения этого дела было установлено, согласно предложению отца, следующее распределение долей каждого: Ясная Поляна была разделена на две части — одна часть передавалась матери, другая — малолетнему Ивану, бывшему под ее опекой; Никольское — Вяземское вместе с Гриневкой разделялось на три части: я получал часть с усадьбой с условием заплатить 28 000 сестре Тане, Маша получала среднюю часть Никольского, Илья — Протасовский хутор вместе с купленной матерью Гриневкой, где он поселился; Татьяна — 28 000 от меня и купленное матерью Овсянниково, Лев — московский дом и участок в самарском имении, трое младших, кроме Ивана, опекаемые матерью, получили остальное самарское имение. Маша, разделявшая убеждения отца, отказалась от своей части, и ее часть была передана матери.

Тогда я предложил матери, на что она согласилась, передать мне Машину часть Никольского-Вяземского с обязательством уплатить ее стоимость, то есть 55 000 рублей. Таким образом я взял на себя обязательство уплатить сестрам 28 000 + 55 000 = 83 000, что составляло около ста рублей с десятины имения. Эти деньги я надеялся уплатить путем залога имения и продажей леса».

Судя по воспоминаниям и дневникам участников этого события, раздел прошел довольно мирно, если не считать отказа от своей доли Маши, который вызвал возмущение ее братьев и

старшей сестры как своего рода «подлость» по отношению к ним. Заметьте, возмущение вызвал отказ, а не претензия на лишний кусок. Это говорит о высоком моральном климате в семье Толстого.

«На Страстной все братья съехались, потому что решили делиться, — пишет в дневнике Татьяна. — Этого захотел папа, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Всё-таки ему это было очень неприятно, и раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, стал быстро говорить: „Да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я ото всего отказываюсь в вашу пользу“. Он сказал это нам потому, что это было для него самое неприятное и ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. Это было так жалко, потому что это было как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля. Мне было ужасно больно быть ему неприятной, но я знаю, что этот раздел уничтожит так много неприятностей между Ильей и мама, что я считала своим долгом участвовать в нем. Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою часть».

Выйдя замуж, Маша вынуждена была обратиться к матери за своей долей наследства.

Детям Толстого было неловко делить собственность отца, которую отец мечтал отдать крестьянам. Отцу было неловко присутствовать при разделе его собственности родными детьми, «как если бы он умер» (точные слова Толстого). Мать переживала из-за того, что младшие дети материально пострадают от эгоизма старших. Среди старших детей впервые возник серьезный раскол из-за необдуманного поступка Маши, который дополнительно ставил их в неловкое положение. Младшие дети, Саша и Ванечка, становились собственниками помимо своей воли. Подрастая, Ванечка не признавал Ясную Поляну своей собственностью и, слыша от матери, что это его земля, топал ножкой и говорил, что она не его, а «всехняя». Несложно догадаться, что если бы самый младший Толстой не скончался в 7-летнем возрасте, с этим «собственником» были бы свои серьезные проблемы.

Этот раздел не принес семье ни материального, ни морального благополучия. Сыновья Толстого повторяли ошибки молодости отца: любили вино, карты, цыган, не отличаясь при этом крепким хозяйским умом. Переписка матери с сыновьями свидетельствует о том, что и Илья, и Лев, и Андрей, и даже самый разумный из братьев Сергей постоянно были в долгах и

обращались за помощью к своей единственной спасительнице — матери.

Толстой считал собственность величайшим злом. Однако отказаться от этого зла и остаться морально спокойным он не смог. Зло преследовало и даже как будто мстило Л.Н. Особенно это проявилось в случае с литературными правами.

Недоходное место

Чтобы представить соотношение между собственностями Толстого, его имуществом и литературными правами, приведем некоторые факты и цифры.

По-настоящему доходным было только самарское имение. Купленные Л.Н. впрок нетронутые и плодородные самарские земли постоянно росли в цене и не требовали серьезных капиталовложений. Сдача этих земель в аренду приносила семье чистый доход. И если бы их хозяин время от времени не пускался в романтические предприятия, вроде скрещивания английской и башкирской пород лошадей ради создания идеальных скакунов для кавалерии, сами по себе самарские земли были золотым дном. Что касается тульских имений, всё было намного печальнее.

Досужие рассуждения, что, мол, вольно было Толстому отказаться от литературных прав, будучи богатым помещиком, происходят от очевидного незнания реального материального положения семьи.

Ясная Поляна не была доходным имением. Напротив, она приносила семье ежегодные убытки, покрывать которые приходилось из других источников. Переводя разговор на язык сегодняшнего дня, можно сказать, что Ясная Поляна была огромной дачей, которая кормила семью, но отнюдь не одевала. При этом требовала неустанных хозяйских забот и ежегодных капиталовложений, не покрываемых доходами от самого имения.

Чтобы представить хозяйские заботы С.А., которые после отказа мужа от собственности целиком легли на ее женские плечи, заглянем в «Опись живого и мертвого инвентаря…» Ясной Поляны, которую приводит в своей статье хранительница яснополянского дома Татьяна Васильевна Комарова. «На 1 января 1913 года в имении было большое хозяйство: 27 лошадей, 26 коров, 1 бык, 24 теленка, 11 свиней, 9 овец, 78 штук птицы. На 20 декабря 1912 года хранилось овса 880 пудов, ржи 800 пудов 10 фунтов, муки ржаной 6 пудов 36 фунтов; сена лугового 5 стогов, приблизительно 400 пудов; сена клеверного 2 стога,

приблизительно 1200 пудов; овса в скирдах, 3 скирды =130 копен; ржи в скирдах, 2 скирды =150 копен, картофеля приблизительно 400 пудов».

«Выращивали также капусту, огурцы, малину, белую и красную смородину, разную зелень, дыни, репу, — сообщает Татьяна Васильевна. — Можно представить, какую площадь засевали огурцами, если их семян было куплено в 1914 году 3 фунта».

Беседовать с хранительницей дома — это истинное удовольствие! Так неформально, по-человечески, даже как-то по-женски она сегодня переживает за хлопоты спутницы Толстого.

Но вот мы вместе с ней посмотрели приходно-расходные листы, которые собственноручно вела С.А., не доверяя это «святая святых» своему приказчику Корингу. Ради чего так хлопотала эта героическая женщина? Из какого такого богатого имения бежал ее великий муж?

«Приход» Ясной Поляны за 1910 год составлял 4626 руб. 49 коп. «Расход» — 4523 руб. 11 коп. Итого: годовой доход имения составил 103 руб. 38 коп.

В 1911 году хозяйство велось куда успешнее. При «расходе» 5633 руб. 46 коп. и «приходе» 6371 руб. 93 коп. Ясная Поляна принесла С.А., тогда уже вдове, целых 738 руб. 47 коп. Эту сумму она записывает в «остаток на 1912 год». Это те чистые деньги, которые она получила *за целый год* от своего имения и которые как ответственная хозяйка тратит не на платья и удовольствия, а вкладывает в развитие хозяйства.

И тут начинается самое интересное.

Что же составляло «приход» Ясной Поляны? «Расход» — это «жалование служащим» (1690 руб. 76 коп.), «поденные работы» (576 руб. 02 коп.), «ремонт и возведение построек» (308 руб. 20 коп.), «покупка сена и соломы» (411 руб. 36 коп.), «покупка и ремонт инвентаря» (228 руб. 75 коп.), «продукты для служащих» (114 руб. 45 коп.) и даже такой непредвиденный расход, как «покупка тулупа для черкеса» (10 руб.), нанятого женой Толстого для охраны Ясной Поляны от своих же крестьян[19].

А «приход»? Оказывается, что главной статьей «прихода» была сдача лугов — 1200 руб. 04 коп. Вторая по важности статья — сдача земли: 342 руб. 50 коп. Третья — продажа излишков молочных продуктов — 258 руб. 95 коп. и продажа рогатого скота — 147 руб. 50 коп. Остальные статьи дохода небольшие: «кожи» — 13 руб. 65 коп., «продажа дичи» — 22 руб. 60 коп. и т. п. И, наконец, штрафы с крестьян, пойманных тем самым черкесом в десятирублевом тулупе на порубке леса, потраве луга и прочих злоупотреблениях, составили за 1910 год 15 рублей.

Видя эти цифры, приходишь в недоумение. Неужели из-за этих несчастных 15 рублей в год шла настоящая война между Л.Н. и С.А., приведшая в конце концов к его уходу из родного имения?! Неужели из-за этого мучился великий писатель и гуманист, глядя, как черкес на аркане тащит бедных крестьян из леса?!

Но это первое и обманчивое впечатление. Именно потому, что Ясная Поляна была небольшим и недоходным имением, она требовала самого скрупулезного учета и контроля. Чтобы «приход», по крайней мере, сходился с «расходом». Здесь не то что рубль, но каждая копейка была на счету, потому что из этих копеек и складывался ежегодный финансовый баланс.

По свидетельству Т.В.Комаровой, у С.А. было два помощника: приказчик и садовод-пасечник. Всю работу по дому и хозяйству выполняли двадцать человек. На их содержание (жалование + продукты) уходило, как мы видим, около трети всего «расхода». Остальные две трети уходили на поддержание построек и инвентаря в рабочем состоянии, на корм скота и т. д., но точно не на развлечения. Это было, по сути, натуральное хозяйство.

Но вот мы видим, что в графе «Приход» самая большая статья не луга, не земля, не молоко. Эта загадочная позиция называется «Получено от графини С.А.Толстой» (написано ее рукой), без разъяснения, каким образом это «получено»?

С.А. сама ежегодно вкладывала в Ясную более 2000 рублей в год чистыми деньгами. В 1910 году этот «приход» составил 2521 руб. 20 коп., а в 1911-м — 2491 руб. 92 коп. Но это проще понять, заглянув не в ежегодный, а в ежемесячный лист за ноябрь 1912 года. «Приход» — 256 руб. 84 коп. «Расход» — 256 руб. 60 коп. «Остаток» — 24 коп. В графе «Приход» пометка: «из них 100 от С.А.»

Итак, чтобы получить от Ясной Поляны в ноябре 1912 года 24 коп. дохода, С.А. потратила на это своих 100 рублей. Но после раздела имущества Толстого между членами семьи она уже не владела ничем, кроме Ясной Поляны. Откуда же она брала ежегодные 2000 руб.? Понятно, что после раздела имений и до назначения ей как вдове ежегодной пенсии от государства (10 000 руб.) эти деньги могли поступать только от продаж сочинений ее мужа.

Кошмар «копирайта»

До смерти Толстого по генеральной доверенности 1883 года, хотя в ней ни разу не упоминались слова «литературное право»,

жена распоряжалась сперва всеми сочинениями мужа, ас 1891 года, по воле Толстого, ее «копирайт» был ограничен произведениями, написанными до 1881 года. Это и был источник их общего дохода. Из этих денег покрывались расходы на Ясную Поляну, на эти деньги покупалось всё необходимое для содержания московского дома и многое, без чего нельзя было жить ни ей, ни мужу, ни их детям.

В то же время стоимость литературной собственности Толстого росла в геометрической прогрессии. Несмотря на то что в 1891 году он публично отказался от литературных прав, издатели не оставляли надежд заполучить эксклюзивные права на сочинения Толстого. К концу его жизни их стоимость оценивалась зарубежными издателями в десять миллионов (!) золотых рублей. За права же, принадлежавшие только С.А., ей предлагали один миллион.

Лишь сопоставляя эти круглые астрономические числа с цифрами в приходно-расходной книге, начинаешь понимать, какая мина была заложена в основание семейных отношений Толстых. Только после этого начинаешь понимать всю проблемность этой семьи и, как ни странно, еще больше уважать ее. Легко любить и умиляться отцом, отдающим нищему последнюю рубашку. Но попробуйте смириться с потерей миллионов! Ставки были слишком высоки.

Удивляться нужно не тому, что с начала 80-х в семье Л.Н. постоянно вспыхивают конфликты, связанные с его радикально-христианским отношением к собственности, а тому, что эти конфликты не взорвали семью окончательно.

Преклонение перед величием отца, но и понимание драматизма положения матери в дальнейшем позволили роду Толстых не рассеяться в человеческом пространстве, как это случилось с менее конфликтными семьями.

Нетипичность конфликтов в семье Толстых проявлялась еще и в том, что с начала 90-х годов и до конца жизни Л.Н. (и некоторое время после его смерти) эти проблемы становились достоянием гласности. Их широкое обсуждение в печати ставило семью в мучительное положение. Несомненно, это обстоятельство серьезно подорвало характер С.А., и без того склонный к истеричности, и привело ее, в конце концов, на грань психического помешательства.

Непросто приходилось и старшим сыновьям Толстого. 8 мая 1890 года в «Новом времени» появилось извлечение из отчета обер-прокурора Синода за 1887 год, в котором говорилось, что уже в 1887 году Толстой «не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имения, так как

старшие его сыновья начали ограничивать его расточительность». Это была явная ложь. Сыновья взволновались, и 27 мая в той же газете Сергей, Илья и Лев Львовичи поместили опровержение, написанное весьма убедительно. Но подобные опровержения никогда не убеждают публику и даже склоняют ее к обратному мнению: раз оправдываются, значит, в чем-нибудь да виноваты!

Между тем семейные отношения в начале 90-х действительно приобретают драматический характер. 1891 год стал рубиконом, после которого семейного мира быть уже не могло. И как «надрез» в семейных отношениях начала 80-х годов неминуемо должен был завершиться двумя попытками «ухода» Толстого из семьи (1884, 1885), так кризис 91-го года непременно должен был разразиться каким-то взрывом, что и случилось в 1895 и 1897 годах.

Сразу после семейного имущественного раздела в апреле 1891 года (формально закрепленного в 1892 году) Толстой ставит вопрос об отказе от литературных прав. Для его детей, в то время не имевших к этим правам никакого отношения, этот вопрос вряд ли представлялся интересным. Серьезным и даже страшным ударом этот отказ был для жены писателя. Ведь по доверенности 1883 года она являлась фактической держательницей исключительных прав на его сочинения. К тому же она была его издательницей и относилась к этому делу не только меркантильно, но с душевной страстью.

Всё значительное, что было написано Л.Н. до духовного переворота, за исключением автобиографической трилогии и «Севастопольских рассказов», писалось при непосредственном участии С.А. Она была и переписчицей, и советчиком, и даже цензором своего мужа. Так, по ее настоянию он исключил из «Войны и мира» откровенную сцену с купанием Элен Курагиной в ванной. Жена убедила его, что эта сцена не позволит рекомендовать «Войну и мир» для прочтения юношам и девушкам.

Отказ Толстого от литературных прав был посягательством не только на материальную, но и на душевную собственность жены. Во всяком случае, она восприняла это как личное оскорбление. Поэтому, сравнительно просто отказавшись от львиной доли ее с мужем имущественной собственности в пользу детей, в вопросе о литературных правах она проявила упрямство, которое вылилось в саботаж воли Толстого.

Итак, в 1883 году он передал литературные права жене. Заметим, что Толстой сделал это тогда, когда по совести уже не считал себя вправе получать доход от творчества, как и от своих имений. Таким образом, Толстой перелагал «зло» литературной

собственности на плечи жены и до начала 90-х годов соглашался с этим статусом-кво. Почему же в начале 90-х он снова поднимает этот вопрос, явно понимая его болезненность для жены?

11 июля 1891 года, через три месяца после того, как состоялся фактический раздел собственности Толстого, он из Ясной Поляны посылает в Москву письмо, в котором в мягкой форме уговаривает жену *самой* напечатать в газетах объявление об его отказе от литературных прав на все сочинения с 1881 года. Именно *уговаривает,* прибегая даже к хитрости. «Я всё это время думал составить и напечатать объявление об отказе в праве собственности от моих последних писаний, да всё не думалось об этом; теперь же думаю, что может быть это будет даже хорошо в отношении упрека тебе со стороны публики в эксплуатации, как пишет артельщик, если ты напечатаешь от себя в газетах такое объявление: можно в форме письма к редактору: М.Г. прошу напечатать в уважаемой газете вашей следующее:

Мой муж, Лев Николаевич Толстой, отказывается от авторского права на последние сочинения свои, предоставляя желающим безвозмездно печатать и издавать их».

Артельщик — это Матвей Никитич Румянцев, заведующий складом книг Толстого, издаваемых С.А. Между ним и женой писателя шли переговоры о том, какую цену назначить на XIII том очередного собрания сочинений Толстого. Румянцев предупреждал хозяйку, что если она снизит цену на допечатанный для розничной продажи XIII том, который вызывал повышенный интерес, потому что в него вошли самые последние произведения Л.Н., включая скандальную «Крейцерову сонату», то прежние покупатели, получившие том по подписке, будут недовольны и переколотят на складе стекла, как было у Суворина, когда он издал дешевого Пушкина.

Все эти манипуляции с ценами на его сочинения возмущали Толстого. И сам формат собрания сочинений казался ему «пошлым», рассчитанным на развращенную городскую публику, но никак не на народного читателя. Тем не менее в письме к жене Л.Н. выбирает самые осторожные выражения и пытается обосновать свое решение ее же интересами. К тому же речь не идет о том, чтобы отказаться от всех прав. Только от последних сочинений. Всё, что написано до 1881 года, он считает законной собственностью жены, не помышляя о том, чтобы лишить ее этого источника дохода.

Проблема была в несчастливом XIII томе! Именно с выходом этого тома вдруг обнаружилось, что никак не получается разделить творчество Толстого на «до 1881 года» и «после». Это легко сделать в голове, но не в практике книгоиздания. Широкой

публике наплевать на тонкости понимания Толстым эволюции своего творчества. Публика жаждет новинок, сенсаций. Сенсацией XIII тома являлась «Крейцерова соната».

Известно, как мучительно далась «Крейцерова соната» Л.Н. Ее многочисленные варианты не удовлетворяли Толстого, и до последнего момента он не был уверен в том, что история ревности, описанная в ней, завершится тем, чем она завершилась — убийством жены. Но и после публикации «Сонаты» его писательская совесть не могла оставаться спокойной. Атакованный бесчисленными письмами с просьбой разъяснить, что же он всё-таки хотел сказать этой вещью, Толстой вынужден был пойти на ужасный, с точки зрения писательского достоинства, шаг. Он пишет «Послесловие» к повести, в котором «на пальцах» разъясняет ее смысл.

История публикации повести едва ли не драматичнее, чем история ее создания. Дело в том, что жена Толстого *ненавидела* эту вещь. Именно так, здесь не подберешь более мягкого слова. Тем не менее именно она сделала всё возможное и даже невозможное, чтобы эта повесть увидела свет.

Поездка жены Толстого в Петербург и ее встреча с императором в апреле 1891 года в связи с наложением цензурного запрета на XIII том собрания сочинений подробно описана С.А. в ее дневнике и даже выделена в отдельный рассказ под названием «Моя поездка в Петербург». И сегодня читать это произведение пера жены Толстого невыносимо тягостно. Тут сошлось всё: и страх за семью, и денежный расчет, и тщеславие спутницы великого писателя, и странное ее желание доказать публике, что не она является героиней этой вещи, раз сама продвигает ее в печать, и что-то еще, о чем мы можем только догадываться.

Результатом разговора с Александром III было не только то, что она добилась разрешения продажи XIII тома, но и то, что император согласился стать личным цензором Толстого. С.А. считала это своей победой. Ее мужа это глубоко возмутило. Доверие между Толстым и его женой во всем, что касается творческих вопросов, было окончательно подорвано.

1890-й и 91-й годы, когда заканчивалась и публиковалась «Соната», были одними из самых страшных в истории семьи. В затяжную и медицински не объяснимую душевную депрессию впадает сын Лев. Маша хочет выйти замуж за Бирюкова, чего не желает не только мать, но и отец при всей его любви к «толстовцам». Илья эгоистически требует своей доли имущества при жизни родителей. Наконец, происходит раздел. Сразу после этого Толстой требует отказаться от литературной собственности,

чем доводит С.А. сначала до угрозы публично опротестовать этот отказ («в интересах детей»), а затем до попытки лечь на рельсы. И в это время он создает «Крейцерову сонату» и «Послесловие» к ней, в которых произносит свое третье «отречение». Это было отречение от семьи, от самого этого многовекового института, в основе которого он отныне видел только похоть и узаконенную сексуальную эксплуатацию женщин мужчинами. Между тем женщины не только не препятствуют эксплуатации, но с девичьих лет по наущению матерей прибегают к изощренным способам ее приближения, вроде оголения плеч и грудей на балах, «нашлепок» на задницах, обтянутых джерси, и прочей «мерзости».

Как могла относиться к этой повести С.А. после тридцати лет семейной жизни с ее автором и рождения в браке с ним тринадцати детей? Несложно догадаться. Вдобавок в это время муж отказывает ей в праве переписывать его новые сочинения, чувствуя ее недоброжелательство к ним. Но при этом он не вправе отказать ей в держании корректуры той же «Крейцеровой сонаты», ибо она пока что является и его издательницей, и литературным агентом, и обладателем прав на все произведения. Ее материальный интерес к XIII тому огромен, потому что огромен интерес к нему публики. Но этот том запрещают, и в это же время распускается слух (на уровне царского двора), что «Крейцерова соната» написана о ревности Л.Н. к своей жене. Это к ней-то, которая ни разу не подала ему повода для ревности!

Узел был страшный. Разрубить его можно было либо полным отказом от участия в творческом процессе мужа, либо холодным и прагматичным использованием своего права на публикации, невзирая ни на что, до тех пор, пока муж сам не решит этот вопрос.

Что делает С.А.? Обижаясь на мужа за то, что он не пускает ее в святая святых своего творчества, отныне доверяя переписку своих сочинений Маше и Тане, она начинает тайно переписывать его ранние дневнички, те самые, которые он в начале 60-х годов заставил ее прочитать. Но спустя 30 лет Л.Н. как раз запрещает ей касаться этих дневников, чуя неладное. С осени 1890 года он начинает прятать дневники от жены, не зная, что часть их уже спрятана в ее комоде и переписывается по ночам.

В поведении С.А. было что-то мазохистское. Эти дневники растравляли ее старые раны, бередили ревность и вызывали к мужу злое чувство.

«Он не умел любить, — *не привык* смолоду», — делает она заключение в своем дневнике.

«…как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность».

Наконец, она находит в его дневнике место: «Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни». Это буквально взрывает ее! «Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж…»

И всё это вдруг связывается в ее сознании с «Крейцеровой сонатой», корректуру которой она вычитывает в это время. Женским чутьем С.А., разумеется, понимает, что в основе этой повести лежат какие-то темные интимные переживания Л.Н., что, впрочем, легко понять и не будучи его женой, настолько предельно пронзительна исповедь главного героя повести Позднышева. И вот цепочка «похоть-ревность-убийство» в понимании С.А. накладывается на историю ее отношений с мужем, особенно последнего времени. Только она понимает это с несколько другой стороны. «Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни», — пишет она в дневнике. То есть речь идет не о ревности к ней, как думает публика, а, напротив, об охлаждении. Но в основе этого охлаждения лежит все та же похоть — неудовлетворенная.

«Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его „Крейцеровой сонатой“, — восклицает С.А. в дневнике. — А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь».

В «Крейцеровой сонате» Толстой открывал черные бездны и вызывал из тьмы демонов, чтобы показать смертельную опасность семейного союза, подсознательно основанного на половом инстинкте. Подруга Толстого поняла это слишком прямолинейно. Тем не менее выпуск «Крейцеровой сонаты» стал для нее делом принципа.

Находясь в апреле 1891 года в Петербурге и ожидая аудиенции у царя, С.А. вела активные переговоры с директором императорских театров И.А.Всеволожским по поводу постановки пьесы Толстого «Плоды просвещения». Как и «Крейцерова соната», эта пьеса была запрещена; ее можно было играть только на домашних театрах. Увидев «Плоды просвещения» в репертуаре императорских театров, напечатанном в «Новом времени», С.А. незамедлительно отправилась отстаивать свои права. Ее разговор с директором, подробно пересказанный в дневнике, вызывает сложное чувство. С одной стороны, она отказывала театру в исключительных правах на пьесу, ссылаясь на волю мужа, не желавшего ограничивать распространение своих произведений. С другой — вела себя как полномочная и агрессивная держательница этих эксклюзивных прав, «горячилась» и в душе называла театральных чиновников «хамами». Всеволожский

добивался от нее продажи права на постановку «Плодов просвещения» за 10 % от валового сбора, но при этом требовал права преследования частных театров в случае таких же постановок. Если нет — он обещал только *5 %.* С.А. возмущалась этим циничным торгом. Но в результате она всё-таки добилась 10 % отчислений без уступки исключительного права. Жена Толстого вела себя как опытный литературный агент.

Но она собиралась распорядиться этими деньгами? «Сережа, мой сын, предлагает эти деньги отдавать на благотворительные заведения императрицы Марии, — пишет она. — Я бы охотно это сделала, да им же, моим 9 детям, так много нужно денег, а где я их буду брать?»

Какие мотивы руководили женой Толстого, когда после первого предложения самой напечатать в газетах письмо об отказе от прав на литературную собственность она стала фактически саботировать просьбу мужа? Только меркантильные соображения? Нет, конечно. С.А. была сложной личностью. Скорее всего, в этот момент она почувствовала, что теряет последний контроль над своим великим спутником, над «Левочкой». Успех чертковского «Посредника» и особенно то внимание и любовь, с которыми ее муж относился к этому народному издательству, терзали ее самолюбие издательницы и просто властной женщины, не желавшей делить своего мужа ни с кем.

Наверное, в этом была ее ошибка.

К началу 1890-х годов Толстой перерастает самого себя. Он уже не был просто мужем и писателем. Толстой становится колоссальной духовной величиной, влияние которой в России сопоставимо только с властью царя и православной церкви. Его мировой авторитет не только в Европе и Америке, но и на Востоке, в буддийских, индуистских, мусульманских странах, растет, как снежная лавина. Он превращается в философа уровня Лао-цзы и Конфуция, Шопенгауэра и Ницше. Через десять лет и даже раньше в Ясную Поляну польется поток паломников со всего мира к великому старцу, учителю мира сего.

Обладать «исключительными правами» на такого человека было нельзя. «Не делиться» со всем миром было нельзя. Нужно было смириться. Нужно было договариваться с Чертковым. Нужно было согласиться стать *одной из фигур* возле великого старца. Невзирая ни на что. Ни на 9 детей. Ни на хозяйство. Ни на собственное уязвленное самолюбие.

Нельзя сказать, что жена Толстого этого не понимала. Вообще это большое заблуждение, что С.А. чего-то такого совсем не понимала. Но ее непростой характер, особенности ее воспитания

и, наконец, женская *обида* на то, что муж, проживший с ней бок о бок тридцать лет, *уходит* «готовеньким» к другим людям, не позволили ей взвесить все «за» и «против» и принять разумное решение.

Внешне смириться всё равно пришлось.

Не дождавшись от жены публикации письма об отказе от литературных прав и встретив с ее стороны сопротивление («… вся красная, раздраженная, стала говорить, что она напечатает… вообще что-то мне в пику», — пишет он в дневнике), Толстой понял, что сделать жену союзницей не получится.

21 июля 1891 года в Ясной Поляне Л.Н. твердо заявил, что сам напишет письмо в газеты. Она знала, что это рано или поздно случится, но оказалась психологически не готова.

«Мы наговорили друг другу много неприятного, — пишет она в дневнике. — Я упрекала его в жажде к славе, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли и что более глупой и жадной женщины он не встречал». Ссора закончилась криком: «Уйди, уйди!» И она ушла с решением покончить с собой. Как Анна Каренина — броситься на рельсы.

Трудно сказать, насколько серьезным было это решение. Суицидальные припадки случались с С.А. постоянно, но всякий раз заканчивались ничем. Так или иначе, она написала в записной книжечке, что «не в силах более *решать* всё одна в семейных вопросах» и поэтому уходит из жизни. Но ведь и в самом деле после отречения Толстого от собственности все семейные заботы ложились только на ее плечи. При этом муж лишал ее источника финансирования, каковым являлись не старые, а именно новые сочинения, которых ждала читательская публика. Наконец, письмо с отказом означало публичное признание семейного разногласия. С.А. «почувствовала всю несправедливость этого поступка относительно семьи и почувствовала в первый раз, что протест этот есть новое опубликование своего несогласия с женой и семьей».

Она бежала на станцию Козлова Засека «в совершенном умопомешательстве». Уже смеркалось, но ей не было жутко. Главное, она понимала, что теперь *«стыдно* вернуться домой и не исполнить своего намерения». Ее душевное состояние в тот момент очень напоминало состояние Анны Карениной. Не хватало только львиных доз опиума, которые Каренина приняла накануне самоубийства.

К счастью, по дороге ей встретился зять, муж младшей сестры Тани, Александр Кузминский. Он шел с вечернего поезда с Козловки и удивился, увидав свояченицу в таком состоянии. С.А. стала убеждать его, чтобы он оставил ее одну, что она скоро

вернется домой. Но это было совершеннейшим бредом, и Кузминский настоял на их совместном возвращении…

Так эта история изложена в дневниках С.А. Расставшись с зятем уже в Ясной Поляне, она отправилась на пруд с намерением утопиться. И вновь та же мотивация: «уйти из этой жизни с непосильными задачами». Среди деревьев в темноте на нее налетел какой-то зверь, «собака, лисица или волк», она не могла разглядеть, будучи близорукой.

Именно зверь будто бы напугал С.А. и заставил вернуться в дом, где она тотчас отправилась к младшему сыну Ванечке. «Он лег уже спать, стал меня ласкать и всё приговаривал: „Мама моя, мама!“»

Потом пришел муж, оживленный, поцеловал ее, как будто ничего не случилось. Он пообещал ей, что не напечатает письмо с отказом до тех пор, пока она сама не поймет, что так надо поступить.

Последнее, что вспомнилось С.А. в тот вечер, была всё та же проклятая «Крейцерова соната». Она не выходила у нее из головы. Что-то в этом произведении настолько взволновало ее, что она поняла: их жизнь с Л.Н. до «Сонаты» и после — это две разные жизни. В конце вечернего свидания она объявила мужу, что больше не будет жить с ним как жена. Он сказал, что рад этому. Она ему не поверила.

19 сентября в «Русских ведомостях» появилось письмо Толстого, перепечатанное многими газетами: «Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с *1881 года* и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения».

Толстой задержал публикацию отказа, чтобы позволить жене распродать XIII том с «Крейцеровой сонатой». Он выполнил это условие супружеского договора. Но права и на «Сонату», и на всё, что написано с 1881 года, и на то, что еще будет написано, он отбирал у нее и отдавал всем. По сути, это было «узаконенное пиратство».

Но что значит — всем? Во-первых, кто-то же будет печатать новое сочинение первым. И кто-то первым получит рукопись для перевода на другой язык. И этот кто-то будет кровно заинтересован в том, чтобы «право первой ночи» было писателем соблюдено. Особенно это касалось иностранных издателей, которые, первыми печатая новое сочинение русского классика и

оплачивая труд переводчика, хотели на нем заработать и вовсе не желали входить в понимание русской широкой натуры. Следовательно, необходим литературный агент, который будет следить за тем, чтобы новоиспеченное сочинение не хватал со стола кто попало.

Который договорится с издателем о праве первой публикации до того, как новое сочинение распечатают все.

Во-вторых, «узаконенное пиратство» может продолжаться лишь до смерти классика. До тех пор, пока он закрывает глаза на то, что его печатают все и ничего за это не платят. Но как только закроются навеки земные очи писателя, «узаконенное пиратство» прекратится, потому что у писателя есть наследники.

Печатая письмо в «Ведомостях», Толстой искренне полагал, что избавляется от последнего «зла» собственности. Он поступал широко, по-русски, как богатырь, который одним движением плеча стряхивает с плеч маленьких черных демонов. Но демоны ведь никуда не делись. Они ждали.

«Копирайт» еще отомстит Толстому.

Чья же вина?

Но не будем ханжами и зададим вопрос: а не были ли семейные конфликты связаны с физическим охлаждением уже стареющего мужчины к своей, хотя и несравненно более молодой (разница шестнадцать лет), но тоже далеко не юной подруге? Вчитаемся, например, в эту страницу ее воспоминаний: «Свою семейную жизнь Лев Николаевич отживал совсем. Еще теплились где-то в глубине его сердца любовь ко мне, к дочерям, которые ему были и нужны и приятны, но он уходил, уходил быстро, и я всё больше и больше чувствовала свое одиночество и всю ответственность за себя и за свою семью».

Это пронзительное женское откровение вроде бы говорит само за себя. Но в нем смущает одно слово: «быстро». Это воспоминание относится к 1894 году. *Быстро?* Первый уход Толстого из дома состоялся в 1884 году, десять лет назад. После 1894 года они прожили вместе более пятнадцати лет. Так что если Толстой и уходил, то не «быстро».

На заданный вопрос утвердительно отвечал зять Толстого М.С.Сухотин в своих дневниках. Но когда? В 1910 году. «Как ни странно, но полное охлаждение Л.Н. к жене можно заметить, и то человеку, живущему в доме, лишь за последние годы, и особенно текущий год. Уж не происходит ли это по мере того, как плоть всё более и более замирает».

Ни в письмах, ни в дневниках Толстого 1890-х годов мы не найдем признаков охлаждения. Куда более убедительным ответом на наш вопрос является его письмо к жене, написанное в ноябре 1896 года из Ясной. «Ты спрашиваешь: люблю ли я всё тебя. Мои чувства теперь к тебе такие, что, мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть всё, что только может связывать людей. Нет, не всё. Недостает внешнего согласия в верованиях, — я говорю внешнего, потому что думаю, что разногласие только внешнее, и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость, и *влечение непреодолимое* (курсив мой. — *П.Б.*)».

Какое «влечение непреодолимое» имелось в виду? Конечно, было бы грубо считать, что это исключительно половая страсть. Но смешно говорить и о его сугубо платоническом отношении к жене даже в конце 90-х годов, когда он перешагивает семидесятилетний рубеж своей жизни.

Именно в это время он ревнует ее к музыканту и композитору С.И.Танееву, который начинает часто появляться в хамовническом доме и проводит лето в Ясной Поляне как на даче. Любовь С.А. к музыке (обоюдная с мужем) и неизжитые переживания по части своих исполнительских способностей вызвали в ней болезненную страсть к блестящему музыканту ученику Чайковского, страсть, на которую неодобрительно смотрели даже старшие дети. Что касается Л.Н., то он, сохраняя с Танеевым внешне дружеские отношения (слушал его музыку, беседовал, играл в шахматы), поставил перед супругой вопрос ребром: или я, или он!

Когда в феврале 1897 года С.А. собралась поехать в Петербург, чтобы присутствовать на репетиции Танеева, Толстой написал ей из Никольского-Обольяниново:

«Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет».

К маю того же года ревность Л.Н. достигает апогея. Сам он находится в Ясной, жена — в Москве, но она вынуждена поехать к нему, чтобы утишить его злость.

Сразу после ее отъезда в Москву он посылает ей письмо, которое было бы неловко цитировать, учитывая, что написано оно почти семидесятилетним стариком, если бы в письме не было столько молодой поэтической силы.

Он начинает с предупреждения «Читай одна».

«Пробуждение мое и твое появление — одно из самых

сильных, испытанных мною, радостных впечатлений; и это в 69 лет от 53-летней женщины… Лето спешит жить — сирень уж бледнеет, липа заготавливает цвет, в глуби сада в густой листве горлинки и иволга, соловей под окнами удивительно музыкальный. И сейчас ночь, яркие, как обмытые, звезды, и после дождя запах сирени и березового листа. Сережа (сын. — *П.Б.*) приехал в тот вечер, как ты уехала; он постучал под мое окно, и я с радостью воскликнул: „Соня“. Нет, Сережа».

Но не проходит и недели, как Толстой пишет новое, злое и ревнивое письмо, в котором ясно угрожает ей разводом.

В этом письме нет и речи о духовных разногласиях и «непонимании». Всё как раз очень понятно.

Толстой требует прекратить общение с человеком, в котором он видит соперника.

«Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, но постоянно мучаюсь. Ты это знаешь. Я говорил это тебе и с раздражением, и с мольбами и в последнее время совсем ничего не говорил. Я испробовал всё, и ничего не помогло: сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет идти до конца».

Он предлагает ей на выбор пять вариантов:

1) прекратить общение с Танеевым. «Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков, ни портретов… а полное освобождение»;

2) он уезжает за границу, полностью расставшись с ней;

3) они оба уезжают за границу и живут там до тех пор, пока Танеев не выветрится из ее головы;

4) они продолжают жить по-прежнему, делая вид, что ничего не происходит. Но это для него самое страшное;

5) он попытается изменить свое отношение к увлечению жены и будет ждать естественной развязки. Но едва ли это будет в его силах.

Толстой не отправил письмо и на следующий день уехал к брату Сергею Николаевичу в Пирогово отвести душу. В июле в Ясную Поляну приезжает в гости ничего не подозревающий Танеев. И вот во время его пребывания в Ясной Толстой и пишет то самое знаменитое письмо об уходе, которое обычно цитируют как наиболее ёмкое философское обоснование этого поступка.

«…как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в своей 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не

кричащего разногласия своей жизни с верованиями, с своей совестью».

Великие слова! С каким восторгом цитирует их Иван Бунин в книге «Освобождение Толстого». Он не просто их цитирует, но использует это как ключ к таинству ухода яснополянского старца. Как индусы уходят в леса. Как старики хотят последние годы посвятить Богу. И это была, конечно, правда. И это останется правдой спустя тринадцать лет, когда уход наконец состоится.

Мировоззренческая проблема ухода Толстого, с одной стороны, столь сложна (об этом написаны десятки исследований крупнейших философов и богословов), а с другой — столь прозрачна и величественна, как глубоководное озеро, что остается только поражаться, как Толстой сумел в нескольких словах выразить ее в письме июля 1897 года. В этом принципиальное отличие гения от таланта. Гений способен самый эксцентрический поступок, связанный с семейными конфликтами, превратить в Смысл, над которым будут задумываться поколения. Они будут разгадывать это как «шифр», обставляя всевозможными «концептами». Они будут примерять этот поступок на свои судьбы, обсуждать, иногда повторять, но всегда неудачно.

Толстой вынашивал свой уход в голове двадцать пять лет как великое произведение. Он неоднократно редактировал его и даже, как видим, на бумаге. Но в конце концов он совершил его спонтанно и как будто не вовремя. Ну не уходят в леса, когда за окном стоит промозглая осень, переходящая в зиму.

Но в письме были и другие слова.

«Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня».

Несовместность с женой была одной из главных причин этого ухода. И неслучайно все 90-е годы жизнь семьи словно озвучена зловещими мотивами «Крейцеровой сонаты». Толстой прежде всего отказывался от своего семейного «проекта», который замыслил в 50-е годы и описал в письме к Ергольской. И «проект» этот состоялся, но самого Толстого он теперь не устраивал. Роль добропорядочного мужа и отца, который копит для детей и внуков материальные сокровища в «сундук» своих предков, была отныне не интересна. Противна, как гроб.

Горизонт его зрения в это время невероятен. Он подвергает сомнению церковь, государство, общественные идеалы. В мире,

который готов вот-вот рухнуть (и рухнет!) в катаклизмы чудовищных боен и революций, он ищет единственную спасительную основу и находит ее в крестьянской общине, которая прямо исполняет заповедь Бога трудиться в поте лица и не искать случая поудобнее устроиться в грешном, оболгавшемся, противоестественном мире, где большинство работает и голодает, а меньшинство пребывает в праздности и жрет, наряжается, блудит, совершает самые противозаконные с христианской точки зрения поступки, но при этом считается «христианским». Он пытается соединить мировые религии и нравственные практики в одну общедоступную модель нравственного поведения и, конечно, плутает, блуждает на этом пути, но идет упрямо, ежедневно, подчиняясь великой китайской мудрости: каждый день начинай жить заново. Он ищет свою точку зрения на соотношение «Бог и человек» и находит ее в том, что человеческая личность есть часть Божества и только через любовь друг к другу этих страдающих частей возможно их духовное расширение и соединение в Целом. В этом свете тема продолжения рода перестает его интересовать, как неинтересна ему тема размножения кроликов. Но семья создается для продолжения рода. И ему неинтересна семья. Он уже написал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Он уже всё об этом сказал. Лучше всех.

И вот в это время появляется Танеев. «Крейцерова соната» обретает какое-то карикатурное воплощение. Конечно, в «Сонате» скрипач, послуживший причиной ревности Позднышева, не был похож на Танеева. Там был «дрянной человечек», «полупрофессиональный» музыкант, «полуобщественный человек». Танеев был лучшим учеником Чайковского и высочайшим профессионалом в области музыки, да и сам незаурядный композитор. Но точно черт подгадал Толстого в «Сонате» придать герою не вполне «мужские» признаки. «Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом…»

Танеев проживал тем летом во флигеле имения Толстых, музицировал, играл с Толстым в шахматы, мило беседовал, но при этом, сам того не желая, сводил его жену с ума. С.А. рассказывает в дневнике, как уходила в сад и беседовала с мертвым (!) Ванечкой, спрашивала его: «дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу. Сегодня Ванечка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он

послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать у меня». Это было временное умопомешательство, видимо, связанное и с недавней смертью сына, и с тем, что происходящие события совпали с наступлением критического женского периода (признание в дневнике).

Все эти записи в дневнике относятся к 5 и 6 июля. А 8 июля Толстой собирается тайно уйти из дома и пишет то самое знаменитое письмо об индусах. Но вместе с ним он пишет какое-то второе письмо. И первое, и второе С.А. прочитала только после смерти мужа. У Толстого хватило здравого ума и нравственного чувства не покидать жену в то время, когда она была глубоко несчастна и душевно больна. Уход остался в его голове как еще один «черновик». Тем не менее Л.Н. сохранил оба письма и спрятал их под клеенчатой обивкой кресла в кабинете. Это был очень странный поступок. Он говорит о том, что Толстой просто временно отложил свой уход, сохранив его письменное обоснование до поры.

В 1907 году Толстой достал оба письма и передал Н.Л.Оболенскому, мужу дочери Маши. Оболенский после смерти Маши передал эти письма М.С.Сухотину. При этом предполагалось, что оба письма передадут С.А. после смерти Л.Н., что и было выполнено.

Прочитав одно письмо, она тотчас его разорвала. Второе, об индусах, сохранила.

Логично предположить, что первое письмо касалось отношений с Танеевым. В 1910 году это уже не имело никакого смысла. Второе же письмо, почти полностью совпадая по смыслу с тем, которое оставил Л.Н. перед уходом 1910 года, не бросало ни малейшую тень на жену Толстого. Оба письма представляли уход как исключительно мировоззренческий поступок.

Конфликт июля 1897 года — не единственный «надрез» в отношениях супругов 90-х годов, наверное, самого сложного в истории семьи десятилетия. В начале 1895 года, незадолго до смерти Ванечки, сблизившей пожилых отца и мать в общем горе, сама С.А. безумно ревновала Л.Н. к молодой издательнице журнала «Северный вестник» Л.Я.Гуревич.

«Северный вестник» был одним из лучших и наиболее художественно-радикальных журналов 90-х годов, где вместе с Чеховым, Лесковым и Горьким печатались Сологуб, Бальмонт, Гиппиус и Мережковский. В этом журнале состоялось рождение русского символизма. Толстой согласился на уговоры Гуревич отдать свою повесть «Хозяин и работник». Это невероятно возмутило С.А.!

Она до конца не смирилась с тем, что у нее больше нет прав

на творчество ее мужа. Но если сопротивляться народным книжечкам «Посредника», выходящим из типографии Сытина, ей было сложно, то решение Толстого отдать новую, прекрасную и чисто художественную вещь в модный журнал давало ей моральное право осудить его за непоследовательность и тщеславие.

По-видимому, в переговорах с Толстым Гуревич не стеснялась привлекать свое женское обаяние. И вот это окончательно вывело С.А. из себя. Одно дело Чертков и Бирюков с копеечными книжками «Посредника», на которых не заработаешь. Но «интриганка, полуеврейка Гуревич ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала». Дневник СА начала 1895 года клокочет от злости. При этом она понимает, что ее муж написал «чудесный рассказ». С литературным вкусом у жены Толстого было всё в порядке. Ее оценки творчества Л.Н., рассыпанные в письмах и дневниках, почти всегда точны. И вот этот «чудесный рассказ» уплывает из рук, а С.А. как раз переиздает XIII том и хотела бы включить туда «Хозяина и работника». «Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения. Тогда печатал бы дешевенькой книжечкой изд. „Посредник“, чтоб *вся* публика имела возможность читать, и я сочувствовала бы этому, поняла бы. Мне он не дал в XIII часть, чтоб я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет, и я ищу пути поступить справедливо относительно публики в угоду не Гуревич, а назло ей. И я найду».

К издательской ревности примешивалась обычная женская ревность и обида, что муж не желает уступать ей ни в чем.

Но Толстой уже поставил себе за правило, что семья не наживается на его новом творчестве. И вот с одной стороны — мужское упрямство, с другой — нежелание смириться привели к тому, что 21 февраля 1895 года в Москве Толстой в очередной раз объявил о решении уйти из дома навсегда. Судя по дневнику С А, последней причиной конфликта была именно Гуревич. «Левочка был так сердит, что побежал наверх, оделся и сказал, что уедет навсегда из дома и не вернется».

Любопытна реакция на это С.А. Ей «вдруг пришло в голову, что это повод только, а что Левочка хочет меня оставить по какой-нибудь более важной причине. Мысль о женщине пришла прежде всего». Ревность, ревность и еще раз ревность терзала ее. И какая мгновенная реакция! «Я потеряла всякую над собой власть, и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе.

Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Левочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом».

В это время Ванечка уже метался в лихорадке, жить их сыну оставалось двое суток.

Через несколько лет С.А. опишет смерть младшего сына в воспоминаниях «Моя жизнь», и эта глава под названием «Смерть Ванечки» станет, пожалуй, лучшим ее произведением. Этот автобиографический рассказ стоит иных произведений ее мужа. Описание похорон Ванечки, который упокоился на Никольском кладбище близ села Покровское рядом с могилой брата Алеши, потрясает удивительным портретом Толстого. Этот портрет состоит из нескольких фрагментов, каждый из которых добавляет новую краску к описанию внутреннего состояния ее мужа, философа и религиозного проповедника, вдруг столкнувшегося с неразрешимым вопросом: как относиться к смерти любимого сына? Как это осмыслить в тех невероятных вселенских горизонтах, куда улетала душа и мысль Толстого? Как хоронить тело мальчика, если бы жена не похоронила его по православному обряду, который отрицал Толстой?

«Похоронили Ванечку. Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя». Спустя две недели Толстой осмысляет смерть Ванечки как «радостное», «милосердное», «распутывающее ложь жизни, приближающее к Нему событие». В то же время пишет о своей жене: «Соня всё также страдает и не может подняться на религиозную высоту… Причина та, что она к животной любви к своему детищу привила все свои духовные силы: положила свою душу в ребенка, желая сохранить его. И желала сохранить жизнь свою с ребенком, а не погубить свою жизнь не для ребенка, а для мира, для Бога».

Это были жестокие слова.

…Так или иначе, но 1890-е годы никак не показывают нам какого-то охлаждения между супругами. Напротив, это был слишком горячий период.

Толстой не был тем условным «индусом», который способен отрешиться от мира и уйти в леса. Это был сложный русский человек, сильный и слабый, упрямый и сентиментальный, мудрый и ревнивый, мягкий, деликатный и порой жестокий до необъяснимости.

Что касается С.А., то состояние ее ума и души в 90-е годы с неожиданной точки зрения характеризует ее повесть, *ее «Крейцерова соната»* под названием «Чья вина?» (1892–1893).

На титульном листе рукописи написано: «Чья вина? По

поводу „Крейцеровой сонаты“ Льва Толстого. Написано женой Льва Толстого». Уже в этом чувствуется некоторый перебор. Двойное упоминание имени мужа, сначала — как писателя, а затем — как мужа, говорит о том, что С.А. видела эту повесть двойным зрением, как писатель-полемист и как жена Толстого, которая хочет что-то доказать мужу. Впервые «Чья вина?» была опубликована более ста лет спустя после ее написания, в 1994 году в журнале «Октябрь». Но были домашние читки вслух фрагментов повести.

С литературной точки зрения «Чья вина?» — не слабое произведение. Но в этом сочинении смущает многое. Увидеть «Крейцерову сонату» Толстого в том ракурсе, в котором видела ее С.А., значит, не видеть ее вовсе. Там, где ее муж опускался в бездну, его жена бегала по поверхности края этой бездны и кричала: «А вот не все прыгают в пропасть!»

Самое интересное в повести не ее философский и психологический смысл, а неожиданное отношение к мужу и истории их женитьбы. «Чья вина?» оказалась опровержением не «Крейцеровой сонаты», но истории любви Кити и Левина в «Анне Карениной», которую принято брать за образцовый прототип истории любви молодых Л.Н. и С.А. Оказывается, то, что Толстой видел в одном свете, его жена видела совсем в другом.

Вкратце сюжет повести таков.

Идеальная девушка Анна, в которую плотски влюблен тридцатипятилетний князь Прозорский. Князь делает предложение и женится на Анне. Но скоро он понимает: то, что рисовало ему его развращенное воображение о медовом месяце с восемнадцатилетней женой, на деле выходит скукой и мучительным состоянием молодой женщины. Он увлекается хозяйством, у них рождаются дети. Страшным ударом для Анны было узнать, что до женитьбы у князя была любовница — крестьянка Арина. Проходит десять лет. К князю приезжает его старый друг, Дмитрий Алексеевич Бехметев. Он вернулся из-за границы, где проживает его жена, с которой он в разладе. Это болезненный, но тонко чувствующий человек, философ, художник и т. д. Деликатная натура Бехметева привлекает Анну, и сам он увлекается ею. Князь бешено ревнует. Между тем Бехметев умирает от чахотки, и вот, намереваясь покинуть родину навсегда, он собирает в своем имении друзей, чтобы проститься с ними. Приезжает туда и Анна, но без мужа, который в ссоре и с женой, и с Бехметевым. Бехметев просит Анну сесть в его экипаж и объезжает с ней окрестности, тихо разговаривая, и только. Когда Анна возвращается домой, взбешенный князь, в голове которого в это время рисовались самые грязные сцены, бросает в

нее тяжелое пресс-папье и смертельно ранит в висок. Умирая, Анна сообщает князю о своей полной невиновности и прощает убийцу.

О прототипе Бехметева несложно догадаться. Это близкий друг семьи Толстых и их сосед Леонид Дмитриевич Урусов, о котором мы уже писали, когда говорили о первых «толстовцах». Это был безупречно учтивый и умный человек, который обожал учение Толстого, первым перевел на французский язык его трактаты «В чем моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия». К нему благоволили и жена Толстого, и все дети, и даже прислуга. Жена Урусова предпочитала жить в Париже, куда ее муж иногда наезжал. Урусов скончался от туберкулеза в 1885 году, в Крыму, в присутствии одного малолетнего сына Сергея. Причем именно Толстой сопроводил своего одинокого друга в Крым.

С.А. была платонически влюблена в Урусова. В то же время повесть она посвятила Фету, который скончался в тот год, когда была закончена «Чья вина?». Отношения С.А. и Фета — особая романтическая история, полная поэзии и тонкого чувства.

Супружеская верность жены Толстого не подлежит ни малейшему сомнению. Сомнение вызывает то, с каким гневом и презрением описан в повести князь Прозорский, прототипом которого был Толстой.

Едва увидев Анну, еще девочкой, князь немедленно испытывает к ней самые грязные чувства: «…он мысленно раздевал в своем воображении и ее стройные ноги, и весь ее гибкий, сильный девственный стан». Он говорит себе: «Я должен, да, я не могу иначе, как овладеть этим ребенком». Всё это так не вяжется с любовью Левина к Кити, в которой Л.Н. предлагал свою модель истории женитьбы на Сонечке.

Оторопь вызывает и характеристика князя как мыслителя. «Он много путешествовал, прожил бурную веселую юность, от всего устал и поселился в деревне, занимаясь философией и воображая себя глубоким мыслителем. Это была его слабость. Он писал статьи, и многим казалось, что он действительно очень умен. Только чуткие и очень сведущие люди видели, что в сущности философия князя была очень жалка и смешна. Он писал и печатал в журналах статьи, не имеющие ничего оригинального, а представляющие из себя перетасовку старых, избитых тем и мыслей целого ряда мыслителей древних и новых времен. Перетасовка делалась так ловко, что большинство публики читало их даже с некоторым увлечением, и этот маленький успех бесконечно радовал князя…»

Характеристики князя, т. е. Толстого, вообще ужасны. Если взгляд, то непременно «зверский», если поселится в гостинице, то

в «грязном» номере.

Наоборот — все характеристики Анны, т. е. автора, запредельно завышены. Это не женщина, а Мадонна. «Высочайшие идеалы религиозности и целомудрия». «С свойственным ей художественным вкусом она убрала свою комнату так красиво и оригинально разными привезенными ею и подаренными князем вещицами, что князь был поражен ее видом». «Из худенькой девочки она развилась в поразительно красивую, здоровую и энергическую женщину. Всегда бодрая, деятельная, окруженная четырьмя прелестными здоровыми детьми…» «Она была прекрасна в своем негодовании: правильное, бледное лицо ее дышало энергией и чистотой, а темные глаза казались еще темнее и глубже от горького выражения их».

Князь относится к жене «цинически». Фактически он непрерывно физически насилует ее, не испытывая ни малейшего интереса к душевной стороне ее личности. И потому она задумывается: «Неужели только в этом наше женское призвание, чтоб от служения телом грудному ребенку переходить к служению телом мужу? И это попеременно — всегда! А где же *моя* жизнь? Где я? Та настоящая я, которая когда-то стремилась к чему-то высокому к служению Богу и идеалам?»

И вот тут-то и появляется Бехметев.

Это та же тема, которая была поднята в «Крейцеровой сонате», только увиденная с женской точки зрения. Но не забудем, что «Крейцерова соната» — это монолог глубоко больного и душевно разрушенного человека, каким является Позднышев. Однако писал повесть душевно здоровый Толстой. Парадокс повести «Чья вина?» заключается в том, что она как раз написана классическим повествовательным языком, но при этом оставляет ощущение жуткого бреда.

Единственное слабое место Анны — она ревнива. И несмотря на всё омерзение, которое она испытывает от связи с мужем, она страшно боится его ухода из семьи. Ради того, чтобы предотвратить этот уход, она готова на всё. «Она решилась всеми силами удержать мужа, искать те пути и средства, которыми она снова могла бы привлечь его к себе и удержать в семье. Средства эти она смутно знала, они были ей противны, но что же лучше?»

Ее ревность к крестьянке Арине и ко всем женщинам, с которыми общался князь до женитьбы, порой принимает болезненно-мазохистский характер, «и тогда отношения ее к мужу делались совершенно неестественны». «Иногда, красная и взволнованная, она требовала от него рассказов об его прежних увлечениях». «Анна вспомнила всё то, что она делала, чтоб

удержать мужа, и ей стало противно и гадко на себя».

Значит, автор этой повести понимала, что причина ненормальных отношений в доме заключается не только в князе? Появление Бехметева и дружба с ним важны для Анны именно потому, что Бехметев является как бы бесполым существом. Она не тревожит его полового инстинкта «зверя», который подавлен болезнью, а он не возбуждает в ней мук ревности и не заставляет сходить с ума. Бехметев болен, жить ему недолго. Бехметев *мертвый мужчина,* но зато *живой друг.*

Повесть «Чья вина?» является ценным документом для понимания действительной, а не литературно придуманной драмы жены Толстого. Эта повесть создавалась как литературная месть. Она пыталась «вывернуть» «Крейцерову сонату» с ее изнаночной (темной) на лицевую (светлую) сторону. Повесть дышит благопристойностью и морализаторством, в отличие от страшной, завораживающей и разрушительной по силе воздействия повести мужа. Она хотела написать вещь об идеальной женщине, которая оказалась во власти мужчины-демона, затем нашла отдохновение в дружбе с ангелом-мужчиной и была «зверски» убита мужем. Но в результате она написала повесть, из которой отнюдь не ясно: чья же всё-таки была вина? И была ли чья-то вина?

Глава восьмая
КРАСИВЫЙ ИДОЛ

Если до посещения Оптиной и приезда в Шамордино еще можно говорить об уходе Толстого, подразумевая под этим понятием некую осмысленную перемену мест, то после отъезда из Шамордина ни о каком уходе не могло быть и речи. Это было только бегство. Даже младшая дочь Толстого Саша, которая всецело поддерживала отца, оказавшись с ним в поезде до Ростова, вдруг по-настоящему испугалась и почувствовала: происходит что-то не то! Он (они) совершил (совершили) какую-то ошибку, которую, может быть, и нельзя было не совершить, но которая от этого не перестает быть ошибкой.

Впервые Саша ясно увидела, что из родного дома бежал не великий писатель, третируемый, как ей тогда казалось, плохой, хитрой и истеричной женой, тогда осуждаемой ею матерью, а восьмидесятидвухлетний старичок, больной и беспомощный, нуждавшийся в постоянной заботе со стороны той самой плохой жены.

Астаповская трагедия началась не в Астапове, а в поезде от Козельска. «В четвертом часу отец позвал меня, его знобило, — писала А.Л.Толстая. — Я укрыла его потеплее, поставила градусник — жар. И вдруг я почувствовала такую слабость, что мне надо было сесть. Я была близка к полному отчаянию. Душное купе второго класса накуренного вагона, кругом совсем чужие, любопытные люди, равномерно стучит, унося нас всё дальше и дальше в неизвестность, холодный, равнодушный поезд, а под грудой одежды, уткнувшись в подушку, тихо стонет обессиленный больной старик Его надо раздеть, уложить, напоить горячим… А поезд несется всё дальше, дальше… Куда? Где пристанище, где наш дом?»

Это был момент неприятной истины. Вдруг отлетели в сторону и рассыпались в прах проблемы, еще вчера казавшиеся самыми важными: дневник, который Толстой безуспешно прятал от жены; завещание, тайно подписанное им в лесу; вражда С.А. и Черткова; якобы «роскошная жизнь», которую отец вынужден был вести в Ясной Поляне. На повестке остался один-единственный

вопрос: что делать двадцатишестилетней незамужней девушке с такой же молодой подругой (Варвара Феокритова) и не самым лучшим, хотя и бесконечно душевно преданным врачом (Маковицкий) со смертельно больным стариком в поезде дальнего следования? Вот его надо «раздеть, уложить, напоить горячим…» Но это только начало. Через несколько суток в Астапове Саша в записной книжке признается сама себе: «(Ой, как стыдно). Я помогала в ‹…›» Собственно, не важно, в чем именно она помогала собравшемуся возле Толстого уже целому синклиту докторов. Важно, что воспитанная в аристократической семье девушка вынуждена была делать с отцом то, что могла делать только его жена, ее мать. И это было ей очень стыдно…

После Белева, оставшись один в купе, Л.Н. некоторое время чувствовал себя хорошо. Но всё же, по свидетельству Маковицкого, почти не вставал с дивана: либо лежал, либо сидел. Доктор, Саша и Феокритова несколько раз заходили к нему (они ехали в соседнем купе) и видели, что со стариком всё в порядке.

Л.Н. был счастлив, что у него в руках находились его любимый, им составленный сборничек «Круг чтения», взятый «напрокат» у сестры в Шамордине, и антология Новоселова о религии, тоже «похищенная» из библиотечки сестры, — что еще было нужно?

Вагоны 2 класса — удобные: купе с диванами, со столиками, на которых при необходимости можно было и кофе сварить на спиртовке, не заказывая у кондукторов чай (Л.Н. давно привык пить не чай, а кофе без кофеина), и даже овсянку и супчик с сухарями, что и было сделано Сашей сразу после их посадки в вагон в Козельске. Старик всё это с аппетитом выпил и съел и даже еще два яйца всмятку в придачу.

Была, впрочем, одна неприятность. Влезая в вагон, Л.Н. поранил палец. Но это было обычное дело. У автора «Анны Карениной» отношения с железной дорогой всегда складывались неудачно: то он в дальнем пути кошелек с единственными деньгами забудет в станционном буфете, то палец себе прищемит в вагонном клозете… Всё же это обстоятельство (поранил палец) говорило, что при посадке в вагон Л.Н. торопился, нервничал. Возможно, начавшееся воспаление легких отравляло не просто организм, но мозг. И неслучайно Маковицкий всю дорогу от Ясной замечал за Толстым что-то неладное: то его

шатнет, то нападет внезапная сонливость и зевота (частая, громкая, так что за стенкой в гостинице слышно было), то он станет почти кричать на Маковицкого, когда тот попытается в коляске укутать старика потеплее, то не позволит Саше затворить форточку в номере, из которой явно дует, то еще что-то… Слезая с пролетки, подкатившей к крыльцу станции, он оступился на первой ступени каменной лестницы. Его «вело», шатало.

В 5 часов вечера, после того, как они проехали Горбачево, но не доехали до Данкова, на Л.Н. напала сонливость — верный признак болезни. Его стало знобить, и он попросил укутать его потеплее. Зябла спина. Но — ни боли в груди, ни кашля, ни удушья. Маковицкий померял температуру — 38,1°. В 6 часов — 38,5°. Начались сердечные перебои. И стало понятно, что Кавказ отменяется.

Невозможно представить себе настроение спутников Л.Н. в этот момент. Весь их «проект», пусть и торопливый, пусть и на ходу составленный, но всё-таки «проект», всё-таки перспектива, какая-то будущность — рушился на глазах. И выходило так, что они просто завезли старика — отца! — невесть куда, и вот под жестокий стук колес поезда дальнего следования с ним надо что-то делать.

Можно не сомневаться, что в это время Маковицкий не раз вспомнил о козельской гостинице, в которой они хотели остановиться, но которую проскочили просто потому, что ямщик стал их уверять: к поезду они успевают. Сколько раз во время ухода Толстого направление его пути и даже судьбоносные решения зависели от ямщиков, от кондукторов, от начальников станций. Даже неверное утверждение келейника Иосифа, что старец не встретился с Толстым просто потому, что келейник не смог догнать ямщика, в этом контексте видится символичным.

Из-за того, что Саша оставила своих ямщиков ночевать в Шамордине, у Толстого возникло искушение раннего утреннего бегства. Из-за нерасторопности ямщиков опоздали на один поезд, чуть не потеряли друг друга в пути, но зато из-за расторопности ямщика ЛИ. и Маковицкого успели на поезд, на который как раз нужно было опоздать, остановившись в козельской гостинице.

К кому первому отправился Маковицкий, уже понимая, что Толстой не может ехать дальше? К

кондукторам, разумеется. За теплой водой и спросить: когда ближайший город с гостиницей?

Они советовали дотянуть до Козлова.

Маршрут движения поезда был таков: Козельск — Белев — Горбачево — Волово — Данков — Астапово — Раненбург — Богоявленск — Козлов — Грязи — Графская — Воронеж — Лиски — Миллерово — Новочеркасск — Ростов.

Судя по тому, что опытные кондукторы советовали доктору доехать до Козлова, ни Данков, ни Астапово, ни Раненбург, ни Богоявленск не были такими населенными пунктами, где можно было найти приличную гостиницу и обеспечить за больным нужный уход.

Но судя по тому, что сошли они всё-таки в Астапове, в 6:35 вечера, Маковицкий, как врач, запаниковал и принял решение сойти на первой же крупной станции. Данков не был такой станцией. Астапово — было. Хотя и там не было гостиницы.

К кому бросился Маковицкий, едва сойдя на перрон в Астапове? К начальнику станции, разумеется. «Я поспешил к начальнику станции, который был на перроне, сказал ему, что в поезде едет Л.Н.Толстой, он заболел, нужен ему покой, лечь в постель, и попросил принять его к себе… спросил, какая у него квартира».

Начальник станции Иван Иванович Озолин в изумлении отступил на несколько шагов назад от этого странного господина с бледным, почти бескровным лицом и заметно нерусским выговором, который убеждал его, что на его станцию приехал Лев Толстой (!), больной (!), и хочет остановиться на его (!) квартире. Это звучало как полный бред. Да и было бредом, если взглянуть на вещи здраво. Кто выручил Маковицкого? Опять кондуктор, который стоял рядом и подтвердил Озолину слова доктора.

Озолин, латыш по происхождению и лютеранин-евангелист по вере, как и его жена, саратовская немка, оказался почитателем Толстого, твердо уверовавшим в его призыв во всем «творить добро». Он немедленно согласился принять больного, задержал отход поезда, чтобы дать Толстому спокойно собраться и сойти. Но, конечно, сразу оставить свой пост (а в это время на узловую станцию подходило и отходило еще несколько поездов) он не мог. Сначала Толстого пришлось отвести в дамский зал ожидания, пустой, чистый и

непрокуренный. Л.Н. еще бодрился. По перрону шел сам, едва поддерживаемый под руку Маковицким, приподняв воротник пальто. Стало холодать, подул резкий ветер. Но уже в дамском зале он присел на край узкого дивана, втянул шею в воротник, засунул руки в рукава, как в муфту, и стал дремать и заваливаться набок. Маковицкий предложил Толстому подушку, но старик ее упрямо отклонил.

Он только втягивался от озноба в меховое пальто и уже стонал, но лечь всё еще не желал. В этот момент лечь для Толстого означало уже никогда не встать. И он крепился, крепился. И он будет крепиться еще почти неделю, уже в лежачем положении, в комнатке дома Озолина, испытывая смертные муки, но доказывая всем и прежде всего самому себе, что переход в смерть — есть дело самое достойное, величественное. Куда более величественное, чем бессознательное рождение и полусознательная жизнь. Это время наивысшего проявления личного разума и нажитой мудрости. Высшая точка жизни.

Хозяин и работник

Говоря о семейных конфликтах 90-х годов, мы забыли об одном из главных персонажей — Владимире Григорьевиче Черткове. Его роль в этих конфликтах была велика.

Есть вещи, которые невозможно доказать. Их можно понять только на психологическом уровне. Задумаемся, например, почему подруга Толстого, вполне миролюбиво относившаяся к мужской части окружения ее мужа и даже платонически влюбленная в некоторых его друзей (Фет, Урусов), до такой степени ненавидела Черткова?

Если бы она изначально страдала фобией на всех, кто пытался вместе с ней разделить душевную жизнь Толстого, ее ревность и ненависть должны были бы испытать на себе Фет и Страхов, Дьяков и Урусов, а также Гусев, Булгаков, Бирюков и другие. Но этого не было.

Дома Толстых в Ясной и Хамовниках были теплыми, открытыми, гостеприимными местами встречи людей самого разного сорта. И сам Чертков в начале дружбы с Толстым испытал на себе это гостеприимство, в том числе и со стороны хозяйки. И даже в более позднее время, когда С.А. уже воевала с В.Г., она не раз оказывала дружеские знаки внимания его семье. Вела

переписку с женой Черткова Галей (Анной Константиновной), общалась с его матерью Елизаветой Ивановной. Она помогала Гале ценными советами по женской части, искала ей няню для ребенка. Она сочувствовала матери Черткова во время ее десятилетней разлуки с сыном в 1897–1907 годах. Она даже лично привозила Черткову доктора из Тулы, когда он страдал от малярии.

Чертков постоянно заверял Толстого, что не имеет ничего против его жены. Но сама постановка этого вопроса (не иметь ничего против жены

Толстого) была для других друзей писателя просто невозможной. Всё-таки они понимали, какое место занимает С.А. рядом с Л.Н. Но и Чертков это понимал. Проблема была в том, что Чертков не только это понимал, а претендовал на это место.

На наш взгляд, именно здесь был главнейший пункт разногласия С.А. и В.Г., завершившегося тяжелейшим конфликтом. Борьба шла не за объем душевного пространства возле Л.Н. (это пространство было безмерным, и его хватало на всех), но именно *за место* возле Толстого, которое С.А. и В.Г., обладавшие деспотическими характерами, не могли поделить.

Итак, знакомство Толстого с Чертковым состоялось в октябре 1883 года. После этого В.Г. уезжает в Лизиновку, имение родителей в Воронежской губернии, и сразу начинает посылать Толстому не только письма, а книги, конспекты и даже дневники. Повод к этому вроде бы дал сам Толстой, который определил Черткова как человека «одноцентренного» с ним. Речь шла, конечно, о духовном центре.

Слова «брат», «братец» часто встречаются в письмах Черткова к Л.Н. Куда более часто, чем в ответах на них. Для Толстого Чертков — прежде всего «милый друг». Для Черткова Толстой — брат и учитель.

Чертков явился к Толстому, который в то время почти не имел друзей. Когда семья рассматривала его, с его новыми взглядами, как семейную угрозу. А Чертков кладет всего себя к стопам Толстого.

Впрочем, между Л.Н. и В.Г. с самого начала вспыхивают споры. Молодой Чертков — не чистый лист бумаги. Это человек со своими убеждениями, в начале 1880-х годов во многом отличными от убеждений Толстого. Например, замечательна их первая полемика о божественности Иисуса Христа и Воскресении, в которые Чертков под влиянием матери и Пашкова в это время еще верил. Ответ Толстого поистине гениален. Он не пытался разрушить веру Черткова, а просто писал о том, насколько ему чужд любого рода мистицизм. Мистицизм — это праздное

любопытство.

«Столько прямого, неотложного, ежеминутного и такой огромной важности дела для ученика Христа, что некогда этим заниматься. Как хороший работник наверно не знает всех подробностей жизни хозяина; только ленивый работник чесал зубы на кухне и разузнавал, сколько детей у хозяина, и что он ест, и как одевается. И всё, разумеется, переврал, но узнал и работы не сделал. Важно то, чтобы признавать его хозяином и знать, чего он *от меня* требует; а что он сам такое и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара, я работник, а не хозяин».

Эту тему «хозяина и работника» Толстой через десять лет разовьет в одноименной повести. К тому времени Чертков уже полностью отречется и от божественности Христа, и от Воскресения, и от Искупления. Но зато будет трактовать себя по отношению к Толстому как «работника» по отношению к «хозяину». Между прочим, это и станет главным мотивом его упрека к С.А.: как она смеет видеть себя рядом с Толстым чем-то большим, нежели только «работницей»! То, что эта «работница» являлась его женой, подругой ночей и матерью многочисленных детей, не убеждало В.Г. признать за ней особое место.

Но, по-видимому, такая позиция устраивала Толстого. Он ни разу не попытался щелкнуть Черткова по носу и защитить свою жену. Он мог только объясняться с В.Г.: почему в том или ином случае он недостаточно жестко действует по отношению к жене и родным — в отказе от собственности, от литературных прав, в передаче В.Г. своих дневников и т. д.

Здесь мы имеем дело с удивительным парадоксом. Признавая за собой место «работника» возле Толстого, Чертков берет на себя право *требовать* от него «хозяйского» поведения. Именно требовать! Но «хозяин» в данном случае не просто хозяин, а Бог. У Бога нет и не может быть жены. Поэтому, с величайшим сочувствием относясь к одиночеству Толстого в семье, Чертков не мог уяснить семейных радостей Л.Н.

Конечно, всё было не так прямолинейно. Чертков некоторое время дружил с Львом Львовичем, симпатизировал Татьяне Львовне и Марии Львовне, был в хороших отношениях с Сергеем Львовичем, да и с самой С.А. он не сразу вступил в конфликт. Есть замечательное письмо Черткова к Толстому, где он мудро советует ему не «давить» на детей своим авторитетом.

Но в целом линия поведения В.Г. в отношении этой семьи была неумолимой. Толстой велик, Толстой — «хозяин», а все рядом с ним — «работники». Сам Толстой так не считал. Но и не пытался изменить мнение Черткова.

А ведь его место в данной системе координат оказывалось преувеличенно огромным. Самым лучшим «работником» возле Толстого, конечно, был Чертков.

Чертков создает для Толстого народное издательство «Посредник». Он разворачивает масштабную кампанию по переводу и изданию Л.Н. за границей. С конца 1890-х, оказавшись в английской высылке, он создает целую сеть издательских, журнальных и газетных заграничных проектов, посвященных почти исключительно Толстому. Наконец, он предлагает Толстому услуги по сохранению и систематизации его наследия. Чертков первым догадался, что рукописи Толстого как раз горят, причем синим пламенем, если кто-нибудь не будет заботиться об их сохранности. И деятельность самой С.А. по сохранению наследия мужа сперва в Румянцевском, а затем в Историческом музеях, конечно, во многом была продиктована чувством соперничества с В.Г.

Ведь еще в декабре 1883 года она могла позволить себе недовольно написать сестре по поводу издания в количестве пятидесяти экземпляров трактата Толстого «В чем моя вера?»: «Вместо того, чтобы *по закону* сжечь запрещенное сочинение, не пропущенное цензурой, его взяли, все 50 экземпляров, в Петербург и читают в высших сферах *даром.* Я говорю, хоть бы за печать нам 400 р. заплатили, люди всё со средствами».

А Чертков тратит свои деньги, чтобы купить за границей гектограф и начать опасную деятельность по размножению копий запрещенных произведений Л.Н. в своем воронежском имении.

С.А. вылезает вон из кожи, чтобы как можно выгоднее продать сочинения своего мужа, в том числе ненавистную ей «Крейцерову сонату». А Чертков выходит на Сытина, налаживает выпуск «копеечных» книжечек «Посредника», ищет меценатов, чтобы устроить собственное издательство Толстого за границей, и всё, что получает за издания, тратит на дальнейшее развитие издательской деятельности. Конечно, его образ «работника» становится несравненно привлекательнее С.А., вечно озабоченной материальной стороной жизни семьи.

Это объективные вещи. Но были еще и субъективные. С.А. груба и прямолинейна с мужем, который с возрастом начинает отличаться повышенной деликатностью. Она преследует его истериками, суицидоманией и всем тем, что Толстой душевно переносит крайне тяжело. А Чертков мягок, вкрадчив, уступчив. Он почти во всем соглашается с Толстым, больше того — жаждет советов и поучений. Он даже женится только после неоднократных увещеваний своего учителя. Его жена Галя обожает Толстого. Она постоянно болеет, но буквально

возрождается к жизни, когда Толстой появляется в их доме. Толстой феноменально действует на нее, как старец-целитель. А в своей семье он становится одной из главных причин депрессии сына Льва.

В предыдущей главе мы показали, как С.А., находясь рядом с сильным мужчиной, тем не менее, остро нуждалась в духовном, но «бесполом» друге. Но оказывается, Л.Н. не меньше нуждался в «духовной жене». И речь здесь шла даже не о «работнице». Речь шла об утешительнице, которая бы тонко чувствовала всю степень его одиночества. Но другая женщина занять это место не могла. И по специфике отношения Л.Н. к женщинам (только жена, только мать, никакой эмансипации!), и по факту существования С.А. с ее ревностью.

Чертков же по всем параметрам годился в друзья Толстого. Он был знатного происхождения, но стихийно, самостоятельно образован. Как и Толстой, Чертков не учился в гимназии и не кончал университета. Он был духовен, т. е. ставил духовные запросы выше материальных. И даже молодость его шла ему на пользу. Чертков выгодно отличался от молодых сыновей Л.Н., которые с возрастом всё меньше хотели разделять идеалы отца и жили самостоятельными жизнями.

В Черткове при всей его статности и великолепности было что-то неясно женоподобное. Он был прекрасным мужем и отцом. Но интересно, что в полицейских донесениях он трактовался как «добрый, мягкосердечный, слабохарактерный» человек, который «с детских лет находился в руках женщин». Любопытно, что и Толстой замечает в дневнике после смерти отца Черткова: «Мать из него будет веревки вить». И прибавляет: «Ужасные люди женщины, выскочившие из хомута».

Конечно, сказать, что Чертков стал «духовной женой» Толстого, было бы слишком радикально. Но вся его переписка с Л.Н. странно напоминает письма «разлучницы», которая старается «увести» мужа из семьи.

Разлучник

Мы можем ошибаться. Но в этом не могла ошибиться С.А. с ее женской интуицией. «Красивый идол», «разлучник» — так за глаза называла она Черткова в разгар войны с ним.

С первых же писем Черткова к ее мужу она заподозрила что-то неладное и со свойственной ей прямолинейностью высказала это. В семье Толстого в 1880-е годы еще действовал договор, по которому все дневники и переписка мужа и жены были читаемы

обоими. И вот уже 30 января 1884 года, спустя три месяца после знакомства с В.Г., она пишет мужу из Москвы в Ясную Поляну: «Посылаю тебе письмо Черткова. Неужели ты всё будешь нарочно закрывать глаза на людей, в которых не хочешь ничего видеть кроме хорошего? Ведь это слепота!»

Это восклицание крайне интересно. Если судить по воспоминаниям С.А. и детей Толстых, появление Черткова в их доме было встречено восторженно. «Блестящий конногвардеец», как назовет его Лев Львович, всех обворожил. Жена Толстого, воспитанная в семье, которая обслуживала Кремль, была очень неравнодушна к знатности происхождения людей. Этим Чертков выгодно отличался от остальных «темных». Тем не менее первые же письма В.Г. к Л.Н. ее насторожили, она заволновалась.

Но что такого было в этом письме? Чертков уговаривал приехать к нему в Лизиновку, где В.Г.

обратил в свою веру (еще неясную) трех крестьянских юношей. Чертков сомневался: имеет ли он на это право? «Кто их поправит, если мне придется изменять свое понимание Христа? — Нет, Лев Николаевич, приезжайте, ободрите, помогите. Вы здесь нужны…»

Это было первое бестактное вторжение Черткова в распорядок жизни семьи Толстых. Молодой человек, только что познакомившийся с Толстым, спустя три месяца настаивает, чтобы почти шестидесятилетний писатель мчался к нему зимой в Воронежскую губернию. Это письмо ошеломило Толстого.

И Чертков на время отступил, даже раскаялся. «Что касается до моего последнего письма, то вы, вероятно, в большой степени правы. Я помню, что на следующий день после его отправки чуть было не написал другое письмо в отмену его». В.Г. и сам понимает, что перегнул палку. Но уже не может и не хочет скрывать от Толстого своих чувств: «мне постоянно хочется знать, где вы, что вы делаете…»

Но и Толстой не скрывает чувств. «Меня волнует всякое письмо ваше».

При этом он видит, что Чертков… не вполне душевно здоровый человек «Скажу вам мое чувство при получении ваших писем: мне жутко, страшно — не свихнулись бы вы». Меньше чем через год после знакомства с В.Г. он видит сон, который записывает в дневник «Видел сон о Черткове. Он вдруг заплясал, сам худой, и я вижу, что он сошел с ума».

На то, что Чертков не был душевно здоровым человеком, указывали многие. В частности, учитель детей Толстых по латыни и греческому В.Ф.Лазурский. Он пишет в своих воспоминаниях о Черткове: «…он произвел на меня впечатление человека нервно-

больного. Чертков говорил, что решительно не может судить объективно о температуре воды, так как не может доверять своей чувствительности. Иногда состояние его нервов таково, что он не чувствует холода, каков бы он ни был; иногда он боится лезть в воду без всякой видимой причины».

Чертков сам признавался, что страдает манией преследования.

Выбирая себе друга на всю оставшуюся жизнь, Толстой, видимо, с самого начала понимал, что имеет дело с таким же душевно неуравновешенным человеком, как и его жена. Чертков был невероятно деятельной личностью, но приступы активности у него постоянно сменялись апатией. В Англии он мог заставлять своих сотрудников работать круглые сутки, ночами, без всякой необходимости, а потом вдруг опускал руки и впадал в депрессию. И Толстой это знал.

В 1898 году, когда Толстой вместе с Чертковым занимался переселением русских духоборов в Канаду, он писал ему в Англию:

«Вы от преувеличенной аккуратности копотливы, медлительны, потом на всё смотрите свысока, grandseigneur'ски, и от этого не видите многого и, кроме того, *уже по физиологическим причинам* (курсив мой. — *П.Б.*) изменчивы в настроении — то горячечно-деятельны, то апатичны. По этому всему думаю, что вы, вследствие хороших ваших свойств, очень драгоценный сотрудник, но один — деятель непрактичный».

Чертков был человеком не просто сложного, но и неприятного, отталкивающего характера, который не сразу обнаруживался. От него рано или поздно отворачивались почти все ближайшие сотрудники и даже друзья, начиная с Бирюкова и заканчивая Булгаковым и Сашей. Только Толстой любил Черткова до конца.

С.А. с самого начала стала подозревать Черткова в том, что он, как и все «темные», представляет угрозу для семьи. Тем не менее, встретившись с ним в феврале 1885 года в Петербурге, она вновь была им очарована. В этом была таинственная особенность харизматичной личности Черткова: при встречах он производил на людей обвораживающее впечатление, но, расставшись с ним, эти люди могли отзываться о нем иронически и даже с неприязнью.

В марте того же года она пишет мужу из Москвы в Ясную Поляну: «Получила сегодня милейшее письмо от Черткова. Просит прислать листы твоей статьи, которые он привозил, и например, говорит: „я всегда думаю о вас и вашей семье, как о родных, и притом близких родных. Хорошо ли это или нет, — не

знаю, — кажется, что хорошо“. Как это на него похоже!»

Но ведь это «милейшее письмо» как раз должно было бы насторожить С.А.:

«Графиня, беспокою вас одной просьбою: пожалуйста, пришлите мне по почте тетрадки с первыми литографированными листами последней статьи Льва Николаевича. Вы их найдете в шкапу за его письменным столом. Всего там около 10-ти или 12-ти тетрадок».

До какой же степени Чертков уже освоился в пространстве хамовнического дома, если объясняет его хозяйке, где и что лежит.

Бестактность вторжения Черткова в семейное пространство Толстых замечали многие. С.А. это возмущало. Но Толстой этого не видел.

Или всё-таки видел?

До 1887 года отношение С.А. к В.Г. носит хотя и настороженный, но благодушный и несколько иронический характер. Жена Толстого в целом не отличалась повышенной ироничностью (скорее, наоборот), но она умела ценить чужие шутки и розыгрыши.

В письме к Л.Н. от 15 марта 1885 года она приводит слова Фета, сказанные ей при встрече: «Лев Николаевич хочет с Чертковым такие картинки нарисовать, чтоб народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народ этого счастья верить в мистерию, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся. Это всё равно, что если б мужик босой шел бы с сальным огарком в пещеру, чтоб в темной пещере найти дорогу. А у него потушили бы этот огарок и салом бы велели мазать сапоги… а он босой!»

Однако шутить с Чертковым было нельзя. Это не позволялось даже Толстому. Известен случай, когда Л.Н. за столом хлопнул В.Г. по залысине, на которой растеклось красное пятно. Комар! Все засмеялись. Чертков возмущенно воскликнул: «Лев Николаевич, как вы могли лишить жизни живое существо!» И всем стало неловко.

«Я уверен, что с тех пор, как Чертков стал проводить в свою жизнь принцип „не убий“, блохи, клопы, комары и мухи могли мучить его сколько угодно, не боясь за свою жизнь», — пишет В.Ф.Лазурский. И он же рассказывает в своих воспоминаниях: «Работали для него как-то мужики и, конечно, по окончании стали просить на водку. Чертков вышел к ним и заявил, что „на водку“ он дать им не может, а вместо того предложил купить для них на эти деньги книжек или Библию. Тут же он вынул брошюру о вреде пьянства и прочел ее мужикам».

Чертков был *фанатиком* своих убеждений, в отличие от Толстого, упрямого *искателя*. Но с некоторого времени его убеждения питались исключительно мыслями Толстого. Таким образом, он был фанатиком убеждений Толстого. Но взгляды Толстого на протяжении жизни порой менялись на 180°. Например, от культа семьи до ее отрицания. Быть фанатиком убеждений Толстого означало лишь «замораживать» их на каком-то этапе.

Однако Толстой не мог не чувствовать ответственности за свои убеждения. И поэтому спорить с Чертковым ему было морально трудно. Он вынужден был наблюдать, как его первый ученик становится куда более последовательным «Толстым», чем он сам. И подчиняться догматизму Черткова, как это случилось с «Крейцеровой сонатой». Ведь именно по совету Черткова Толстой «дожал» это произведение в морализаторском «Послесловии».

Однажды Л.Н. попросил С.А. найти ему письмо Репина. Среди писем она случайно натолкнулась на письмо Черткова, в котором тот превозносил свою жену Галю и *жалел* Толстого.

«Меня это письмо буквально взорвало», — вспоминала С.А.

Взорвало настолько, что она помнила об этом много лет спустя. И ее можно понять. В письме Черткова от 18–20 февраля 1887 года как будто не упоминалась С.А. Чертков писал о Гале, о том, как он счастлив с ней. «…нет той области, в которой мы лишены обоюдного общения и единения. Не знаю, как благодарить Бога за всё то благо, какое я получаю от этого единения с женой». В то же время В.Г. замечал: «При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишен возможности такого духовного общения с женами и которые, как казалось бы, гораздо, гораздо более меня заслуживают счастья».

Это был камень в С.А. В своем дневнике начала марта 1887 года она пишет: «Было письмо от Черткова. Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр. Л.Н. пристрастен к нему за его поклонение». И — тремя днями позже: «Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё — ложь и зло, а от этого подальше». Это была война!

Но достаточно взглянуть на ответное письмо Л.Н. к Черткову, чтобы понять, что эта война была его женой заведомо проиграна. Толстой не только не указывает В.Г. на недопустимость вторжения в свою личную жизнь, но… благодарит его. «Спасибо вам за него. Вы верно не можете себе представить мою радость при чтении его. Как всё хорошо: и ваша жизнь с женою и матерью, и те запросы жизни, которые встают перед вами. Очень радуюсь и люблю вас».

Так кому С.А. объявляла войну? Черткову? Или собственному

мужу?

Но откуда вообще вдруг появилась в письмах Черткова эта тональность: жалеть Толстого из-за его жены? Ведь до 1887 года Чертков бывал в доме Толстых только наездами. Конечно, он мог питаться слухами, но слухи не дали бы ему морального права на такое письмо. Моральное право предоставил сам Толстой.

Уже 27 марта 1884 года, описывая «милому другу» два страшных впечатления дня (малолетняя проститутка, которую забрали в полицию, и голое мертвое тело бывшей прачки, скончавшейся от голода и холода), он горько жалуется: «Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: Боже мой, научи меня, как мне быть, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной».

Это письмо по просьбе Л.Н. было уничтожено Чертковым. Но до нас дошла обширная выписка из него, сделанная В.Г. В начале эпистолярного общения он по настоянию Толстого уничтожил несколько его писем, слишком интимных по содержанию, и лишь позже уговорил своего учителя позволить ему не уничтожать писем, предназначенных для него одного, а хранить у себя, никому не показывая при жизни Толстого.

В период 1883–1887 годов в письмах к Черткову Толстой неоднократно жаловался на свое одиночество в семье, на то, что его не понимают, его даже слушать не хотят. И возникает вопрос: как должен был реагировать на это его идейный последователь и молодой муж, который действительно был счастлив со своей молодой женой? Вспомним то «неимоверное счастье», которое испытывал сам Л.Н. с Соней в начале 60-х годов.

В каком контексте было написано письмо Черткова и ответ на него Л.Н.? Чертков счастлив с Галей. А Толстые? Заглянем в дневник С.А. от 6 марта 1887 года. «На душе уныло. Илья очень огорчает своей таинственной и нехорошей жизнью. Праздность, водка, часто ложь, дурное общество и главное — отсутствие всякой духовной жизни. Сережа уехал в Тулу, завтра заседание в их крестьянском банке. Таня и Лева огорчительно играют винт. С меньшими детьми я потеряла всякую способность *воспитывать*… Точки опоры в жизни у меня теперь нет никакой…»

В семье Толстых если не развал, то очень серьезный кризис. Несложно предположить, что письмо Черткова «взорвало» С.А. еще и по этой причине.

В компьютерной технологии есть рабочее понятие «поддерживать формат». Так вот С.А. и по воспитанию, и по привычкам, и по жизненному опыту была неспособна

поддерживать с мужем тот формат отношений, который сложился между Л.Н. и В.Г. Толстой же, в свою очередь, переходя от переписки с Чертковым к общению с женой, вынужден был переключаться с одного формата на другой. Семью «глючило».

В 1885 году Чертков пишет Л.Н.: «Зачем вы не попросите вашего старшего сына помочь вам в приведении в порядок и содержании в порядке ваших бумаг? Это так важно, чтобы бумаги содержались в порядке кем-нибудь из ваших домашних… Всё, что вы пишете, для нас так дорого, так близко всему хорошему что мы в себе сознаем, что просто содрогаешься от одной мысли, что что-нибудь из ваших писаний может пропасть за недостатком присмотра».

Толстой остро чувствовал этот недостаток внимания со стороны семьи к своей работе. Сколько раз в дневнике он жалуется на сыновей! Иногда пишет им, каждому и всем вместе, пространные письма, пытаясь наставить на путь истинный, спасти от атеизма, эгоизма, пьянства, карточной игры. Точно он живет не вместе с ними, а где-то на необитаемом острове.

А Черткова не надо наставлять. Он сам наставит кого угодно. И он до такой степени занят всем, чем занят Толстой, что это невозможно было не оценить.

Даже С.А. признается: «Я неправа была, думая, что *лесть* заставляет Черткова общаться с Львом Николаевичем. Чертков фанатично полюбил Льва Николаевича и упорно, много лет живет им, его мыслями, сочинениями и даже личностью, которую изображает в бесчисленных фотографиях. По складу ума Чертков ограниченный человек, и *ограничился* сочинениями, мыслями и жизнью Льва Толстого. Спасибо ему и за это».

Это написано до ухода Толстого.

Именно благодаря своей преданности Чертков может позволить себе в отношении к учителю немного лишнего. Например, вмешаться в текст «Кавказского пленника» при его переиздании в «Посреднике». Чертков просит Л.Н. исправить (!) в повести несколько строк, которые ему кажутся неудачными (!). И Толстой легко соглашается, хотя считает «Кавказского пленника» лучшим своим произведением и ставит его гораздо выше «Войны и мира». «На исключение тех мест, о которых вы писали, я очень радостно согласен и благодарен. Только сделайте сами». Фактически он приглашает Черткова к сотворчеству, потому что редакторская правка была для Толстого важнейшим элементом творчества.

Но главное — рукописи! Каждая строчка гения не должна исчезнуть! С конца 1880-х годов и до конца жизни Толстого Чертков систематически копирует всё, что выходит из-под пера

писателя. Он настойчиво просит дочь Л.Н. Марию, которая становится секретарем отца, переписывать все новые рукописи Л.Н., включая дневники и письма, и посылать копии ему. С весны 1890 года он прямо обращается к Толстому с просьбой передать дневники для копирования и извлечения из них мудрых мест для «Свода» мыслей Толстого, который он задумал. Но дневники Толстого, как верно заметил его последний секретарь В.Ф.Булгаков, «это весь человек без утайки». Таким образом Чертков начинает претендовать на всего Толстого, «без утайки».

Но опять-таки будем справедливы. Толстой и сам был заинтересован, чтобы Чертков распоряжался его дневниками и письмами. Его очень согревала идея Черткова составить «Свод» его мыслей. «То, что вы хотите делать с моими письмами, мне очень желательно… — пишет он В.Г. 8 апреля 1890 года. — То, что я писал хорошего, нужно мне самому и даже более, чем другим. Ведь всё хорошее не из меня исходит, а проходит только через меня».

Наконец, он сам в начале знакомства с В.Г. передал ему свой дневник 1884 года, где, в частности, содержались злые отзывы о жене и старшем сыне. Много лет спустя он вспомнит об этом, спохватится и затребует дневник назад. Но Чертков уже размножит его и будет хранить у себя и у своего друга по конногвардейскому полку Д.Ф.Трепова, московского обер-полицмейстера, ас 1905 года — генерал-губернатора. Поразительно! Один из самых интимных дневников Толстого хранился у начальника московской полиции в то время, как за Толстым велась постоянная слежка, а «толстовцы» ссылались на Кавказ и в Сибирь, отправлялись в дисциплинарные батальоны.

С 1885-го по 1888 годы Толстой регулярно не вел дневник. Но с 1889 года он начинает писать его систематически. Чертков прекрасно понимает — и справедливо! — какую важную часть наследия Толстого представляют эти записи. И вот весной 1890 года он просит Л.Н. передать ему *все* дневники на хранение. Предполагалось, что дальнейшие записи будет аккуратно пересылать В.Г. Мария Львовна.

И Толстой опять легко соглашается, «…я решил переслать вам и мои две тетради дневников. Вы возьмите, что нужно. Но больше, больше просевайте».

21 апреля 1890 года в Ясную Поляну приезжает И.И.Горбунов-Посадов, литератор, «толстовец» и сотрудник Черткова в «Посреднике». Его задача — взять у Л.Н. и привезти Черткову в Петербург рукопись «Послесловия к „Крейцеровой сонате“». Вторая задача, более важная, — это забрать тетради дневников Л.Н. Но Толстой дневники неожиданно не отдает. Он

пишет Черткову: «Я решил не посылать их вам. Ваня расскажет причины».

Причина была одна — жена. Узнав, что ее муж собирается передать дневники Черткову, она возмутилась и решительно воспротивилась этому. Она не хотела отдавать супруга, со всеми интимными тайнами, в руки В.Г. И конечно, была по-своему права. Ведь среди этих тайн были и «надрезы», которые происходили в семье. Обретая дневники, Чертков получал в руки компромат на жену Толстого.

Еще в июле 1885 года, находясь в Англии, Чертков прямо советовал Л.Н. бросить семью. С.А. об этом письме не знала, иначе гроза разразилась бы раньше 1887 года.

Чертков писал: «…приготовьтесь слышать вещи неприятные, я хочу говорить без оговорок и смягчения, потому что думаю, что так следует, мне это диктует любовь. Вы говорите, что живете в обстановке, совершенно противной вашей вере. Это совершенно справедливо. И потому вполне естественно, чтобы у вас по-временам являлись планы убежать и перевернуть всю семейную обстановку. Но я не могу согласиться с тем, что это доказывает, что вы слабы и скверны. Напротив того, сознание в себе возможности стать в случае нужды совсем независимым от окружающей обстановки, направить свою фактическую жизнь по совершенно новой линии, доказывает только присутствие силы. И… убежать или перевернуть жизнь — в моих глазах вовсе не такие действия, которые сами по себе были бы вперед предосудительны. Христос так сделал и увлекал других именно по этому пути».

За вязким, затемненным стилем В.Г., которым отличаются все его письма, проступает беспощадная к семье Толстого логика его мысли. Если вы, Лев Николаевич, претендуете на место явившегося на землю Иисуса Христа, а вы имеете полное право на это претендовать, оставьте «мертвым хоронить своих мертвецов», бросьте свою семью!

Не получив в апреле 1890 года от Горбунова дневников Толстого, Чертков не успокоился на этом и в мае отправил в Ясную нового агента, своего управляющего на хуторе Ржевск Матвея Чистякова. Видимо, этот приезд вызвал раздражение у самого Толстого. Он пишет в дневнике: «Приехал Чистяков. Всё о дневниках. Он, Чертков, боится, что я умру и дневники пропадут. Не может пропасть ничего. А нельзя послать — обидеть…»

Обидеть — то есть обидеть жену. Но и обижать В.Г. ужасно не хочется. Тем более что Чистяков привез ему портрет Гали — интимный знак внимания и тонкий намек на толстые обстоятельства.

В ответном письме Толстой рассыпается в извинениях. «Мне очень жаль, что не могу послать вам дневники. Я тогда необдуманно написал: не говоря о том, что это нарушает мое отношение к этому писанию, я не могу послать, не сделав неприятное жене или тайну от нее. Это я не могу. Чтобы загладить свою вину не сдержанного обещания, буду выписывать вам, как вот начал, и посылаю… Дневники же не пропадут. Они спрятаны, и про них знают домашние — жена и дочери. Пропасть ничего Божье не может. Я верю».

Вряд ли Черткова могли утешить слова Л.Н., что его жена знает, где спрятаны дневники. Скорее это должно было напутать его. И напрасно. Судя по дневнику С.А., именно с 1890 года Толстой начинает прятать свои дневники от жены. Ей приходилось тайно находить и переписывать их по ночам.

Допустим, С.А. была ревнивой и подозрительной женой. Но и дочь Мария в 1890 году начинает роптать. Роль чертковского «агента» ее отнюдь не устраивает. К тому же она замечает, что хотя отцу и льстит внимание Черткова к его наследию, но слишком настойчивые домогательства к рукописям мешают ему чувствовать себя свободным.

Летом 1890 года она посылает Черткову два письма, в которых отказывается делать выписки из писем и дневников отца. «Вообще мне неприятно делать эти выписки, стыдно вмешиваться в духовное, самое сокровенное его Божье дело. Я не прошу его делать отметки. Он сделал тогда, я их допишу, а больше просить не буду, думаю, что ему это неприятно». В другом месте она пишет: «Я уверена, что он не хочет, чтобы кто-либо читал эти дневники, пока он жив».

Вдобавок и сам Толстой в письме к Черткову ясно выразил свою позицию. «Не сердитесь на меня, милый друг, но поймите, что это не то что тяжело, но парализует духовную деятельность, парализует знание того, что это сейчас спишется и передастся. Не говорите мне разные доводы, а просто, любя меня, влезьте в меня, что и есть любовь, и откажитесь от этого, и не говорите, что это кому-нибудь лишение и вам неприятно, и мне будет очень радостно. Я же вам буду писать чаще. Я и теперь часто думаю сам для себя и думаю: вот это надо написать Черткову».

И Чертков сделал вид, что отступил. В письме к Марии Львовне он считает «вопрос разрешенным». А в письме к Л.Н. «любовно покоряется» и жалеет, что по недоразумению был поводом к конфликту.

Но удивительно! Даже в этих «покаянных» письмах он продолжает гнуть свою линию как «духовного душеприказчика».

В письме к Л.Н. он просит копировать и отсылать ему уже не

дневники, а письма к другим людям «содержательные и неинтимного характера», причем обязать исполнять это именно Машу. Он обещает никому не давать ни читать, ни списывать эти письма, «пока вы их сами не проверите в том своде ваших мыслей, который я составляю и покажу вам для проверки раньше, чем распространять».

Ну, как было отказать милому другу? В ответном письме Толстой обрадовал его: «Несколько писем я просил Машу списать и сообщу вам».

В письме Черткова к Марии Львовне прозвучала «только одна просьба»: «Пожалуйста, записывайте последовательно, обозначая месяц и число, всех тех лиц, к кому он отправляет письма». Эти записи он просил Марию Львовну посылать ему.

Чертков был опытнее дочерей Толстого, которые взяли на себя секретарские обязанности при отце. К тому же дочери, хотя и с запозданием, выходили замуж, у них появлялись свои заботы. Чертков оставался постоянным работником при Толстом. И если бы Чертков и С.А. могли договориться, как-то распределить обязанности, всё было бы замечательно. Но Чертков упрям, въедлив и нетерпелив, а семья сопротивляется его вторжению. А он не желает считаться с семьей, которая, по его мнению, не считается с великим Толстым.

Новый конфликт вспыхивает в мае 1892 года, когда Толстой с дочерьми работает на голоде в селе Бегичевка Рязанской губернии, открывает столовые на пожертвованные деньги. В сборе средств ему помогает жена. Чертков тоже работает на голоде в Воронежской губернии. Эта работа примиряет семью. И Толстой, навещая жену в Москве, и С.А., навещая мужа в Бегичевке, чувствуют нежную любовь друг к другу. «Соня очень тревожна, не отпускает меня, и мы с ней дружны и любовны, как давно не были», — сообщает он А.А.Толстой в декабре 1891 года. «Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны», — пишет он Н.Н.Гесыну.

Но и между С.А. и В.Г. тоже налаживаются отношения. По крайней мере, деловые. Жена Толстого отправляет в его губернию вагоны с продовольствием. В это время Толстой продолжает работать над книгой «Царство Божие внутри нас», посылает ее рукопись Черткову, а затем просит вернуть для дальнейшей редактуры. Для надежности Чертков отправляет рукопись через С.А. И в ней вдруг опять вспыхивает злость против «разлучника».

Злое письмо С.А. к Черткову не сохранилось, но о его содержании можно догадаться по ответному письму. Она сетовала, что Чертков беспощадно эксплуатирует «утомленного нервного старика». Черткова это страшно обидело.

Письмо к нему С.А. и свой ответ ей он послал Толстому. Он хотел сделать его свидетелем явной несправедливости к нему со стороны его жены. И Толстой вынужден был с ним согласиться.

«Вы правы, но и она не виновата. Она не видит во мне того, что вы видите…»

На самом деле многословный ответ Черткова был крайне неприятным. Он поучал жену писателя: «По отношению ко всему, что касается его лично, нам следует быть наивозможно точнейшими исполнителями его желаний». Он отказывал ей в праве разбираться в здоровье мужа: «Во Льве Николаевиче я не только не вижу нервного старика, но напротив того привык видеть в нем и ежедневно получаю фактические подтверждения этого — человека моложе и бодрее духом и менее нервного, т. е. с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие». Наконец он прямо осуждал подругу Толстого: «…вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями, вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически, во внешних условиях жизни очень ему вредите».

Тоже обиженная, но чувствовавшая свою неправоту С.А. жаловалась мужу в Бегичевку: «Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился на меня за мой упрек, что он торопит тебя статьей, а я и не знала, что ты сам ее выписал. Я извинилась перед ним; но что за тупой и односторонне-понимающий всё человек! И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят; им скучно!» Самому Черткову она ответила с холодным высокомерием: «…если я 30 лет оберегала его, то теперь ни у вас, ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать».

Фактически после появления в его жизни Черткова Толстой был вынужден жить двумя семьями.

Его тяга к В.Г. подогревается еще и тем, что он не видит его каждый день, но всё время «чувствует». «Каждый день жду письма от вас, вижу вас во сне и думаю о вас беспрестанно. Что с вами? Отчего вы не напишете ни слова?… Думаю, не огорчил ли я вас чем-нибудь, и не могу догадаться чем».

Это письмо от 27 сентября 1892 года. Но Чертков уже закусил удила. 1 октября он посылает Толстому длинное письмо с перечнем претензий к его семье. Он обвиняет ее в создании вокруг Толстого «придворной атмосферы»; пишет о «тяжелом впечатлении», которое возникает у последователей Толстого от знакомства с его семьей; он ябедничает Л.Н. на его любимую дочь Машу, не простив Маше отказа работать на него в качестве «агента».

И как же отвечает на это письмо Толстой? Создается впечатление, что С.А. была права, когда в 1884 году писала о «слепоте» мужа по отношению к Черткову. «Поша (Бирюков. — *П.Б.*) вчера был у нас и прочел ваше последнее письмо ко мне и говорит: какое хорошее письмо, как он правдив! А я ему говорю: а я только что про вас (про Пошу) думал: какой он приятный, мягкий, добрый человек! Он не поступается своими убеждениями, не подделывается и вместе с тем никого не оскорбляет, все его любят… И я в вас это люблю».

Это не могло не кончиться скандалом.

История с фотографией

В декабре 1894 года наиболее видные «толстовцы» — Чертков, Бирюков, Горбунов-Посадов, Трегубов и Попов — предложили Л.Н. сняться вместе с ними на групповом портрете в фотомастерской Мея. Как мог Толстой отказать? Это значило бы дистанцироваться от своих учеников и ревностных сподвижников даже в такой «мелочи». И он радостно согласился. Между тем это была не мелочь. Если бы снимок появился и был растиражирован, существование «толстовской партии» получило бы документальное подтверждение. Вряд ли Чертков, имевший связи с царской фамилией и высшими полицейскими чинами, не понимал этого.

Услышав о фотографии, С.А. действовала решительно. Она забрала все стеклянные негативы группового снимка из мастерской Мея и уничтожила их. «Толстовцы» обиделись. «Приходил Поша (Бирюков. — *П.Б.*), — пишет С.А. в дневнике 8 января 1895 года, — и обвинял меня, а я их всех. Обманом от нас, тихонько уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми *темными*; девочки (дочери Маша и Таня. — *П.Б.*) вознегодовали, все знакомые ужасались, Лева (сын. — *П.Б.*) огорчился, я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы — это *учреждение.* Публика подхватила бы это, и все старались бы купить *Толстого с его учениками.* Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтобы Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф, Мей, тоже мне сочувствовал и охотно отдал негативы».

В ночь с 10 на 11 января, запершись в своей комнате, С.А. била стеклянные негативы. В дневнике она утверждает, будто бриллиантовой серьгой пыталась вырезать лицо мужа, что плохо

удавалось.

Отношение Толстого к поступку жены не вполне понятно. Во всяком случае, этот поступок не вызвал его гнева. В дневнике от 31 декабря 1894 года он пишет: «Был здесь Чертков. Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда Соня поступила решительно, но необдуманно и нехорошо».

Кроме обиды, ревности и деспотического нежелания делить своего мужа с кем-либо, поступком С.А. руководил панический страх за семью. Она отчасти смирилась с тем, что является женой «диссидента», но ей также хорошо была известна жестокость Победоносцева по отношению к сектантам. Тем более в высшем обществе уже ходили разговоры о возможной высылке Толстого на окраины империи.

После личной встречи с императором в апреле 1891 года С.А. надеялась, что она обезопасила мужа от прямого преследования за его статьи. Но в 1892 году он преподнес ей новый сюрприз. 14 января в английской газете «Daily Telegraph» в переводе Эмилия Диллона появилась запрещенная в России статья Толстого «О голоде». 22 января консервативные «Московские ведомости» с радостью перепечатали в обратном переводе фрагменты этой статьи с такими комментариями: «Письма гр. Толстого… являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

Это был донос. Но это было правдой. Толстой действительно звал к «ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя», только не насильственным путем. Как раз в это время он работает над книгой «Царство Божие внутри нас», разрабатывая знаменитую идею «непротивления злу силою». Но кто это знал?

Страх жены после публикации «Московских ведомостей» невозможно описать. Впрочем, она слышала, что 30 января состоялся разговор императора с министром внутренних дел Дурново, в конце которого Александр III приказал «оставить на этот раз без последствий». Она знала, что император говорил о Толстом с его теткой А.А.Толстой, которая защищала племянника. Император сказал: «Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование». Но слухи-то ходили… Т.А.Кузминская писала сестре: «Я слышала из разных источников всё то же самое: государь обижен, говорил, что я и жену его принял, что ни для кого не делаю, и что он не ожидал, что его предадут англичанам — самым врагам нашим…»

Поговаривали, что собирался кабинет министров, чтобы принять решение о высылке Толстого за границу.

«Погубишь ты всех нас своими задорными статьями, — писала С.А. мужу в Бегичевку, — где же тут любовь и непротивление? И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня, и их. Хоть и христианская почва, но слова нехорошие. Я очень тревожусь и еще не знаю, что предприму, а так оставить нельзя».

8 февраля она весь день сочиняет письма министру внутренних дел и в «Правительственный вестник». И получает еще одно письмо от сестры из Петербурга, где та пишет о «какой-то опасности», умоляет «скорей действовать», самой приехать в столицу.

Наконец, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, приватно встречается с С.А. в Нескучном саду и убеждает ее в том, что император ожидает от Толстого публичного отречения по поводу английского текста.

«…ждут опровержения от тебя, Левочка, в „Правительственном вестнике“, за твоей подписью; в другие газеты запрещено принимать, и желание это идет от государя и любя тебя… Если в будущем письме твоем я найду твое письмо в газету или увижу подписанным тот листок, который прилагаю, я приду в такое радостное, спокойное состояние, в котором давно не была, если же нет, то, вероятно, поеду в Петербург, пробужу еще раз свою энергию, но сделаю нечто даже крайнее…»

И Толстой снова уступает жене. «Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях „Московских Ведомостей“, и что ты ездила к Сергию (так у Л.Н. — *П.Б.*) Александровичу. — Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, много раз, в гораздо более сильных выражениях было сказано раньше, что ж тут нового? Это всё дело толпы, гипнотизации толпы, нарастающего кома снега. Опровержение написал. Но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй и не прибавляй, и даже не позволяй изменить. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и только правду, и вполне отверг ложное обвинение».

В письме в «Правительственный вестник» от 12 февраля Толстой заявлял, что «писем никаких в английские газеты не посылал», что приписываемая ему выписка «есть очень измененное (вследствие двукратного — слишком вольного перевода) место моей статьи» и что «напечатанное вслед за выпиской из перевода моей статьи крупным шрифтом и выдаваемое за выраженную будто бы мною мысль… есть сплошной вымысел».

Это было унижением для Толстого, на которое он пошел исключительно ради жены. С английским переводчиком Эмилием Диллоном он был лично знаком с декабря 1890 года, когда тот гостил у него в Ясной Поляне. В ноябре 1891 года, устав от цензурных мытарств, которые претерпевала его статья «О голоде» в журнале «Вопросы философии и психологии», он сам просил из Бегичевки жену переслать текст этой статьи Диллону. «Пускай там напечатают; оттуда перейдет и сюда, газеты перепечатают». Таким образом он вполне отдавал себе отчет в том, что появление его статьи в «Daily Telegraph» не было случайностью. К тому же, отказываясь осенью 1891 года от авторских прав, в том числе и на переводные тексты, Толстой ни словом не оговаривал качество переводов. Какое же он теперь имел моральное право протестовать?

Толстой был немедленно наказан. В «Правительственном вестнике» его письма не приняли. Официальный орган не печатал полемики. «Сейчас получила письмо из „Правительственного вестника“ с отказом, — смущенно пишет С.А. в Бегичевку. — Прости меня, Левочка, что я тебя вызвала это писать. Теперь я зарок даю ни в какие дела не вмешиваться… Великий князь сказал то, что я писала. Вот и пойми их!»

Тем не менее письмо появилось в других газетах. Но Толстой, целиком занятый устройством столовых для голодающих в Рязанской губернии (всего их к тому времени было открыто 170), смотрел на это несколько свысока. «Ради Бога, милый друг, не беспокойся ты об этом… Пожалуйста, не принимай тона обвиняемой. Это совершенная перестановка ролей».

Обиженный Диллон, чья честь переводчика была серьезно задета, опубликовал в «Гражданине» и «Московских ведомостях» письма к нему Толстого, в которых тот подтверждал аутентичность английского перевода статьи. Таким образом, все обвинения падали на «Московские ведомости» за неправильный уже русский перевод. Газета тоже немедленно включилась в полемику.

В этой ситуации Чертков повел себя мудро. Он ни словом не осудил Толстого за отречение. Он сочувствовал учителю и хотел только выяснить у него: как было написано это письмо — *«против вашего желания»* или *«не по вашей инициативе»?* Он знал инициатора письма и продолжал интриговать против нее.

В этом контексте история с фотографией 1894 года стала последней каплей в чаше терпения жены Толстого. Она еще раз «взорвалась». И вновь проиграла. Толстой в очередной раз вынужден был извиняться перед «милым другом». «Я всё нахожусь под тяжелым впечатлением нелюбовных проявлений, вызванных в

моих семейных и ими в вас и наших здешних друзьях историей с фотографией… Пожалуйста, постарайтесь совсем простить и меня, и моих семейных», — пишет он Черткову.

В скором времени и дочери Толстого Маша и Таня почувствовали свою вину перед Чертковым. Фактически предавая мать, они тоже извинились перед В.Г. письменно, уверяя, что сами не понимают, как такое могло случиться. Между тем всё очень понятно. Если поступком С.А. руководили ревность и страх, то детьми Толстого руководила только ревность. Есть немало широко известных фотографий, на которых Толстой снялся со своей многочисленной семьей. Уже седенький, отнюдь не физический богатырь, Л.Н. трогательно окружен взрослыми, бородатыми сыновьями и совсем еще маленькими чадами — Сашей и Ванечкой. И конечно, в центре стоит их мать. Групповой снимок Толстого с «толстовцами» (вернее сказать, с «чертковцами») тоже претендовал на «семейный портрет». И конечно, вторым центром его, после Толстого, был бы Чертков.

Без вины виноватый

С некоторого времени Толстой стал подозрительно часто извиняться перед Чертковым. Сидя на двух стульях, живя двумя семьями, он естественным образом не мог выполнять всех его пожеланий, а порой и требований, как не мог выполнять всех требований жены. Но если с женой он мог ссориться, даже скандалить, угрожая уходом из семьи, как она угрожала ему самоубийством, то с Чертковым такого «горячего» общения быть не могло. В этом была принципиальная разница между «плотской» женой и «духовным» спутником.

Незадолго до истории с фотографией, в октябре 1894 года, Толстой был вынужден извиняться перед Чертковым за свой опрометчивый поступок десятилетней давности, когда из любви и доверия к «милому другу» он передал ему свой интимный дневник 1884 года.

События развивались таким образом. В марте 1894 года Толстой внимает настоятельным просьбам Черткова посетить его и Галю в их воронежском захолустье. Против этой поездки была решительно настроена С А, и несколько раз ей удавалось отговорить от этого мужа. Тем не менее 25 марта Л.Н. с дочерью Машей уезжает на хутор Ржевск, где живут Чертковы, и «радостно» проводит там время до 1 апреля. В письме к Черткову из Москвы он рассыпается в благодарностях за теплый прием и пишет, что это время останется «одним из самых дорогих

воспоминаний». У Чертковых ему понравилось решительно всё: и сам хозяин дома, и его мать (враждовавшая с Толстым из-за сына), и Галя, и сын Дима, которого, в отличие от Ванечки, не баловали игрушками.

Из Москвы он посылает для больной Гали десять фунтов спаржи, которую сам покупает на рынке. Но спаржа оказалась негодной, и Толстой, сурово отчитав купца и бесконечно извиняясь перед Чертковыми, посылает им новую порцию. В это же время, по просьбе Черткова, он ищет вблизи Ясной Поляны дачу для «милого друга» и его семьи. Почему-то предполагается, что климат Воронежской губернии губит здоровье Гали, а в Тульской ей будет хорошо. В итоге у самого Черткова в Тульской губернии вспыхнул рецидив малярии, который прекратился сразу по возвращению в Ржевск. Несколько раз в письмах Толстого к Чертковым звучит слово «послужить». Великий писатель мечтает «послужить» своим дорогим друзьям. Трудно сказать, чего тут было больше: искреннего душевного порыва или желания на практике претворять идею служения не себе, а людям.

Толстой посылает подробнейшие описания (со схемой) найденных им вариантов домов. Возмущению С.А. не было предела. Буквально застигнув мужа (вернее, его отсутствие) во время своего приезда из Москвы в Ясную, она узнает, что Толстой колесит по окрестностям в поисках уютного летнего гнездышка для Чертковых. Мало того, что это само по себе ей не нравится, но вдобавок ее любимая младшая сестра Татьяна Кузминская, узнав о намерении Чертковых, отказывается проводить с семьей лето в Ясной, что до этого делала каждый год.

И вновь С.А. пишет Черткову негодующее письмо. Оно не сохранилось, но известен ответ. «Пользуюсь этим случаем для того, чтобы высказать Вам, Софья Андреевна, как я радуюсь предстоящему нашему пребыванию вблизи дорогого нам Льва Николаевича». Чертков извиняется перед графиней, что обеспокоил графа поисками дачи, но при этом разводит руками: ведь он просил графа передать эту заботу своим дочерям.

И снова Толстой должен неловко объясняться из-за письма жены. «Она боится… что будет одинока». «Если вы спросите меня: желает ли она, чтобы приехали? Я скажу: нет; но если вы спросите: думаю ли я, что вам надо приехать? — думаю, что да».

Поставленный в ультимативное положение, Л.Н. делает выбор не в пользу жены и свояченицы. У Черткова же не хватает такта понять, что отступить следует ему, а не семье.

18 мая Чертков с семьей поселяется в деревне Деменка в пяти верстах от Ясной. Гора не пришла к Магомету, Магомет пришел к горе. Это было началом периодически повторявшегося кошмара

С.А., когда ненавистный ей Чертков уже не только душевно, но и физически обживался возле ее мужа.

Почти каждый день посещая Ясную, он получает исключительное право входить в кабинет Толстого во время работы, право, которым не обладали ни дети, ни жена. При этом в бытовом отношении он оказывается таким же беспомощным, как и его учитель. Он забывает подтяжки во время купания в пруду и запиской просит Толстого и его семью их разыскать. Подтяжки пропали. Он просит Толстого нанять ему в яснополянской деревне коляску, чтобы не ходить пять верст пешком. Толстой радостно всё исполняет.

Но именно в Деменке Чертков допускает ошибку, которая едва не лишила его доверия Л.Н. В Деменке он продолжает переписывать дневник Толстого. Вместе с тем он привозит с собой уже имеющиеся у него копии дневников, в том числе и дневник 1884 года, оригинал которого хранится у полицмейстера Трепова.

В Деменке Чертков тяжело болел, настолько тяжело, что жена Толстого однажды помчалась в Тулу, чтобы привезти ему врача. Уезжая обратно в Ржевск в августе и опасаясь своей смерти, В.Г. передал свой чемодан с рукописями Толстого Марии Львовне на временное хранение. Посмотрев содержимое чемодана, Маша увидела тот злосчастный дневник 1884 года, разгара духовного кризиса отца, и, найдя там резкие высказывания против матери и брата Сергея, показала это отцу.

И Толстой испугался.

Его письмо к В.Г. в связи с этим дневником еще раз доказывает, что с началом дружбы с Чертковым Толстой постоянно находился в двусмысленной ситуации. С одной стороны, он корит себя за то, что десять лет назад отдал этот дневник В.Г., не просмотрев внимательно его содержание. С другой — в пределах одного письма он несколько раз меняет решение: возвращать этот дневник В.Г. или нет.

«Я вырвал дневник и оставил у себя, — пишет Толстой. — Когда вы пришлете оригинал, который верно у вас (он не знает, что оригинал у Трепова. — *П.Б.*), уничтожу этот список. Те дневники, которые у вас, пожалуйста, не давайте переписывать, а, выписав мысли общего содержания, пришлите их мне. Сколько у вас тетрадей? — Опять передумал: посылаю вам дневник, но прошу истребить его».

Поведение Л.Н. не поддается здравой логике. Оно доказывает, что Толстой явно находится в зависимости от Черткова, причем не только практической, но и душевной.

Положение, в котором оказался Чертков, сделавший тайное

явным, было крайне щепетильным. Не признаться Л.Н., что дневник размножен и оригинал его хранится у третьего лица, он не мог. Боясь навсегда потерять доверие Толстого, В.Г. в ответном письме рассказывает всю правду, не называя только имя Трепова, заменив его на «надежного друга». Чертков бесконечно кается за свою оплошность, просит прощения, обещает быть осторожным и, наконец, высказывает главное опасение:

«Признаюсь вам, Лев Николаевич, что кроме угрызений совести за огорчение, мною вам причиненное, я сейчас еще мучим опасениями, не потеряете ли вы вообще вашего всегдашнего доверия ко мне по отношению к вашим бумагам? И не воспрепятствуете ли вы тому, чтобы Марья Львовна, согласно своему намерению, прислала мне последнюю из хранящихся у нее тетрадей дневников, отданных вами ей на сохранение?»

Из этого можно сделать вывод, что в архиве Черткова были уже все поздние дневники Толстого, за исключением самых последних записей, которые он не успел скопировать из-за болезни и вынужденного отъезда. Между тем под ним горит земля. На квартирах Бирюкова и Попова проводятся обыски. Вскоре будут обыскивать и его и через три года вышлют в Англию.

Чертков был храбрым человеком. Он нелегально распространял запрещенные сочинения Толстого, печатал их за границей. Но в октябре 1894 года скончался император Александр III, благоволивший к Черткову, в отличие от Победоносцева. Чертков торопился с копированием дневников еще и по этой причине. Вдали от России и Толстого единственной возможностью оставаться в непосредственной близости к учителю был бы его архив.

Толстой принимает компромиссное решение. «Дубликат, списанный, уничтожьте, а те, которые вам не нужны, пришлите мне».

Но почему он сам не уничтожил копию, когда она оказалась в его руках? Почему не заставил Черткова немедленно вернуть оригинал? Почему, вымарывая из дневников нелестные отзывы о жене и детях, он то же самое предлагал делать В.Г., доверяя ему такие интимные вещи?

Больше чем дружба

Для Черткова интриги против С.А. и ее детей становятся обычным делом. Наябедничав Л.Н. на его дочь Машу в сентябрьском письме 1892 года за ее отказ выполнять

секретарские обязанности не только для отца, но и для него, он в январе 1895 года пытается внести раскол между отцом и Татьяной. Не прощая ей историю с фотографией, он пишет Л.Н.: «Я был неправ… Но этот грех не мог или во всяком случае не должен был расстроить Татьяну Львовну, сознательно, непрерывно и хладнокровно пользующуюся для своих удобств и удовольствий вашим участием в разделе между вашими детьми той собственности, которую вы не признавали вашей. Это было *действительной,* а не воображаемой ошибкой с вашей стороны, которую вы *сознательно* признали и признаете таковой, которая будет служить, когда она станет известной людям, действительным соблазном для многих и многих искренних людей, и тем не менее продолжать ежеминутно участвовать в которой Татьяна Львовна находит возможным, потому что это ей выгодно».

«Получил ваше холодное письмо, милый друг, но всё-таки был очень рад ему, потому что давно не знал ничего про вас», — отвечал Толстой.

В том же 1895 году Чертков посылает Толстому курточку, не новую, со своего плеча. «Посылаю вам свою теплую курточку, которую мы ремонтировали домашними средствами. (Привезенная моей матерью по моей просьбе из-за границы, совсем не такая, несмотря на то, что Вас. Алекс. Пашков очень хлопотал о ней, узнав, что она для вас.) К тому же эта моя старая будет вам больше по вкусу, именно как поношенная. Она вам теперь осенью пригодится для велосипеда (Толстой в это время учился ездить на велосипеде. — *П.Б.*) и верховой езды; и мне приятнее, чтобы она была на вас, чем на мне».

И Толстой в ответ нежно благодарит В.Г. и Галю: «Спасибо за чудесную курточку, буду носить ее и поминать вас обоих…»

Конечно, XIX век был сентиментальным столетием, и многое в поведении людей того времени нам не понятно. Но слишком уж часто Чертков оставлял в Ясной Поляне материальные свидетельства своего и своей жены существования: от курточки до подтяжек и от часов до портретов. В конце жизни Толстой писал самопишущей английской ручкой, подаренной Чертковым, — куда уж символичнее! Апофеозом этих вещей и вещиц стали… подштанники Черткова, которые надели на тело Толстого в Астапове, перед тем как положить в гроб.

В октябре 1895 года В.Г. предложил Л.Н. стать его, Черткова, «духовным душеприказчиком». Он выразил пожелание, чтобы Толстой собирал в отдельную папочку (специально высланную) письма Черткова, а также выписки из его, Черткова, дневников, которые он будет ему посылать. Эта папочка предназначалась для

«Димочки», сына В.Г. Всё это предлагалось делать в условиях «тайны». «На папке этой я надписал просьбу, чтобы никто, кроме вас, не читал ее содержимого. Это для того, чтобы я мог писать как письма к вам, так и дневник, свободно, без оглядки, как перед Богом. Так вы уже всю папку никак не давайте никому читать».

И опять Толстой ни словом не упрекнул Черткова за навязывание очередной «тайны», не попытался поставить своего помощника на его законное место. «Получил ваше заказное письмо, и всё, что вы там пишете, исполню», — пишет Толстой.

1895 год — самый страшный в жизни семьи с начала ее существования. В феврале умирает Ванечка, и у С.А. появляются явные признаки душевной болезни, которая с этого времени будет прогрессировать. Л.Н. превращается из сильного пожилого мужчины в седого, сгорбленного старика. С.А. прямо называла начало старости Толстого — 1895 год. Она видит, что смерть мужа не за горами. И, что простительно для писательской жены, начинает думать о своей репутации после его смерти.

В апреле С.А. едет к младшей сестре в Киев, чтобы поплакаться. В письме к мужу из Киева она 6 раз (!) упоминает покойного сына. После возвращения начинается ее страстное, болезненное увлечение музыкой и… Танеевым. Л.Н. видит, что с женой происходят ненормальные вещи, объясняя это смертью Ванечки. Но оказывается, что есть и еще причина.

С.А. продолжает безнадежную войну с Чертковым.

Война за дневники

С середины 1890-х годов С.А., предчувствуя смерть мужа, всерьез начинает тревожиться из-за его дневников, опасаясь, что ее образ в этих дневниках будет превратно истолкован публикой и потомками. «Надо писать дневник, слишком жалко, что мало его писала в жизни», — пишет она 1 января 1895 года. Зная, хотя и не полностью, о содержании дневников Л.Н., она собирается систематично создавать *свою* версию жизни с гением. Этой же задаче она посвятит незаконченные мемуары «Моя жизнь».

Обнаружив, что дневники Л.Н. уплывают из дома в сторону ненавистного «разлучника», С.А. забеспокоилась. Тем более что от нее-то как раз эти дневники стали прятать. И вот в октябре 1895 года в Ясной Поляне перед отъездом в Петербург на первое представление «Власти тьмы» она оставляет письмо, которое и сегодня невозможно читать без острого чувства жалости к этой сильной, но очень уязвимой женщине.

«Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не решилась

заговорить с тобой, боясь и тебя расстроить, и себя довести до того состояния, в котором была зимой в Москве (когда она пыталась бежать из дома. — *П.Б.*). Но я не могу (в последний раз — постараюсь, чтоб это было в последний) не сказать тебе того, что так сильно меня заставляет страдать. Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения и внуки наши поносили имя мое, как легкомысленной, злой и делающей тебя несчастным женой? Ведь если это прибавит тебе славы, что ты был жертвой, то на сколько же это погубит меня!..

После смерти Ванечки (вспомни „папа, никогда не обижай мою маму“) ты обещал мне вычеркнуть те злые слова, относящиеся ко мне в твоих дневниках. Но ты этого не сделал, напротив. Или ты в самом деле боишься, что посмертная слава твоя будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником, несущим крест в лице жены…

Когда нас с тобой не будет в живых, то это легкомыслие будут толковать кто как захочет, и всякий бросит грязью в жену твою…»

И Толстой почувствовал себя «виноватым и умиленным». В дневнике от 13 октября появляется запись: *«…я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про нее. Слова эти писаны в минуты раздражения. Теперь повторяю еще раз для всех, кому попадутся эти дневники.* Я часто раздражался на нее за ее скорый необдуманный нрав, но, как говорил Фет, у каждого мужа та жена, которая нужна для него. Она — я уже вижу как, была та жена, которая была нужна для меня. Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой, и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидал это после смерти Ванечки».

25 октября, только что проводив жену в Петербург, он делает новую важную запись: «Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне (не поняла его духовных исканий. — *П.Б.*). Не думай этого. Еще больше люблю тебя, всё понимаю и знаю, что ты не могла, не могла прийти ко мне, и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца, так, как больше любить нельзя…»

В письме к Черткову от 12 октября (сразу после прочтения письма жены) он в ясной форме потребовал вернуть дневники. «Нынче пишу вам главное затем, чтобы просить вас прислать мне поскорее те мои дневники, которые есть у вас».

И Чертков вынужден вернуть дневники. Но с убедительной

просьбой: соединить их вместе в отдельной папке и «не держать их при себе, а отдать на сохранение вашим дочерям, так как в противном случае, в случае вашей внезапной смерти, с ними могли бы поступить совсем не в том духе, в каком следует».

Но и возвращая дневники за 89-й, 90-й и 91-й годы, Чертков не стал расставаться с дневником 1884 года, тем, где жена Толстого именовалась «крестом» и «жерновом на шее». «Согласно вашему желанию, — писал он Толстому, — я его перечитываю, вычеркивая или вырезая нежелательные места». Таким образом, Чертков брал на себя полное право быть моральным цензором Толстого.

Начавшись в 90-е годы, война за дневники шла до самого ухода Л.Н. из Ясной Поляны. На одной стороне — Чертков с его страстью собирателя рукописей Л.Н., в том числе и самого интимного характера. На другой — С.А. с ее желанием «откорректировать» живую семейную историю.

В конце концов это и стало тем «крестом», на котором был распят Толстой.

Глава девятая
ОТЛУЧЕНИЕ И ЗАВЕЩАНИЕ

Когда Толстой уже сидел в зале ожидания на станции Астапово, Саша с Феокритовой собирали в вагоне вещи, разложенные для дальней поездки в Новочеркасск. «Когда мы пришли на вокзал, — вспоминала Александра Львовна, — отец сидел в дамской комнате[20] на диване в своем коричневом пальто, с палкой в руке. Он весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диван, но он отказался. Дверь из дамской комнаты в залу была затворена, и около нее стояла толпа любопытных, дожидаясь прохода Толстого. То и дело в комнату врывались дамы, извинялись, оправляли перед зеркалом прически и шляпы и уходили…»

«Когда мы под руки вели отца через станционный зал, — продолжает Саша, — собралась толпа любопытных. Они снимали шапки и кланялись отцу. Отец едва шел, но отвечал на поклоны, с трудом поднимая руку к шляпе».

Толпа любопытных фигурирует и в записках Маковицкого, под видом «господски одетых людей». Доктор сначала принял их за пассажиров, ожидавших свистка своего поезда, но это были железнодорожные служащие. Среди них стоял и журналист «Русского слова» Константин Орлов.

Когда в доме начальника станции Озолина приготовили постель для больного и настало время вести его в дом, возникла неувязка. По-хорошему, как считал Маковицкий, Толстою нужно было не вести, а нести. С каждым самостоятельным движением больной терял драгоценные силы, сердце его работало на пределе. Но как, кому это делать? Никто из толпы, включая журналиста Орлова, который следовал за Толстым инкогнито, не вызвался помочь врачу и двум девушкам. Шляпы снимали, кланялись. Но помочь не решались. Всё-таки Толстой! Боязно прикоснуться!

Наконец один служащий решился взять Толстого сзади под руки. Потом выяснилось, что его отец — уроженец Ясной Поляны. На выходе из станции к ним подошел еще сторож железной дороги, он взял Л.Н. под

мышки спереди.

Толстой, замечает Маковицкий, «сильно падал вперед». Он уже не мог ходить. Уход закончился.

В домике Озолина он отказался сразу лечь в постель и довольно долго сидел в кресле, не снимая пальто и шапку. Маковицкий объясняет это тем, что Л.Н. боялся холодной постели. В воспоминаниях Саши дается более интересное объяснение.

«Когда постель была готова, мы предложили ему раздеться и лечь, но он отказался, говоря, что не может лечь, пока всё не будет приготовлено для ночлега так, как всегда. Когда он заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние. Ему, очевидно, казалось, что он дома, и он удивлен, что всё было не в порядке, не так, как привык…

— Я не могу лечь. Сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул.

Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столик поставили свечу, спички, записную книжку, фонарик и всё, как бывало дома».

Воспоминания Саши подтверждаются воспоминаниями Озолина. Возникает жуткое чувство. Сбежав из Ясной и оказавшись в другой губернии, в чужом доме, Толстой думает, что находится у себя в имении, и удивляется: почему в спальной комнате всё не так?

Маковицкий в это время был озабочен другим. Надо было протопить печь, нагреть кирпичи, чтобы положить к ногам больного, согреть воды. Если верить Маковицкому, Толстой, сидя в кресле, пребывал в ясном сознании. Просил позвать Озолина и его жену. Извинялся перед ними за причиненное беспокойство, благодарил, просил потерпеть. Хозяева растрогались. Они сами стали извиняться за детей, которые шумели в соседней комнате.

— Ах, эти ангельские голоса, ничего, — сказал Л.Н.

Когда позже рядом с ним сидела старшая дочь Татьяна, Толстой опять вспомнил о доме и сказал ей «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились». Она поняла, что отец имел в виду, но переспросила: «Что ты сказал, папа?» «На Соню, на Соню многое падает…» — повторил он.

И — потерял сознание.

Конец века

Толстой очень тяжело отживал XIX век. «Последнее пятилетие XIX столетия было тяжелым периодом в жизни моего отца, — пишет его сын Сергей Львович. — В 1895 году умер мой младший брат — семилетний Ванечка, очень способный мальчик, не по годам развитой, сердечный и чуткий. Его нежно любила как мать, так и отец, и любовь к нему соединяла их в одном чувстве. А со смертью Ванечки моя мать временно как бы потеряла смысл жизни, и ее истеричность, к которой она была склонна и раньше, теперь обнаружилась с новой силой.

В продолжение того же пятилетия мои две сестры Татьяна и Мария вышли замуж и уехали. Отец, особенно любивший своих дочерей, тяжело переносил их отсутствие, хотя не высказывал этого и старался бороться с этим своим чувством.

В доме моих родителей оставалась только их младшая дочь Александра. В 1900 году ей было 16 лет. Сыновья жили отдельно. Отец чувствовал себя одиноко; в доме преобладало мрачное настроение…»

Грустное настроение было у супругов накануне XX века. Не было между ними даже сцен ревности, яростных ссор. Холодно и тускло стало в Ясной. И вот С.А. записывает в дневнике 23 ноября 1900 года: «С трудом выпытываю и догадываюсь я, *чем* живет мой муж. Он не рассказывает мне больше никогда ни своих писаний, ни своих мыслей, он всё меньше и меньше участвует в моей жизни».

Но Толстой в это время живет очень напряженной и душевной, и литературной, и общественной жизнью. Он изучает Ницше и Ломброзо, интересуется войной на Филиппинах и в Трансваале. Он встречается с Горьким («Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа»), Он смотрит пьесу Чехова «Дядя Ваня» и «возмущается» ею. Он продолжает заниматься духоборами, интересуясь их устройством в Канаде. Пишет статьи о патриотизме и «Денежное рабство». Читает психологов Вундта, Кефтинга и находит их «поучительными». Он заново изучает Конфуция. Наконец, он пишет свою лучшую пьесу «Живой труп».

Его дневник 1900 года перенасыщен мыслями, каждая из которых на вес золота. Вот, например: «Жизнь есть расширение пределов, в которых заключен человек». В этом дневнике много рассуждений о браке, о женщинах, но в них почти не встречается жена.

В самом конце XIX века семью Толстых настигает еще один удар. У сына Толстого Льва Львовича и его жены-шведки Доры в

Ясной умирает их первенец по имени Лев. Лев-III. Есть трогательная фотография, где три Льва сняты вместе. Маленький внук незадолго до смерти сидит на коленях дедушки. После смерти первенца неутешная Дора наотрез отказалась жить в России и вместе с мужем уехала в Швецию.

Отлучение Толстого

XX век начался для Толстого событием, которому придавали и придают, пожалуй, даже слишком большое значение из-за общественного потрясения, произведенного им в России. Толстого «отлучили» от православной церкви. В конце XX века установилась своего рода мода спорить о том, было ли это отлучение отлучением или только признанием того, что Толстой, как это и было на самом деле, с определенного времени членом православной церкви уже не являлся. Особенно любят рассуждать об этом светские, но архирелигиозно настроенные писатели и публицисты. «Не было отлучения! — заявляют они. — Было лишь определение».

Как будто это что-то меняет.

24 февраля в «Церковных ведомостях» было опубликовано «*Определение*» Синода от 20–22 февраля за № 557 «с посланием верным чадам Православныя Греко-Российския Церкви о графе Льве Толстом», где говорилось, что «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается».

Конечно, послание Синода было более пространным. И, нужно признать, весьма убедительным. Вот пункты, по которым Л.Н. «отлучался»:

«— отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной,

— отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека,

— отрицает Иисуса Христа как Искупителя, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения,

— отрицает Иисуса Христа как Спасителя мира,

— отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа,

— отрицает девство до рождества Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии,

— отрицает девство по рождестве Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии,

— не признает загробной жизни и мздовоздояния,

— отвергает все Таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа,

— ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств — Святую Евхаристию».

Под каждым из этих обвинений Толстой подписался бы недрогнувшей рукой. Разве что некоторые пункты были составлены, скажем так, не вполне корректно. Например, Толстой не отрицал загробной жизни (в неизвестных формах), не отрицал и «мздовоздояния» (при жизни — муки совести, душевная пустота). Но, конечно, его понимание этого не сочеталось с церковными понятиями.

После «Критики догматического богословия», этой еще ранней работы «переворотившегося» Толстого, после ряда его статей и заявлений и, наконец, после крайне издевательского описания Причастия в романе «Воскресение», говорить о православном Толстом и даже просто о *церковном* Толстом было бессмысленно. Но в этом-то, собственно, и заключалась бессмысленность синодального определения.

Писать здесь о религии Толстого в сравнении в религией русского православия значило бы написать совсем другую книгу. Сегодня этим сложным вопросом занимается серьезный и авторитетный исследователь, священник Георгий Ореханов. Будем надеяться, что его будущий труд даст нам ответы на многие вопросы.

Для нас важен сам факт появления этого «определения», причем именно в это время.

Простой вопрос: зачем «определение» вообще появилось? Зачем было «отлучать» от церкви человека, давно к ней не принадлежавшего? Зачем было раскачивать и без того утлый челн российского общественного мнения и создавать проблему, которую сам же Синод затем пытался, но так и не мог решить? Вот загадка.

Опорным словом в обращении Синода к чадам церкви является слово «верным». Своим «определением» Синод как бы отсекал «верных» от сомневающихся. «Верные» должны отшатнуться от Толстого как от несомненного еретика. Сомневающиеся должны задуматься: с кем они? с церковью или с Толстым? Только здесь можно найти разумное объяснение появления этого «определения» в самое неподходящее для России время.

Но кто был «душой» этого, допустим, разумного поступка? Кто до такой степени радел о «верных чадах», которых, разумеется, могли смутить проповеди неистового Льва? И почему *действительного* еретика Толстого нельзя было вот именно предать анафеме?

Существует устойчивое мнение, что главным инициатором «отлучения» был обер-прокурор Святейшего Синода К.П.Победоносцев. Это якобы была его личная месть за образ холодного и циничного бюрократа Топорова в романе «Воскресение», в котором современники узнавали Победоносцева. Однако нет никаких прямых свидетельств о том, что именно Победоносцев был главным движителем создания синодального документа.

По мнению хорошо информированного чиновника Синода В.М.Скворцова, сам Победоносцев был как раз против опубликования синодального акта относительно Толстого и оставался при своем мнении и после его публикации[21]. Позиция Победоносцева хорошо известна. «Толстовцев» преследовать, но Толстого не трогать. Синодальный акт «трогал» как раз Толстого. Победоносцеву это едва ли могло понравиться. Но вроде бы он уступил давлению столичного митрополита Антония (Вадковского), на которого, в свою очередь, оказывал давление другой иерарх, страстный полемист против Толстого, имени которого Скворцов не называет.

Страстных полемистов против ереси Толстого в то время было немало. Например, целую серию брошюр против учения Толстого написал профессор старейшей Казанской Духовной академии А.Ф.Гусев. Кстати, именно он допрашивал в Феодоровском монастыре «самострелыцика» Пешкова (Горького), пытавшегося в конце 80-х годов в Казани добровольно лишить себя жизни, и отлучил его от церкви на четыре года. Но вряд ли скромный профессор мог иметь такое влияние на петербургского митрополита.

Куда более влиятельным полемистом против Толстого был отец Иоанн Кронштадтский, самый знаменитый в России проповедник, признанный в народе чудотворец и член Святейшего Синода. Но, во-первых, Иоанн Кронштадтский не имел веса в Синоде. Иоанн был именно всенародным «батюшкой», а не чиновным иерархом. Кстати, его подписи как раз нет под синодальным документом. Во-вторых, была бы воля Иоанна Кронштадтского, Толстого следовало бы не то что «отлучить», но принародно казнить, колесовать и четвертовать. Ненависть отца Иоанна к Толстому доходила до пределов почти безумия. Читать «полемики» Иоанна Кронштадтского против Толстого невозможно. Это не полемика, а чистой воды ругань. В своем предсмертном дневнике от 6 сентября 1908 года он договорился до того, что стал умолять Господа Бога убить Толстого, чтобы восьмидесятилетний старик не дожил до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, «которую он похулил ужасно и хулит».

«Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь. 9 вечера». Это была вечерняя молитва отца Иоанна. Поразительно, но буквально через два дня в том же самом дневнике мы прочитаем: «Господи, крепко молит Тебя об исцелении своем тяжко больная Анна (Григорьева) чрез мое недостоинство. Исцели ее, Врачу душ и телес, и удиви на нас милость и силу Свою».

Поистине — широк русский человек.

Так что прямой «заслуги» отца Кронштадтского в отлучении Толстого, скорее всего, не было. Это был несколько иной регистр духовной «полемики».

В своих воспоминаниях В.М.Скворцов говорит о кружке «влиявших на владыку Антония рясоносцев», называя Антония (Храповицкого), Сергия (Страгородского), Иннокентия (Беляева), Антонина (Грановского) и Михаила (Семенова). Он также намекает на то, что поход иерархов против Толстого был косвенным походом и против Победоносцева, которого, таким образом, подталкивали к более решительным действиям против знаменитого писателя. Ведь Толстого почему-то не решались «трогать» ни два русских императора, ни обер-прокурор.

Любопытно, однако, что ни один из названных Скворцовым «кружковцев», как и отец Кронштадтский, не подписал синодальный акт.

Кроме Антония (Вадковского) подписались: Феогност, митрополит Киевский и Галицкий; Московский и Коломенский митрополит Владимир; Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский; Иаков, епископ Кишиневский и Хотинский; епископы Борис и Маркел.

Таким образом, крайней фигурой в этой истории остается всё-таки Антоний (Вадковский).

И вот здесь начинается самое интересное. По утверждению Скворцова, текст отлучения был написан всё-таки *Победоносцевым.* Но члены Синода внесли в него правку чтобы «определение» не выглядело как «отлучение», а свидетельствовало бы только об отпадении самого Толстого от церкви. Больше того: «определение» заканчивалось не проклятием «лжеучителю» графу Толстому, коим он, вне сомнения, являлся для Победоносцева, имевшего все основания не любить Толстого еще с 1881 года, когда у них случилась первая схватка за влияние на тогда молодого Александра III. Оно заканчивалось молитвой. И разумеется, эта молитва была написана не рукой Победоносцева. «Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молимтися, милосердный Господи, не хотяй

смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко Святой Твоей Церкви. Аминь».

В синодальном акте говорилось о выдающемся художественном таланте Толстого, который дан ему именно от Бога. Таким образом чуткий, внимательный читатель этого документа мог понять всю глубину проблемы, перед которой оказались и церковь, и Л.Н. Великий писатель, слава русской земли, «отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры Православной».

Кто скажет, что не было такой проблемы? Была, и еще какая! Конечно, это была драма и для Толстого, чья любимая сестра жила монахиней в Шамордине, куда Толстой, в конце концов, бежал из Ясной.

Но чутких и внимательных читателей в России почти не оказалось. Да просто не ко времени вышло это определение Синода. В начале XX века Россию вело и шатало. Считаные годы оставались до начала кровавой бойни 1905–1907 годов и ответных жестоких столыпинских мер по подавлению первой русской революции. В это время любой «горячий» документ мог принести только вред. Между тем авторитет Толстого-учителя именно в это время приближается к апогею (синодальный акт, собственно, и приблизил этот апогей).

Синодальный акт был очевидной ошибкой. В принципе правильно составленный документ, но напечатанный не вовремя, *не в той России,* в которой ему следовало появиться, *не для того Толстого,* который мог бы еще ему внять, потряс русское общество не своим смыслом, а средневековым пафосом самого поступка. Ведь этот акт появился с небольшим отрывом от Дня Торжества Православия. Именно в Торжество Православия традиционно предавались «анафеме» все еретики и бунтовщики. Последний раз это делалось в XVIII веке — с гетманом Мазепой. Но с 1801 года имена еретиков не упоминались в церковных службах, а с 1869 года из списка имен, проклинаемых священниками, выпустили даже Мазепу и Отрепьева, т. е. явных государственных преступников.

Конечно, имя Толстого не предавали «анафеме» в храмах, как об этом написано в одном из не лучших рассказов Куприна. Но дело не в этом. Дело в том, что решительно во всех слоях русского общества, от рабочих до студентов и от профессоров до обычных священников, «*определение*» Святейшего Синода понималось именно как *«отлучение»* и никак иначе. Синодальный

акт всколыхнул в русском сознании воспоминание о временах Аввакума и гонений на раскольников. «Отлучили!» «Отлучили!» И — кого? Величайшего современника, славу страны!

4 марта 1901 года на Казанской площади в Петербурге состоялась демонстрация в поддержку Толстого с избиением полицией ее участников.

На 29-й выставке Товарищества передвижников картину Репина «Толстой на молитве» украшали цветами. В итоге картину пришлось снять.

И таких событий было много. В Ясную Поляну приходили нескончаемые письма и телеграммы с поздравлениями (!), что Толстого отлучили.

Василий Розанов выступил с резкой статьей, название которой говорит само за себя: «Об отлучении графа Л.Н.Толстого от церкви». «Между тем Толстой, — писал Розанов, — при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное *религиозное* явление, может быть — величайший феномен религиозной русской истории за 19-й век, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений). Посему Синод явно не умеет подойти к данной теме, долго остерегался подойти и сделал, может быть, роковой для русского религиозного сознания шаг — подойдя. Акт этот потряс веру русскую более, чем учение Толстого».

Синодальный акт расколол даже священство. Вдруг выяснилось, что не только среди «верных чад» православной церкви, но и в среде их пастырей есть немало поклонников Толстого. И решение Синода оскорбило их вдвойне — и за любимого писателя, и за родную церковь.

Синодальный акт вызвал раскол даже среди монахов, этих, казалось бы, самых ортодоксальных ревнителей православия. Из недавно опубликованных писем с Афона схимонаха Ксенофонта (князя Константина Вяземского) к сестре можно судить о том, какой взрыв сомнения, а иногда и возмущения вызвал этот петербургский документ в святынях русского православия.

«Дело Синода блюсти за Церковью, — писал Ксенофонт, — то есть наблюдать, чтобы духовенство вело себя пристойно». «Клясть и поносить людей за то, что они мыслят иначе, чем прочие, не входит в крут деятельности Синода». «Толстой сам себя всегда объявлял не принадлежащим к Православной Церкви, значит, она на него прав не имеет, как не имеет их ни на сектантов, ни на лютеран, ни на католиков». «Если хотят осудить и заклеймить

религиозные толкования Толстого, должны собрать собор и притом выслушать его объяснения, а не заочно решать, как Римские папы. Впрочем, кто не знает, что здесь играют роль личные страсти, оскорбленное самолюбие».

Не очень осведомленный в столичных интригах, Ксенофонт возлагал главную вину за «отлучение» на Победоносцева. Другая часть вины возлагалась на Кронштадтского, которого он когда-то знал лично и недолюбливал, считая «вредным шарлатаном». Но не в деталях была суть. Вот главное место из писем: «Я имею точные сведения о всем, касающемся этого дела, ибо у нас многие получают непосредственные известия из Синода, всех этот вопрос страшно интересует, и везде монастыри делятся на два лагеря: на злобствующих и ненавидящих Толстого (коих большинство) и на соболезнующих и ужасающихся этой возникшей в России борьбе».

Хотя отношение самого Ксенофонта к этому вопросу не могло быть объективным. Еще будучи князем Вяземским, писателем и путешественником, он дважды бывал в Ясной Поляне и был очарован Толстым как человеком. «Могу ли я поверить, что этот милый старичок, который сам стелит постели своим гостям, так добродушно улыбается, сидя за самоваром, так деликатно подшучивает над вновь приезжим, не привыкшим еще к его странностям, могу ли я поверить, чтоб он был антихрист, вероотступник и пр. Он, с такою любовью и участием относящийся к последнему бедняку, может ли быть худым человеком? Спроси мужиков его уезда, ведь они на него молятся, никто от него не уйдет не утешенным, никому он не отказывает в помощи».

По-видимому, среди монахов отношение к Толстому было даже еще более сложным, чем среди белого духовенства. Ведь недаром с ним трижды вел многочасовые беседы отец Амвросий. Недаром его обожали насельницы Шамординского монастыря. Недаром такое значение придавалось тому, что Л.Н. не удалось встретиться с отцом Иосифом во время последнего посещения Оптиной. Недаром к нему с таким сочувствием отнеслись простые монахи этой обители.

Монахи чуяли в нем старца. Они понимали, что не писаниями своими, но самим образом жизни Толстой более отвечал архетипу христианского подвижника, чем многие и многие из официального духовенства, особенно облеченные высокой властью. Да, это был «неправильный» старец, «криво выросший дуб», по словам Розанова. Да, его писания о церкви были ужасны. Но писания писаниями, а обликом, всей своей *статью* — это был *старец.*

И неслучайно Толстой в первом проекте прощального

послания к жене, начертанном в записной книжке накануне ухода, писал: «Я делаю то, что обыкновенно делают старики, тысячи стариков, люди близкие к смерти, ухожу от ставших противными им прежних условий в условия близкие к их настроению. Большинство уходят в монастыри, и я ушел бы в монастырь, если бы верил тому, чему верят в монастырях. Не веря же так, я ухожу просто в уединение». Из окончательного варианта письма место о монастырях исчезло. Но нужно помнить, что Толстой не уходил из Ясной Поляны, а бежал, опасаясь преследования. Не потому ли он выкинул слова про монастыри, чтобы не указать на след, по которому его можно найти? Ведь поехал он именно в монастыри: в Оптину Пустынь и Шамордино. И даже сложно представить, куда еще он мог бы поехать, где могло быть его первое пристанище?

Толстой отнесся к «отлучению», по-видимому, весьма равнодушно. Узнав о нем, он спросил только: была ли провозглашена «анафема»? И — удивился, что «анафемы» не было. Зачем тогда вообще было огород городить? В дневнике он называет «странными» и «определение» Синода, и горячие выражения сочувствия, которые приходили в Ясную. Л.Н. в это время прихварывал и продолжал писать «Хаджи-Мурата».

Тем не менее, понимая, что отмолчаться невозможно, Толстой пишет ответ на постановление Синода, как обычно, многократно перерабатывая текст и закончив его только 4 апреля.

Ответ Л.Н. начинается с эпиграфа из поэта Кольриджа: «Тот, кто начнет с того, что полюбит Христианство более истины, очень скоро полюбит свою Церковь или секту более, чем Христианство, и кончит тем, что будет любить себя больше всего на свете».

Этим эпиграфом он утверждает примат истины над всем, даже над христианством. И это означает, что христианство уже не является для него истиной в последней инстанции. Такова позиция Толстого.

В самом тексте он указывает на двусмысленность поступка Синода. Если это отлучение, то почему не соблюдены правила. Если это только заявление о том, что он не принадлежит церкви, то это ведь и так «само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что собственно и случилось, потому что оно так и было понято».

«То, что я отрекся от Церкви, — соглашается Толстой, — называющей себя Православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему».

К сожалению, в тексте есть дикие грубости по отношению к

церковным обрядам. «Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов…» Есть, увы, и очевидная неправда. Или, лучше сказать, полуправда. «Я никогда не заботился о распространении своего учения». То есть как «не заботился»? Кто же тогда издавал за свой счет в типографии Кушнерева «В чем моя вера?» и распространял в петербургском высшем свете? Кто передавал Черткову рукописи антицерковных статей, кто радовался их выходу в Англии?

Ответ Толстого, в отличие от синодального акта, написан длинно, что говорит о затруднениях в изложении основной мысли. Но в конце ответа прорывается то главное, что, собственно, и составляет его смысл. «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к Тому Богу, от Которого изошел».

Иначе говоря — отстаньте!

И в этом весь Толстой.

По-другому отнеслась к постановлению Синода графиня. Она, конечно, вспомнила о том, как смело говорила в свое время с Победоносцевым, защищая величие мужа, и как ласково принимали ее Александр III и императрица. Подумаешь, какой-то Синод! И графиня решила дать новый бой.

Она пишет свое несчастное письмо, которое посылает Победоносцеву и трем митрополитам, подписавшим «определение». Переведенное на иностранные языки, оно получило широкое распространение.

«Никакая рукопись Л.Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это мое письмо», — пишет С.А. в дневнике. Она счастлива! Она пребывает в какой-то экзальтации. «Бог мне велел это сделать, а не моя воля». Наблюдая за ее настроением, Толстой грустно замечает: «Об этом вопросе написано столько книг, что их и в этот дом не уложишь, а ты хочешь их учить своим письмом». Это были суровые слова.

Ведь она так хотела вновь почувствовать себя соратницей мужа, которого горячо любила, но который оставался равнодушен к ее гражданским порывам. Хотя при этом, судя по дневнику С.А., был с ней ласков и «очень страстен», но совсем в другом смысле.

Письмо графини было помещено в неофициальной части «Церковных ведомостей» вместе с ответом владыки Антония (Вадковского).

«Для меня Церковь есть понятие отвлеченное», — пишет она, не понимая, что таким образом себя тоже «отлучает» от церкви. «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за

него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или „непорядочного“, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?» — наивно признается С.А.

Ответ митрополита был убийственный. «Из верующих во Христа состоит Церковь, к которой Вы себя считаете принадлежащей», — напоминает он очевидные вещи. «И я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный, священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение; а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим. Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения…»

Беда графини заключалась в том, что любя человека, который решительно отвергал церковь, она хотела и церковным человеком остаться, и честь своего мужа соблюсти.

Именно в эти дни в доме Толстых происходит событие, которое ясно показывает всю сложность положения С.А. В конце марта начиналась Страстная неделя. С.А. решила говеть и хотела заставить говеть младшую дочь Сашу, которая воспротивилась. Мать позвала ее ко всенощной, но дочь заявила о своем неверии. С.А. заплакала. Саша пошла советоваться к отцу.

«Разумеется, иди, — сказал дочери Толстой, — и, главное, не огорчай мать». Саша отстояла всенощную с матерью. Однако — говеть не стала.

Смерть в Крыму

В «переписке» С.А. и Антония настораживает одно слово. Почему речь идет о «погребении»? Словно Толстой стоит на пороге смерти.

В начале 1901 года Толстому было семьдесят два года. Это серьезный возраст. Но Л.Н. был еще очень крепок. Да, прихварывал, постоянно испытывал слабость и депрессию, мнительно размышлял о скорой смерти. Однако никаких признаков *смертельной* болезни в марте 1901 года еще не было.

В письме графини иерархам говорится о каком-то «секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти». В ответном письме Антоний признает этот факт. Причем относит его ко времени даже более раннему чем время появления «определения». «Когда в прошлом году газеты разнесли весть о болезни графа, то для

священнослужителей во всей силе встал вопрос: следует ли его, отпавшего от веры и Церкви, удостаивать христианского погребения и молитв? Последовали обращения к Синоду, и он в руководство священнослужителям секретно дал, и мог дать, только один ответ: не следует, если умрет не восстановив своего общения с Церковью. Никому тут никакой угрозы нет, и иного ответа быть не могло».

Это откровенное признание Антония, опубликованное в газете, отчасти объясняет и выход синодального акта в 1901 году, когда, казалось, явного повода для него не было. Любопытно, что и в этом вопросе позиция Победоносцева была, скорее, «против», чем «за». По утверждению В.М.Скворцова, доложившего обер-прокурору о письме московского священника с вопросом, петь ли во храме «со святыми упокой», если Толстой умрет, Победоносцев хладнокровно заявил: «Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как он хочет, запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов, сколько соблазну будет и греха с этой смутой? А по-моему, тут лучше держаться известной поговорки: не тронь».

Вообще, появление «определения», по-видимому, было тесно увязано с возможной смертью Толстого. И сам текст этот, появившийся в «Церковных ведомостях», был скорее обращен к священникам, а не к прихожанам. После синодального документа, в случае смерти писателя, ни о каких панихидах в его память по всей России речи быть уже не могло. Православная Русь должна была встретить кончину Толстого в лучшем случае скорбным молчанием и внутренним сожалением о «навеки погибшем». Таким образом, вся эта интрига с «отлучением» во многом разыгрывалась как бы над «мертвым» Толстым.

На это намекает и Василий Розанов, много писавший об «отлучении» Толстого и знавший об обстоятельствах дела по личным связям с церковными лицами. В одной из статей он пишет, что появление документа спровоцировал сам Толстой «вялой» главой в «Воскресении», «где он пересмеял литургию». Но поднялся этот вопрос впервые не в Синоде, а «по инициативе местного преосвященного, затруднявшегося, как в случае смерти хоронить Толстого, и сделавшего об этом запрос в Синод». По его мнению, «отлучение» Толстого вышло «непредвиденно».

Но Синод загонял себя в угол. Ведь очевидно было, что после смерти Толстого тысячи и тысячи верующих людей захотят молиться в храмах за любимого писателя. Антицерковные писания Толстого были на слуху, но не на виду. Они выходили за границей, а в России распространялись только нелегально. И конечно, не были детально известны большинству простых

верующих, лояльных к власти подданных. Да и сам язык этих сочинений был сложен. Даже для просвещенного читателя, например, «Критика догматического богословия» требует немалого умственного напряжения.

Крамольная глава «Воскресения» с описанием литургии в тюремной церкви была, разумеется, исключена из русского издания. Она не попала и в большинство европейских переводов, ибо переводчики получали текст «Воскресения» сразу после выхода его частями в русской «Ниве». И только благодаря Черткову *в английском переводе* роман был напечатан без цензурных изъятий, а затем в его же издательстве «Свободное слово» он вышел целиком на русском языке.

Любопытно, что даже всезнающий Василий Розанов судил о «вялости» этой крамольной главы романа по слухам, не читав ее. Что же говорить о подавляющем большинстве русских читателей, которые были знакомы с «Воскресением» только по публикации в самом популярном иллюстрированном журнале «Нива», где никакой главы о литургии не было в помине?

Кстати, эта инициатива Черткова вызвала возмущение у близких Л.Н. Например, очень недоволен был зять Толстого М.С.Сухотин, который писал в дневнике, что отказ Толстого от литературных прав отныне лишен смысла. Все права принадлежат Черткову, который решает, где, когда и в каком виде печатать новые сочинения Л.Н.

Между тем вопрос о реальной смерти Толстого встал очень скоро, причем как раз *после* постановления Синода. Зимой 1901–1902 годов Толстой дважды умирал в Крыму, в Гаспре, на роскошной вилле, предоставленной его поклонницей графиней Паниной. После воспаления легких (в его возрасте, в те времена, при отсутствии антибиотиков, это была смертельная болезнь) он сразу перенес еще и брюшной тиф.

Выздоровление Толстого и то, что после этого он прожил еще 8 лет, было настоящим Божьим чудом, впрочем, во многом объясняемым неусыпным уходом за ним жены и родных.

Мы не будем подробно останавливаться на этой истории, в которой было много и драматических, и трогательных моментов…

К трогательным фактам можно отнести общение умирающего и выздоравливающего Толстого с Чеховым и Горьким, которых он таким образом как бы «в гроб сходя» благословлял. Правда, благословлял весьма странным образом. Например, жестоко критикуя Чехова за его драматургию, которая составит его главную мировую славу и поставит его имя в XX и XXI веках рядом с Шекспиром. Впрочем, Шекспира Толстой тоже не любил.

Одним из самых драматических моментов был приезд сына Льва Львовича, как раз выпускавшего свой роман «Поиски и примирения», идеологически направленный против отца, но написанный под его очевидным художественным влиянием. Лев Львович хотел знать мнение отца о романе. Толстой, не имея сил говорить с сыном о том, о чем говорить ему было тягостно и неловко, написал ему письмо. Прочитав его тут же, в присутствии родных, сын разорвал письмо на мелкие кусочки и вышел из дома.

Крымская история, если описывать ее во всех подробностях, заняла бы слишком много места. Именно здесь, в Крыму, над умиравшим Толстым впервые зарождалась настоящая битва и за его душу, и за его наследие. Кроме родных в доме жили приближенные люди Черткова. Например, Павел Александрович Буланже, искренне боготворивший Толстого и очень много помогавший ему в редактуре его антологий восточной мудрости. Кстати, он же, как служащий железной дороги, обеспечил для Толстых отдельный вагон для переезда в Крым. Но Буланже был беспредельно предан и Черткову.

Ухаживала за Толстым в Гаспре и свояченица Черткова Ольга Константиновна Толстая (в девичестве — Дитерихс), жена сына Толстого Андрея Львовича и сестра Анны Константиновны Чертковой (Гали). В Крым, при содействии друга Черткова, толстовского последователя в Словакии Альберта Шкарвана, приезжал Д.П.Маковицкий, впоследствии ставший одним из самых близких Л.Н. людей.

Тревога Черткова была объяснимой. К началу XX века он стал фактическим, а позднее и юридическим правообладателем на все произведения Л.Н., выходившие за границей. Проживая в местечке Крайстчерч в 150 км от Лондона, на вилле, купленной ему матерью, Чертков организовал там типографию и начал строительство хранилища рукописей Толстого. Хранилище это, в отдельном доме, было оборудовано по последнему слову архивной науки и техники. При помощи газовой печи и специальной вентиляции в нем поддерживалась постоянная влажность и температура. Оно была снабжено противопожарной системой и электрической сигнализацией. Никто ночью не мог прикоснуться к ручкам огромной кладовой без того, чтобы в доме Черткова не поднялся оглушительный звон. Сама же бетонная кладовая была сделана настолько прочно, что даже в случае землетрясения она провалилась бы, но не разрушилась. Но всё это лишалось для него смысла, если бы не было формального завещания Толстого, в котором признавались бы права Черткова на хранение и публикацию этих бесценных рукописей.

Неслучайно именно после Крыма Чертков начинает вести борьбу за завещание Л.Н., которая закончилась трагическим уходом Толстого.

Одновременно шла битва за душу писателя.

Второе письмо митрополита Антония (Вадковского) графине Толстой, написанное уже в Крым, было инициативой самого владыки. Зять Л.Н. Михаил Сухотин называет это письмо «иезуитским», считая, что целью его была попытка Синода, перепуганного результатами «отлучения», спасти репутацию и вернуть писателя в лоно церкви на пороге его смерти. Сухотин был человеком лояльным и отнюдь не разделял пафоса антицерковных и антигосударственных выступлений своего тестя. Известно, что он встречался с отцом Иоанном Кронштадтским. Таким образом, его трудно заподозрить в предвзятости мнения.

Однако Вадковский был личностью слишком сильной и самостоятельной. Бывший ректор Петербургской духовной академии, почетный доктор Оксфордского и Кембриджского университетов, столичный митрополит и главная фигура в Синоде, Антоний не мог быть «исполнителем» какой-либо коллективной воли. Трудно сказать, был ли он «движим любовью к писателю», как считает Георгий Ореханов, но что письмо написано страстно и искренно, не вызывает сомнения. Собственно, этим оно и отличается от первого письма графине, умного, но холодноватого и несколько иронического.

Возможность реальной смерти Толстого придавала совсем иной оттенок «определению». Умри Толстой в Крыму, Синод оказался бы в сложном положении. В глазах общественного мнения это была бы героическая смерть *пострадавшего от церковных властей.*

Правота хитрого и осторожного Победоносцева в этом случае стала бы очевидной. Для императорского двора и лично Николая такая смерть была невыгодной во всех отношениях. Кроме внутренних проблем, это ставило Россию в неловкое положение перед лицом Европы.

Письмо Вадковского, видимо, было результатом сплетения многих обстоятельств: личного желания владыки, воли царя и общей ситуации, сложившейся в России вокруг Толстого после «отлучения».

Письмо невелико, процитируем его полностью:

«11 февраля 1902 г.

Многоуважаемая графиня!

Пишу Вам настоящие строки, как и в прошлом году, движимый непреодолимым внутренним побуждением. Душа моя

болит о муже Вашем, графе Льве Николаевиче. Возраст его уже старческий. Упорная болезнь видимо для всех ослабляет его силы. И не один раз уже разносились настойчивые слухи о его смерти. Правда, жизнь каждого из нас в руках Божьих, и Господь силен совершенно исцелить графа и дать ему жизнь еще на несколько лет. И дай Бог, чтобы проявилась над ним такая великая милость. Но Божии определения неведомы для нас. И кто знает? Быть может, Господь уже повелел Ангелу смерти чрез несколько дней или недель отозвать его от среды живых.

Вот тут-то и кроется источник моей сердечной о нем боли. Граф разорвал свой союз с Церковию, отрекся от веры во Христа, как Бога, лишив тем душу свою светлого источника жизни и порвав те крепкие родственные узы, которые связывали его с любимым и многострадальным народом русским. Без Христа, что без солнца. Нет жизни без солнца, нет жизни без Христа. И кажется мне теперь граф без этой жизни Христовой, без союза с народом христолюбивым, таким несчастным, одиноким… с холодом в душе и страданием!.. Тяжело в таком духовном одиночестве стоять с глазу на глаз пред лицом смерти!

Неужели, графиня, не употребите Вы всех сил своих, всей любви своей к тому, чтобы воротить ко Христу горячо любимого Вами, всю жизнь лелеянного, мужа Вашего? Неужели допустите умереть ему без примирения с Церковию, без напутствования Таинственною трапезою тела и крови Христовых, дающего верующей душе мир, радость и жизнь? О, графиня! Умолите графа, убедите, упросите сделать это! Его примирение с Церковию будет праздником светлым для всей Русской земли, всего народа русского, православного, радостью на небе и на земле. Граф любит народ русский, в вере народной долго искал укрепления и для своей колеблющейся веры, но, к сожалению и великому несчастию, не сумел найти его. Но сотвори, Господи, богатую милость свою над ним, помоги и укрепи его, хотя пред смертью объединиться в своей вере с верою православного русского народа! Тяжело умирать одинокому, от жизни народной и веры святой оторвавшемуся! Но и любящим графа тяжело не увидеть его с Церковию примирившегося, в святой вере во Христа с ними объединенного! Умолите же его, добрая графиня, воротиться ко Христу, к жизни и радости в Нем, и к Церкви Его Святой! Сделайте светлый праздник для всей святой Русской земли! Помоги Вам в этом Сам Господь, и пошли Вам и графу радость святую, никем неотъемлемую.

С совершенным к Вам почтением

Ваш покорный слуга

Антоний, митрополит С.-Петербургский».

В письме Антония есть два параллельных месседжа. Первый обращен к графине, второй — к графу. Антоний не мог не предполагать, что С.А. покажет письмо мужу. К графине обращено лестное для нее мнение, что только она одна способна вернуть супруга в лоно церкви. Только ее великая любовь и горячая сила ее убеждения способны растопить в Толстом сердечный лед и произвести в нем новый духовный переворот.

Второй месседж — о народе русском, «православном» и «христолюбивом» — обращен к Л.Н.

Хотя Вадковский не мог знать, что отпавший от церкви Толстой отрицательно относился к тому, что от церкви отпадала и часть русского крестьянства.

В этом как будто заключался парадокс религиозного сознания Толстого. На самом деле никакого парадокса тут не было. Толстой прекрасно понимал, что, отпадая от церкви, крестьянин отпадает от веры в Бога вообще. Если он только не переходит к раскольникам и сектантам. Но отношение его к сектантам было довольно сложным. Он, например, с большим сомнением относился к скопцам, считая этот путь слишком механическим решением половой проблемы. Да и о духоборах, которым он лично помогал переселиться в Канаду, судя по его дневникам, у него было настороженное отношение. И наконец, Толстой, что широко известно, не любил и не понимал «толстовцев», за исключением самых близких людей: Черткова, Бирюкова, Буланже, Гусева, Булгакова, Маковицкого и других. Толстой отрицательно воспринимал крестьянскую ругань священников в его присутствии. Он чувствовал в ней фальшь, желание угодить ему как главному критику церкви. И при этом с огромным уважением относился к юродивым, простым монахам, сельским батюшкам.

Вадковский, конечно, читал «Исповедь» Толстого. И он знал, что Л.Н. *завидует* наивной вере простых людей в церковные «чудеса». Свой религиозный путь в «Исповеди» он во многом трактует как «горе от ума».

Поэтому народнический акцент письма Антония был обращен не столько к графине, сколько к графу. Это был единственный аргумент, который мог повлиять на него перед смертью и заставить хотя бы формально примириться с церковью. Вряд ли Антоний всерьез верил во внезапное «обращение вспять» упрямого графа.

Однако и этот аргумент не подействовал.

Зато письмо митрополита тронуло графиню. В дневнике она пишет, что, получив письмо и сказав о нем мужу, она просила его

примириться «со всем земным, и с церковью тоже». Это, положим, характеризует ее собственное отношение к церкви как исключительно «земному» институту. Но всё-таки порыв с ее стороны был, и она хотела бы, чтобы Л.Н. хотя бы формально вернулся в церковь. И это понятно. Всех своих детей, включая любимого Ванечку, она хоронила с соблюдением православных обрядов. И, конечно, так же хотела бы похоронить мужа. Но Толстой был неумолим. «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды и зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом».

Фактически это была *предсмертная* воля Толстого. В день получения графиней письма от митрополита больному несколько раз впрыскивали камфору, чтобы искусственно поддержать останавливающееся сердце. У него уже холодели руки и ноги. Он лежал скрючившись от невыносимой «колючей» боли в правом боку. В этот день жена впервые увидела в его глазах «не мрачное желание ожить, а покорное смирение» и написала в дневнике: «Помоги ему Бог, так легче и страдать и умирать».

Тем не менее в жизни Л.Н. после Крыма был еще случай, когда один из высших иерархов церкви имел возможность непосредственно повлиять на убеждения писателя. Это был Тульский епископ Парфений (Левицкий). 21 января 1909 года он встречался с писателем в Ясной Поляне и провел с ним длительную беседу, полное содержание которой осталось неизвестно по обоюдному желанию беседовавших.

Встреча произошла по инициативе Парфения, но, что важно, по несомненному желанию Л.Н. В печати Парфений даже заявил, что Толстой говорил с ним, «как всякий христианин говорит с пастырем на исповеди», причем приписывал эти слова самому Л.Н. Но в дневнике Л.Н. ни о какой исповеди речь не идет. Вернее, речь идет скорее об обратной исповеди. «Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего греха его дела…»

Всё же Парфений оставил в душе Толстого самое благоприятное впечатление. Секретарь Николай Гусев, присутствовавший при встрече и расставании Л.Н. с архиереем, пишет в дневнике, что Толстому это посещение «было очень приятно», что он плакал, прощаясь со священником, и благодарил его «за мужество».

Судя по известным фрагментам их встречи, Парфений и Толстой беседовали не просто так. Каждый из них преследовал свою цель. Целью Парфения было вернуть Толстого в православие. Но делал он это тактично, без нажима на Толстого, чем ему и понравился.

Целью Толстого было доказать Парфению, что он не является врагом веры. Рассказывая о беседе с епископом корреспонденту «Русского слова» С.П.Спиро, Толстой сделал крайне важное заявление: «…я сказал ему: одно мне неприятно, что все эти лица (авторы писем, в том числе священники, критиковавшие убеждения писателя — *П.Б.*) упрекают меня в том, что я разрушаю верования людей. Здесь большое недоразумение, так как вся моя деятельность в этом отношении направлена только на избавление людей от неестественного пребывания в состоянии отсутствия всякой, какой бы там ни было веры».

По свидетельству Спиро, Толстой рассказал Парфению о случае в Ясной Поляне. Однажды он шел по деревне и заглянул в одно из окон, где увидел старую женщину, которая стояла на коленях и била поклоны. Л.Н. узнал ее — это была Матрена, которая в молодости имела репутацию «одной из самых порочных баб в деревне». Возвращаясь домой поздним вечером, он вновь заглянул в окно. Старуха всё продолжала молиться…

«Вот это — молитва! Дай Бог нам всем молиться так же, то есть сознавать так же свою зависимость от Бога, — и нарушить ту веру, которая вызывает такую молитву, я счел бы величайшим преступлением. Не то с людьми нашего образованного сословия — в них или нет веры, или, что еще хуже, — притворство веры, которая играет роль только известного приличия», — сказал он.

Толстой не отрицал церковной веры, не отрицал обрядов, но в том случае, если за этим стояла духовная искренность. Напомним, что сцена с причастием в романе «Воскресение» происходит в церкви пересыльной тюрьмы, где Катюша Маслова оказалась по вине образованных безбожников, начиная с князя Нехлюдова и заканчивая судьями. Над ней, с которой поступили так жестоко и несправедливо, фактически телесно и душевно изнасиловав, теперь совершали новое насилие, заставляя невинную женщину каяться и исповедоваться в *тюрьме.*

Толстой был наследником века Просвещения, внуком своего деда и сыном своего отца. Верить искренне в церковные обряды он не мог. Не мог он верить и в искренность церковной веры образованного сословия. Толстой заявил Спиро о разговоре с Парфением: «Я сказал ему, что я получаю много писем и посещений от духовных лиц и что я всегда бываю тронут добрыми пожеланиями, которые они высказывают, но очень сожалею, что для меня невозможно, как взлететь на воздух, исполнить их желания».

В конце жизни он не писал откровенно антицерковных сочинений, отдаваясь исключительно собиранию мировой мудрости в сборниках «Круг чтения» и «На каждый день». Л.Н.

склонялся к более древним, чем христианство, восточным религиям: буддизму и индуизму. Это были его путь, его воля.

Отвечая на «обратительное» письмо священника тульской тюрьмы отца Дмитрия Троицкого, с которым он был лично знаком, Толстой писал: «Для чего вы, любезный брат Дмитрий, с таким странным предложением обращаетесь ко мне? Ведь я не обращаю вас и не советую вам бросить то зловредное заблуждение, в котором вы находитесь и в которое вы старательно, извращая их души, вводите тысячи и тысячи несчастных детей и простых людей. Для чего же вы меня, человека стоящего по своему возрасту одной ногой в гробе и спокойно ожидающего смерти, не оставите в покое. Ведь обращение меня в церковную веру имело бы смысл, если бы я был мальчик или взрослый безбожник, или безграмотный якут, никогда ничего не слыхавший о церковной вере. Но ведь я 82-летний старик, воспитанный в том самом обмане, в котором вы находитесь, и к которому вы меня приглашаете, и от которого я, с величайшими страданиями и усилиями, освободился много лет тому назад, усвоив себе миросозерцание нецерковное, но христианское, которое дает мне возможность спокойной, радостной жизни, направленной на внутреннее совершенствование и готовность такой же спокойной и радостной смерти, в которой я вижу возвращение к этому Богу любви, от которого изошел».

Конец письма отцу Троицкому почти в точности повторяет крымский ответ Толстого митрополиту Антонию, который был высказан в присутствии С.А., но не отправлен владыке по просьбе самого Л.Н. Когда графиня рассказала мужу о письме Вадковского, Толстой сначала попросил ее: «Напиши ему, что моя последняя молитва такова: „От Тебя изошел, к Тебе иду. Да будет воля Твоя“».

Первое завещание

Известно, что Толстой написал шесть завещаний — в 1895-м, 1904-м, 1908-м, 1909-м (два) и 1910 годах. Если прибавить к этому «объяснительную записку» в пользу Черткова, составленную Чертковым «от третьего лица» и подписанную Толстым с автографом, то завещаний получается не шесть, а семь.

На самом деле их гораздо больше. Весь дневник Толстого с конца 70-х начала 80-х годов становится почти непрерывным *завещанием,* ибо в дневнике он постоянно уточняет и проясняет свое духовное наследие.

Неслучайно и первое свое *неформальное* завещание он составляет в виде дневниковой записи. 21 февраля 1895 года умер Н.С.Лесков. В записке «Моя посмертная просьба» он просил похоронить его «по самому низшему, последнему разряду». Толстой знал об этой записке и, размышляя о ней 27 марта, решил сделать свое посмертное распоряжение.

Первое завещание Толстого разительно отличается от его окончательного варианта 1910 года. Первое завещание Толстого — это поступок ребенка, который ничего не знает о том, как составляются настоящие духовные акты. Но именно поэтому оно является самым чистым и нравственно безупречным душевным документом.

Первое завещание написано в страшном жизненном контексте, когда семейная жизнь Толстого утратила последнюю возможность даже не счастья, но душевной близости с женой. В феврале этого года умер Ванечка, любимый ребенок Толстых считал его своим единственным духовным наследником из сыновей. Мать любила его без ума. Последний в семье ребенок, он был и последней надеждой Толстых на семейное единство. После его смерти С.А. потеряла смысл жизни, о чем пишет Сергей Львович Толстой. Для Л.Н. смысл жизни, конечно, не был утрачен. Но почему-то представляется, что с того момента, как Толстой заставил себя написать в дневнике странные и страшные слова о смерти Ванечки («Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя»), что-то сломалось в самом великом Толстом.

«Несколько дней после смерти Ванечки, когда во мне стала ослабевать любовь…» — признается он в дневнике. А жена его пишет сестре: «Левочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний светлый луч его старости. На третий день смерти Ванечки он сидел рыдая и говорил: „В первый раз в жизни я чувствую безвыходность“».

Выход один — Бог. Благодаря Бога за смерть любимого сына, Толстой делает бесповоротный библейский выбор. Отныне он не человек, а пророк. Что бы ни произошло, всё это будет радостным знаком лично ему. Казалось бы, что может быть страшнее смерти любимого ребенка? Но и из этого Л.Н. делает духовно полезный для себя вывод: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».

Но так жить невозможно! Это всё равно что непрерывно сдирать с себя кожу. И Толстой, сделавший эту запись, вдруг превращается в старика. Он начинает ждать смерти, даже торопить. И вот тогда появляется завещание.

«Мое завещание приблизительно было бы такое, — пишет Л.Н. в дневнике. *— Пока я не написал другого, оно вполне такое».*

Он просит похоронить его «на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще».

Он просит не писать о нем некрологов. Бумаги свои завещает жене, Черткову и Страхову (сначала и дочерям — Тане и Маше, но потом это зачеркнул с припиской: «Дочерям не надо этим заниматься»), Сыновьям он не дает такого поручения. Он любит их, но они «не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить».

Дневники холостой жизни он сначала просит уничтожить («… не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь… но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучало меня сознанием греха, производят одностороннее впечатление»), но потом советует сохранить. «Из них видно, по крайней мере, то, что несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я всё-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его».

Толстой *просит* наследников отказаться от прав на его сочинения. Это *просьба,* а не распоряжение. «Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом жизни».

Казалось бы, он никого не обидел, не пошел наперекор ничьей воле. Он дал всем шанс любовно объединиться в распоряжении его литературным наследством, а от имущественного он отказался три года назад в пользу семьи. В этом завещании было много детски наивного. Например, его пожелание не писать о нем некрологов и не говорить о нем речей. Кто бы Толстого послушал!

Но в этом завещании зияли чудовищные юридические дыры. Например, Л.Н. был уверен, что всё, написанное им с 1881 года, давно принадлежит всем. Он думал, что напечатанное им в газетах в 1891 году письмо об отказе от авторских прав на эти сочинения имеет какую-то реальную силу, и потому даже не касался этого вопроса.

На самом деле, умри Толстой в 1895 году, и все его

сочинения по закону перешли бы родным, а его любимый ученик и последователь Чертков был бы допущен к ним только по их доброй воле. Но никакой доброй воли со стороны С.А. по отношению к Черткову, ее неоднократно обижавшему, быть уже не могло.

К тому же супруга Толстого и его сыновья очень нуждались в деньгах.

Первое завещание Толстого не имело никакой юридической силы. Это было просто душевное пожелание близким людям на случай его смерти. И дело не только в том, что оно не было заверено нотариально. Дело в том, что по законам российской империи литературные права не могли принадлежать «всем». Они могли принадлежать лишь конкретному частному или юридическому лицу.

Письмо в газеты 1891 года с отказом от авторских прав с точки зрения закона не стоило ничего. Все права на сочинения Толстого до его смерти принадлежали ему. Это был вопрос его личного желания: позволять жене печатать и продавать старые вещи, а издателям безвозмездно публиковать новые.

Между тем события вокруг литературных прав Толстого бурно развивались еще при его жизни. Конфликты между его женой-издательницей и «Посредником», между жившим за границей Чертковым и российскими издателями постоянно ставили его перед необходимостью оправдываться за ущемление прав то одной, то другой стороны. Жена обижалась на мужа, что он отдает новые вещи, вроде «Хозяина и работника», в модные журналы («Северный вестник»), а ей не дает ничего. Русские издатели не желали считаться с живущим в Англии Чертковым, а тот, в свою очередь, гневался на то, что «право первой ночи» с каждым новым текстом Л.Н. юридически не является его исключительным правом и зависит только от доброй воли писателя, которую легко могли повернуть в свою пользу другие издатели.

«Чертков мог рассчитывать на то, что ему удастся опубликовать новые произведения Толстого в переводах, выходящих под его наблюдением, лишь в том случае, если бы он получал статьи Толстого до издания их по-русски, с тем, чтобы они выходили одновременно и в России и в Англии», — пишет М.В.Муратов. Это была серьезная для Черткова проблема, о которой он писал Толстому:

«Во всяком случае, в интересах дела нашего международного „Посредника“ желательно, чтобы, как я вам уже писал, *все* переводчики, обращающиеся к вам, были направлены ко мне сюда и чтобы ни одному из них вы не давали списка помимо меня. А

также чтобы я получил от вас рукопись для перевода, по крайней мере, недели *за три* до не только напечатания в России, но даже до ее распространения частным путем».

Черткова можно было понять. Ведь вступая в договорные отношения с тем или иным зарубежным издателем, Чертков не мог объяснить им, что Толстой не желает считаться с юридической стороной вопроса. Между тем любой текст Толстого, появившийся в русской печати, немедленно становился всеобщим достоянием. Его мог взять любой зарубежный издатель и заказать свой перевод.

Проблема была еще и в том, что Толстой всегда был неутомимым редактором собственных сочинений. Он правил их не только в рукописях, но и в корректурах. Для Черткова, вынужденного работать с зарубежными издателями и переводчиками в экстремальном режиме, эти редакторские правки представляли серьезную трудность. Как верный ученик и последователь, он не мог нарушить волю учителя и должен был дожидаться текста с окончательной правкой. Но ведь эта правка вносилась уже в корректуры русских изданий, которые грозили появиться даже раньше, чем Чертков получит оригинальный текст. Поэтому он вынужден был через Толстого тормозить издание текстов в России, что возмущало русских издателей.

Всё это было Л.Н. тягостно. В письме к Черткову от 13 декабря 1897 года он признается: «Пока я печатал за деньги, печатание всякого сочинения было радость; с тех пор же, как я перестал брать деньги, печатание всякого сочинения есть ряд страданий».

Итак, с одной стороны — Чертков. С другой — жена. Ее отношение к первому завещанию мужа было полностью отрицательным.

Копия завещания была сделана дочерью Толстого Марией Львовной в 1901 году тайно от матери. С.А. знала об этой дневниковой записи 1895 года, но не придавала ей значения, потому что дневник этого времени она с другими рукописями мужа поместила на хранение в Румянцевский музей. То, что ни Л.Н., ни Маша не показали ей этот текст, скопированный в виде завещания и подписанный Толстым, говорит само за себя. Они оба боялись ее реакции.

Но после Крыма скрывать завещание стало сложно. Толстой мог умереть в любой год, месяц и даже день. В октябре 1902 года С.А. узнала о завещании (вероятно, от сына Ильи) и была им возмущена.

«Мне это было крайне неприятно, когда я об этом случайно узнала. Отдать сочинения Льва Николаевича в *обьщую*

собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, мы наградим богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина и другие. Я сказала Л.Н., что если он умрет раньше меня, я *не* исполню его желания и *не* откажусь от прав на его сочинения, и если б я считала это хорошим и справедливым, я при жизни его доставила бы ему эту радость отказа от прав, а после смерти это не имеет уже смысла для него».

С.А. потребовала, чтобы муж забрал завещание и отдал ей. Л.Н., как обычно в таких случаях, не мог отказать жене. Маша была возмущена поступком матери. Она и ее муж кричали, что собирались обнародовать это завещание после смерти Л.Н.

Это была роковая ошибка С.А. Ну что бы ей не смолчать, не смириться! Ведь закон был на ее стороне.

«Ему хотелось сломить человечество, а он не мог сломить семьи», — писала С.А. в «Моей жизни».

Но почему непременно «сломить»?

Толстой пытался *убедить* человечество, как и семью. Но всякий раз, когда он чувствовал сопротивление со стороны семьи, он отступал и шел на любые компромиссы. Компромиссом был раздел имущества между женой и детьми. «Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние, — писал он в дневнике 1910 года. — Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь». И даже неважно, был ли Толстой прав или неправ. Важно, что это терзало его всю жизнь.

То же и с его первым завещанием. Он всего лишь *просил* жену и детей не получать денежной выгоды с его посмертной славы. Через пятнадцать лет его позиция в этом вопросе станет куда более жесткой. «Нельзя же лишить миллионы людей, может быть, нужного им для души… чтобы Андрей мог пить и развратничать и Лев мазать» (дневник, 29 июля 1910 года).

Причины, по которым С.А. не приняла первого завещания мужа, во многом объясняются косвенными обстоятельствами. Во-первых, она была обижена на дочь, которая, отказавшись в 1891 году от своей доли имущественного наследства, выйдя замуж, обратилась к матери с просьбой отдать ей эту долю. С точки зрения С.А., кому-кому, но никак не Маше было заботиться о том, чтобы отец лишил семью главного источника дохода. Во-вторых, именно в это время С.А. предприняла издание нового собрания сочинений Толстого, вложив в это немалые деньги. Если бы в это время Л.Н. умер и в газетах появилось его «завещание» в пользу всех, то семья испытала бы серьезный финансовый кризис.

В июле 1902 года к С.А. приезжал владелец издательства

«Просвещение» Н.С.Цетлин «с предложением купить издание на вечное владение за миллион рублей». Жена Толстого отказала ему. И вот теперь выяснилось, что пока она отказывалась от громадной суммы, которая обеспечила бы ей и детям безбедное существование на долгие годы, за ее спиной собственная дочь интриговала с завещанием отца. Как же ей было вынести такое?

Вопросы и ответы

В мае 1904 года Чертков решается наконец узаконить свое положение «духовного душеприказчика» Толстого. Но понимая, что сделать это *юридически* втайне от С.А. и семьи не выйдет, он посылает со своим секретарем Бриггсом в Ясную Поляну «вопросник» для Толстого, в котором четко расставляет точки над «i». Вопросы Черткова были напечатаны на машинке, ответы Л.Н. написаны его рукой. Приведем этот документ полностью:

«1. Желаете ли вы, чтобы заявление ваше в „Русских ведомостях“ от 16 сентября 1891 г. (с отказом от авторских прав — *П.Б.*) оставалось в силе и в настоящее время и после вашей смерти?

Желаю, чтобы все мои сочинения, написанные с 1881 года, а также, как и те, которые останутся после моей смерти, не составляли бы ничьей частной собственности, а могли бы быть перепечатываемы и издаваемы всеми, кто этого захочет.

2. Кому вы желаете, чтобы было предоставлено окончательное решение тех вопросов, связанных с редакцией и изданием ваших посмертных писаний, по которым почему-либо не окажется возможным полное единогласие?

Думаю, что моя жена и В.Г.Чертков, которым я поручал разобрать оставшиеся после меня бумаги, придут к соглашению, что оставить, что выбросить, что издавать и как.

3. Желаете ли вы, чтобы и после вашей смерти, если я вас переживу, оставалось в своей силе данное вами мне письменное полномочие как единственному вашему заграничному представителю?

Желаю, чтобы и после моей смерти В.Г.Чертков один распоряжался бы изданием и переводами моих сочинений за границею.

4. Предоставляете ли вы мне и после вашей смерти в полное распоряжение по моему личному усмотрению как для издания при моей жизни, так и для передачи мною доверенному лицу после моей смерти все те ваши рукописи и бумаги, которые я получил и получу от вас до вашей смерти?

Передаю в распоряжение В.Г. Черткова все находящиеся у него мои рукописи и бумаги. В случае же его смерти полагаю, что лучше передать эти бумаги и рукописи моей жене иди в какое-нибудь русское учреждение, — публичную библиотеку, академию.

5. Желаете ли вы, чтобы мне была предоставлена возможность пересмотреть в оригинале все решительно без изъятия ваши рукописи, которые после вашей смерти окажутся у Софьи Андреевны или у ваших семейных?

Очень желал бы, чтобы В.Г.Чертков просмотрел бы все оставшиеся после меня рукописи и выписал бы из них то, что он найдет нужным для издания».

Ответы прилагались к письму Толстого Черткову от 13 мая 1904 года, в котором он вносил уточнения в «завещание» 1895 года. Вместе с ответами это письмо являлось вторым *неформальным* завещанием Толстого. Но оно также не имело юридического значения, потому что Л.Н. продолжал настаивать на том, чтобы права на его сочинения от 1881 года принадлежали «всем». Тем не менее в это завещание уже проник «юридизм».

Толстой распространил права Черткова на все рукописи, в том числе и те, которые находились у жены. Но права на свое рукописное наследие, находящееся у Черткова за границей, он передавал исключительно одному Черткову. С.А. могла получить эти рукописи только в случае смерти Черткова, да и то ее права уравнивались с правами любой публичной библиотеки. О том же, чтобы передать рукописи детям, не было сказано ни слова.

Единственным духовным наследником и распорядителем рукописей Толстого в этом завещании уже провозглашался Чертков. Он же назначался главным редактором и компилятором. Жене отводилась скромная роль помощницы и посредницы в передаче всех рукописей Черткову. Но за ней всё еще оставались литературные права на сочинения, созданные до 1881 года.

Из письма и ответов видно, как нелегко далось Толстому это второе завещание. Как мучительно он старался придать «юридизму» человеческое лицо. Все эти «думаю» (вместо «желаю»), «лучше», «очень» и т. п. делали этот документ юридически бессмысленным, но зато взывали к совести тех, к кому он был обращен.

«Кроме тех бумаг, которые находятся у вас, я уверен, что жена моя или (в случае ее смерти прежде вас) дети мои не откажутся, исполняя мое желание, не откажутся сообщить вам и те бумаги, которых нет у вас, и с вами вместе решить, как распорядиться ими», — писал Толстой. Но кого он заклинал? К кому обращено это двойное «не откажутся»? Разумеется, к семье…

Чувствуя тревогу «милого друга», Л.Н. пытается успокоить В.Г. своими смиренными ответами на удивительно бестактные вопросы, намекающие на близость смерти Толстого. Письмо заканчивается на пафосной ноте:

«Благодарю вас за все прошедшие труды ваши над моими писаниями и вперед за то, что вы сделаете с оставшимися после меня бумагами. Единение с вами было одной из больших радостей последних лет моей жизни».

На самом деле юридический запрос Черткова был ему ужасно неприятен. Настолько неприятен, что Толстой в этот раз даже не смог скрыть раздражения и во втором письме «другу», которое Чертков спрятал и хранил у сына под грифом «секретно» (оно было напечатано лишь в 1961 году), он писал:

«Не скрою от вас, любезный друг Владимир Григорьевич, что ваше письмо с Бриггсом было мне неприятно… Неприятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах, которым приписывается ложная важность, а неприятно то, что тут есть какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне, я не знаю как, чувствуется *втягивание меня* в неприязненность, в делание чего-то, что может вызвать зло. Я написал свои ответы на ваши вопросы и посылаю. Но если вы напишите мне, что вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно».

Позиция Толстого вызывает сложные чувства. Вместо того, чтобы, почувствовав неладное, сразу решить вопрос с литературными правами так же, как он решил вопрос о своем имуществе (собрав всю семью и объявив ей свое решение), он поступает по принципу «непротивления злу» и соглашается участвовать в сложных интригах Черткова против С.А. При этом ни он, ни сам Чертков еще не знают, что эти интриги в данном случае лишены юридического смысла. Никакого юридического документа еще нет. Но есть документ человеческий. И он Толстому неприятен.

Втянув Толстого в «юридизм», Чертков на этом не остановился и довел дело до конца. Половинчатость решений и поступков была не в его натуре. «Всего, чего он хотел, он хотел очень», — писал о В.Г. его биограф М.В.Муратов.

Кто виноват?

Третье завещание Толстого было продиктовано секретарю Н.Н.Гусеву опять же как запись в дневнике 11 августа 1908 года, за две недели до восьмидесятилетия писателя. В это время Л.Н.

тяжело болел. Отказали ноги, и он был прикован к постели и креслу-каталке. Думая, что он умирает, он решил отредактировать свою предсмертную волю.

«Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уж не это, то непременно всё народное, как-то: „Азбуки“, „Книги для чтения“. Второе, хотя это из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере, есть повод выбрать то или иное место».

Это было первое завещание Л.Н., которое имело силу после его смерти. Речь идет о месте, где он завещал себя похоронить и был похоронен. История «зеленой палочки», символа людского счастья и братства, зарытой в лесу Старого Заказа братьями Левочкой и Николенькой, известна всем читателям автобиографической трилогии писателя. И вот Толстой и устно (дочерям), и письменно завещает похоронить его здесь.

В остальном третье завещание повторяло юридические ошибки первых двух. Во-первых, Толстой просил, а не распоряжался. Во-вторых, он опять хотел передать права на произведения *всем,* что было невозможно.

Символично, что запись в дневнике от 11 августа 1908 года заканчивается воспоминанием о Сютаеве, крестьянине-сектанте, который не признавал частную собственность. «Да, „всё в табе и всё сейчас“, как говорил Сютаев, и всё вне времени, — диктовал Толстой секретарю. — Так что же может случиться с тем, что во мне и что вне времени, кроме блага».

Духовный эгоцентризм Толстого не позволял ему придавать какое-то значение юридической стороне вопроса. Это была странная, непонятная для близких, но всё-таки *позиция.* И Толстой должен был бы держаться этой позиции до конца, предоставляя наследникам вместе с юристами самим распоряжаться его литературным наследием. И он, разумеется, хотел бы так поступить.

Но это ущемляло права одного-единственного человека, которого Толстой любил и которого не любили наследники — Черткова. Перешагнуть через эту любовь он не мог — по душе. Чертков же, в свою очередь, не мог добровольно отказаться от своих прав на наследие Толстого.

Во-первых, не такова была его натура — человека упрямого и деспотического. О тяжелом и деспотическом характере Черткова писали многие из его окружения, которых он именно этим отталкивал от себя, «…властолюбие, властолюбие, основанное на

эгоцентризме и способное иногда переходить в прямой деспотизм», — писал о Черткове последний секретарь Толстого В.Ф.Булгаков. Об угнетающем воздействии Черткова как раз на самых близких и преданных ему людей писала в воспоминаниях и дочь Толстого Александра Львовна. «Деспотом» называл Черткова его товарищ П.И.Бирюков.

Во-вторых, нужно войти в положение Черткова. Он посвятил Л.Н. не что-нибудь, но всю жизнь. Отказаться от наследия для него было равнозначно отказу от жизни. Договориться с С.А. было невозможно в силу характеров ее и Черткова. Такой договор был идеальным выходом для Л.Н., но этот выход не могла подарить ни одна, ни другая сторона.

В-третьих, душевное состояние С.А. и ее безграничная любовь к сыновьям, действительно, внушали опасение, что наследием Толстого распорядятся не так, как того желал Л.Н. Так ради кого В.Г. должен был отказываться от наследия Толстого? Примем на секунду его точку зрения. Ради ненавидящей Черткова жены писателя? Ради пьющих и проматывающих деньги сыновей? И что будет с этим наследием, часть из которого Чертков уже хранил в Англии как зеницу ока? Что будет с волей Учителя, который хотел бы, чтобы его сочинения принадлежали всем? Исполнить эту волю мог один Чертков. Даже его враги не могли в этом сомневаться.

Ах, если бы в истории с завещанием можно было отделить причины от следствий, волков от ягнят! Всё было бы очень просто. Но в этой истории был один ягненок — Толстой, которого не могли поделить две враждующие стороны. И всё в этой истории было так запутано, и с моральной, и с юридической сторон, что какое-либо идеальное решение вопроса было уже немыслимо.

Своей попыткой отказаться от литературных прав в пользу «всех» Толстой создал беспрецедентную ситуацию. Ярким доказательством этому является то, что до 1909 года ни один из участников этой истории, включая и опытного издателя Черткова, не понимал реальной юридической стороны вопроса и действовал «вслепую». Первые три завещания Толстого, которые дались ему с такой мукой, с такими сомнениями, не имели никакого юридического смысла.

Стокгольмский кризис

По мере приближения к смертному рубежу душевная природа Толстого делалась всё мягче, всё пластичнее. Она как бы

расплавлялась изнутри сознанием в себе Божественного начала, таяла и оплывала, как свечной воск, струилась, как воздух над свечой. Для Толстого последних лет жизни немыслимо было не то чтобы обидеть человека, но даже задеть неосторожным словом, а если это происходило помимо его воли, то Л.Н. глубоко и искренне мучился.

23 мая 1909 года после административной высылки Черткова за пределы Тульской губернии Толстой поехал в хутор Телятинки близ Ясной Поляны, где всё еще оставались жена Черткова Анна Константиновна (Галя) и их сын Владимир (Дима).

В это же время туда приехал посланный Столыпиным полковник министерства внутренних дел А.Г.Лубенцов с заданием на месте расследовать чертковское дело. Встретившись с ним, Л.Н. не подал ему руки и быстрым шагом прошел в дом. Затем через некоторое время он вернулся, извинился и начал разговор, стараясь загладить свой поступок. Но полковник чувствовал себя оскорбленным, и разговор не клеился. Как же Толстой переживал после этого, как осуждал себя за то, что оскорбил человека! «Ведь вот ехал туда и говорил себе: тебе придется иметь дело с этим человеком, смотри же постарайся обойтись с ним с любовью. И вдруг…» — говорил он Н.Н.Гусеву.

«И действительно, это ужасно! — жаловался он сам на себя А.Б.Гольденвейзеру. — Я мог сказать ему, что считаю вредной и дурной его деятельность, но я должен был с ним, как с человеком, быть учтивым. Мне, старому человеку, это непростительно! Я потом часто — ночью проснешься, вспомнишь и ахнешь (Л.Н. ахнул): как нехорошо!»

Можно спорить о том, кто был больше всех виноват в том, что Толстой всё-таки позволил втянуть себя в ненавистный ему «юридизм» и подчинился законам государства, которое он не признавал. Наверное, это всё-таки был Чертков. Но первое движение в пользу юридического завещания было сделано им не под влиянием Черткова, а из-за поведения жены.

И ведь нельзя сказать, что она не понимала тех духовных и душевных процессов, которые происходили в ее муже в старости. Вот она пишет в дневнике:

«Очень постарел Л.Н. в этом году (1908 год — *П.Б.*). Он перешел еще следующую ступень. Но он хорошо постарел. Видно, что духовная жизнь преобладает, и хотя он любит и кататься, любит вкусную пищу и рюмочку вина, которое ему прислало

Общ. вина St. Raphael к юбилею; любит и в винт, и в шахматы поиграть, но точно тело его живет отдельной жизнью, а дух остается безучастен к земной жизни, а где-то уже выше, независимее от тела. Что-то совершилось после его болезни: что-

то новое, более чуждое, далекое чувствуется в Льве Николаевиче, и мне иногда невыносимо грустно и жаль утерянного и в нем, и в его жизни, и в его отношении ко мне и ко всему окружающему. Видят ли это другие?»

Какая прекрасная запись! Если бы она могла постоянно находиться в этом состоянии понимания того, что с приближением к смерти, приближением к Богу Толстой начинает бережно обрывать все ниточки, связующие его с внешним миром, и мешать ему в этом нельзя!

В июне 1908 года Чертков приезжает с семьей из Англии и поселяется на даче близ станции Козлова Засека.

8 декабря С.А. пишет в дневнике: «Чертков, который бывает у нас каждый день, вчера вечером пошел в комнату Льва Николаевича и говорил с ним о крестном знамении. Я невольно из залы слышала их разговор. Л.Н. говорил, что он по привычке иногда делает крестное знамение, точно если не молится в ту минуту душа, то тело проявляет знак молитвы. Чертков ему на это сказал, что легко может быть, что, умирая или сильно страдая, Лев Николаевич будет креститься рукой и окружающие подумают, что он перешел или желает перейти в православие; и чтоб этого не подумали, Чертков запишет в свою записную книжку то, что сказал теперь Лев Николаевич».

Даже перекреститься Толстой не мог без посторонних комментариев!

Чертков ревнует Л.Н. к православию, а жена — к его прежним женщинам. В начале 1909 года, переписывая рассказ «Павел Кудряш», она замечает в дневнике:

«Да если бы в нем было немножко больше деликатности, он не называл бы своих бабьих героинь Аксиньями».

Но ревность к Аксинье (к тому времени уже пожилой крестьянке, продолжавшей жить в Ясной Поляне) это ничто, по сравнению с ее ревностью к Черткову. Когда «разлучник», «красивый идол» поселяется рядом и почти ежедневно появляется в их доме, *в ее доме,* жена Толстого начинает невыносимо страдать. И преодолеть эти страдания не в ее душевной власти.

С.А. была натурой страстной и непоследовательной. Когда в марте 1909 года после неоднократных доносов тульских властей Черткова в трехдневный срок высылают за пределы Тульской губернии, С.А. как будто возмущается не меньше мужа. «Тяжелая весть о высылке Черткова из Тульской губ., - пишет она в дневнике. — Все плакали». Она даже отправляет письмо в газеты: «Высылка Черткова и наказание тем, кто осмеливается читать и давать книги Толстого, есть мелочная злоба на старца, прославившего во всем мире своим именем Россию…»

Зеркально повторяется ситуация 1901 года, когда она воевала за мужа с Синодом. И теперь, не испытывая ни малейшей симпатии к Черткову, она сражается тоже не столько за него, сколько за Л.Н., опасаясь за его душевное равновесие, «… расстроен Лев Николаевич… У Льва Николаевича нога пухнет».

Невозможно сказать, что больше руководило С.А. во время написания письма — гражданский порыв или забота о здоровье мужа, «…сердце Л.Н. нехорошо», «…ему лучше, но он не бережется». «Лев Николаевич лежал, ничего весь день не ел, сонлив и слаб, и на душе опять тяжелое ожидание чего-то страшного».

И еще больна внучка Танюшка, с которой бабушка Соня, едва пригреет мартовское солнце, выходит гулять на террасу яснополянского дома.

В кого бросишь камень? В.Г. страдает от властей, Л.Н. - от невозможности общения с Чертковым, его жена — от того, что страдает муж, и еще больше, что он страдает из-за В.Г.

Распутать этот психологический узел было невозможно. Можно было только разрубить.

И на всё это накладывается понимание, что Л.Н. скоро умрет, и возникающая в связи с этим проблема литературных прав. Приезжая по делам в Москву, С А обязательно идет в Исторический музей, где находится ее часть рукописей Толстого, разбирает их, делает выписки. Она еще не знает, что и на эту часть рукописей Чертков уже получил у Л.Н. право распоряжения. Ее дочь Татьяна мчится в Петербург — хлопотать перед Столыпиным за возвращение Черткова. С.А. переживает: «Не пойму — вернут его или нет». Отказали. Чертков с семьей поселяется в имении Крекшино Московской губернии.

В это время натягиваются отношения между Л.Н. и сыном Львом, который приехал из Швеции в Ясную погостить. Лев Львович увлекался ваянием и начал лепить с натуры бюст отца. Но во время пребывания отца в Кочетах он ломает бюст и уезжает обратно в Швецию.

Вот как объясняла этот поступок жена Гольденвейзера: «Л.Н. всё еще у Сухотиных, и точно неизвестно, когда приедет. Говорили — в конце этой недели, но вот уже суббота, а его всё нет. Этим продолжает быть недовольна Софья Андреевна, а Лев Львович так рассердился, что папа не отнесся с должным уважением и удивлением к его скульптурным начинаниям и не спешит в Ясную, чтобы ему позировать, что совершенно разломал бюст на куски, смял всю глину в лепешку и, страшно разобидевшись, уехал в Швецию».

В июле 1909 года Л.Н. самого приглашают в Стокгольм

выступить с речью на XVIII Международном мирном конгрессе. И Толстой почти соглашается, пишет доклад. Но это его решение вызывает у жены нервное расстройство. Она боится его отъезда за границу.

«Софья Андреевна не спала всю ночь, — пишет Толстой в дневнике. — Я пошел к ней. Это было что-то безумное».

О некоторых причинах этого состояния С.А. можно догадаться из «Записок» Маковицкого и дневника секретаря Гусева.

Оказывается, в качестве помощника в стокгольмской поездке Толстого должен был сопровождать Чертков. Другим сопровождающим лицом должна была стать младшая дочь Саша, находившаяся в то время в абсолютной психологической зависимости от Черткова. Всё это С.А. не могла понять иначе, как то, что ее мужа *увозят* от нее враждебные ей силы и из этой поездки Толстой не вернется.

И в это же время в Ясную Поляну приезжают два сына Л.Н. — Андрей и Михаил. Оба — ярые враги Черткова и защитники матери. Но, увы, не бескорыстные.

Гостивший летом 1909 года в Ясной Поляне родственник Толстого присяжный поверенный И.В.Денисенко передал Гусеву свой разговор с Михаилом:

«— Стоит передо мной с этакой арестантской рожей и спрашивает: „Скажите, пожалуйста, Иван Васильевич, может мама продать сочинения отца без его ведома?“ Я сказал ему, что этого нельзя, и прибавил: „А подумали вы о том, какое это действие произведет на отца?“ Он смотрит на меня с такой улыбочкой и говорит: „А дети?“ Тогда я говорю ему: „Но ведь даже с практической точки зрения этого никак нельзя сделать тайно, Лев Николаевич об этом непременно узнает, и тогда он может сказать: если вы злоупотребляете моей доверенностью, так я ее у вас отберу. Всё это может сделаться в четверть часа“».

Речь шла о доверенности 1883 года, на основании которой жена Толстого вела его издательские дела. Но эта доверенность не давала ей возможности продажи прав на сочинения Толстого третьим лицам.

Опасение, что Чертков во время этой поездки может повлиять на старика и вынудить его написать завещание в свою пользу, было и у сына Андрея Львовича. Услышав, как отец в комнате Гусева читал Саше и ее подруге Феокритовой выдержки из письма Черткова, Андрей Львович в столовой стал спрашивать Феокритову:

— Что это такое читали?

— Письмо какое-то.

— Чье?

— Я не знаю: о крестьянском банке какого-то человека.

— Нет, а раньше что читали: не Черткова письмо?

— Это только выдержку читал Лев Николаевич.

— Это он соблазняет папа ехать в Стокгольм. Мерзавец! Это для папа смерть.

— Нет, кажется, Лев Николаевич сам прочитал в газетах, Чертков ему ничего не советовал.

— А он хотел с ним ехать?

— Кажется, хотел.

— И Саша тоже хочет устроить себе пикник в Швецию.

— Почему же пикник? Она едет с отцом.

С.А. вдруг приходит в голову, что ее хотят отравить и сделать это должен личный врач Толстого Маковицкий. Она одновременно и собирается ехать с мужем в Швецию, даже заказывает себе новые платья для поездки, и всячески пытается остановить супруга. С.А. никогда не была за границей, и эта поездка пугает ее. Она внушила себе мысль, что кто-то из них двоих непременно умрет.

И вот, форсируя события, 27 июля она на глазах мужа пытается выпить пузырек с морфием.

Л.Н. отнял пузырек и бросил под лестницу.

От поездки в Швецию пришлось отказаться.

Июль 1909 года стал моментом истины для заинтересованных в вопросе о завещании лиц. Присутствовавший в Ясной Поляне юрист И.В.Денисенко открыл участникам этой истории глаза на юридическую сторону вопроса. В это время С.А. задумала судиться с «Посредником» и другими издателями, перепечатавшими из «Азбуки» некоторые вещи Толстого 70-х годов (например, «Кавказский пленник»). Она считала их своей собственностью и через доверенное лицо обратилась к адвокату с просьбой составить судебную жалобу. Адвокат поинтересовался: на основании какого документа она возбуждает судебное преследование? На основании доверенности. На основании доверенности нельзя, объяснил адвокат. Нужен документ от мужа с передачей прав на издательство.

Толстой не только категорически отказался выдать жене такой документ, но и был крайне возмущен ее поведением по отношению к народным издательствам. Настолько возмущен, что, в свою очередь, решил оставить жену вовсе без каких-либо прав на свои произведения.

«В июле 1909 года, — писал Денисенко, — когда я был в Ясной Поляне, Лев Николаевич Толстой собирался на конгресс мира в Стокгольм, против чего была Софья Андреевна. Это

вызвало целый ряд недоразумений, и Софья Андреевна тогда заболела, не желая, чтобы Лев Николаевич поехал на конгресс.

Как-то она позвала меня к себе спальню и, показавши мне общую доверенность на управление делами, выданную ей уже давно Львом Николаевичем, спросила меня, может ли она по этой доверенности продать третьему лицу право на издание произведений Льва Николаевича, а главное возбудить преследование против Сергеенко и какого-то учителя военной гимназии за составление ими из произведений Льва Николаевича сборников и хрестоматий, ввиду того, что эти сборники могут причинить ей, С.А.-не, большой материальный ущерб…

Кажется, на другой день после этого, днем, я с женою и детьми были в парке на ягодах. Жена попросила меня зачем-то сходить во флигель. Я пошел по аллее, проходящей между цветами, и тут совершенно неожиданно встретил Льва Николаевича. Вид его меня поразил. Он был сгорбленный, лицо измученное, глаза потухшие, казался слабым, каким я его никогда не видал. При встрече он быстро схватил меня за руку и сказал со слезами на глазах:

„Голубчик, Иван Васильевич, что она со мною делает! Она требует от меня доверенности на возбуждение преследования. Ведь я этого не могу сделать… Это было бы против моих убеждений“.

Затем, пройдя со мною несколько шагов, он сказал мне: „У меня к вам большая просьба, пусть только она останется пока между нами, не говорите о ней никому, даже Саше. Составьте, пожалуйста, для меня бумагу, в которой бы я мог объявить во всеобщее сведение, что все мои произведения, когда бы-то ни было мною написанные, я передаю во всеобщее пользование…“»

В дневнике от 12 июля Л.Н. пишет: «Вчера вечером было тяжело от разговоров Софьи Андреевны о печатании и преследовании судом. Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни! А сказать и не умею и не надеюсь ни на какое воздействие на нее каких бы то ни было слов».

Накануне этой записи Толстой и принял решение поехать в Стокгольм. «Решил ехать в Штокгольм (так у Толстого — *П.Б.*). На душе хорошо».

В паутине «юридизма»

В 1922 году Чертков выпустил книгу «Уход Толстого», в которой попытался скрыть свое участие в составлении юридического завещания Толстого. Он объяснил сам факт появления этого документа исключительно безнравственной позицией супруги писателя и некоторых членов его семьи.

Книга Черткова вызвала возмущение у многих современников, среди которых был и Максим Горький. В берлинском журнале «Беседа» Горький опубликовал очерк о графине Толстой, которую не любил, но которую тем не менее попытался защитить и оправдать.

«Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был вполне нормален психически, — заявлял Горький. — И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее».

Это действительно больной и даже страшный вопрос. Разрешить эту ситуацию могли только самые близкие люди. По разным причинам они не сделали этого. Это глубоко семейная проблема, касаться которой даже сегодня нужно предельно осторожно. Но одно можно сказать определенно: субъективной вины жены Толстого здесь не было. Не может быть виновен человек, который не способен управлять собой, сам же это прекрасно понимает и сам страдает от этого.

Горький так объяснял ее положение:

«В конце концов — что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, — страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людями (так у Горького — *П.Б.*), плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после

смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и всё».

Роль Черткова в написании завещания Толстого была, конечно, огромной.

Во-первых, без Черткова завещания не было бы. Всякий, кто сколько-нибудь представляет себе душевный склад личности Толстого, должен понимать, что подготовка этой юридической бумаги, которая переписывалась несколько раз (!), была для него, пожалуй, самым тяжелым испытанием в жизни. И дело даже не в мировоззрении Толстого, согласно которому нельзя решать духовный вопрос, прибегая к помощи государства. Главное — это душевный склад его личности, особенно в последние годы, месяцы и дни жизни. Подписать юридический документ против семьи означало для него возбудить в людях *зло* по отношению к другим, причем в самых близких людях, за которых Л.Н. чувствовал свою ответственность.

Во-вторых, в своей книге Чертков скрыл факт, что в 1904 году он вынудил Л.Н. ответить на «вопросник», который *уже* являлся в глазах В.Г. формальным завещанием. До 1909 года Чертков не знал, что этот «вопросник» не имеет юридической силы. Но даже не зная об этом, он тем не менее *втянул* Толстого в создание еще одной формальной бумаги — первого варианта *юридического* завещания, подписанного Л.Н. на даче Черткова в Крекшино 18 сентября 1909 года.

Да, Чертков был прав, когда писал, что «решение его (Толстого — *П.Б.*) прибегнуть к завещанию было предпринято без моего ведома и во время моей вынужденной разлуки с ним». Но он не пишет, что при Толстом постоянно находились три его доверенных лица: Саша, Гусев и Маковицкий. Он не пишет, что секретари Толстого Гусев и Булгаков были определены в яснополянский дом Чертковым, причем на условиях, мягко говоря, вызывающих смущение. Например, Булгаков должен был вести ежедневные записи о том, что происходит в доме, и передавать их (!) Черткову. Фактически это была слежка за Л.Н. и его семьей.

Наконец, Чертков не пишет, что на протяжении всей «разлуки» с Л.Н. он неоднократно донимал его письменными просьбами о юридическом оформлении своих прав на его новые тексты. Эти просьбы терзали Толстого, вызывали в нем «неприятное» чувство, но каждый раз Л.Н. соглашался с ними.

Беспредельная любовь к Черткову — один из самых загадочных феноменов душевной жизни Толстого. Сколько раз во время переписки и прямого общения Чертков грубо вторгался в

семейные отношения, интригуя против жены Толстого и дочерей, которых отец любил больше всего на свете! И всякий раз это не только сходило Черткову с рук, но и он выходил победителем. Всегда!

«Получил, милый друг, ваше разочаровавшее меня во всех отношениях письмо. И за то спасибо. Разочаровало то, что о себе ничего не пишете определенного. А я всё жду. Разочаровало, и даже неприятно было о моих писаниях, до от какого-то года. Провались все эти писания к „дьяволу“, только бы не вызывали они недобрых чувств», — пишет Толстой в Крекшино из Кочетов.

Что это за писания? Чертков просил передать в готовящийся по случаю пятидесятилетия Литературного фонда сборник повесть «Дьявол», которую Толстой двадцать лет прятал от жены под обшивкой кресла, но она была обнаружена и вызвала ярость у С.А. Он уточнял, что поскольку С.А. выдает повесть как написанную до 1881 года, это может вызвать проблемы при публикации. Что это, если не вторжение в интимные дела семьи? И это вторжение было тесно связано с проблемой литературных прав, на которые претендовал Чертков.

В декабре 1909 года по настоятельной просьбе Черткова Толстой письменно подтверждает его исключительные права как «уполномоченного Л.Н.Толстого по делу проведения в печать впервые появляющихся писаний». Это был венец многоступенчатых попыток Черткова стать юридически законным *единственным* литературным агентом при Толстом. Опубликованное сразу в нескольких газетах («Новая Русь», «Русское слово» и «Русские ведомости) с одобрительной припиской Толстого „Письмо в редакцию“ Черткова стало видимой верхушкой айсберга под названием „Завещание Толстого“.

И последнее. Говоря о „вынужденной разлуке“ с Толстым, Чертков странно „забыл“, что 30 июня и 1 июля 1909 года он и Л.Н. встречались в деревне Суворово в трех с половиной верстах от Кочетов. Это „радостное свидание“ организовала дочь Толстого Татьяна Сухотина. Свидание было тайным, ибо о нем не знала СА Ее муж в это время гостил у дочери в Кочетах. Но с точки зрения закона оно было неподсудно. Суворово находилось в Орловской губернии (на границе с Тульской), а Черткову был запрещен въезд лишь в Тульскую губернию.

О чем они говорили с Чертковым?

По свидетельству Маковицкого, тоже гостившего в Кочетах, Толстой, вернувшись с последнего свидания, „чувствовал себя слабым после напряжения, вызванного серьезными разговорами с Чертковым“. 2 июля Толстой спал до 9 утра, потом еще лежал в

постели и почти весь день не работал, раскладывал пасьянсы и опять-таки спал. „Пульс был неравномерен, — фиксировал Маковицкий, — и реже обыкновенного: к четырем часам дня, когда Л.Н. лежал, пал на 60, температура — 36, а у Л.Н. норма 72 и 36,6. Изжога, озноб в спине, и холодно всему телу“.

Таково было физическое состояние Толстого перед тем, как вернуться в Ясную Поляну, где и грянул „стокгольмский“ семейный кризис.

Приглашение на казнь

Кем было написано первое формальное завещание?

Последние два года Толстой был тяжело (смертельно) болен. Его секретарь Гусев описывает в дневнике обмороки, которые случались с Л.Н. и сопровождались частичной потерей памяти, когда Толстой вдруг забывал имена своих детей и внуков, не узнавал их лиц, интересовался, где находятся Хамовники, и даже мог спросить: не приезжал ли вчера его брат „Митенька“? Дмитрий Николаевич Толстой скончался в 1856 году, за полвека до того, как Гусев стал секретарем Толстого, его смерть была подробно описана в „Анне Карениной“, созданной в 70-е годы.

В июле 1909 года, незадолго до того, как написать первое формальное завещание, Толстой *забыл* о том, что он уже не является хозяином Ясной Поляны. Он искренне думал, что продолжает владеть этой землей, страдал от этого и хотел отдать ее крестьянам. В это трудно поверить, но тому есть два свидетельства.

В дневнике Толстого от 23 июля есть запись: „Решил отдать землю. Вчера говорил с Иваном Васильевичем. Как трудно избавиться от этой пакостной, грешной собственности. Помоги, помоги, помоги“.

Значит, он говорил с юристом Денисенко не только о литературных правах? Значит, в его голове как-то соединились литературные права и собственность на землю, которой он не владел с 1892 года?

Дневник его дочери Татьяны Львовны подтверждает это. „…в Ясной, когда я там была в июле и общее настроение было очень тяжелое, он мне как-то сказал, что ему страшно тяжела земельная собственность. Я была поражена.

— Папа! Да ведь ты ничем не владеешь?!

— Как? А Ясной Поляной?

— Да нет! Ты же ее передал своим наследникам, как и всё остальное.

Он меня остановил и сказал:

— Ну, расскажи же мне всё, как обстоят дела“.

Напомним, что в это время Л.Н. в сопровождении Черткова и Саши собирался поехать в Стокгольм. Так, может, поведение его жены, не пустившей его туда, не было таким уж безумным? Может, безумием было как раз провоцировать его на поездку? Зачем он вообще хотел ехать в Швецию?

30 июля, когда под давлением жены он уже почти отказался от поездки, между ним и Маковицким состоялся очень странный разговор. Врач массировал Л.Н. больную ногу. Неожиданно Толстой спросил:

— Обращаюсь к вам, как к близкому другу, скромному, воздержанному человеку: я хочу из дому уйти куда-нибудь за границу. Как быть с паспортом?

Разговор о паспорте продолжился и на следующий вечер. Маковицкий рассказал Л.Н. о процедуре получения заграничного паспорта.

— Очень сложно, — сказал Л.Н. — Нельзя так сделать, чтобы не стало известно?

21 августа в присутствии близких Толстой сказал удивительную фразу, которая точно отражает его тогдашнее душевное состояние:

— Если бы я сотворял людей, я сотворил бы их старыми, чтобы они постепенно становились детьми.

28 августа писателю исполнился восемьдесят один год. „Мне три года в кубе“, — пошутил Толстой во время завтрака[22].

А 2 сентября происходят судорожные сборы в Крекшино. Судорожные потому, что Чертков испугал Толстого, будто бы за время его отсутствия в Ясной Поляне произведут обыск и арестуют последние его писания. Напутанный старец, сообщает Маковицкий, „берет с собой всё, что можно: рукописи, начатые свои статьи, даже и книжный материал к ним“.

Путь в Крекшино лежит через Москву. Толстой не был там много лет. Город неузнаваемо изменился. Появились конки и трамвай. В музыкальном магазине Циммермана продается новейший аппарат, воспроизводящий игру знаменитых пианистов. В Хамовнический дом проведен телефон.

Эти достижения цивилизации ошеломили Л.Н. „Он с ужасом, — замечает Гольденвейзер, — смотрел на этот огромный людской муравейник и на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации“.

Тем не менее в магазине Циммермана Толстой по-детски восхищается музыкальным аппаратом, ахает, вскрикивает от восторга. Этот аппарат в целях рекламы отправят в Крекшино на

весь срок пребывания Л.Н.

Крекшинский дневник Толстого (с 5 по 18 сентября 1909 года) вызывает удивительные чувства. Он мудр, но как-то уж слишком по-детски мудр. На человека неподготовленного он и впрямь может произвести впечатление какого-то младенческого лепета. О Боге, о благе, о любви, о значении снов… Толстой вспоминает свой странный сон, как они с братом Сергеем отправились на охоту, а у Л.Н. вместо ружья почему-то кларнет. И вот они приходят к морю (почему — к морю?) и видят корабли, которые на самом деле лебеди. „Стреляй“, — говорит Сергей. Л.Н. берет в рот кларнет, но дунуть в него не может. Тогда стреляет брат, и Толстой просыпается от громкого хлопка. Упали от порыва ветра стоящие возле окна ширмы.

В этом дневнике нет *ни единого слова* о том, что произойдет в день отъезда из Крекшина — о завещании. Такое впечатление, что он совсем не думал об этом. Или он боялся, что дневники прочитает его жена?

Невольно возникает вопрос: в какой степени Толстой отдавал себе отчет в том, что он подписал 18 сентября? Ответа на этот вопрос нет, потому что Толстой в дневнике это не комментирует. Есть лишь загадочная запись о разговоре с Чертковым накануне. „Говорил с Чертковым о намерении детей присвоить сочинения, отданные всем. Не хочется верить“. Из этой записи можно сделать осторожный вывод, что вопрос поднял Чертков.

Л.Н. рассеян, зато В.Г. ужасно деловит. Вторично напугав старика, на этот раз угрозой обыска в Крекшине, он отправляет в Англию первые экземпляры привезенных им рукописей.

Накануне подписания завещания Толстой заблудился в лесу. Он даже испугался, что не найдет обратной дороги домой. Вдруг, откуда ни возьмись, В.Г.! Он шел за Толстым следом.

В последний день пребывания Толстой опять заблудился. Его снова вывел к дому Чертков.

После прогулки на скамейке Л.Н. рассказывал внукам Соне и Илюше свою „фирменную“ сказку об огурцах. „- Пошел мальчик в огород. Видит, лежит огурец. Вот такой огурец (пальцами показывается размер огурца). Он его взял — хап! и съел!“ „- А хрустит, как взаправдашний, — сказал Илюша. — Но нет, не взаправдашний! Я уж так смотрел, так смотрел за дедушкой — не подсунет ли он взаправдашний. Нет, не подсунул“. „- Как тебе не стыдно думать, что дедушка хитрил! — возмущенно воскликнула старшая Соня. — Это же дедушке обидно!“

В этот день подписано завещание.

„Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения,

литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1-го января 1881 года, а также и все, написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову, с тем чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того, чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать также такое лицо или лица, которому бы он передал это уполномочие на случай своей смерти.

Лев Николаевич Толстой.

Крекшино, 18 сентября 1909 г.

При подписании настоящего завещания присутствовали и сим удостоверяют, что Лев Николаевич Толстой при составлении настоящего завещания был в здравом уме и твердой памяти: *Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. Мещанин Алексей Петрович Сергеенко. Александр Васильевич Калачев, мещанин.*

Настоящее завещание переписала

Александра Толстая“.

На обратном пути Толстого чуть не задавила пятитысячная толпа, провожавшая писателя на Курском вокзале. Выручил Чертков. Но это он сообщил в газеты время отправления Л.Н. из Москвы. Когда Толстой сел в коляску на станции Козлова Засека, с ним случился глубокий обморок. Он очнулся только наутро 20 сентября. „… ничего не помню. Рассказывали, что я сначала заговаривался, потом совсем потерял сознание. Как просто и хорошо умереть так“.

Бумаги и люди

Первое формальное завещание Толстого написано его рукой. Но достаточно бегло сравнить текст этого документа с двумя завещаниями, сделанными в виде дневниковых записей, чтобы понять: *это не язык и стиль Толстого. Но тогда чьи же?*

Касаясь истории этого текста в книге „Уход Толстого“, Чертков нигде не говорит: „Толстой *написал* завещание“. У него

звучит более дипломатично: „Он решил *прибегнуть к составлению* завещания“. Но кто, позвольте спросить, его составлял?

В книге Бориса Мейлаха „Уход и смерть Льва Толстого“ замечено, что не только по содержанию, но и текстуально первое формальное завещание совпадает с тем „вопросником“, который Чертков посылал из Англии с секретарем Бриггсом в 1904 году. Ответы Толстого, повторявшие вопросы в утвердительной форме, и легли в основу завещания.

Например:

„Вопросник“ (1904): „Предоставляете ли Вы мне и после Вашей смерти в полное распоряжение по моему личному усмотрению как для издания при моей жизни, так и для передачи мною доверенному лицу после моей смерти все те Ваши рукописи и бумаги, которые я получил и получу от Вас до Вашей смерти?“

Завещание (1909): „Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову, с тем чтобы он и после моей смерти распоряжался ими…“

Что же случилось 18 сентября 1909 года? Ровно то, что В.Г. победил С.А. И самое страшное, что это было сделано буквально за ее спиной, когда она сама приехала в Крекшино.

После того как она не отпустила мужа в Стокгольм, не отпустить его в Крекшино было бы уже насилием через край. И она смирилась, хотя это далось ей очень тяжело. „Тяжелые для меня сборы Льва Николаевича к Черткову“, — пишет С.А. в „Ежедневнике“ 2 сентября. „Грустные сборы и проводы“ (запись от 3 сентября). 5 сентября, когда Толстой приезжает в Крекшино, из Ясной Поляны в Шамордино уезжает его сестра Мария Николаевна, которая вместе с дочерью Лизой гостила у брата. Ясная Поляна совсем опустела. Без Толстого она оглушительно пустела, превращаясь в мертвое место, куда никто не хотел приезжать.

„Ты не можешь себе представить, как странно в Ясной Поляне без Л.Н.! — писала в июне 1909 года в письме к мужу жена Гольденвейзера. — Такая тишина и мертвенность“.

В тот же день, когда Мария Николаевна уехала из Ясной, из Москвы вернулись супруги Гольденвейзеры. Они рассказали С.А., как ее муж проводил время в Москве, как он слушал музыкальный аппарат в магазине Циммермана, как он гулял по Кузнецкому мосту, как публика восторженно приветствовала его на вокзале. Уже утром 8 сентября С.А. была в Москве и отправилась в Крекшино. Л.Н. „ласково“ встретил ее на станции, и всё в доме показалось ей „хорошо, приветливо, красиво“. 10–12 сентября она

вновь была в Москве. Ходила в банк, привела в порядок свои издательские дела и, как обычно, пошла в Исторический музей поработать с рукописями мужа, которые она сдала туда на хранение. Кроме того, у нее болела нога, и она посещала врача. 13 сентября она снова приехала в Крекшино.

В этот день она уже определенно чувствовала что-то неладное. Вместе с ней из Москвы ехала дочь Саша, которая также была в городе по делам и теперь возвращалась к Чертковым и отцу.

На станции их опять встречал Толстой. Садясь в экипаж, С.А. оступилась на больную ногу и всю дорогу громко стонала. Ее уложили в кровать, вызвали доктора. К обеду она пришла к столу. Находившийся там Гольденвейзер отмечает „болезненно-раздраженное состояние Софьи Андреевны, ежеминутно готовой сделать сцену или впасть в истерический припадок“. 17 сентября, накануне подписания завещания, вспыхнула ссора С.А. и Черткова, о которой пишет в воспоминаниях молодой секретарь Черткова Алеша Сергеенко.

Впечатления Алеши Сергеенко от посещения Крекшина в сентябре 1909 года чрезвычайно интересны. Алеша тогда мало что понимал в тонкостях семейного конфликта Толстых, хотя знал писателя с 14 лет благодаря знакомству с ним своего отца, литератора и биографа Толстого Петра Сергеенко. В многолюдной семье Сергеенко царил культ „великого Льва“. Петр Алексеевич, его жена и восемь детей жили в деревне, работали на земле и каждый день рождения Толстого отмечали в благоговейных размышлениях о нем. Уезжая в Англию, В.Г. взял в секретари молодого „толстовца“ Алексея.

Алеша имел возможность сравнить быт Чертковых в Англии и в Крекшине. Насколько в Англии было тяжело и скучно, настолько в Крекшине Алеша вдруг почувствовал атмосферу *счастливой семьи.*

„Я скоро убедился (находясь в Англии — *П.Б.*), что в этом доме, собственно, семьи нет, что это скорее гостиница; каждый жил своей обособленной жизнью, и мне после того, что я до двадцати лет прожил в большой семье, было не по себе, иногда тоскливо“.

Совсем другая атмосфера была в Крекшине. „Совсем иной дух“, — изумляется Алеша.

Чертков и Галя заботятся о хозяйстве, обсуждают проблему цветной капусты, присланной для Толстого соседней помещицей. Как приготовить: „кусочками“, „в сухарях“, „в бешамели“? Чертков лично участвует в составлении меню для Толстого. За столом весело, оживленно.

„Лев Николаевич находился в конце стола, и странное дело — мне в первую минуту показалось, что это сидят не чужие друг другу люди, а тоже что-то вроде большой семьи. И Лев Николаевич возглавлял ее“. „Большая дружная семья“, — пишет Сергеенко.

А теперь оцените это глазами С.А. Она тоже это *g* видит. Неудивительно, что она закатила В.Г. скандал, когда узнала, что, оказывается, еще и в Москву она поедет с мужем в разных колясках. „Соня взволновалась предложением ехать до Москвы врозь, — пишет Л.Н. в дневнике. — Пошел к ней. Очень жаль ее, она, бедная, больна и слаба. Успокоил не совсем, но потом она так добро, хорошо сказала, пожалела, сказала: прости меня. Я радостно растрогался“.

Эта запись сделана 17 сентября. На следующий день Л.Н. подписал завещание.

Роялист больше, чем король

„У Чертковых ей всё не нравилось: „темные“, окружавшие отца, общий стол, где Илья Васильевич (слуга Толстых — *П.Б.*) сидел вместе с ней. Нервы ее были в ужасном состоянии, — вспоминала Саша о настроении С.А. в Крекшине. — Трудно себе представить, что было бы, если бы она узнала, что здесь, в Крекшине, отец решил написать завещание… Я переписала это завещание, отец и три свидетеля подписали его. Я дала копию Черткову, оставила у себя оригинал, и Чертков просил меня зайти в Москве к присяжному поверенному Муравьеву, чтобы узнать, имеет ли такое завещание юридическую силу“.

„Решение его прибегнуть к завещанию было предпринято без моего ведома и во время моей вынужденной разлуки с ним… — пишет Чертков. — Написать „юридическое“ завещание я не только не уговаривал Л. Н-ча, но даже предполагал, что он на это не согласится…“

История с этим завещанием вообще ужасно темная. И это при том, что жизнь позднего Толстого была предельно прозрачной. Каждое его слово, каждый жест фиксировались с разных сторон. Но не в отношении этого завещания — одного из важнейших поступков его жизни.

„Подробной истории каждого из этих документов я не касаюсь здесь, чтобы не обременять изложения“, — пишет Чертков в книге „Уход Толстого“. Но при этом весьма подробно рассказывает о завещании 1895 года и о неблаговидной роли жены Толстого в его сокрытии.

Уже разойдясь с Чертковым и не испытывая к нему никакой симпатии, Александра Львовна в двух мемуарных работах („Отец“ и „Дочь“) предельно скупо касается роли В.Г. в завещании. Тем не менее, из ее воспоминаний узнаём, что именно Чертков был инициатором ее встречи с московским адвокатом Н.К.Муравьевым, известным защитником по делам русских сектантов, к которому не раз обращался за помощью Л.Н. Но ведь с этой встречи и начался тот юридический кошмар, который в конце концов вынудил Л.Н. бежать из Ясной Поляны.

Муравьев объяснил участникам этой истории, что литературные права, как любая частная собственность, не могут быть переданы „всем“. Их можно передать только конкретному физическому или юридическому лицу. Или — лицам. С этого момента четырнадцатилетние игры Л.Н. с законами Российской империи закончились.

Надо было выбирать. Или оставить всё как есть и ничего не предпринимать в плане юридического завещания (в этом случае законными наследниками стали бы жена и дети). Или, сказавши А, говорить и Б.

Чертков отрицал свою роль в инициации второго формального завещания, написанного после того, как Н.К.Муравьев раскритиковал первый, „крекшииский“ вариант. Но факт есть факт: именно молодой сотрудник Черткова Федор Страхов дважды, 26 октября и 1 ноября 1909 года, приезжал в Ясную Поляну к Толстому, чтобы уладить этот юридический вопрос.

В книге Георгия Ореханова „В.Г.Чертков в жизни Л.Н.Толстого“ опубликованы два письма Саши к Черткову, написанные 11 и 27 октября. Они не оставляют сомнений в том, что второе юридическое завещание тщательно готовилось враждебной С.А. „командой Черткова“.

11 октября: „(Самое важное) На днях много думала о завещании отца и пришло в голову, что лучше было бы написать такое завещание и закрепить его подписями свидетелей, объявить сыновьям при жизни о своем желании и воле. Дня три тому назад я говорила об этом с папа. Я сказала ему, что была у Муравьева, что Муравьев сказал, что завещание папа недействительно и что, по моему мнению, следовало бы сделать. На мои слова о недействительности завещания он сказал: ну что же, это можно сделать, можно в Туле. Об остальном сказал, что подумает, а что это хорошо в том отношении, что если он объявит о своем желании при жизни, это не будет так, как будто он подозревает детей, что они не исполнят его воли, если же после смерти окажется такая бумага, то сыновья, Сережа например, будут

оскорблены, что отец подумал, что они не исполнят его воли без нотариальной бумаги. Из разговора с отцом вынесла впечатление, что он исполнит всё, что нужно. Теперь думайте и решайте вы, как лучше. Нельзя ли поднять речь о всех сочинениях? Прошу вас, не медлите. Когда приедет Таня, будет много труднее, а может быть, и совсем невозможно что-либо устроить“.

Таким образом, юридическое завещание готовилось не только за спиной С.А., но и без ведома старших детей, Сергея и Татьяны, которые в семейном конфликте были на стороне отца. Оно готовилось в глубочайшей тайне и готовилось именно „командой Черткова“, в которую, увы, входила и младшая дочь Толстых Саша. Самое неприятное место в этом письме то, где она поднимает вопрос о лишении матери прав на сочинения, написанные до 1881 года, предлагая решать это В.Г.

Саша в то время не любила мать и, к сожалению, имела на то некоторое право. Еще в детстве она узнала, что родилась в ночь после первой попытки отца уйти от матери в июне 1884 года. Она также знала, что, будучи беременной ею, мать ходила к тульской акушерке с просьбой устроить искусственный выкидыш. Акушерка отказалась, за что С.А. потом благодарила Бога. Тем не менее она не баловала Сашу и не уделяла ей того внимания, которое досталось другим детям. Она держала ее на дистанции, часто раздражалась на нее, оскорбляла и унижала. Дочь отвечала матери дерзостью и непослушанием.

Поднимала ли она сама перед отцом вопрос о том, чтобы лишить мать и сыновей всех прав на сочинения Л.Н.? Во всяком случае, из ее письма очевидно, что в вопросе о завещании Толстой был не ведущим, а ведомым („…он исполнит всё, что нужно“),

И действительно, погружаясь в дневники и письма Толстого этого времени, мы видим, насколько Л.Н. был далек от самостоятельного принятия каких-либо практических решений. По крайней мере, без толчков извне он сам не принял бы никаких решений.

Однако в воспоминаниях Саши, Черткова и Ф.А.Страхова это выглядит так, будто решение отца лишить С.А. всех прав на его литературное наследие было для них самих полной неожиданностью.

„Он сейчас же пошел в свой кабинет и увел туда с собою Александру Львовну и меня, — пишет Ф.А.Страхов о своем первом визите к Л.Н. — Я вас удивлю своим крайним решением, — обратился он к нам обоим с доброй улыбкой на лице. — Я хочу быть plus royaliste que le roi[23]. Я хочу, Саша, отдать тебе одной всё, понимаешь? Всё, не исключая и того, о чем

была сделана оговорка в том моем газетном заявлении. — Мы стояли перед ним, пораженные как молнией этими его словами: „одной“ и „всё“. Он же произнес их с такой простотой, как будто он сообщал нам о самом незначительном приключении, случившемся с ним во время прогулки“.

„1 ноября 1909 года отец подписал новое завещание, составленное адвокатом Муравьевым, — вспоминала о том же Александра Львовна. — Вначале отец думал оставить права на все свои сочинения нам троим, более близким ему, Сереже, Тане и мне, чтобы мы в свою очередь передали эти права на общее пользование. Но один раз, когда я утром пришла к нему в кабинет, он вдруг сказал: „Саша, я решил сделать завещание на тебя одну“ — и вопросительно поглядел на меня. Я молчала. Мне представилась громадная ответственность, ложившаяся на меня, нападки семьи, обида старших брата и сестры, и вместе с тем в душе росло чувство гордости, счастья, что он доверяет мне такое громадное дело.

— Что же ты молчишь? — сказал он.

Я высказала ему свои сомнения.

— Нет, я так решил, — сказал он твердо, — ты единственная сейчас осталась жить со мной, и вполне естественно, что я поручаю тебе это дело. В случае же твоей смерти, — и он ласково засмеялся, — права перейдут к Тане“.

У нас нет никаких оснований не доверять этим воспоминаниям. Атмосфера в яснополянском доме была такова, что Толстой вполне мог самостоятельно принять крайнее решение о передаче всех прав одной Саше, единственной из его наследников, в ком он мог не сомневаться.

Но, судя по дневнику, никакой радости от этого Толстой не испытывал.

26 октября: „Не спал до 3-х, и было тоскливо, но я не отдавался вполне. Проснулся поздно. Вернулась Софья Андреевна. Я рад ей, но очень возбуждена… Приехал Страхов. Ничего не делал утром. Хорошее письмо Черткова. Он говорит мне яснее то, что я сам думал. Разговор с Страховым был тяжел по требованиям Черткова, потому что надо иметь дело с правительством. Кажется, решу всё самым простым и естественным способом — Саша. Хочу и прежние, до 82… Вечер. Еще разговор с Страховым. Я согласился. Но жалею, что не сказал, что мне всё это очень тяжело, и лучшее — неделание“.

С.А. вернулась из Москвы в день приезда Страхова. Это чуть не сорвало план „команды Черткова“ решить вопрос о завещании в ее отсутствие. Душевное состояние Толстого было „тяжелым“. У него были проблемы с памятью: он перепутал 1881-й и 82-й годы.

„…сомнительно, что буду жив: слабость, сонливость“, — пишет он в дневнике 28 октября, „…неестественно много спал“ (запись от 29 октября). „Необыкновенно странное, тоскливое состояние. Не могу заснуть, два часа (ночи)“ (31 октября, накануне подписания завещания). Согласитесь, что в подобном физическом и моральном состоянии духовные акты такого колоссального значения, каковым было завещание Толстого, не подписываются.

Но это при нормальных условиях. А ситуация, в которой оказался Толстой, была совершенно ненормальной. Об этом можно судить по второму письму Саши Черткову, написанному 27 октября.

„Владимир Григорьевич, хотя Страхов и передает вам всё дело, считаю нужным еще более подробно изложить вам свое мнение.

1) Разглашать дело никоим образом нельзя. Если семья узнает об этом, то последние дни отца будут мучением. Вспомните историю Стокгольма: истерику, морфий, бросание на пол и т. п., не ручаюсь даже и за то, что не потребуют бумагу назад и не разорвут ее. Разглашение немыслимо. С этим согласен Лев Николаевич.

2) И отец и я считаем Сережу с его карточной игрой очень ненадежным.

Таня же как-то на мой вопрос о том, будет ли она пользоваться сочинениями, сказала: „с какой же стати я буду отказываться от денег, которые пойдут братьям на кутежи, лучше взять и на них сделать доброе дело“. Остаюсь я одна. Решайте, вы все, друзья, можете ли вы доверить мне это, такой великой важности дело… Я, самая младшая, менее всех в семье любимая, и вдруг мне поручили такое дело, через меня вырвали эти деньги у семьи! Меня возненавидят, это наверное. Но всё равно, я этого не боюсь. После смерти отца единственно, что останется для меня дорогого, это его мысли. Так решайте же, но только поскорее и в праздник, чтобы приезд Гольденвейзера не возбудил подозрения. Всякие завещания и обещания приеду подписать, если нужно“.

В письме к брату Михаилу, написанному уже в эмиграции, много лет спустя, перед началом Великой Отечественной войны, Т.Л.Сухотина-Толстая писала: „Кто главным образом повредил в этом деле (отношениях родителей. — *П.Б.*) — это Саша. Больше чем Чертков. Она была молода… Она видела только страдания отца, и, любя его всем сердцем, она думала, что он может начать новую жизнь от своей старой подруги и быть счастливым“.

Письма Саши к Черткову вызывают скорее чувство сострадания к ней. Она так переполнена героизмом,

жертвенностью и при этом слепо доверяет „друзьям“, чужим людям, интриговавшим против ее родной матери, что сама не замечает, как становится подставным юридическим лицом в „деле“ передачи всех литературных прав отца… одному Черткову.

Если бы на месте Черткова был другой человек, с меркантильными соображениями, вся эта история оказалась бы просто „грязным“ криминальным сюжетом. Но Чертков не искал себе материальной выгоды. При этом он взваливал на себя колоссальную моральную ответственность перед современниками и потомками. *Ни один нормальный человек, в здравом уме не решился бы на это.* Но Чертков решился. Чертков искренне верил, что делает эту „грязную“ работу для того, чтобы Учитель после смерти предстал в абсолютной моральной чистоте, не запятнанный использованием его великих творений семьей для получения материальной выгоды.

1 ноября Толстой пишет в дневнике: „Сегодня приехали Голденвейзер и Страхов, привезли от Черткова бумаги. Я всё переделал. Довольно скучно“.

Катастрофа

Если последовательно читать все свидетельства яснополянской жизни после 22 июня 1910 года, можно повредиться умом. Полгода „команде Черткова“ вместе с Толстым удавалось скрывать существование тайного завещания, которое лишало семью прав на литературное наследство. Но когда это стало всплывать на поверхность, разразился чудовищный скандал.

Нет смысла искать в этой истории правых и виноватых. Нужно всегда помнить о том, что ситуация, в которой оказался Толстой и его близкие, была беспрецедентна. Никто из героев этого сюжета не был к нему готов. Да и сюжет оказался слишком парадоксальным: в нем соединились „Король Лир“ Шекспира и „Тарас Бульба“ Гоголя.

Как ни пытался Толстой „бежать“ от этой проблемы, она не давала ему покоя. Ему было стыдно, что после его смерти дети узнают о недоверии отца, о тайне, с которой он прожил последний год жизни. Неловкость по отношению к старшей сестре испытывала Саша. Наконец, во втором варианте формального завещания, подписанного 1 ноября 1909 года, тоже было серьезное юридическое упущение. Не было указано, кто будет наследником литературных прав в случае непредвиденной смерти Саши.

Летом 1910 года у Саша обнаружили признаки чахотки. Слабые легкие были наследственным кошмаром Толстых. От чахотки скончались два брата Л.Н. — Дмитрий и Николай. Он всю жизнь подозревал в себе эту болезнь, от которой убегал лечиться в самарские степи. Смерть от чахотки любимого в семье Толстых Чехова в 1904 году еще не была забыта.

И Саша поехала в Крым, где быстро встала на ноги. Кстати, в Крыму она на время отказалась от вегетарианства, несовместимого с лечением туберкулеза.

Болезнь Саши сыграла весьма значительную роль в истории ухода Толстого. Ведь и то, что Л.Н. выбрал направлением бегства именно юг (Болгария или Кавказ), было связано с больными легкими дочери. Летом же 1910 года сам собою возник вопрос: что будет с наследством Толстого в случае смерти Саши? Это должно было встревожить и Черткова. Даже в первую очередь Черткова. Без Саши, этого подставного юридического лица, завещание Л.Н. теряло смысл. В.Г. опять-таки лишался всего. И вот в июне-июле 1910 года повторяется ситуация осени 1909-го.

Сначала Л.Н., измученный поведением жены, отправляется отдохнуть к „милому другу“, который живет уже не в Крекшине, а в имении Отрадное близ села Мещерское Московской губернии. Его сопровождают вернувшаяся из Крыма, но всё еще физически слабая Саша, Маковицкий и молодой секретарь Валентин Булгаков. Как и в 1909 году, отъезду предшествовали ссоры с женой и обмороки.

Ссора была связана с черкесом, которого графиня, по примеру соседней помещицы Звегинцевой, наняла для охраны Ясной. Черкес не пьет, его не подкупишь, он безжалостен к русским мужикам. Однажды Толстой увидел, как Ахмет ведет на аркане из кнута его бывшего ученика в яснополянской школе старого крестьянина Прокофия Власова. Другой раз он встретился с парнем, который спросил: можно пройти лесом? „Почему нельзя?“ — удивился Л.Н. „Черкес сильно бьет…“

Находясь в Мещерском с 12 по 23 июня, Толстой отдыхает душой и плодотворно работает: пишет два небольших художественных текста (в том числе гениальный психологический этюд „Нечаянно“), правит корректуры книги „Путь жизни“. Но еще больше он гуляет по окрестностям, разговаривает с людьми. Толстой посещает две расположенные недалеко психиатрические больницы, живо интересуясь условиями жизни больных и беседуя с ними. Наслышавшись и начитавшись ужасов о психиатрических лечебницах (вспомним „Палату № 6“ Чехова), Толстой крайне удивлен: сумасшедшие в России живут куда сытнее и комфортнее большинства крестьян! Самых спокойных еще и расселяют по

крестьянским избам, платя за их пансион по 9 рублей в месяц, что выгодно и государству, и крестьянам. Но даже и буйных не только никогда не бьют, но и не связывают, а помещают в специальные комнаты с мягкими стенами и неразбиваемыми стеклами.

Воля здесь такая, что однажды больной запросто зарубил топором работника из обслуживающего персонала. Другой „больной“, явный симулянт, убийца, приговоренный к повешению, смело спорит с Толстым. Выясняется, что он читал почти все его статьи. Толстой поражен. „А вы спросите, как его зовут“, — устало предлагает врач. „Петр Первый“, — нехотя отвечает „больной“, и Толстой видит, как ему стыдно, как надоело симулировать.

Об этом Л.Н. простодушно сообщает С.А. в письмах из Мещерского: „У нас всё хорошо. Вчера ездил верхом в деревню, где душевно больные женщины… И больные женщины были интересны. А дома пришли из Троицкого в 3-х верстах врачи пригласить к себе на спектакль синематографа. Троицкое это окружная больница для душевно больных самых тяжелых. Их там 1000 человек. Я обещал им приехать…“

Воспаленный разум С.А. немедленно выстраивает логическую связь: ее болезнь, бегство мужа к Черткову, интерес мужа к психиатрическим больницам, куда он с Чертковым, по-видимому, собирается ее упрятать.

Разумеется, такой мысли не было и быть не могло в голове Толстого. Но его интерес к проблеме безумия в это время не случаен. Именно этим летом он пишет статью „О безумии“. Вернувшись в Ясную, Л.Н. изучает книгу профессора С.С.Корсакова „Курс психиатрии“ и находит в ней явные параллели с болезнью С.А.

Но в дневнике в Отрадном Л.Н. пишет: „Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью“. Вскоре его жена прочитает эту запись и увидит в ней только одно: „Хочу *бороться* с Соней“.

22 июня поведение С.А. становится неуправляемым.

Она посылает мужу и дочери телеграмму за подписью Феокритовой (чтобы не подумали, что это просто ее домыслы): „Софье Андреевне сильное нервное расстройство, бессонницы, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя“. Затем уже за своей подписью она умоляет мужа немедленно приехать. В ответ 2 3 июня она получает телеграмму: „Удобнее приехать завтра днем но если необходимо приедем ночью“. Слово „удобнее“ взрывает ее. Она видит в нем „бессердечный“ стиль Черткова.

Феокритова утверждает в своем дневнике (которому, впрочем, можно верить с большой осторожностью), что

истерический припадок С.А. был вызван проблемой завещания. Она решила, что в Мещерском Л.Н. под давлением Черткова и Саши подпишет завещательный документ против семьи. (Она не знала, что такой документ уже подписан.) Она была уверена, что Толстой с Чертковым не зря посещают психиатрические клиники: ищут местечко для нее. Она кричала Феокритовой, что не допустит этого, что раньше покончит с собой. Она писала предсмертные записки, которые грозила через сыновей напечатать в газетах после своей смерти, чтобы все поняли, что ее муж — убийца.

И в это же время в Отрадное приходит „радостное“ сообщение, что власти разрешают Черткову вернуться в Телятинки близ Ясной Поляны на срок пребывания там матери. Это была странная формулировка. Все понимают, что это фактическое снятие запрета на пребывание В.Г. в Тульской губернии и что отныне ученик может жить рядом со своим учителем и ежедневно встречаться с ним. И этим Толстой тоже спешит *обрадовать* жену.

Непонимание между супругами, их нечуткость к душевному настроению своей „половины“ становятся поистине катастрофическими. С.А. во всем видится „заговор“ и желание мужа избавиться от нее ради Черткова. Л.Н. бесконечно „удивлен“ грубым отношением жены к такому замечательному человеку. Он настолько ослеплен, что словно не замечает, как Чертков упорно и деспотически изгоняет С.А. из будущей сферы распоряжения наследием Л.Н., не считаясь при этом ни с почти полувековым семейным союзом, ни с любовью матери к своим детям, ни с ее душевным состоянием.

Он, она, они

23 июня 1910 года Толстой с Сашей возвращаются в Ясную Поляну. 27 июля в Телятинки „к матери“ приезжает Чертков и начинает ежедневно посещать яснополянский дом, чем буквально сводит графиню с ума.

Умный зять Толстого М.С.Сухотин, вызванный в Ясную вместе с Т.Л.Сухотиной-Толстой тревожной телеграммой Саши, попытался в своем дневнике назвать все причины болезненного состояния тещи.

„1) Любовь к Л.Н. совершенно искренняя, но отчасти патологическая, так как ее главная составная часть — это страстность, не вполне нормальная в женщине 65 лет к мужчине 81 г., страстность, которую по понятным причинам удовлетворить

трудно.

2) Как результат страстности является ревность. Ревность всегда была отрицательной чертой С.А., но прежде она вызывалась всё-таки женщинами, которые как-никак, а могли же нравиться Л.Н. как мужчине, а теперь мужчиной, Чертковым. Поэтому ревность вызывает в разгоряченном мозгу С.А. самые постыдные для Л.Н. картины.

3) Оскорбленное самолюбие. Это понятно. То, что Л.Н. не желает давать читать жене как нечто вполне интимное, дается Черткову, а Ч. дает переписывать своим темным секретарям. Достоинству жены действительно нанесен удар.

4) Властолюбие. Это чувство, конечно, уязвлено Чертковым. С.А. понимает, что Ч. уже на первом плане.

5) Корыстолюбие. Всё, что писано рукой Л.Н., будет иметь, конечно, большую ценность. Эту ценность С.А. еще и преувеличивает так, что ценность этих дневников приняла в голове С.А. размеры несколько фантастические; а вдруг она или ее милый Андрюша ничем после смерти Л.Н. не попользуются.

6) Истеричность. Конечно, играет роль. Сила восприятия всех неприятностей, сила выражения своих чувств, очевидно, ненормальны, и, может быть, эта ненормальность и соприкасается с областью психопатии.

7) Страх за свою посмертную славу. А ну, как дневники Л.Н. будут когда-нибудь напечатаны и там окажется, что за С.А., которая и раньше действительно была всегда тяжелым крестом в жизни Л.Н.?“

К этим семи „пунктам“ нечего добавить. Разве что смягчить некоторые формулировки. (Единственное, чего почему-то не учитывает Сухотин и что заметил далекий от семьи Горький — общая физическая и психическая *усталость* С.А., прожившей почти полвека с самым сложным человеком XIX столетия и родившей ему тринадцать детей). Гораздо больше сомнений вызывает попытка Сухотина объяснить поведение Л.Н.

„Его понять труднее. Иногда он доходит до белого каления, шатается, весь бледный и дрожащий, задыхается, с дрожью в голосе говорит о том, что выкидывает *она.* Тогда он понятен. Но это редко. Гораздо менее он понятен, когда он терпелив, но холоден, ласков с С.А., но презрителен, любовен, но под этой любовностью чувствуется лишь одно самообладание и настойчивое исполнение толстовской этики.

Он так же точно и аккуратно утром гуляет, до завтрака занимается, после завтрака верхом ездит, перед обедом отдыхает, после обеда в шахматы играет. Всё так же он любит беззаветно Черткова и всё так же, я думаю, в глубине души презирает С.А.

Когда-то он сказал дочери Маше: „Когда я слышу ее торопливую походку, приближающуюся к моему кабинету, руки у меня начинают трястись от негодования“. С годами, думаю, что негодование мало-помалу переходит в более спокойное презрение“.

Проблема была в том, что душевное состояние С.А. было у всех на виду. Толстой же в своем отношении к жене был более скрытен. О нем можно судить по его дневникам, особенно тайным, которые, как он тщетно предполагал, не прочитает его супруга.

Из этих дневников вырисовывается необыкновенной сложности картина. С одной стороны, Толстой еще до обследования С.А. крупнейшим психиатром того времени Г.И.Россолимо понимал, что его жена душевно больна. Записи об этом в его дневнике мы обнаружим задолго до того кошмара, который случился в Ясной летом-осенью 1910 года[24]. Поэтому, когда в Отрадном Л.Н. писал о „борьбе“, которую собирается вести с женой „добром, любовью“, это не было для него каким-то внутренним открытием. Это была позиция Толстого, отрицавшего возможность психиатрического лечения человека и считавшего, что бороться с недугом можно лишь „добром, любовью“.

В этом плане поразительна его реакция на посещение Ясной Поляны профессором Россолимо. Россолимо был потрясен состоянием С.А. Он сказал, что не представляет себе, каким образом Толстой может жить с этой женщиной. Его диагноз был неумолим: „Дегенеративная двойная конституция: паронойяльная и истерическая, с преобладанием первой“.

И вот, казалось бы, диагноз Россолимо должен был стать для Л.Н. подарком, если бы он, как пишет Сухотин, „презрительно“ относился к жене. Ведь это давало моральное право *потребовать* от старших детей изоляции С.А.

И как же относится к этому диагнозу Толстой?

„Россолимо поразительно глуп по ученому, безнадежно“, — пишет он в дневнике 20 июля. „Письмо от Россолимо, замечательно глупое о положении Софьи Андреевны“, — записывает в тайном „Дневнике для одного себя“.

Весь тайный дневник посвящен Сонечке. „Я совершенно искренне могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву (сыну. — *П.Б.*)“. „Несчастная, как мне не жалеть ее“. „Оказывается, она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое-то, кому-то, о чем-то завещание — очевидно касающееся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная“. „Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней.

Проснусь, засну и опять то же“ (запись, сделанная 27 октября, накануне ухода).

Но есть в этом тайном дневнике и другие признания. „Софья Андреевна спокойна, но так же чужда“. „Нынче с утра тяжелое чувство, недоброе к ней, к Софье Андреевне. А надо прощать и жалеть, но пока не могу“. „Ничего враждебного нет с ее стороны, но мне тяжело это притворство с обеих сторон“. И наконец: „Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблен. А не мог не жениться“.

Последняя запись как будто свидетельствует в пользу мнения Сухотина. Но даже Сухотин в дневнике пишет: „…у него, я думаю, к С.А. если не любовь, то что-то старое еще живет, какая-то смесь жалости, беспокойства и привычки. Привычки всего больше. Расспрашивал я его на днях, и он мне сказал:‚Да, как это мне самому ни странно, а беспокоюсь я о ней, когда ее нет, и тоскую по ней“».

Это подтверждается записями Толстого, сделанными 29, 30 августа и 12 сентября, в дни отъездов жены из Кочетов. «Софья Андреевна уехала со слезами… Я очень, очень устал. Вечером читал. Беспокоюсь о ней» (12 сентября). «Прощалась очень трогательно, у всех прося прощение. Очень, очень мне ее любовно жалко… Ложусь спать. Написал ей письмецо» (29 августа). «Грустно без нее. Страшно за нее. Нет успокоения» (30 августа).

Только по дневникам Толстого, а никак не по свидетельствам третьих лиц мы можем судить об истинном его отношении к жене в последние месяцы их жизни. Здесь были и любовь, и привычка, и жалость к ней, и ужас перед ее поведением, и постоянное желание уйти, и понимание того, что уход станет жестоким поступком по отношению к больной жене.

Но именно присутствие «третьего лица» в этой истории, заставило ее развиваться по тому сценарию, по которому она развивалась.

Об этом замечательно точно сказано в письмах Т.Л.Сухотиной-Толстой брату Сергею, написанных из Рима в Россию в начале 30-х годов, когда Татьяна Львовна читала изданные Сергеем Львовичем дневники их матери. Приведем выдержки из этих писем.

«А он ее нежно и глубоко любил. И только потому он раньше не ушел. Раздражала она его неистово. И не мудрено. Надо было иметь огромный запас терпения, чтобы выносить ее приставания, ее желание выставить себя, с одной стороны, несчастной жертвой, отдавшей всю жизнь злому, противному мужу, и с другой — моложавой, с высокими стремлениями, милашкой. Но отец видел ее положительные стороны, которые были ему трогательны: ее

усилия превозмочь свои дурные стороны, ее старания быть лучше. И она была ему бесконечно жалка. Не люби он ее — он давно бы ушел из дома».

«Конечно — мы оба заслуживаем одного упрека: это то, что мы недостаточно активно вмешались в махинации Черткова и Саши. В жизнь же родителей надо было вмешаться только для того, чтобы дать им сговориться между собой без всяких посредников и „отстранителей“ отца от матери».

«…ты в событиях 1910 г. больше всех винишь Сашу. Это, по-моему, неверно. Перенесись в ее тогдашнее настроение. Она одна жила в Ясной и глубоко чувствовала драму, которая там разыгрывалась, с другой стороны, ей было очень и очень лестно, что отец назначил ее наследницей; она не понимала, что она была лишь подставным лицом. Вообще никого винить не следует, даже Черткова. Что такое Чертков? Не будь он „другом, издателем, продолжателем дела“ Льва Толстого, он был бы ничтожеством. А без завещания в его пользу он лишился бы главного, даже единственного дела своей жизни, и его честолюбию и тщеславию был бы нанесен жестокий удар. Он и носился с папа, как с писаной торбой».

Чертков и сыновья

Можно по-разному относиться к сложной личности Черткова.

Но вот непостижимый с нормальной человеческой точки зрения факт. Зная о реакции, которую он вызывает в С.А., он с конца июня 1910 года ежедневно (иногда два раза в день) приезжает в ее дом, на ее глазах ведет тайные переговоры с ее мужем, готовя окончательный текст юридического завещания, направленного против нее.

При этом в доме постоянно живут или почти ежедневно бывают активные сторонники Черткова и враги С.А., начиная, увы, с ее дочери Саши и кончая переписчицей ее мемуаров Феокритовой. Против С.А. и в пользу В.Г. решительно настроены Маковицкий и Гольденвейзер. Ее не любят местные крестьяне, воевать с которыми она наняла черкеса. Она не может понять и отношения к ней мужа, болезненно страдает от своей ненормальной ревности к Черткову, которая, как она сама же признавалась, была гораздо сильнее ревности к женщинам.

Одиночество С.А. в конце жизни Толстого было таким же тотальным, как одиночество Л.Н. в начале его духовного переворота. И в обоих случаях речь шла о «безумии». Как Толстого подозревали в том, что он «сошел с ума», так и его жену

воспринимали либо сумасшедшей, либо симулирующей это сумасшествие.

Последнее обстоятельство очень важно. Удивительно, но несмотря на диагноз, поставленный Россолимо, почти все противники С.А., включая родную дочь, были уверены, что она не больна, а только симулирует болезнь. В наиболее грубой форме это мнение выражено в дневнике стенографистки Феокритовой.

Феокритова пишет, что «мнимое» безумие С.А. началось, когда она стала подозревать, что в Мещерском Л.Н. и Чертков составляют завещание против нее. В это время она спешно готовила новое издание сочинений мужа и считала, что после его смерти оно будет хорошо раскупаться. Но если Л.Н. завещает всё Черткову, то она прогорит. Отсюда ее болезненный интерес к дневникам мужа с 1900 года, которые хранились у Черткова (дневники до 1900 года она хранила в Историческом музее). Нет ли в них «завещания», подобного тому, что было в дневнике 1895 года, который она спрятала в музей? Феокритова утверждает, что когда Саша по просьбе Толстого привезла в яснополянский дом дневники от Черткова, С.А. стала просматривать их, бормоча: «Нет ли здесь завещания?» По мнению Феокритовой, она лаской, угрозами, истериками и шантажом хотела добиться главного: уничтожения завещания, если таковое имеется. Когда она похитила тайный дневник мужа и узнала из него, что такое завещание существует, ситуация стала просто невыносимой. Феокритова также считала, что инициаторами этих действий С.А. были ее сыновья Лев и Андрей.

Дневник Феокритовой не случайно до сих пор не опубликован, хотя биограф Толстого Н.Н.Гусев готовил его к публикации еще в 30-е годы. Это действительно самый безжалостный по отношению к жене Толстого документ, написанный вдобавок человеком, которого она сама же взяла в свой дом. Но беда в том, что мнение Феокритовой так или иначе разделяли почти все активные участники этой истории, а самое главное — дружно склоняли к этой точке зрения Л.Н., который был упрям, как Тарас Бульба, но в то же время необыкновенно податлив на влияние близких людей, как король Лир.

В том, что С.А. вызвала в Ясную сыновей Льва и Андрея, не было ничего удивительного. Они были единственными защитниками матери. Но они же своим присутствием во многом утвердили отца в решении лишить семью всех прав на его литературное наследство.

«Приехал Лева, — пишет Толстой в дневнике 4 июля. — Небольшой числитель, а знаменатель ∞». Толстой любил определять значение человека в виде дроби, где числитель —

духовные качества, а знаменатель — мнение о себе. Отношения между отцом и сыновьями были настолько натянуты, что Л.Н. буквально страдал от их присутствия в Ясной Поляне. Как он ни убеждал себя относиться к ним по-доброму, ничего у него не получалось.

«Сыновья, Андрей и Лев, очень тяжелы, хотя разнообразно каждый по-своему», — пишет Толстой. «Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божья (но она есть, помни)». «Льва Львовича не могу переносить. А он хочет поселиться здесь».

За несколько дней до того, как Л.Н. в Телятинках, в доме Черткова, подписал третий, исправленный и дополненный вариант формального завещания, между Толстым и сыном Львом разыгралась очень неприятная, скандальная сцена, во время которой сын, движимый заботой о матери, оскорбил отца.

«Жив еле-еле, — пишет Л.Н. в дневнике от 11 июля. — Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку…»

В ночь с 10 на 11 июля С.А. требовала, чтобы муж отдал ей дневники, которые хранились у Черткова. И получила отказ. С.А. отправилась на балкон, куда выходила комната мужа, легла там на доски и начала громко стонать. В дневнике она пишет, что в это время «вспоминала, как на этом же балконе 48 лет тому назад, еще девушкой, я почувствовала впервые любовь Льва Николаевича. Ночь холодная, и мне хорошо было думать, что где я нашла его любовь, там я найду и смерть».

Толстой вышел на балкон и попросил уйти. Она пообещала «убить Черткова», побежала в сад и легла в платье на сырую землю. В темноте ее искали несколько человек и нашли с помощью пуделя Маркиза. Но на все просьбы вернуться домой она отвечала, что пойдет лишь в том случае, если придет Л.Н.

И тогда Лев Львович пошел к отцу.

«— Она не хочет идти, — сказал я, — говорит, что ты ее выгнал.

— Ах, ах, Боже мой! — крикнул отец, — да нет! Нет! Это невыносимо!

— Пойди к ней, — сказал я ему, — без тебя она не придет.

— Да нет, нет, — повторял он вне себя от отчаяния, — я не пойду.

— Ведь ты же ее муж, — тогда сказал я ему громко и с досадой, — ты же и должен всё это уладить.

Он посмотрел на меня удивленно и робко и молча пошел в сад».

Даже в воспоминаниях Льва Львовича эта сцена выглядит

более чем неприятно. Но еще хуже она смотрится в дневнике Гольденвейзера. «Софья Андреевна требовала, чтобы Л.Н. пришел за ней. Лев Львович пошел к отцу, кричал на него, ругал его, дошел до того, что назвал его „дрянью“».

А уже 17 июля в дневнике Гольденвейзера читаем, как Толстой в Телятинках переписывал завещание, где среди наследников кроме Саши фигурировала и его дочь Татьяна.

«Чертков привел Л.Н. наверх (своего дома в Телятинках. — *П.Б.*). Л.Н., здороваясь со мной, два раза крепко пожал мне руку. Он сел за стол и попросил меня диктовать с данного Муравьевым текста, тождественного со старым, но с прибавкой, что на случай смерти Александры Львовны раньше Л.Н. - всё переходит Татьяне Львовне.

Л.Н. был, видимо, взволнован, но писал быстро и не ошибался. Когда он дописал, то сказал мне:

— Ну вот, как хорошо!»

Всё, однако, было совсем не так хорошо.

В предисловии к публикации факсимильных текстов завещаний Толстого в «Толстовском ежегоднике за 1913 год» Чертков пишет, что этот вариант текста тоже оказался недостаточным, так как «на этот раз вкралась в завещание формальная ошибка в виде пропуска нескольких слов».

Что это были за слова? Из фразы «составлено, написано и подписано завещателем, Львом Николаевичем Толстым, находящемся в здравом уме и твердой памяти», — в новом варианте странным образом выпали слова «*находящимся в здравом уме и твердой памяти*».

Там было просто: «составлено, написано и подписано графом Львом Николаевичем Толстым». Поэтому завещание пришлось еще один раз переделывать, восстанавливая «здравый ум и твердую память».

На это потребовалось еще пять дней.

Конспираторы

Казалось бы, как суеверный человек Толстой должен был обратить внимание на «случайно» выпавшие из завещания слова о «здравом уме и твердой памяти». Но 22 июля в лесу близ деревни Грумонт (другие варианты: Грумант или Грумонд)[25] он переписывает и подписывает на этот раз уже окончательный текст своего юридического завещания.

История создания этого текста подробно описана в воспоминаниях секретаря Черткова Сергеенко.

«Лев Николаевич сел на пень и вынул прицепленное к блузе английское резервуарное перо, попросил нас дать ему всё нужное для писания. Я дал ему бумагу и припасенный мной для этой цели картон, на котором писать, а Александр Борисович (Гольденвейзер. — *П.Б.*) держал перед ним черновик завещания. Перекинув ногу на ногу и положив картон с бумагой на колено, Лев Николаевич стал писать: „Тысяча девятьсот десятого года, июля дватцать второго дня“. Он сейчас же заметил описку, которую сделал, написав „двадцать“ через букву „т“, и хотел ее переправить или взять чистый лист, но раздумал, заметив, улыбаясь:

— Ну, пускай думают, что я был неграмотный.

Затем прибавил:

— Я поставлю еще цифрами, чтобы не было сомнения.

И после слова „июля“ вставил в скобках „22“ цифрами.

Ему трудно было, сидя на пне, следить за черновиком, и он попросил Александра Борисовича читать ему. Александр Борисович стал отчетливо читать черновик, а Лев Николаевич старательно выводил слова, делая двойные переносы в конце и в начале строк, как, кажется, делалось в старину и как сам Лев Николаевич делал иногда в своих письмах, когда старался особенно ясно и разборчиво писать.

Он сначала писал строчки сжато, а когда увидел, что остается еще много места, сказал:

— Надо разгонистей писать, чтобы перейти на другую страницу, — и увеличил расстояния между строками.

Когда в конце завещания ему надо было подписаться, ОН спросил:

— Надо писать „граф“?

Мы сказали, что можно и не писать, и он не написал.

Потом подписались и мы — свидетели. Лев Николаевич сказал нам:

— Ну, спасибо вам».

Одновременно Толстому была передана бумага от Черткова, которая являлась важнейшим дополнением к завещанию. Согласно этой записке, все права на сочинения и рукописи Толстого переходили к Саше лишь формально. Реальным их распорядителем являлся Чертков.

Поразительно, но в день написания Толстым тайного завещания против жены Чертков ничтоже сумняшеся приехал вечером в гости к Л.Н. и С.А. Какой же надо было обладать железобетонной совестью, чтобы в такой день открыто смотреть хозяйке дома в глаза? И как же надо было к ней относиться…

Валентин Булгаков писал: «Когда я вспоминаю об этом

вечере, я поражаюсь интуиции Софьи Андреевны: она будто чувствовала, что только что произошло что-то ужасное, непоправимое». Она «была в самом ужасном настроении, нервном и беспокойном. По отношению к гостю, да и ко всем присутствующим держала себя грубо и вызывающе. Понятно, как это на всех действовало. Все сидели натянутые, подавленные. Чертков — точно аршин проглотил: выпрямился, лицо окаменело. На столе уютно кипел самовар, ярко-красным пятном выделялось на белой скатерти блюдо с малиной, но сидевшие за столом едва притрагивались к своим чашкам чая, точно повинность отбывали. И, не засиживаясь, скоро все разошлись».

Вот в какой атмосфере было составлено завещание Толстого. С одной стороны — душевно больная жена, в голове которой смешались как будто взаимоисключающие вещи: страстная любовь и ревность к мужу, боязнь его потерять и… денежный расчет (ради детей). С другой — непробиваемый Чертков, поставивший себе непременной задачей одному являться распорядителем наследия Толстого. Впрочем, душевное здоровье Черткова… также вызывает сомнение.

Однажды С.А. и Валентин Булгаков оказались в одной коляске по дороге в Телятинки. Графиня ехала знакомиться с матерью Черткова Елизаветой Ивановной. По дороге она стала умолять Булгакова, чтобы тот уговорил Черткова вернуть ей дневники.

— Пусть их все перепишут, скопируют, — говорила она, — а мне отдадут только подлинные рукописи Льва Николаевича! Ведь прежние его дневники хранятся у меня… Скажите Черткову, что если он отдаст мне дневники, я успокоюсь… Я верну ему тогда мое расположение, он будет по-прежнему бывать у нас, и мы будем вместе работать для Льва Николаевича и служить ему… Вы скажете ему это?… Ради Бога, скажите!

Приехав к Черткову, Булгаков передал ему просьбу С.А. Затем он пишет в дневнике: «Владимир Григорьевич — в сильном возбуждении.

— Что же, — спрашивает он, уставившись на меня своими большими, белыми, возбужденно бегающими глазами, — ты ей так сейчас и выложил, где находятся дневники?!

При этих словах Владимир Григорьевич, совершенно неожиданно для меня, делает страшную гримасу и высовывает мне язык».

«Ты идиот! Все знают, что ты идиот!» — кричал на В.Г. в присутствии других людей приехавший в Ясную Поляну Лев Львович.

До ухода оставалось всего два месяца…

Одним из главных пунктов душевного переживания С.А. стали дневники мужа с 1900 года, которые частично хранились у Черткова, частично, по его поручению, в октябре 1909 года были положены Гольденвейзером в несгораемый ящик московского банка «Лионский кредит». После возвращения Л.Н. из Мещерского С.А. требовала от мужа забрать дневники у Черткова и отдать ей. Толстой не соглашался, предполагая, что в этом случае дневники будут подвергнуты цензуре жены, которая уничтожит в них всё, что, как ей казалось, снижает ее роль при великом человеке.

14 июля 1910 года Саша, по просьбе отца, забрала дневники, и они были положены его дочерью Татьяной в присутствии матери на имя Толстого в тульское отделение государственного банка.

Но на этом история не закончилась. Та настойчивость, с которой С.А. просила мужа отдать ей ключи от банковского сейфа, наводит на мысль, что она действительно подозревала наличие в этих дневниках завещания. По свидетельству Гольденвейзера, возвращения Саши с дневниками напряженно ждала не только графиня, но и сын Лев, дежуривший на «прешпекте» перед въездом в усадьбу. Когда дневники были положены в сейф, С.А. сказала дочери Татьяне:

— Вы все будете меня благодарить.

На следующий день она на коленях умоляла Л.Н. отдать ей ключи от сейфа. Но ведь она прекрасно понимала, что тексты дневников скопированы Чертковым. Значит, ей был необходим оригинал. Получив отказ, она побежала к себе и стала кричать оттуда, что выпила склянку опиума. Толстой, проходивший в это время мимо ее окна, в ужасе, задыхаясь, побежал наверх. С.А. призналась, что обманула его. Она сама пишет в дневнике, что поступила *гнусно.* Но остановить себя не могла.

25 июля, собрав вещи и взяв с собой пузырек с опиумом, графиня поехала в Тулу на коляске, посланной на вокзал встретить сына Андрея. У нее было смутное намерение то ли уехать навсегда, то ли покончить с собой. Перед отъездом она написала записку, которую предполагала отправить в газеты: «В мирной Ясной поляне случилось необыкновенное событие. Покинула свой дом граф. Софья Андреевна Толстая, тот дом, где она в продолжение сорока восьми лет с любовью берегла своего мужа, отдав ему всю свою жизнь. Причина та, что ослабевший от лет Лев Ник. подпал совершенно под вредное влияние господина Ч ва, потерял всякую волю, дозволяя Ч… ву, и о чем-то постоянно

тайно совещался с ним. Проболев месяц нервной болезнью, вследствие которой были вызваны из Москвы два доктора, графиня не выдержала больше присутствия Ч… ва и покинула свой дом с отчаянием в душе».

На вокзале Андрей, увидев ненормальное состояние матери, заставил ее вернуться вместе с ним в имение.

27 июля Лев и Андрей допрашивали Сашу: не написал ли отец завещание? Наконец Андрей Львович отправился к отцу и задал ему прямой вопрос: не сделал ли он какого-нибудь письменного распоряжения на случай своей смерти? Солгать Толстой не мог. Сказать правду — тоже не мог. В этом случае весь гнев жены и сыновей пал бы на Сашу. Он ответил сыну, что не желает это обсуждать. Нужно ли говорить, что это было косвенным признанием существования завещания?

С этого момента Толстой оказался в ловушке. Признать наличие завещания означало подставить под удар даже не Черткова (его имени в завещании не было), но самого младшего из членов семьи — Сашу, которую и так не слишком любили. Не признаваться значило лгать постоянно, что было невыносимо.

По сути, первая предсмертная попытка бегства Толстого из Ясной Поляны случилась уже 15 августа, когда Л.Н. на неопределенный срок отправился к Татьяне в Кочеты. Это было единственное место, где он мог бы отдохнуть от жены и… Черткова, страшно раздраженного тем, что С.А. всё-таки выпросила у Толстого обещание не встречаться с ненавистным ей «разлучником».

Надо было обладать какой-то особой душевной черствостью, чтобы видеть в поступках С.А. хитрую волю. Нет, это была темная, иррациональная воля, которая руководила женой Толстого помимо разума, временами просветлявшегося и говорившего ей, что она поступает неправильно, ровно наоборот, чем нужно поступать. И Толстой терпеливо ждал этих моментов просветления, надеялся на них до конца, даже и после ухода.

В письме из Шамордина от 31 октября он пишет ей: «… возвращение мое *теперь* совершенно невозможно», — выделяя «теперь», подчеркивая, что возвращение всё-таки возможно. В неотправленном черновике письма он писал еще определеннее: «Постарайся… успокоиться, устроить свою жизнь без меня, лечиться, и тогда, если точно жизнь твоя изменится и я найду возможным жить с тобой, вернусь. Но вернуться теперь это значит идти на самоубийство, потому что такой жизни при теперешнем моем состоянии я не вынесу и недели».

Принципиально иначе смотрели на состояние жены Толстого Чертков и члены его «команды», включая Сашу. Даже

благоволившая к В.Г. Татьяна Львовна в письме умоляла его уехать из Телятинок, чтобы не служить «красной тряпкой» для больной матери. Вместо этого Чертков затеял строительство капитального кирпичного дома. Сам Толстой был неприятно поражен внутренним роскошеством этого дома, с множеством комнат, ванною… И вот вопрос: зачем было В.Г. строить этот дом в виду очевидной скорой смерти Толстого? Ответ может быть только один. Он надеялся, что после смерти Л.Н. здесь будет располагаться своего рода «толстовский центр». Тело Толстого будет находиться в Ясной «в распоряжении» семьи. Но дух его (вместе с рукописным наследием) перенесется в Телятинки. Собственно, так оно почти и получилось. С конца 1910 года и до начала Первой мировой войны было два места паломничества «к Толстому»: Ясная и Телятинки. Война и революция разрушили планы Черткова.

Когда из рук Черткова уходили оригиналы дневников, он воспринял это как поражение в войне с графиней и предпринял ответные действия.

Валентин Булгаков пишет «Как я узнал от Варвары Михайловны (Феокритовой. — *П.Б.*), в Телятинках… спешно собрались самые близкие Черткову люди — его alter ego Алеша Сергеенко, О.К.Толстая (сестра Анны Константиновны), Александра Львовна, муж и жена Гольденвейзеры, а также сам Владимир Григорьевич, и все они занялись спешным копированием тех мест в дневнике Льва Николаевича, которые компрометировали Софью Андреевну и которые она, по их мнению, могла уничтожить. Затем дневники были упакованы и отправлены в Ясную Поляну. Чертков, стоя на крыльце телятинковского дома, с шутливой торжественностью перекрестил Александру Львовну в воздухе папкой с дневниками и затем вручил ей эти дневники. Тяжело ему было расставаться с ними…»

Этот издевательский жест Черткова был как бы благословлением Саши на ее войну с родной матерью.

Перед отправкой дневников Чертков послал Л.Н. письмо, в котором сравнивал его с Христом. «Мне сегодня особенно живо вспомнилось умирание Христа, как его поносили, оскорбляли, как глумились над ним, как медленно убивали его, как самые близкие к нему по духу и по плоти люди не могли к нему пойти и должны были смотреть издали…» И Толстой воспринял эту грубую лесть как должное. «От Бати тронувшее меня письмо». Как и все «чертковцы», он называл Черткова «Батей».

Когда С.А. выбила у мужа обещание не встречаться с Чертковым, В.Г. нанес ответный удар в виде еще одного письма к

Толстому. Целью его было «открыть глаза» Л.Н. на подоплеку поведения его жены и сыновей.

«Цель же состояла и состоит в том, чтобы, удалив от вас меня, а если возможно и Сашу, путем неотступного, совместного давления выпытать от вас или узнать из ваших дневников и бумаг, написали ли вы какое-нибудь завещание, лишающее ваших семейных вашего литературного наследства, если не написали, то путем неотступного наблюдения за вами до вашей смерти помешать вам это сделать, а если — написали, то не отпускать вас никуда, пока не успеют пригласить черносотенных врачей, которые признали бы вас впавшим в старческое слабоумие для того, чтобы лишить значения ваше завещание».

Это был откровенный донос. Но, увы, не лишенный правды. Маковицкий писал в своих «Записках»: «Софья Андреевна выдала свои планы: если бы узнала, что Лев Николаевич написал Завещание, то пошла бы к царю, представила бы себя нищей и выпросила бы уничтожения Завещания Льва Николаевича и введение себя в права. Думает о том с тремя младшими сыновьями: объявить Льва Николаевича сумасшедшим».

Комментируя эту запись в 1933 году, Сергей Львович Толстой не отрицал хождения в доме таких разговоров. «Я был в то время в Ясной и должен сказать, что разговоры об объявлении Льва Николаевича впавшим в старческое слабоумие и потерявшим память (а не сумасшедшим) были, но не было и не могло быть серьезных намерений. Ведь Софья Андреевна, Андрей Львович и Лев Львович знали, что я, Татьяна Львовна и Александра Львовна и, вероятно, Илья Львович не допустили бы этого. В то время они, очевидно, не сознавали всей гнусности и глупости таких мероприятий…»

Но если бы С.А. действовала хитро, сознательно и продуманно, она не стала бы говорить при людях тех вещей, которые она повторяла настойчиво, маниакально, вызывая к себе антипатию даже у сочувствующих ей лиц. Даже Лев Львович порой не выдерживал и кричал на мать, пытаясь облагоразумить ее. Она говорила, что Л.Н. влюблен в Черткова, что живого мужа для нее больше не существует, что она давно ждет его смерти и что ей не помешают его убить. Она не давала Л.Н. спать, не позволяла ни с кем оставаться наедине и непрерывно шантажировала угрозами самоубийства. Неужели же из этого можно сделать вывод о каком-то преднамеренном плане?!

Всё это Л.Н. с огромным терпением пытался втолковать В.Г. в письмах.

«Софья Андреевна очень спокойна, добра, и я боюсь всего того, что может нарушить это состояние, и потому до времени

ничего не предпринимаю для возобновления свиданий с вами» (31 июля).

«…она совершенно невменяема, и нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости, и невозможно, мне по крайней мере, совершенно *невозможно* ей contrecarrer[26], и тем явно увеличивать ее страдания» (14 августа).

«…связывает меня просто жалость, сострадание, как я это испытал особенно сильно нынче…» (в тот же день).

«Как подумаешь, каково ей одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна с смутным, но больным сознанием, что она не любима и тяжела всем, кроме детей, нельзя не жалеть…» (25 августа).

«Она страдает и не может победить себя» (9 сентября).

Толстой пытался говорить с Чертковым на человеческом языке. Но его сентиментальные письма не только не могли переубедить Черткова, а, наоборот, вызывали в нем опасение, что учитель дрогнет и переделает завещание. И опасения не были лишены оснований.

30 июля в Ясную приехал П.И.Бирюков с семьей. Ему как доверенному лицу рассказали о завещании, и «Поша» выразил неодобрение. Он сказал Л.Н., что держать такой документ в тайне от домашних неправильно. По-видимому, на Бирюкова произвел впечатление разговор с С.А., которая пожаловалась на свое положение в доме. Как человек, способный взглянуть со стороны, Бирюков был ошеломлен тем, что происходило в Ясной Поляне, и высказал это Толстому. И Толстой сам увидел, что сделал что-то не то.

«Очень, очень понял свою ошибку, — пишет он в дневнике. — Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову». Это письмо было Черткову как нож в сердце.

«Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал мне, что я виноват тем, что сделал завещание тайно. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до кого это касалось, или всё оставить, как было, — *ничего не делать*. И он совершенно прав, я поступил дурно и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, составив по форме завещание. Теперь я ясно вижу, что во всем, что совершается теперь, виноват только я сам. Надо было оставить всё, как было, и ничего не делать…»

Подумать только! И это он написал человеку, который шесть лет (!), начиная с 1904 года, вел сложнейшую конспиративную

работу по составлению завещания Толстого! Что означали для Черткова слова «ничего не делать»? Ровно то, что всё наследие Л.Н. достанется жене и детям.

Ответом Черткова было длинное письмо к Толстому от 11 августа. Почти десять дней потребовалось ему, чтобы прийти в себя и составить эту, как он ее называл, «докладную записку». В этом письме Чертков объяснял Толстому, как готовилось завещание и что руководило Толстым, когда он его подписывал. По сути, он пересказывал ему важнейший эпизод его собственной биографии так, словно Толстой забыл о нем. И Л.Н. вновь поменял решение.

«Пишу на листочках, потому что пишу в лесу, на прогулке. И с вчерашнего вечера и с нынешнего утра думаю о вашем вчерашнем письме. Два главные чувства вызвало во мне это ваше письмо: отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видел, или видел и забыл; и огорчение и раскаяние в том, что я сделал вам больно своим письмом, в котором выражал сожаление о сделанном. Вывод же, какой я сделал из письма, тот, что Павел Иванович был неправ и также неправ и я, согласившись с ним, и что я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью всё-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как».

Невольно создается впечатление, что Толстой вел себя как флюгер, поддаваясь порыву первого случайного ветра. Но на самом деле позиция его была гораздо сложнее и отражала его общее миропонимание. Толстой *никак не хотел решать* эту проклятую юридическую проблему и верил, что она должна решиться сама собой в «любовном» ключе, за счет еще не использованных душевных ресурсов обеих враждующих сторон. Он пытался воздействовать на враждующие стороны «добром, любовью». Это была его борьба и даже, если угодно, его *война* «непротивления злу силою». И также он поступал в 1904 году, когда отвечал на «вопросник» Черткова и просил *добром* уничтожить этот документ. И теперь, соглашаясь с Бирюковым и сообщая об этом Черткову, он взывал к его нравственному чувству, призывал к душевному сотрудничеству с С.А. Получив отрицательный ответ, он снова уступал, продолжая тем не менее свою тихую, незаметную войну.

Если бы Чертков понимал позицию Толстого, он обратил бы внимание на ключевое место в одном из писем. «В то же, что решительное отстаивание моих решений, противных ее (жены. — *П.Б.*) желанию, могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, всё-таки не мог бы этого делать. Главное же, кроме того,

что думаю, что я должен так поступать, я по опыту знаю, что, когда я настаиваю, мне мучительно, когда же уступаю, мне не только легко, но даже радостно».

Если бы Чертков был способен перенести эти слова на самого себя, он понял бы, что Толстой и с ним ведет разговор как… с безумцем, с которым не надо спорить.

Разве не безумным было ответное письмо Черткова, в котором он лихорадочно доказывал, что сохранить завещания в тайне «необходимо в интересах самой Софьи Андреевны»? «Если бы она при вашей жизни определенно узнала о вашем распоряжении, то просто не выдержала бы этого, столько лет подряд она измышляла, лелеяла и применяла, с такой обдуманностью, предусмотрительностью и осторожностью, свой план захвата после вашей смерти всех ваших писаний, что разочарование в этом отношении при вашей жизни было бы для нее ударом слишком невыносимым, и она никого и ничего бы не пощадила бы, не пощадила бы не только вас, вашего здоровья и вашей жизни, но не пощадила бы себя, своей жизни и, ужаснее всего, своей души — последних остатков совести, в отчаянной попытке отвоевать, добиться своего, пока вы еще живы…»

Чем же принципиально отличался «здоровый» В.Г. от больной С.А., когда фактически шантажировал Толстого угрозой самоубийства его жены, добиваясь сохранения в тайне направленного против нее же завещания?

С.А. поступала неправильно, когда не отпустила мужа в Кочеты одного, принудила взять ее с собой, продолжая мучить его и в имении дочери. Но разве не безумием, только хитрым и расчетливым, было посланное в Кочеты письмо Гольденвейзера с фрагментом из дневника Феокритовой, где доносилось о поведении графини в Ясной Поляне во время ее краткосрочного туда отъезда? Об этом доносе пишет в дневнике М.С.Сухотин:

«В Ясной живет некто В.М.Феокритова, ремингтонистка С.А., наперсница для Саши и наушница, где случится. Эта В.М. ведет, как и многие другие, свой дневник В этот дневник попали и те 3 дня, которые СА провела недавно в Ясной. И эта часть дневника была переписана А.Б.Гольденвейзером и переслана им, совместно с А.К.Чертковой и В.М.Феокритовой, Л-у Николаевичу. Содержание вкратце таково. СА весела, вполне здорова, есть и спит прекрасно (всего этого мы в Кочетах не видели) и ни с того ни с сего будто бы излила свою душу пред В.М., поделилась в своей ненависти и отвращении к старому мужу, словом, эта С.А. оказалась не простоволосая и болтливая С.А., а какая-то подлая и злобная леди Макбет.

Прочтя этот отвратительный, лживый и хамский донос,

написанный как будто с целью устрашить Л.Н. и принудить его дать какое-либо юридически правильное разрешение Черткову на печатание сочинений, меня затошнило, и я долго заснуть не мог».

Но еще больше Сухотина поразило то, что Толстой отнесся к этому письму с огромным интересом. Этот интерес отмечен и в дневнике Толстого: «От Гольденвейзера письмо с выпиской В.М., ужаснувшей меня».

Но что именно ужаснуло его? Содержание выписки? Сам факт ее присылки?

О настроении Л.Н. можно судить по письму к Черткову, написанному перед возвращением из Кочетов в Ясную Поляну. «Одно скажу, что в последнее время „не мозгами, а боками“, как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением — деланием зло за зло, и противлением неуступания в той деятельности, которую признаешь своим долгом перед своей совестью и Богом. Буду пытаться».

Он пишет, что «обдумал свой образ действий при возвращении, которое уже не хочу и не могу более откладывать…»

Толстой возвращался в Ясную Поляну после полутора месяцев пребывания в Кочетах явно с каким-то новым осознанным планом действий. Но в чем он заключался, мы можем только догадываться.

Несомненно одно — план этот потерпел поражение. Сначала жена украла его тайный дневничок, который старик прятал в голенище сапога. Из него она наконец узнала, что завещание существует. Потом Чертков, не простив С.А. обиды на свое отстранение от тела Учителя, прислал ему жуткое письмо «с упреками и обличениями». Толстой восклицает в дневнике: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех». На следующий день он послал В.Г. резкий ответ, в котором впервые (!) за всю историю их переписки потребовал *не вмешиваться* в отношения с женой. «Решать это дело должен я один в своей душе, перед Богом, я и пытаюсь это делать, всякое же чужое участие затрудняет эту работу. Мне было больно от письма, я почувствовал, что меня разрывают на две стороны…»

Он слишком поздно это почувствовал. Ситуация зашла в окончательный тупик С двух сторон его бомбардировали «упреками и обличениями» С.А. и В.Г. И каждый требовал своих «исключительных прав» не только на его наследие, но и на его душу. В это время он начинает свое последнее художественное произведение — рассказ «Нет в мире виноватых». Третья редакция этой незавершенной вещи начиналась словами: «Какая странная, удивительная моя судьба».

После того как мать фактически выгнала Сашу из дома, с Толстым произошел уже не обморок, но смертельный припадок со страшными судорогами, когда его тело перебрасывало поперек кровати и его не могли удержать несколько мужчин. После этого мать с дочерью помирились. С.А. разрешила Черткову посещать Ясную Поляну. Потом всё началось снова…

В ночь с 27 на 28 октября он бежал из дома.

Глава десятая
ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

В Астапове силы покинули Толстого. Но зрение его оставалось безукоризненным. Путь Л.Н. от здания станции до домика Озолина напоминает движение больной птицы, которая уже не может летать, не может даже самостоятельно передвигаться по земле, но при этом видит всё очень отчетливо, потому что привыкла смотреть на это с высоты птичьего полета.

Домик Озолина стоял под откосом, по которому шла лестница. Было уже темно. «При выходе из здания станции, — вспоминал Озолин, — направляясь к квартире, служащий, который держал за руку Льва Николаевича, предупредил его, что спускаемся с лестницы. Он ответил: „Ничего, ничего, я вижу“. Такое предупреждение было сделано, и тот же ответ был получен при входе на лестницу квартиры; один из сослуживцев при входе в коридор попросил лампу для освещения коридора, но Лев Николаевич сказал: „Нет, я вижу, я всё вижу“».

К великому счастью, в последующие семь дней Толстой не мог видеть всего, что происходило в Астапове. В ночь с 6 на 7 ноября разыгралось осеннее предзимнее ненастье. «Погода как будто разделяет подавленное настроение людей, — писал о той ночи журналист В.А.Готвальд. — Земля слегка подмерзла, а сверху тихо падают не то мелкие дождевые капли, не то что-то склизкое, отвратительно холодное… Я не могу себе представить ничего ужаснее этой ночи. Темно. На рельсовых путях сквозь туман как-то особенно зловеще мигают красные сигнальные фонари. В садике, разбитом перед историческим домиком, стоит несколько берез. Их ветки покрыты обледенелой корой. При малейшем дуновении ветерка ветви сталкиваются, ледяная кора звенит и потрескивает, и создается гул, напоминающий какие-то далекие, невообразимо печальные звуки музыки. Кажется, будто где-то вдали рыдают сонмы неведомых существ…»

По дороге из Козельска в Астапово за Толстым и его спутниками следил не только корреспондент «Русского слова» Константин Орлов. К слежке за беглецами подключилась и сложнейшая полицейская машина.

Толстой и его спутники находились еще в пути, когда из Белева на станцию Куркино была отправлена телеграмма: «По прибытии п. № 12 немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой; если едет, то где он остался от поезда. Телеграф, мне. Вах. Пушков». Телеграмма была послана в 3:20 дня 31 октября. Ответ пришел через два с половиной часа из Данкова, последней крупной станции перед Астапово: «Едет п. № 12 по билету 2 класса Ростов-Дон. Унт. — офицер Дыкин».

Еще через два часа из Астапова в Елец ушла телеграмма ротмистру М.Н.Савицкому, начальнику Елецкого отделения жандармского полицейского управления железных дорог: «Писатель граф Толстой проездом п. 12 заболел. Начальник ст. г. Озолин принял его в свою квартиру. Унтер-офицер Филиппов».

В 10 часов утра 1 ноября в Елец Савицкому телеграфировал уже сам начальник Московско-Камышинского жандармского полицейского управления железных дорог генерал-майор Львов: «Ожидается донесение на № 649». Ответ Савицкого пришел с очевидным запозданием, в 7 часов вечера: «Лев Толстой, в сопровождении доктора Маковицкого и двух родственниц, заболел в пути, остался в квартире начальника станции Астапово».

Разобраться в этом иерархическом хитросплетении полицейских донесений того времени современному человеку очень трудно. Но ясно одно. Ни о каком тайном следовании в Новочеркасск и уж тем более — пересечении границы по подложным паспортам — речи быть не могло.

Фигура ротмистра Михаила Николаевича Савицкого весьма любопытна. Во всей этой истории он оказался «крайним» из всех полицейских чинов, на которых была возложена не только обязанность наблюдения за Толстым и донесения об этом в Москву, но и ответственность за сохранение общественного спокойствия на станции Астапово.

Однако находясь в Ельце Орловской губернии, Савицкий первые три дня не контролировал ситуацию, чем вызвал недовольство московского начальства. Когда газеты уже наперебой печатали сообщения своих спецкоров из Астапова, ротмистр странно молчал, возможно, еще не догадываясь, что именно он-то и назначен «крайним». Астапово кишело журналистами столичных и провинциальных газет; их некуда было размещать, так что Озолин был вынужден просить у своего

начальства выделить для их проживания отдельный вагон. А Савицкий всё еще находился в Ельце и 3 ноября телеграфировал генералу Львову то, о чем знала из газет вся Россия:

«После второго звонка п. № 12 дочь Толстого, ввиду заявления врача о крайне опасном его положении, обратилась с просьбой к начальнику станции дать помещение. Таковое начальником и предоставлено в своей квартире за неимением другого».

В тот же день генерал Львов шифрованной (!) телеграммой обязал его самолично ехать в Астапово с пятью жандармами и взять контроль ситуации на себя[27]. Телеграмма Львова была послана в 3 часа дня. Но Савицкий почему-то медлил и оставался в Ельце. В тот же день вечером ему пришло тревожное донесение астаповского унтер-офицера Филиппова: «Прибыли корреспонденты „Утро“, „Русское слово“, „Ведомости“, „Речь“, „Голос Москвы“, „Новое время“ и „Петербургское Телеграфное Агентство“. Завтра поездом 11 едет Астапово рязанский губернатор». Контролировать ситуацию ротмистр пытался из Ельца: «Астапово. Унтер-офицеру Филиппову. Никому из прибывших на вокзал не проживать. Приеду завтра вечером. Кроме квартиры начальника станции в станционных зданиях никому не оставаться. В квартире Озолина жить только четверым раньше прибывшим. Ротмистр Савицкий».

Но не размещать прибывших и еще прибывающих корреспондентов было невозможно. Находившийся в Саратове управляющий делами Рязанско-Уральской железной дороги Д.А.Матренинский, в чьем подчинении находилось Астапово, был вынужден телеграфировать Озолину: «Разрешаю допустить для временного на один-два дня пребывания корреспондентов петербургских, московских и других газет занятие одного резервного вагона второго класса с предупреждением, что вагон может экстренно понадобиться для начавшихся воинских перевозок».

Одновременно он телеграфировал начальнику дистанции Рязанско-Уральской железной дороги на станции Астапово Клясовскому, чтобы тот подготовил для временной гостиницы отдельный дом, протопил его, оборудовал кроватями с бельем. Но журналистов туда пока не запускал до особого распоряжения.

Получивший от Савицкого приказ не пущать унтер-офицер Филиппов запретил заселение дома и вагона, о чем двумя телеграммами, в ночь на 4 ноября и утром, отрапортовал ротмистру. Встревоженный Матренинский, понимая, что ситуация на подведомственной ему станции станет критической, 4 ноября обратился телеграммой к Савицкому: «Ввиду исключительных

обстоятельств, покорно прошу не препятствовать нахождению на станции Астапово в общественных домах и вагонах прибывающих родных графа Льва Николаевича Толстого и посторонних лиц; в поселке поместиться затруднительно и даже невозможно. Просьба телеграфировать на место и мне». — «Для помещения в полосе отчуждения лиц, имеющих паспорта, препятствий не встречается, — отвечал ротмистр, — прочих будет решено сегодня вечером на месте».

В этот же день Савицкий получил от генерала телеграммой шифрованный нагоняй: «До сего времени ни разу не получил никаких сведений, как бы следовало делать ежедневно подробно почтою, в экстренных случаях по телеграфу, о том, что происходит Астапове. Ставите трудное положение перед штабом». Вечером Савицкий был в Астапове и стал одним из бесценных свидетелей тех интриг, которые происходили вокруг умиравшего Толстого.

Империя вздрогнула

В течение семи дней, с 31 октября по 7 ноября 1910 года, малоизвестная станция Астапово Рязанско-Уральской железной дороги стала «узловым» местом для всей огромной России и для всего мира.

Создавалось впечатление, что в эти семь дней на станции не умирал пусть и знаменитый, но всё-таки частный человек, а решалась судьба империи, и за решением этой судьбы наблюдал весь земной шар. В астаповский узел или, вернее сказать, астаповский водоворот втягивалось невероятное количество самых разнообразных лиц, представителей всех сословий громадной Российской империи: железнодорожные рабочие и служащие, крестьяне ближних деревень, священники, монахи, доктора, журналисты, полицейские, телеграфисты, генерал-губернаторы, чиновники всех мастей, члены Синода, Столыпин и Николай II.

И самое удивительное — каждый из них чувствовал свою личную ответственность за уход и смерть Толстого, переживая ее как огромный, внезапно свалившийся на него груз, и, как водится, старался переложить этот груз на плечи другого, рангом повыше или пониже. Частный поступок одного-единственного человека, продиктованный, в общем, исключительно семейными обстоятельствами, явился проверкой на прочность тысячелетней империи.

3 ноября корреспондент «Утра России» С.С.Раецкий сообщал

в газету: «Телеграф работает без передышки. Запросы идут министерства путей, управления дороги, калужского, рязанского, тамбовского, тульского губернаторов. Чиновник особых тульского губернатора приезжал, производил расследование. Семья Толстого забрасывается телеграммами всех концов России мира».

Приехавший утром 4 ноября рязанский генерал-губернатор князь А.Н.Оболенский пытался выжить со станции корреспондентов. Ради этого закрыли станционный буфет, т. е. очевидно предполагая выморить их голодом. Журналисты были вынуждены обратиться к генерал-майору Львову коллективной телеграммой. Журналистов оставили в покое и стали заботиться об их размещении. «Для станции Астапово требуется временно большое количество кроватей с матрасами и со всеми прочими принадлежностями…» «Прошу срочно выслать в Астапово штук десять-пятнадцать столовых ламп совершенно крепких, хорошо упакованных, во избежание повреждений в дороге», — телеграфировал из Саратова начальникам ближайших к Астапову станций заведующий хозяйственной службой Рязанско-Уральской железной дороги Волынский.

Поначалу рязанский губернатор хотел «убрать» со станции самого Толстого. 2 ноября генерал Львов шифровкой запрашивал Савицкого: «Телеграфируйте кем разрешено Льву Толстому пребывание Астапове станционном здании, не предназначенном помещения больных. Губернатор признает необходимым принять меры отправления лечебное заведение или постоянное местожительство».

Положению, в котором оказался рязанский губернатор, в подведомственной губернии которого почему-то вздумалось умирать Льву Толстому, действительно не позавидуешь. У него не было никакого опыта в организации кончин всемирно известных писателей на случайных железнодорожных станциях. Чтобы представить состояние князя Оболенского, достаточно прочитать его шифрованную телеграмму в Петербург заместителю Столыпина в министерстве внутренних дел генерал-лейтенанту П.Г.Курлову: «Прошу сообщить, переговорив архиереем, можно ли местному священнику служить молебен здравии Толстого. Вчера его запросили, он не склонен согласиться. Посоветуйте не разрешать».

Вот это и есть — империя вздрогнула! Вопрос о молебне станционного священника о здравии Л.Н. решался на уровне губернатора, замминистра внутренних дел и столичного владыки.

Как в 1902 году, когда Л.Н. болел в Крыму, Синод оказался в чрезвычайно сложном положении. Недовольство царя «отлучением» Толстого в виду его возможной смерти было

настолько прозрачно, что Столыпин держал своего чиновника особых поручений возле дверей, за которыми проходило экстренное заседание членов Синода по случаю ухода и вероятной смерти Толстого, дожидаясь от них положительного решения вопроса.

4 ноября в Астапово пришла телеграмма от митрополита Антония, в которой тот умолял графа вернуться в православную церковь. Но при этом, судя по телеграмме князя Оболенского Курлову, тот же митрополит запретил местному священнику служить молебен во здравие Толстого.

К сожалению, о словесной реакции Николая на конфликт Синода с Толстым мы знаем из источника не совсем надежного — книги Сергея Труфанова (бывшего иеромонаха Илиодора) о Григории Распутине «Святой черт». В ней приводятся слова Распутина, говорившего с царем после смерти Л.Н. «Папа (Николай II. — *П.Б.*) говорит, что если бы они (епископы. — П.Б.) ласкали Л.Н.Толстого, то он бы без покаяния не умер. А то они сухо к нему относились. За всё время только один Парфений и ездил к нему беседовать по душам. Гордецы они!»

Упоминание тульского епископа Парфения в этом контексте видится весьма достоверным. Именно Парфений, как встречавшийся с Л.Н.

в 1909 году и произведший на него самое благоприятное впечатление, был затребован Синодом в Петербург и отправлен в Астапово с целью вернуть Толстого в лоно церкви.

Миссия Парфения не удалась. Впрочем, она и не могла удаться, потому что Парфений прибыл на станцию лишь 7 ноября в 9 часов утра, почти через три часа после смерти Толстого. Между тем епископ выехал из Петербурга 4 ноября. Его «неторопливость», видимо, объясняется нежеланием владыки участвовать в безнадежном деле. Помимо того, что он хорошо знал о настроениях Толстого, он из газет был прекрасно осведомлен об астаповской ситуации в целом. Парфений знал, что у постели больного неотлучно дежурят Чертков и дочь Александра, которые ни при каких условиях не допустят встречи Л.Н. с православным священником.

Перед отъездом из Астапова Парфений беседовал с ротмистром Савицким и сыном Толстого Андреем Львовичем, пытаясь выяснить у них, не проявлял ли Толстой перед смертью каких-либо признаков желания примириться с церковью. Выбор для разговора именно этих лиц, а не тех, кто реально общался с Толстым в эти дни, был, разумеется, не случаен. Однако ни Савицкий, ни Андрей Львович, единственный убежденный православный из всех детей Толстого, не смогли предоставить

владыке какие-либо свидетельства о переломе в религиозном настроении Л.Н. Больше того: Андрей Львович заявил о единодушном коллективном решении семьи хоронить Толстого без церковного обряда. В отчете Синоду Парфений писал: «Удивленный этими словами я заметил: „А ведь матушка ваша полтора года тому назад мне лично говорила обратное…“ Андрей Львович ответил, что и мать, убитая горем, изменила свою позицию, „кроме того, она сейчас нервно расстроена и с ней разговаривать невозможно. Братья — пожалуй — относятся безразлично, а сестры решительно не желают церковного обряда…“»

Парфений поступил рассудительно и в результате не оказался в затруднительном положении, в отличие от несчастного старца Варсонофия, которому пришлось испить чашу унижений до дна.

Последняя попытка

Вокруг приезда Варсонофия в Астапово и его попытки побеседовать с Толстым на смертном одре существует много мифов и домыслов, которые не имеют к астаповской реальности прямого отношения. Если объединить все эти домыслы, то общая мифологическая картина получится примерно следующая.

Уходя из Ясной Поляны, Толстой думал вернуться в православие. Ради этого он поехал в Оптинский монастырь, где хотел остаться послушником. Но гордыня не пустила его к старцам. Выгнанный из Шамордина приехавшей туда дочерью Сашей, он пустился в дальнейший путь. Но оказавшись в Астапове, смертельно больной, он раскаялся и послал в Оптину пустынь телеграмму о желании встретиться с Варсонофием. Однако приехавшего со Святыми Дарами отца Варсонофия не пустили к умиравшему Чертков и младшая дочь Толстого. Эти же лица не пустили к Толстому его верующую и церковную жену.

Опровергнуть этот миф несложно, все факты говорят против него. Сложнее понять ту долю правды, которую он включает в себя.

Осмысляя уход Толстого, его современник Лев Тихомиров писал: «Странный конец жизни… Здесь чувствуется какая-то борьба за душу. Ему хотелось примириться с церковью, но сатана крепко держался за него».

В этих словах есть хотя и неточный, но глубокий смысл. Беда в том, что под «сатаной» часто понимают вполне конкретных людей из астаповского окружения Толстого. И в то же время

придают слишком идеализированное значение приезду в Астапово Варсонофия.

Никакой телеграммы Льва Толстого в Оптину с просьбой о встрече с Варсонофием не было. Это должен был признать и детально исследовавший этот вопрос священник Георгий Ореханов.

Миф этот возник после публикации в православном журнале, выходящем в Бразилии («Владимирский вестник», Сан-Пауло, № 62, 1956), воспоминаний бывшего послушника оптинской канцелярии игумена Иннокентия. В них говорилось, что из Астапова в Оптину якобы пришла телеграмма от Л.Н. с просьбой *отцу Иосифу* приехать на станцию. Посовещавшись, монастырская братия решила послать туда не тяжело больного Иосифа, а скитоначальника Варсонофия.

«Иннокентий, скорее всего, ошибся, — пишет Георгий Ореханов, — причем понятно почему. По всей видимости, отец Иннокентий перепутал две телеграммы: мнимую телеграмму от Толстого и действительную телеграмму от преосвященного Вениамина (Муратовского), в то время епископа Калужского, о назначении по распоряжению Св. Синода иером. Иосифу ехать на станцию Астапово к заболевшему в пути графу Л.Н.Толстому…»

Телеграмму Толстого, если бы она существовала, было бы просто немыслимо утаить. Все телеграммы, посланные из Астапова, включая шифровки Савицкого, были сохранены и впоследствии опубликованы. Священный Синод, испытывавший серьезное давление со стороны Царского села и Столыпина, через епископа Парфения пытался обнаружить хотя бы *косвенные* признаки желания Толстого примириться с православием. Не получив их, Парфений старался, по крайней мере, выяснить настроение *родственников* Толстого: нет ли у них желания похоронить мужа и отца по церковному обряду? И тоже получил отрицательный ответ. Для Синода существование телеграммы было бы настоящим подарком! Но ее не было. Толстой не мог отправить никакой телеграммы. Единственная отправленная писателем телеграмма из Астапова (Черткову) была продиктована Саше.

В «Летописи» Оптиной пустыни ничего не говорится о телеграмме Толстого. Зато в ней подробно говорится о телеграмме калужского епископа, из-за которой Варсонофий и оказался в Астапове.

«Накануне, 4-го числа сего месяца (ноября. — *П.Б.*), утром получена телеграмма Преосвященного Калужского о назначении по распоряжению Синода бывшему скитоначальнику иеромонаху Иосифу ехать на станцию Астапово Рязанско-Уральской железной

дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения с Церковью. На сие отвечено телеграммою, что отец Иосиф болен и на воздух не выходит, но за послушание ехать решился. При сем настоятелем Оптинским испрашивалось разрешение вследствие затруднения для отца Иосифа ехать по назначению заменить его отцом игуменом Варсонофием. На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святейший Синод сие разрешил. Затем отцом настоятелем телеграммою запрошено у Преосвященного, достаточно ли в случае раскаяния Толстого присоединить его к Церкви чрез Таинства Покаяния и Святого Причащения, на что получен ответ, что посланное для беседы с Толстым лицо имеет донести Преосвященному Калужскому о результате сей беседы, чтобы епископ мог о дальнейшем снестись с Синодом. Вечером 4-го же числа от старца отца Иосифа было телеграммою спрошено у начальника станции Астапово, там ли Толстой, можно ли его застать 5-го числа вечером и если выехать, то куда. На это получен ответ, что семья Толстого просит не выезжать. Однако утром сего числа игумен Варсонофий, во исполнение синодального распоряжения, выехал к графу Толстому в Астапово».

Никакой инициативы Толстого из Астапова не было. Но не было инициативы и со стороны Оптиной. Инициатива была со стороны Синода, и старцы Оптиной восприняли ее как *послушание.*

Приехавший в Астапово Варсонофий оказался в мучительно трудном положении. Во-первых, его известность в то время была несравненно меньше славы Иосифа, с которым действительно хотел встретиться Толстой в Оптиной. Во-вторых, для Варсонофия обнаружить подлинные мотивы приезда означало выставить Синод в неприятном свете. Варсонофий вынужден был молчать. Но при этом он выглядел «самозванцем». Ведь его не приглашали не только Толстой, но даже и семья, которая к этому времени уже почти в полном составе (за исключением проживавшего в Париже Льва Львовича) находилась на станции.

Варсонофий оказался таким же «крайним» страдательным лицом, как и ротмистр Савицкий. (Кстати, Варсонофий в прошлом был полковником армии.) На него переложили ответственность за роковую ошибку Синода 1901 года, в которой старец не принимал ни малейшего участия. В глазах сотни корреспондентов, освещавших астаповскую трагедию, он выглядел «засланным казачком», о котором писали в исключительно издевательском ключе.

Больше того, судя по телеграммам корреспондентов,

Варсонофий был вынужден не просто молчать, а говорить неправду об истинных причинах своего приезда.

А.Ф.Аврех — «Раннему Утру»: «Только что приехал игумен из Оптиной пустыни Варсонофий сопровождении иеромонаха Пантелеймона (оптинский врач. — *П.Б.*). По словам последнего Варсонофий командирован Синодом. Сам же Варсонофий отрицает это, говоря, что заехал проездом на богомолье».

П.А.Виленский — «Киевской мысли»: «Мне игумен сказал, Толстого не знает; ехал на богомолье, заехал».

Гарнее — «Саратовскому вестнику»: «…монахи отрицают цель».

А.А.Епифанский — «Утру»: «Старец беседе корреспондентами говорит, едет богомолье, заехал повидать Толстого. Андрею Львовичу заявил, Толстой время поездки Оптину искал его».

Гарнее: «Монахи прибыли дарами, совещались дорожным священником, ночью тайно пробрались дому. Толстому не проникли: дверь замке, ключник пропускает паролю».

Эти телеграммы можно цитировать бесконечно. То откровенное публичное унижение, которому подвергался пожилой монах, впоследствии причисленный к лику святых, яснее ясного свидетельствует о роковой ошибке Синода 1901 года. Нашли кого «отлучать»! Толстого! Чуть ли не единственного верующего человека среди всей пишущей братии! Среди корреспондентов в Астапове не было ни одного «отлученного».

Не лучшим образом повела себя по отношению к старцу семья Толстого. Зная, что отец, бежав из дома, первым делом поехал в монастырь, Саша сделала всё для того, чтобы отец ничего не знал о приезде священника в Астапово. У нее было твердое оправдание: врачи не советовали беспокоить больного. На этом же основании и другие дети Л.Н., включая Сергея и Татьяну, находившиеся рядом с отцом, не настаивали на том, чтобы сообщить Л.Н. о приезде Варсонофия и телеграмме митрополита Антония. Но это оправдание видится весьма зыбким. В Крыму, когда Толстой находился g в предсмертном состоянии, известие о письме Антония, о котором сообщила ему жена, почему-то не вызвало у него остановки сердца. Зато мы твердо знаем, что думал Толстой о церкви в тот момент. Но мы ничего не знаем о его мыслях об этом перед настоящей смертью.

И это — печально…

На запасном пути

В книге «Уход Толстого» Чертков в качестве одного из

главных аргументов в пользу завещания Толстого, по которому все права на распоряжение литературным наследием писателя фактически переходили одному В.Г., приводил тот факт, что единственным человеком, которого Л.Н. вызвал в Астапово, был именно он. Судя по запискам Саши и Маковицкого, это действительно так. Но всё-таки никакой телеграммы *Толстого* с вызовом Черткова не было. Телеграмма была *от Саши* со слов Толстого, вроде бы пожелавшего видеть Черткова. Но при этом сам Толстой продиктовал дочери телеграмму другого содержания. Две телеграммы были посланы дочерью одновременно в 10:30 утра 1 ноября.

Утром 1 ноября, пишет Маковицкий, Толстой почувствовал себя бодрее. Температура упала до 36,2°. «Л.Н. говорил, что ему лучше и что можно ехать дальше». Телеграмма Черткову, которую Толстой продиктовал Саше, была такая: «Вчера захворал. Пассажиры видели ослабевши шел поезда. Нынче лучше. Едем дальше. Примите меры. Известите. Николаев».

Из этой телеграммы никак нельзя сделать вывод, что Л.Н. вызывал Черткова в Астапово. Скорее наоборот. Толстой просил «милого друга» оставаться на месте и «принимать меры». Об этих «мерах» он писал Черткову из Шамордина: следить за состоянием и настроением С.А. и сообщать ему по пути его следования. Но вместе с этой телеграммой Саша отправила свою: «Вчера слезли Астапово. Сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо. Выражал желание видеться вами. Фролова».

Вызов Толстым Черткова, если таковой и был, противоречил обещанию, которое Л.Н. дал своей жене письменно 14 июля 1910 года:

«…если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду наверное не к Ч. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше жить, как мы живем теперь, невозможно».

Конечно, то состояние, в котором находился Толстой и во время ухода, и в Астапове, не позволяет делать какие-то уверенные законченные выводы. Кроме одного: Толстой явно *хотел* видеть Черткова…

Вынужденная, под давлением жены, разлука с Чертковым и стала одной из главных причин этого ухода. Накануне, 26 октября, он написал В.Г. письмо, которое не оставляет в том никакого сомнения.

«Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью — до грусти, — как мне недостает вас…

Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, зная, что я вполне понят, как с вами».

В письме к старшим детям из Астапова он писал: «Милые мои дети, Сережа и Таня, надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе».

Из этого письма можно лучше всего прочувствовать неразрешимость сложившегося в конце жизни Толстого семейного «треугольника». Перед смертью Л.Н. не зовет к себе *никого* из членов семьи, объясняя это нежеланием обидеть С.А. Но при этом он призывает к себе человека, чей приезд в Астапово является самым страшным ударом для жены. Потому что этот человек находится в *исключительном* положении.

В то же время внимательный взгляд заметит путаницу в цифрах, которая есть в письме. Он относит начало духовного переворота на десять лет раньше, чем было на самом деле. И вся логика письма (не зову вас, чтобы не обидеть мать, но зову Черткова) говорит, что Толстой тогда находился уже за пределами обычной земной реальности и думал совсем об ином.

В этот же день он продиктовал Саше: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше он истинно существует».

В это «истинное существование» семья не то чтобы не укладывалась, но она входила туда уже на общих правах со всеми людьми. Один лишь Чертков продолжал находиться в исключительном положении.

И он знал это. После бегства мужа из дома С.А. в очередной раз попыталась помириться с Чертковым. Через Булгакова она пригласила его приехать в Ясную Поляну для переговоров. И — получила отказ.

«В Ясной Поляне, — пишет Булгаков, — все были удивлены,

что я вернулся один. Никто не допускал и мысли, что Чертков мог отказать Софье Андреевне в исполнении ее желания увидеться и примириться с ним». «Когда Владимир Григорьевич выслушал просьбу Софьи Андреевны, он было в первый момент согласился поехать в Ясную Поляну, но потом раздумал.

— Зачем же я поеду? — сказал он. — Чтобы она унижалась передо мной, просила у меня прощения?… Это ее уловка, чтобы просить меня послать ее телеграмму Льву Николаевичу».

В.Г. всё правильно понял. Главной задачей жены Толстого было вернуть мужа во что бы то ни стало. И это была такая же ошибка, как и то, что она насильственно разлучила его с Чертковым. Толстой мог бесконечно терпеть ограничение внешней свободы и даже радовался этому. Но весь склад его натуры отрицал стеснение внутренней воли, насилие над «я».

Оказавшись абсолютным победителем, В.Г. продолжал поступать расчетливо, но не благородно и даже просто не по-мужски. Он холодно (а может быть, как раз со страстью) добил соперницу отказом вступить с ней в переговоры. Он написал жене Л.Н. вежливое письмо, прочтя которое, графиня сказала:

— Сухая мораль!

До этого она приготовила телеграмму мужу: «Причастилась. Помирилась с Чертковым. Слабею. Прости и прощай». Это была ее отчаянная попытка вернуть мужа. Да, хитростью, очередным обманом, намекая, что она умирает, но помирившись со своим злейшим врагом, а его «милым другом». Чертков предугадал этот ее ход. Она поняла это, разорвала текст телеграммы и выбросила ее в корзину. Фотокопия этой разорванной телеграммы сохранилась в архиве Черткова.

Чертков первым приехал к Толстому. Раньше врачей, священников, раньше членов его семьи. Это случилось уже 2 ноября. «В девять часов утра приехал Владимир Григорьевич со своим секретарем А.П.Сергеенко, — вспоминала Александра Львовна. — Очень трогательно было их свидание с отцом после нескольких месяцев разлуки. Оба плакали. Я не могла удержаться от слез, глядя на них, и плакала в соседней комнате».

Встреча Л.Н. и В.Г. описана в воспоминаниях последнего: «…я застал Л. Н-ча в постели, весьма слабым, но в полной памяти. Он очень обрадовался мне, протянул мне свою руку, которую я осторожно взял и поцеловал. Он прослезился и тотчас же стал расспрашивать, как у меня дома… Вскоре он заговорил о том, что в эту минуту его, очевидно, больше всего тревожило. С особенным оживлением он сказал мне, что нужно принять все меры к тому, чтобы Софья Андреевна не приехала к нему. Он несколько раз с волнением спрашивал меня, что она собирается

предпринять. Когда я сообщил ему, что она заявила, что не станет против его желания добиваться свидания с ним, то он почувствовал большое облегчение и в этот день уже больше не заговаривал со мной о своих опасениях».

Это правда, что Толстой боялся приезда жены. В ночь с 31 октября на 1 ноября он бредил во сне:

— Удрать… Удрать… Догонять…

Но просил ли он «принять все меры»? Холодное, рассудочное выражение больше соответствует лексикону Черткова. И действительно, судя по всему, именно Чертков «принял все меры» не только для того, чтобы Толстой перед смертью не встретился с женой, но и для того, чтобы воспрепятствовать приезду в Астапово остальных членов семьи.

Например, приезд сына Сергея и свидание с отцом могли не состояться. Телеграммы, которые отправила брату Саша до приезда Черткова и после его приезда странно противоречили друг другу. В первой телеграмме, посланной в ночь с 1 на 2 ноября, она сообщала:

«Положение серьезное. Привези немедленно Никитина (врача. — *П.Б.*). Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных».

Посланная в Москву, эта телеграмма не застала Сергея Львовича, уехавшего к себе в деревню. Его жена послала ее ему вдогонку. Получив ее в пути, он от Горбачева свернул на Астапово.

Между тем утром 2 ноября, через полтора часа после приезда В.Г., из Астапова ушла вторая телеграмма для Сергея Львовича, за подписью Саши, но не в Москву, а через жену Черткова Анну Константиновну:

«Отец просил вас не приезжать. Письмо его следует. Непосредственной опасности нет. Если будет, сообщу»[28].

Меньше всего Чертков был заинтересован в том, чтобы возле Толстого перед его смертью находился кто-либо из его родственников. Кроме, разумеется, Саши. Впрочем, и Татьяны, которой сам В.Г. в телеграмме жене, посланной тем же утром 2 ноября, просил сообщить о своем прибытии в Астапово. (Не сообщили. Татьяна узнала о нахождении отца, как и С.А., из телеграммы Константина Орлова.) Татьяна незадолго до ухода Л.Н. была посвящена в историю с завещанием, где фигурировала в качестве «третьего лица» после В.Г. и Саши. Но вся эта история ей уже тогда не нравилась. По-видимому, именно от нее, а не только из тайного дневничка Толстого, С.А. узнала о существовании завещания.

Появление у постели больного С.А. представляло для

Черткова страшную опасность. Он хорошо знал об уступчивости Л.Н. своей жене и его колебаниях в отношении завещания. В случае появления С.А. весь «заговор» в считаные минуты мог рассыпаться. Напоминание о детях, о внуках и, наконец, просто психологическое давление, которое могла оказать на мужа жена, поставило бы под угрозу труд по выработке завещания и уговорам сомневающегося Л.Н.

По-видимому, этого боялся не только Чертков. Этого боялся и сам Толстой. Страх увидеть жену, которая могла бы поднять вопрос о завещании и вынудила бы его или пересмотреть свое решение, или в жесткой и окончательной форме отказать ей, терзал больного и опять-таки сближал его с Чертковым как… с сообщником. Помимо духовных уз, оба были «повязаны» этим тайным документом.

В этом контексте можно понять странный, заговорщический тон разговора Л.Н. и В.Г.

«Мы молчали. Л.Н. протянул руку в мою сторону. Я нагнулся к нему. Но он тоскливо прошептал: „Нет, я так“.

Я: Что, трудно вам?

Л.Н.: Слабость, большая слабость.

Потом, помолчав:

— Галя вас легко отпустила?

Я: Конечно. Она сказала даже, что рада будет, если я провожу вас дальше на юг.

Л.Н.: Нет, зачем, нет.

Несколько позже он спросил меня, не приехал ли к С.А.-не врач-психиатр. На мой утвердительный ответ он спросил: „Не Россолимо ли?“ Я сказал, что нет.

После молчания:

— А ваша мать, Елизавета Ивановна, где?

Я: В Канне. Она телеграфировала, спрашивала о вашем здоровье.

Л.Н.: Как, разве там уже всё известно?»

Ни слова о духовных вопросах! Всё мрачно, таинственно, всё полунамеками. Во всяком случае, так передает этот разговор Чертков.

Он целует руку Л.Н., взяв ее в черных гуттаперчевых перчатках, потому что страдает экземой. Толстой, несмотря на свое состояние, всё еще очень зорок и наблюдателен. На следующий день он видит Черткова без перчаток и справляется о его здоровье. Всё это очень трогательно, как и его забота о Гале и о матери В.Г., поправляющей свое здоровье в Канне. Но всё это вызывает сложные чувства. Было что-то противоестественное в том, что в конце жизни, оказавшись в разрыве со своей семьей,

Толстой так заботился о чужой семье.

После Черткова в Астапово прибывали другие «толстовцы»: Гольденвейзер, Горбунов-Посадов, Буланже… Они беспрепятственно входили к Л.Н., беседовали, ухаживали за ним. Он всем был рад, улыбался и говорил нежные слова.

В это время его жена и сыновья Илья, Андрей и Михаил находились в отдельном вагоне на запасном пути. (Напомним, что возле умирающего были Сергей, Татьяна и Саша.) Войдя в домик Озолина, три сына стояли в коридоре против комнаты, где был отец, но не могли, да и сами не решались туда войти. С.А., конечно, рвалась к мужу, но коллективным решением докторов и всех детей ее постановили не пускать и ничего не сообщать Толстому о ее прибытии в Астапово.

«…есть фотография, снятая с моей матери в Астапове, — писал впоследствии Лев Львович. — Неряшливо одетая, она крадется снаружи домика, где умирал отец, чтобы подслушать, подсмотреть, что делается там. Точно какая-то преступница, глубоко виноватая, забитая, раскаянная, она стоит, как нищенка, под окном комнатки, где умирает ее муж, ее Левочка, ее жизнь, ее тело, она сама».

«Он как ребенок маленький совсем…»

Варвара Феокритова в своем дневнике пишет, что Толстой, конечно, догадывался о пребывании жены в Астапове. И с этим трудно не согласиться. Приученные самим отцом не лгать, Саша, Сергей и Татьяна не могли в глаза убеждать его в том, что С.А. продолжает оставаться в Ясной. Приходилось отмалчиваться, уклоняться от разговоров на эту тему. И без того Сергею пришлось солгать, говоря, что в Астапове он оказался случайно, проездом.

В общей суматохе не заметили, как в его комнате оказалась подушечка, сшитая рукой С.А. Но Толстой ее заметил. Маковицкий, органически не способный врать, был вынужден сказать ему, что ее привезла Татьяна Львовна (она приехала в одном вагоне с матерью и братьями). Толстой пожелал видеть старшую дочь.

«Он начал с того, что слабым прерывающимся голосом с передыханием сказал: „Как ты нарядна и авантажна“, — писала Татьяна в письме к мужу. — Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал расспрашивать про мама. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать ему, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит

сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну, расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть, тебе лучше не говорить: ты взволнуешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но всё-таки слезящимся, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерица, которая служила три с половиной года у С.С.Корсакова и, значит, к таким больным привыкла.

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо?

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?»

Этими вопросами он мучил детей, терзал и самого себя. Но так и не сказал главного, чего от него ждали — одни со страхом, другие с надеждой. Он не сказал, что хотел бы видеть перед смертью свою жену.

Сказать это означало бы предать Черткова. Разговор с женой, если бы он был до конца откровенным, не мог не коснуться вопроса о завещании. И дело уже было не в деньгах. Дело было в той «тайне», в которой он участвовал за спиной жены. Это не могло бы остаться недоговоренным на смертном одре. Невозможно было — уже не для нее, а *для него* — не поднять этот вопрос при последнем прощании с женщиной, с которой прожил почти полвека. Но это было до такой степени мучительно стыдно, что все старались отводить от этого глаза, молчать или *делать вид.*

Подобное, но только наоборот, происходило в 1891 году, когда он, отводя глаза в сторону, делил имущество между женой

и детьми, «как если бы он умер». И тогда было мучительно стыдно, потому что все понимали, что отец не умер, а жив. А теперь все делали вид, что он не умирает, а будет жить, и вопрос о разговоре с женой можно оставить на потом, как встречу со старцами в Оптиной. Как и тогда, он надеялся, что юридический вопрос в моральном плане разрешится сам собою между любимыми и любящими его людьми. Как и раньше, он не хотел признавать, что этот мир лежит не в добре, а во зле, и что природа человеческая греховна по своей сути.

Не просто греховна, но ужасающе *больна.* Два душевно больных и бесконечно зависимых от Толстого человека не могли поделить его между собой и ненавидели один другого, а он хотел, чтобы они любили друг друга, как он любил их. «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять… Это так просто… Почему вы не хотите это сделать», — бормотал он в бреду за два дня до смерти. «И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать, — вспоминал Сергей Львович. — Мы так и не поняли, что он хотел сказать».

6-го утром он привстал на кровати и отчетливо произнес: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, — а вы смотрите на одного Льва». Что значили эти странные слова?

Может — просто: *оставьте меня в покое?*

Согласно запискам Маковицкого, он часто произносил: «Не будите меня», «Не мешайте мне», «Не пихайте в меня» (лекарства).

Между тем у постели умиравшего собралось шесть докторов.

Увидев их, Л.Н. сказал: «Кто эти милые люди?

Когда доктор Никитин предложил поставить ему клизму, Толстой отказался. „Бог всё устроит“, — сказал он. Когда его спрашивали, чего ему хочется, он отвечал: „Мне хочется, чтобы мне никто не надоедал“.

„Он как ребенок маленький совсем“, — сказала Саша, когда закончила умывать отца.

„Никогда не видал такого больного!“ — удивленно признался прибывший из Москвы врач П.С.Усов.

Когда во время осмотра он приподнимал Л.Н., поддерживая его за спину, Толстой вдруг обнял его и поцеловал.

Никто из собравшихся возле умиравшего Толстого и затем вспоминавших об этих днях (некоторые вели дневники) не заметил частого присутствия в комнате одного маленького человечка, девушки Марфушки, которая ежедневно мыла в комнате полы.

Толстой заметил. Интересовался ее судьбой.

„Л.Н. спросил, замужем ли она или нет, — писал Озолин. — Узнав, что нет, он сказал: „Это хорошо““.

Самой же Марфушке умирающий однажды деликатно посоветовал: „Ты тихонечко, а то столик уронишь…“

Перед смертью ему примерещились две женщины.

Одной он испугался, увидав ее лицо, и просил занавесить окно. Возможно, это был призрак жены (может быть, и не призрак). Ко второй он явно стремился, когда открыл глаза и, глядя вверх, громко воскликнул: „Маша! Маша!“ „У меня дрожь пробежала по спине, — писал С.А.Толстой. — Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года)“.

В жизни Толстого было три Марии, которых он особенно любил: дочь, сестра и мать…

Мать Мария Николаевна Толстая скончалась, когда Левочке не было и двух лет. Он не знал ее лица, а портретов ее, кроме искусно вырезанного силуэта, не сохранилось. Ближе к концу жизни Толстой стал, с одной стороны, наделять образ матери внеземными чертами, а с другой — тянулся к ней именно как младенец. В марте 1906 года он написал на клочке бумаги: „Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки — любви. Хотелось, как детьми, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе.

Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, Божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня“.

Однажды обе женщины пришли к Толстому вместе. Александра Львовна вспоминала: „Днем проветривали спальню и вынесли отца в другую комнату. Когда его снова внесли, он пристально посмотрел на стеклянную дверь против его кровати и спросил у дежурившей Варвары Михайловны:

— Куда ведет эта стеклянная дверь?

— В коридор.

— А что за коридором?

— Сенцы и крыльцо.

В это время я вошла в комнату.

— А что эта дверь, заперта? — спросил отец, обращаясь ко

мне.

Я сказала, что заперта.

— Странно, я ясно видел, что из этой двери на меня смотрели два женских лица.

Мы сказали, что этого не может быть, потому что из коридора в сенцы дверь также заперта.

Видно было, что он не успокоился и продолжал с тревогой смотреть на стеклянную дверь.

Мы с Варварой Михайловной взяли плед и занавесили ее.

— Ах, вот теперь хорошо, — с облегчением сказал отец. Повернулся к стене и на время затих“.

Здесь невольно вспомнишь пушкинские строки:

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут… и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.

Это из чернового варианта пушкинского „Воспоминания“ 1828 года — года рождения Толстого.

Но возможно и более прозаическое объяснение этого странного видения. Когда проветривали комнату больного, которая располагалась напротив входа в дом, то на время отворили входную дверь (в остальное время была заперта). И в этот момент в сени вошла С.А. „Мы с Александрой Львовной выходим в сени. Софья Андреевна уже там, — пишет Гольденвейзер. — Мы уговорили ее выйти наружу. Все мы были крайне взволнованы и тронуты ее приходом. Но Боже мой, что оказалось! В Астапово приехали фотографы от какой-то кинематографической фирмы и захотели снять Софью Андреевну. Когда мы открыли дверь наружу, Александра Львовна увидела направленный в сторону крыльца аппарат, услыхала треск вращаемой ручки, в ужасе отшатнулась и убежала назад в дом“.

Кроме смертных мук („Как Л.Н. кричал, как метался, как задыхался!“ — писал Маковицкий 6 ноября), страдание его было еще и в том, что окружавшие не могли понять его. Язык ему уже не повиновался.

„Отец просил нас записывать за ним, но это было невозможно, так как он говорил отрывочные, непонятные слова, — вспоминала Александра Львовна. — Когда он просил

прочитать записанное, мы терялись и не знали, что читать. А он всё просил:

— Да прочтите же, прочтите!

Мы пробовали записывать его бред, но чувствуя, что записанное не имело смысла, он не удовлетворялся и снова просил прочитать“.

Тогда попытались прибегнуть к чтению вслух его хрестоматии „Крут чтения“. Записки Маковицкого: „В 10-м ч. дня Л.Н. в полубреду настаивал, чтобы что-то „делать дальше“. Мы стали ему читать „Круг чтения“, сначала я, потом Варвара Михайловна, потом Татьяна Львовна, которую Л.Н. спрашивал, благодаря ее за что-то, и сказал: „Милая Таня“.

Прочли три раза подряд 5 ноября „Крута чтения“.

Когда перестали читать, Л.Н. сейчас же спросил:

— Ну, что дальше? Что написано здесь, — настойчиво, — что написано здесь? Только ищи это… Нет, сейчас от вас не добудешь ничего“.

Последняя запись в дневнике Толстого от 3 ноября: „Вот и план мой. Fais ce que doit, adv…[29] И всё на благо и другим, и главное мне“.

Последние осмысленные слова, сказанные за несколько часов до смерти старшему сыну, которые тот от волнения не разобрал, но их слышал и Маковицкий: „Сережа… истину… я люблю много, я люблю всех…“

„За всё время его болезни, — вспоминала Александра Львовна, — меня поражало, что, несмотря на жар, сильное ослабление деятельности сердца и тяжелые физические страдания, у отца всё время было поразительное ясное сознание. Он замечал всё, что делалось кругом, до мельчайших подробностей. Так, например, когда от него все вышли, он стал считать, сколько всего приехало народа в Астапово, и счел, что всех приехало 9 человек“.

Эта невероятная ясность сознания вместе с невозможностью что-то доказать, высказать самое важное доставляли Л.Н. страдания, сопоставимые с физическими мучениями. Он старался быть мягким и благодушным со всеми людьми, которые его окружали и число которых прибывало. Вообще он вел себя как ласковый, хотя и чуточку капризный ребенок, который вдруг оттолкнет шприц или клизму и попросит „оставить его в покое“. Но при этом разум Толстого работал на полную мощность, а зрение продолжало оставаться зорким. Несоответствие между ясностью разума, зрения и тем, что с его телом производят какие-то ненужные, с его точки зрения, манипуляции, по-видимому, отравляло его предсмертный уход.

„Удирать! Удирать!“ — часто бормотал он. 5 ноября вечером он действительно пытался сбежать…

„Всё это время, — вспоминала Александра Львовна, — мы старались дежурить по двое, но тут случилось как-то так, что я осталась одна у постели отца. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал на подушках и стал спускать ноги с постели. Я подошла. „Что тебе, папаша?“ — „Пусти, пусти меня“, — и он сделал движение, чтобы сойти с кровати. Я знала, что, если он встанет, я не смогу удержать его, он упадет, и я всячески пробовала успокоить его и удержать на кровати. Но он изо всех сил рвался от меня и говорил: „Пусти, пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!“ Видя, что я не могу справиться с отцом, так как мои увещевания и просьбы не действовали, а силой у меня не хватало духу его удержать, я стала кричать: Доктор, доктор, скорее сюда!“ Кажется, в это время дежурил Семеновский. Он вошел вместе с Варварой Михайловной, и нам удалось успокоить отца и удержать его на кровати».

Очень серьезным переживанием для него стало то, что вместе с камфорой ему кололи морфий. Как он ненавидел наркотики, как боялся их! Недаром и Анна Каренина упала под поезд после приема двойной дозы опиума. Когда в начале 1860-х Толстой вывихнул руку и ему дважды вправляли ее под анастезией, он инстинктивно сопротивлялся насильственному прерыванию сознания. Весь его организм бунтовал против этого, и приходилось оба раза давать двойную дозу эфира.

Когда врачи, желая облегчить его смертные муки, предложили впрыснуть морфий, Л.Н. заплетающимся языком просил: «Парфину не хочу… Не надо парфину!»

«Впрыснули морфий, — пишет Маковицкий. — Л.Н. еще тяжелее стал дышать и, немощен, в полубреду бормотал:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал… Оставьте меня в покое… Надо удирать, надо удирать куда-нибудь…»

Только после инъекции морфия к нему впустили его жену. Позвать ее предложил кто-то из докторов, то ли Усов, то ли Беркенгейм. «Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, — пишет С.А.Толстой, — потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: „Прости меня“ и еще что-то, чего я не расслышал».

Около трех часов утра 7 ноября Толстой очнулся и открыл глаза. Кто-то поднес к его глазам свечу. Он поморщился и отвернулся.

Маковицкий подошел к нему и предложил попить. «Овлажните свои уста, Лев Николаевич», — торжественно произнес он. Толстой сделал один глоток. После этого жизнь в

нем проявлялась только в дыхании.

В 6 часов 5 минут утра 7 ноября Л.Н. скончался…

Маковицкий подвязал мертвому подбородок и закрыл глаза. «Застлал очи», — пишет он. После смерти Толстого все довольно быстро разошлись. Все так устали за эти дни, что нуждались в отдыхе. Ушли дети Толстого, ушла его жена. «Во всей квартире остались только Маковицкий и я, — вспоминал Озолин. — Когда я вошел в комнату, где сидел, понурив голову, Маковицкий, то он, обратившись ко мне, сказал на немецком языке: „Не помогли ни любовь, ни дружба, ни преданность“».

Эпилог

Трудно передать чувство, которое испытываешь, листая подшивки российских газет за ноябрь 1910 года. Как мы уже писали, их первые полосы обычно целиком отдавались рекламе, причем самой мелкой, дробной, разных ходовых товаров, а также частным объявлениям о пропаже, например, домашних собачек. Но вот открываешь газеты за 8 ноября и… огромный, на весь газетный лист портрет в траурной рамке седобородого старика с упрямым, выпуклым, напряженным лбом и суровым, пристальным взором, проникающим в самую душу. **«УМЕР ЛЕВ ТОЛСТОЙ».** Это была не просто новость. Это были звук и слепящий свет, которые заставили всю огромную страну вздрогнуть, встряхнуться, сбросить с себя, по крайней мере, на один день весь цивилизационный туман, с его «товарами», «услугами» и «удобствами», и вспомнить, что есть в мире ценности, которые важнее этого.

Которые важнее и самой жизни…

Тело Л.Н. положили в дубовый гроб, без креста на крышке. «Если Льва Николаевича кладут в такой гроб, то, когда я умру, меня надо положить в простой тесовый ящик», — сказала при этом вдова писателя.

После смерти мужа С.А. несколько раз теряла сознание, но потом собралась с духом и сидела у изголовья покойного. «Она гладит своей рукой высокий лоб того, кто был Львом Толстым, — сообщал „Русскому слову“ Константин Орлов. — Она твердит: всё кончено, угас великий свет всего мира. Снова ласково гладит, говорит, понижая голос, словно шепчет умершему: душа моя, жизнь моя».

Один день и ночь 7 ноября были отведены на прощание с Толстым работников станции, жителей Астапова и ближайших деревень. Верующие просили епископа Парфения разрешить отслужить панихиду по Толстому в станционной церкви. Не разрешил, ссылаясь на определение Синода. «Синод завязал, Синод пусть развязывает», — сказал старец Варсонофий. И еще он сказал, что как ни силен был Лев, а вырваться из клетки так и не сумел. Вскоре старец и епископ уехали.

Возле дома Озолина почти непрерывно пели «Вечную память». По утверждению корреспондента «Саратовского листка», только за одно утро 7 ноября в комнате с Толстым побывало три тысячи людей.

Комната была убрана цветами. Были и венки, вопреки воле Л.Н. От местной интеллигенции: *«Апостолу любви».* И — самый

трогательный — от местных школьниц: «*Великому дедушке от маленьких почитательниц*».

В 1:15 ночи траурный поезд отправился из Астапова. Гроб с телом Толстого везли в вагоне с надписью «Багаж». (Тело Чехова в свое время доставляли в Москву в вагоне с надписью «Устрицы)». Оказалось, что Толстой «ушел» из дома довольно далеко. Обратно ехали больше суток. Возник вопрос: где провести ночь? В Горбачеве или в Козловой Засеке? Решили — в Горбачеве, потому что в Козловке уже собралось несколько тысяч народа, и полиция опасалась крайнего выражения чувств и беспорядков. В 6:30 утра 9 ноября прибыли на станцию Засека. Гроб до Ясной Поляны несли на руках. Многочисленные импровизированные хоры исполняли «Вечную память». Впереди несли огромный рукописный стяг со словами: «Лев Николаевич! Память о твоем добре не умрет среди нас, осиротелых крестьян Ясной Поляны». Рисовали сами крестьяне, не рассчитали размер букв, и некоторые слова пришлось сокращать. В 11 часов утра гроб с телом внесли в Ясную.

Толстого хоронили, как он и завещал, «без церковного пенья, без ладана», без торжественных речей. Только друг семьи, театрал и революционер Леопольд Сулержицкий рассказал собравшимся о том, почему Толстого хоронят так, а не иначе. Когда гроб опускали в могилу, все встали на колени. Замешкался стоявший тут полицейский. «На колени!» — закричали ему. Он упал на колени.

Погребение состоялось в 3 часа дня 9 ноября.

Сыновья Толстого признали завещание отца.

С.А. некоторое время судилась с Сашей из-за рукописей, которые хранились в Историческом музее. И Сенат даже подтвердил права вдовы на эти столь дорогие для нее рукописи. История была неприятной, а главное — скандальной. Она широко освещалась в газетах. Но со временем мать и дочь помирились, проблема улеглась как-то сама. В конце концов, С.А. и умирала на руках Саши.

После смерти мужа с С.А. случился ее собственный духовный переворот. Только это происходило не так бурно и мучительно, как с Л.Н. на рубеже 1870-80-х годов. Оставшись одна в Ясной Поляне, графиня медленно и очень достойно угасала. Она пережила революцию и начало Гражданской войны, когда бои между красными и деникинцами шли буквально рядом с усадьбой.

«За последние годы она успокоилась, — вспоминала ее дочь Татьяна Львовна. — То, о чем мечтал для нее муж, частично исполнилось; с ней произошло превращение, за которое он готов

был пожертвовать своей славой. Теперь ей стали менее чужды мировоззрения нашего отца. Она стала вегетарианкой… В последний период жизни она часто говорила о своем покойном маленьком сыне (Ванечке. — *П.Б.*) и о своем муже. Она сказала мне однажды, что постоянно думает о нашем отце, и добавила: „Я плохо жила с ним, и это меня мучает“».

С каждым годом графиня постепенно слепла, но ежедневно ходила на могилу Толстого и ухаживала за ней…

Невозможно без волнения читать редакции ее собственного завещания, которое менялось с годами. Что могла она завещать? Ясная Поляна была выкуплена у нее Сашей и Чертковым на деньги, полученные от издания посмертных сочинений Л.Н., и передана крестьянам, как завещал Толстой. Сыновья с их долгами постоянно нуждались в деньгах, и мать постепенно раздавала им свои сбережения. «Не счастливы они все — и это очень грустно! — пишет она в дневнике. — Не жизнь, а мечты о какой-то неопределенной жизни…»

«Приезжал Илья, дала ему 1000 рублей. Он очень жалок, безнадежен, и плохо то, что всех на свете винит».

«Приехал сын Миша, выпросил 1800 рублей…»

«Был Андрюша, взял у меня 2000 рублей…»

«Приезжали сыновья Андрюша, еще нездоровый, и Илья, которому дала взаймы (якобы) 6000 рублей, и он повеселел сразу».

«Дора говорит, что Лева проиграл около 50 тысяч. Бедная, беременная, заботливая Дора! Тысячу раз прав Лев Ник., что обогатил мужиков, а не сыновей. Всё равно ушло бы всё на карты и кутежи.

И противно, и грустно, и жалко! А что еще будет после моей смерти!»

Сохранилось 7 вариантов завещаний С.А., в точности как и у Л.Н. Первое завещание написано в 1909 году. В нем было подробнейшим образом указано, что достанется и кому. Не только земля и дом, но вещи, посуда и драгоценности. Дочери Саше, которая в этом году вместе с Чертковым начала готовить завещание отца против матери (о чем та не знала), С.А., например, завещала: «лорнет серебряный и золотой браслет моей матери и сердечко сердоликовое в золоте и гранатную с мелким жемчугом брошку». Кроме детей и внуков, там фигурировали повар, эконом и портниха, названные по их полным именам — им завещались ценные билеты. В новом варианте 1913 года дочери Саша и Татьяна были вычеркнуты из наследников. Она не могла простить им того, что отец завещал им свои литературные права, минуя ее и сыновей. Но через полгода в новом завещании

появилась и Татьяна, как наследница на дом и участок при нем, и Саша, которой завещалась часть денег. Из редакции 1916 года исчезло имя Андрея, он скончался в этом году. В завещании, написанном в августе 1918 года, она *всё поделила между детьми поровну* и утвердила свою волю в окончательном варианте документа 16 сентября 1918 года.

В последние годы жизни она чувствовала себя очень одинокой. Только Татьяна с мужем и обожаемой С.А. внучкой Танечкой жили сравнительно недалеко, в Кочетах. Саша уехала сестрой милосердия на фронт. Взяли на войну сына Михаила. Добровольцем ушел внук Андрей Ильич. Забрали ее приказчика и многих крестьян. Сыновья Илья и Лев разъезжали по свету с лекциями об отце. После революции, во время Гражданской войны она пережила лишения, даже голод, от которого его спасал литератор П.А.Сергеенко, находившийся в контактах с новой властью, но относившийся к вдове писателя довольно грубо.

Последние записи в ее дневнике: «Грозит война и сражение близ Ясной Поляны»; «По шоссе тянутся на Тулу обозы, волы, люди. Говорят, что это беженцы из Орла и с юга» (октябрь 1919 года). Эти беженцы стали последней картинкой жизни, зафиксированной в ее дневнике.

В октябре она стала мыть окна в доме и простудилась. Умерла, как и муж, от воспаления легких. И тоже как он — в ноябре. Все последние годы она непрерывно думала о нем, пытаясь понять истинные причины его ухода. Так и не поняла… Но однажды она написала в дневнике самое исчерпывающее определение этого события:

«Что случилось — непонятно, и навсегда будет непостижимо».

Список источников

Литература об уходе и смерти Толстого необъятна. С другой стороны — существует достаточно ограниченное количество книг на русском языке, посвященных исключительно этому событию. Поэтому читателю, который желал бы самостоятельно разобраться с этой невероятно сложной проблемой, придется обращаться не столько к монографиям, сколько к колоссальному фактическому материалу, рассыпанному по самым порой отдаленным от темы источникам. К тому же причины ухода Толстого обнаруживаются в самых ранних событиях его жизни, начиная с рождения. Их также нельзя понять без очень внимательного прочтения художественных произведений писателя.

Предлагаемый список литературы, конечно, не исчерпывает всех материалов, которые использовал автор. Но это тексты, без которых книга просто не могла быть написанной. И это, на наш взгляд, тот *минимум*, с которым должен познакомиться любой будущий исследователь проблемы, не доверяющий всякого рода «*версиям*».

Список разбит на четыре раздела. Первый включает полностью опубликованные или частично цитируемые в книгах письма и дневники Л.Н.Толстого, С.А.Толстой и В.Г.Черткова. Во втором перечислены академические материалы о биографии Толстого. Третий раздел посвящен разного рода источникам, касающимся жизни Толстого в целом, но так или иначе связанным с темой его ухода и смерти. И, наконец, четвертый — это литература непосредственно об уходе и смерти Толстого.

I

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (юбилейное издание): в 90 т. М., 1928–1958. Серия вторая. Дневники. Т. 46–58.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (юбилейное издание): в 90 т. М., 1928–1958. Серия третья. Письма. Т. 83–84. Письма к С.А.Толстой.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (юбилейное издание): в 90 т. М., 1928–1958. Серия третья. Письма. Т. 85–88. Письма к В.Г.Черткову.

Толстая С. А. Письма к Л.Н.Толстому. М.-Л., 1936.

Толстая С.А. Дневники: в 2 т. М., 1978.

Толстая С. А. Моя жизнь: [машинопись]. Библиотека музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Жданов В.А. Толстой и Софья Берс. М., 2008.

Муратов М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке. М., 1934.

II

Бирюков И.П. Биография Л.Н.Толстого: в 4 т. М., 2000.

Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828–1855; 1855–1869; 1870–1881; 1881–1885. М., 1954–1970.

Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого. М.-Л., 1936.

Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М., 2008.

Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1886–1892; 1892–1899. М., 1979–1998.

III

Арбузов С.П. Воспоминания С.П.Арбузова, бывшего слуги гр. Л.Н.Толстого. М., 1904.

Буланжв П.А. Болезнь Л.Н.Толстою в 1901–1902 годах // Минувшие годы. 1908. № 9.

Буланжв П.А Толстой и Чертков. М., 1911.

Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие. Тула, 1970.

Варфоломеев Ю.В. О духовном завещании Льва Толстого // Вопросы литературы. 2007. № 6.

Гусев Н.Н. Два года с Л.Н.Толстым. М., 1973.

Дневник Л.Л.Толстого //Лица. Биографический альманах. Т. 4. СПб., 1994.

Духовные завещания С.А.Толстой. Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого.

За что Лев Толстой был отлучен от Церкви. Сборник исторических документов. М., 2006.

Зверев М.А., Тунманов В.А. Лев Толстой. М., 2006. (Жизнь замечательных людей).

Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986.

Как писалось завещание Л.Н.Толстого. Из воспоминаний А.П.Сергеенко // Толстовский ежегодник 1913 года. СПб., 1913.

Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986.

Л.Н.Толстой и его близкие. М., 1986.

Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1978.

Никитина Н.А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне. М., 2007.

Опульский А.И. Дом в Хамовниках. М., 1976.

Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990.

Переписка Л.Н.Толстого с гр. А.А.Толстой. СПб., 1911.

Петров Г.П. Отлучение Льва Толстого от церкви. М., 1978.

Приходно-расходные книги Софьи Андреевны Толстой. Архив музея-усадьбы «Ясная Поляна».

«Путь, указанный нам Христом, есть путь любви, а не злобы…» (Письма афонского монаха об отлучении Л.Н.Толстого от Церкви) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 2000 год. СПб., 2004.

Сергеенко А.П. Рассказы о Л.Н.Толстом. М., 1978.

«Стой в завете своем…». Николай Константинович Муравьев: Адвокат и общественный деятель. Воспоминания, документы, материалы. М., 2004.

Сухотина-Толстая Т.Я. Воспоминания. М., 1980.

Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. М., 1987.

Тексты завещания Л.Н.Толстого // Толстовский ежегодник 1913 года. СПб., 1913.

Толстая А.Л. Дочь. М., 2001.

Толстая А.Л. Отец: в 2 т. М., 2001.

Толстая С.А. Чья вина? По поводу «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого // Дениэл Ранкур-Лаферьер. Русская литература и психоанализ. М., 2004.

Толстой А.Л. О моем отце // Яснополянский сборник. Тула, 1965.

Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969.

Толстой Л.Л. Яша Полянов. Воспоминания для детей из детства гр. Л.Л.Толстого. СПб., 1906.

Толстой Л.Л. В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни. Прага, 1923.

Толстой М.Л. Мои родители // Яснополянский сборник. Тула, 1976.

Толстой С.А. Очерки былого. Тула, 1975.

Толстой С.М. Дети Толстого. Тула, 1994.

Фирсов С. Я. Церковно-юридические и социально-психологические аспекты «отлучения» Льва Николаевича Толстого (К истории проблемы.) // Яснополянский сборник — 2008. Тула, 2008.

IV

Абросимова В.Н. Уход Л.Н.Толстого. По дневниковым записям М.С.Сухотина 1910 г. и переписке Т.Л.Толстой с С.А.Толстым 1930-х годов // Известия АН. Серия ОЛЯ. Т. 55. № 2. 1996.

Абросимова В.Н., Краснов Г.В. История одной ложной телеграммы глазами Сухотиных, Чертковых и В.Ф.Булгакова // Яснополянский сборник-2006. Тула, 2006.

Булгаков В. Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого. М., 1957.

Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 2002.

Готвальд В.А. Последние дни Льва Николаевича Толстого. М., 1911.

Ксюнин А.И. Уход Толстого. СПб., 1911.

Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни: в 2 т. М., 2008.

Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904–1910. Яснополянские записки Д.П.Маковицкого // Литературное наследство. Т. 90: в 4 кн. М., 1979.

Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого. М.-Л., I960.

Новиков М.П. Из пережитого: воспоминания, письма. М., 2004.

Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич // Летописи Государственного литературного музея. Кн. 12. М., 1938.

Озолин И.И. Последний приют //Литературное обозрение. 1978. № 9.

Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений. Под ред. Н.Л.Брюля. СПб., 1910.

Последние дни Л.Н.Толстого. Альбом Вл. Российского. М., 1911.

Священник Георгий Ореханов. Жестокий суд России: В.Г.Чертков в жизни Л.Н.Толстого. М., 2009.

Смерть Толстого по новым материалам. Астаповские телеграммы. М., 1929.

Снегирев В. Ф. Письмо к С.А.Толстой // Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого.

Сухотин М.С. Толстой в последнее десятилетие жизни // Литературное наследство. Т. 69. Кн. II. М., 1961.

Толстая А.Л. Записная книжка // Толстовский ежегодник-2001. М., 2001.

Толстая А.Л. Об уходе и смерти отца (неопубликованные материалы). Предисловие, публикация и примечания Н.А.Калининой // Толстовский ежегодник-2001. М., 2001.

Толстая А.Л. Уход и смерть Л.Н.Толстого. Почему Л.Н.Толстой ушел из Ясной Поляны // Толстовский ежегодник —

2001. М., 2001.

Феокритова В.М. Дневник 1910 года // Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого.

Чертков В.Г. О последних днях Л.Н.Толстого. СПб., 1911.

Чертков В.Г. Уход Толстого. Берлин; М., 1922.

notes

Примечания

1

Все даты приводятся по старому стилю. — *Здесь и далее примеч. авт.*

2

Высокое положение *(фр.)*.

3

«Аниканкин». Так звали в Ясной Поляне сына Толстого и Аксиньи Базыкиной Тимофея Базыкина. «Очень умный мужик, говорил складно, с прибаутками, был похож на сыновей Толстого. В деревне жил мало, служил кучером у сыновей Толстого…» — вспоминали крестьяне.

Так в подлиннике.

5

Зачем ты трогаешь платье Софи? *(фр.)*.

6

- Ты любишь графа? *(фр.)*.

- Не знаю. *(фр.)*.

8

Он сделал мне предложение. *(фр.)*.

9

Ужасный ребенок. *(фр.)*.

10

Роман английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

11

Буквально. *(фр.)*.

12

Название автобиографического романа графа Льва Толстого-сына (Л.Л.Толстого) в 4 частях, который был напечатан в журнале «Ежемесячные сочинения», 1902, № 1-12.

13

Фраза из письма Толстого.

14

А.Г.Архангельская — врач земской больницы, знакомая Толстого.

15

Незадолго до смерти Гаутамой овладело беспокойство. Он часто переходил с места на место, нигде подолгу не задерживаясь. Однажды он был принят в доме кузнеца. Хозяину нечем было угостить старца, кроме вяленой свинины. После грубой пищи его стали терзать сильные боли. Он понял, что близится смерть. Будда облачился в чистые одежды и попросил постелить на земле плащ. Рядом с ним сидели опечаленный кузнец и плачущий ученик. Будда утешал их. «Не говорил ли я, Ананда, что в природе вещей, дорогих нам и близких, заключено то, что мы должны с ними расстаться?» Наивного Ананду возмущало, что Совершенный избрал для смерти неизвестную деревушку.

16

«Колено» Ильи окажется наиболее жизнеспособным в послереволюционной России. Его старшая дочь Анна не уехала за границу была замужем за профессором П.С.Поповым, другом Михаила Булгакова; в их доме писатель прятал часть своих рукописей. После войны из югославской эмиграции вернулись два сына Ильи Львовича: Илья и Владимир. К их потомкам из ныне живущих принадлежат директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимир Толстой, художница Наталья Толстая, телеведущие Петр и Фекла Толстые.

17

Пусть это кончится. *(фр.)*.

18

Ошибка памяти. Это произошло в середине апреля.

19

Все данные здесь и далее за 1910 год.

20

Специальный дамский зал ожидания.

21

Исследование С.Л.Фирсова в «Яснополянском сборнике — 2008».

22

Толстой ошибся: 81 — это три в четвертой степени.

23

Большим роялистом, чем король. *(фр.)*.

Например, две записи 1884 года: «Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтоб давил, раздавил меня. А это дерганье души — ужасно, не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне!»; «Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока не вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней».

25

Слово «Грумант» является производным от названия острова Гренландия, открытого европейцами в XI веке. Открыватели Гренландии — датчане — считали, что она распространяется далеко на восток и включает в себя острова, которые впоследствии были названы Шпицбергеном (Свальбардом, Грумантом). Поэтому русские поморы называли архипелаг Грумантом, Грунландской землей. Дед Толстого по материнской линии, владелец Ясной Поляны Николай Сергеевич Волконский одно время служил генерал-губернатором в Архангельском крае. Вернувшись в родные места, он решил в память о суровых северных местах переименовать одну из принадлежавших ему деревень. Так в трех километрах от Ясной Поляны появилась деревня Грумант (с ударением на первом слоге).

26

Противодействовать. *(фр.)*.

27

Телеграмма была такая: «Елец или по нахож. Ротмистру Савицкому. По приказанию начальника Штаба вам безотлучно 25309 — 14756 — 29393 — 43537 — 30819 — 58676 — 64726 — 5 командировать 39535 — 68676 — 71958 — 43269 — 58568 — 65242 — 47514 — 6 и посылать 56642 — 53835 — 26586 — 77185 — 95869 — 71419 — 13475 — 46474 — 839260 — 67971 — 95434 — 25471 — 519. Шестьсот восемьдесят восемь. Генерал-майор Львов».

28

История этой загадочной телеграммы, которую дети Толстого после смерти отца считали «подложной», отправленной не из Астапово, а из Ясенков кем-то из окружения Черткова, подробно изложена в статье В.Н.Абросимовой и Г.В.Краснова в «Яснополянском сборнике-2006». Эта история — одна из загадок, связанных со смертью Толстого в условиях изоляции от жены и детей.

29

Делай, что должно, и пусть будет, что будет. *(фр.)*.